

# НОВЫЙ МИР

6-7

---

МОСКВА

1944

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г.

№ 6—7

Год издания XXI

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — Взятие Великошумска, повесть	2
КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ — Путешествие в Среднюю Азию, стихотворения. Перевод с грузинского Бориса Серебрякова	56
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Петр I, роман. Продолжение	61
<b>А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ</b> — Капитан 1-го ранга, роман. Часть вторая	76
ЛОЛАХАН ТУМАНОВА — Анфиса Никитишна, рассказ	88
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Пушки выдвигают, исторический роман. Окончание	102
АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО — Ключи, стихотворение	127
ВЕРОНИКА ТУШНОВА — Яблоки, стихотворение	127
Н. ЕМЕЛЬЯНОВА — «Сухие гвозди», рассказ	128
К. МУРЗИДИ — Горная невеста, поэма	132
П. К. ИГНАТОВ — Записки партизана. Окончание	135
-----	
Л. СКОРИНО — Сказы П. Бажова	179
В. КАНЕВСКОЙ — Памяти А. С. Новикова-Прибоя	191

## БИБЛИОГРАФИЯ

Э. ПАПЕРНЫЙ — Книга о Чехове	198
А. МАКАРОВ — Записки подводника	200
А. КОСТИЦЫН — «Сталинские мастера»	201
Н. ОЗАРОВСКИЙ — «Студеное море»	202

# ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

Повесть

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

★

К полночи зарево погасло, и оборвалось бессонное бормотанье битвы. Все замолкло, кроме шептанья падающего снега. Немошная зима снова пыталась запошить бедную искovyрянную землю. Близ рассвета лязг и грохот вступили в эту перевозданную тишину. Два прожекторной силы луча пронизали пестрый мрак метели, где затерялась станция.

Она существовала лишь на картах да в благодарной памяти тех, кто, проездом на теплые черноморские берега, любовался из вагона на прославленные здешние сады. Из тьмы проступили столбы с пучками порванных проводов, обугленные стены привокзальных строений и, среди прочих останков растоптанной жизни, ряды платформ, ставших на разгрузку. Под брезентами угадывались большие угловатые тела. Вдруг неимоверная воля сдвинула с места это притаившееся железо. Разбуженный, задул ветерок, и когда начальник в высокой шапке вышел из виллиса, сразу точно мокрой тряпкой мазнуло начальника по лицу.

Скорей по привычке, чем из потребности, он вытер усы и пошурился в небо — хватит ли до утра нелетней погоды. Надежнее мотопехотных и зенитных сторожей она охраняла его танки от чужих глаз и авиации. Правое, с генеральским погоном, плечо его полусубка было залеплено снегом, и часовые признавали хозяина лишь по дерзости, с какой соединительные машины проскочили запретную черту оцепленья, да по усердию адъютанта, который, забегая сбоку, светил ему дорогу фонариком.

— Спрячьте ваше чудо науки и техники, капитан, — попросил генерал, потому что батареяка иссякла, а ноги все равно по щиколку тонули в слякоти. — Лучше найдите нашего дежурного по штабу. Я недолго задержусь здесь.

Вместе с офицерами связи из подо-

спешшего бронезичка он миновал груды металлолической падали, необрунной после боя, паровозишко со вспоротой боковиной, обошел разбитые стояки переходного мостика, дважды пролез под платформами и двинулся напрямиком в ближайший световой центр ночи; узловая станция допускала одновременную разгрузку нескольких эшелонов. В самом конце ее, разместясь по сторонам, два танка освещали длинные, из шпальных бревен, сходни, на которые робко, словно не веря в прочность саперной работы, ступали их железные товарищи. Тугой машинный ветер хлестал вдоль путей, уплотняя снегопад; огромные ромбические тени плыли по этому подрагивающему экрану.

Разгрузка происходила в торец. Танки следовали всей длиной состава прежде чем коснуться земли, откуда им предстоял любой, на выбор, путь — либо вперед, на запад, либо назад, в мартен. Большинство состояло из новичков, мало обкатанных и еще не вкусивших звонкого, щемящего вдохновенья боя. Они ничего не умели, и люди помогали им, делясь остатками живого тепла, а взамен беря частицу их неуязвимого спокойствия. Они действовали молча, голос растворялся в истошном скрипе дерева, в бешеной пальбе изящных моторов, и это осатанелое молчанье было внушительней самой отчаянной боевой песни... Негде им было укрыться здесь от стужи, но шел третий год войны, и горькая злоба за простреленную молодость, за поруганную мечту, грела их жарче костра и любой земной привязанности. И ни один, ни разу не припечатал матюжком подлой пакости, что сыпалась сверху на гибель солдатской душе.

Так он шел, наблюдая хлопотно своих продрогших людей, не отдохнувших от долгой дороги. Вдоволь, в свое время, похлебав щец из походного котелка, он без

затруднения, как букварь, читал их затаенные думки. И, как обучил когда-то его старый учитель Кульков, генерал сохранил привычку читать его вслух, сердцем вникая в каждое слово.

— Простите, шумно... товарищ генерал, — посетулся, было, сбоку связист.

— Я говорю, грозен наш народ, — раздельно повторил генерал, — красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье...

Он собирался прибавить также, что хорошо, если родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполнинской тяжести доверья, — что впервые у России на мир и на себя открылись удивленные очи, — что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей... но офицер буркнул что-то невпопад с непривычки к отвлеченным суждениям, да кстати над самым ухом затрещал мотор; розовый снег, мешаясь с пламенем, завихрился у выхлопной трубы... К тому времени выюга окончательно сравняла командира корпуса со всеми, кто не спал в эту простудную ночь.

Лишь в одном месте, привлеченный необычной тишиной, он замедлил шаг и вытанутой рукой преградил путь себе-седнику; офицеры сопровождения остановились сами из-за узости прохода. Здесь кончался эшелон. Вереница машин, терявшаяся в летящей тьме, с выключенными моторами ждала очереди на разгрузку. И хотя тут, в слепящем луче танковой фары, снег висел плотный, как занавеска, сразу делалась ясна причина задержки. Бывалая, вся в рубцах неоднократных сварок, тридцать-четверка упиралась левым ленивцем в между-путье, круто обвалившись со сходней. Задние траки громоздились на помосте, и водитель еще надеялся сползти на малых оборотах, но деревянная клетка трещала и щепилась, шпалы поднимались дыбом с другого конца, и самый танк зловеще кренился на сторону.

Генерал подошел как раз в минуту, когда лейтенант в армейском кожане и с вихром из-под ушанки метнулся к переднему люку.

— Стой, стой говорю... — кричал лейтенант, в отчаяньи поглядывая на шеренгу платформ, груз которых нависал над ним, как улика. — Вылезай теперь, полюбуйся, что ты наделал... вий полтавский!

Мотор заглох, и тем слышней стала сиплая, усталая брань соседних экипажей. Постепенно замолкла и она, едва поняли, что этим не спихнуть железной глыбы, застрявшей у них на пути. Паренек в матерчатом шлеме понуро стоял посреди, и все, сколько их там было, об-

ступив кругом, смотрели на него с холодком осудительной жалости, как смотрят на погорельца, а насмотрясь, пристузили к обсуждению. Они делали это обстоятельно и с удовольствием, видимо отдыхая от перенапряженья, и одни собирались вбивать какие-то железные ползуны под траки, чтоб машина скольжением спустилась со сходней, и уже тащили швеллер от бывшего пакугауза, а другие, напротив, подавали совет приподнять вагой левый борт, а затем пустить его на волю божию. «И таким манерцем мы выйдем из положения!»

— Узнаю наших, — шепнула ближайшему спутнику генерал. — Любим, когда что-нибудь отрывает нас от работы... — Привыкнув из любой беды извлекать опыт, предохраняющий от повторных несчастий, он со спокойным любопытством вслушивался в ночные голоса.

Так и дилась бы эта слишком мирная беседа, если бы лейтенанту не пришлось в голову «сделать осветителей тягачами. Умно расчленив свою тридцать-четверку под прямым углом, а сбоку придерживая ее тросом за гусеницу, чтоб не повалилась на бок, он махнул рукой, буксирные танки рванули, и корма аварийной машины плавно скользнула вниз, лишь раскрошив концы бревен. Десятки моторов приветственно взревели кругом, движение возобновилось. И пока проходили они мимо тридцать-четверки, утерявшей свою очередь, лейтенант отчитывал висящего паренька. Надсаженный голос звучал не обидно, с какой-то проникновенной человеческой горчинкой, но значит, острой ножа и выговора был пареньку этот упрек старшего товарища. Не оправдываясь, не защищаясь, он только морщился как от боли и глядел в снег.

— Куда ж ты смотрел, чортова баба! На реке случилось бы, ведь ты бы нас утопил. Я уж не говорю о машине. Ведь это гнев твой, силаща, а ты экую красоту в грязищу завалил. А знаешь, сколько надо такую махину мастерить? Старики да малые ребятки на заводских койках не спят, варят ее, обряжают для нас с тобой. Да и то гаркнуть порою хочется — «Эй, на Урале... кто там закурить пошел?» А ты... Эх, а еще в мстители затесался!

— Хозяин... детей, верно, любит, — шепнул в сторону генерал, и кто-то поддакнул ему в голос: «Вот они, танкисты! Вот они, мы!»

Точно учуяв тепло похвалы, лейтенант обернулся и враз опознал свидетеля своему приключению. Старше вблизи не нашлось; он пометался, скомандовал тишину и в одно дыханье выпалил генералу, что на разгрузке тридцать седьмая бригада, что самому ему фамилья — Соболюков, и что именно его машина, номер



двести три, только-что вышла из столь беспомощного состояния.

— Вижу, все вижу... товарищ гвардии офицер, — подтвердил командир корпуса, глядя на незаправленную под погон португую. — Не знал, что такие завелись у меня лихачи... на ровном месте спотыкаются.

Тотчас обнаружили сто причин, а сто первая заключалась в том, что сзади торопили, да тут еще трак скользнул по скобе настала и, как на зло, изменил левый фрикцион, отчего машина поползла юзом и оступилась с метровой высоты. Судя по неуверенности тона, лейтенант и сам сознавал, что фрикцион не сердце девичье, вещь вполне надежная, и у доброго воина повреждается разве только когда от самого танка остается одна железная щепка. Это же отметил и генерал, прибавив сгоряча некоторые слова, от которых все вокруг приосанились, подтянулись и стояли еще смиреннее.

— Значит, в пренебрежении у вас эти самые... ну, бортовые фрикционы, а зря... — заключил он, утихая. — Кто у вас этим делом занимается?

Тогда и пришлось Соболюкову назвать гинovníка происшествия. Выяснилось, что механиком-водителем у него на двести третьей состоит новичок из пополнения, некий Литовченко, совсем молодой и сам из здешних мест, а потому немца встречал вплотную, и, видать, крепко на какого-то осерчал, раз добровольно прибежал в армию, искать врага своего на громадном судилище войны. Последнее в особенности походило на правду: у каждого из них имелись личные счета с Германией... Пока генерал прислушивался к чем-то взволнованной памяти, лейтенант незамедлительно перешел от обороны к наступлению. — Что касается двести третьей, пошутил он, то ущерба ей от встряски не предвидится, машина испытанная: так ли еще маханула она, к примеру, в один овраг под Россошью, после того как вырвало кусок брони из лобовика и повалило прежнего водителя, предшественника Литовченко. Если только припомнит товарищ генерал, то случилось на исходе того дня, когда именно их корпус, зайдя от Валуек, нанес решающий удар по Италии и заставил ее смотаться из войны.

Две красных полоски были нашиты справа на груди лейтенанта. Генерал усмехнулся патристическому красноречию своего танкиста; одновременно на лицах у всех, в десятке вариантов, повторилась его улыбка. Упоминанье о Россоши было им заслуженно и в равной степени приятно; если шепнуть это слово во-время, на ухо обессилевшему товарищу, оно удваивало отвату, воскрешало

как глоток спирта, этот пароль круговой танкистской поруки.

Генерал поднял голову:

— Литовченко, Литовченко... — искал он в памяти, и опять чем-то горячим пахнуло на него из этой ночи. — В школе со мной учился однофамилец мой, Денис Литовченко. Собашник был, целая орава дворняг так и бродила по его пятам... А ну, покажите, что у вас за некий Литовченко!

Тряхнув хохолком, не то седым, не то запущенным снежной пылью, Соболюков крикнул это имя в летящий снег, и тотчас знакомый паренек вытанулся рядом с командиром танка. Луч от фары пришелся на него сбоку; кроме того вернувшийся с офицером штаба адъютант подсветил ему мигалкой, без опаски получить вторичное поношение науке и технике. Карие мальчишеские глаза чуть напуганно смотрели из-под густых, не по возрасту, бровей; левая, рассеченная при паденьи, слегка кровоточила... Нет, это был не тот Литовченко, моложе, постатней, и явно не денискиной породы. Не зря Митрофан Платонович Куляков назвал того колобком при выпуске из школы — «катись, колобку, в свет, та степи режись, чтоб сирый вовк не звыл!»

— Что же ты, тезка, плохо за машиной следишь? — заговорил генерал, смягчаясь воспоминаньями. — Танк не лошадь, не огрызнется, сахару с ладони не попросит... Ты его молча понимай, и дружба его тебя не обманет. А представь, такая же ночь и врагов тысяча... тут каждый болтик слезой бы омыл, да поздно.

Он говорил так, как если бы сын денискин стоял перед ним, нуждаясь в отеческом наставленьи, и всем очень понравилось, что он говорит с этим полумальчишкой, как с сыном.

— Машина исправна... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Только я не той гусеницей тормознул второпях, — открыто признался механик, и опять всем кругом понравилось, что и этот не бежит вины, не ждет прощенья.

— За правду хвалю. У меня в корпусе не лгут... Кстати, как батька-то кличут?

— Батька Екимом звали, — отвечал Литовченко, и брови ту же сдвинулись к переносью.

— Так. Немцы, что ль, убили?

— Сам помер... от старины.

— Вот оно что, — по-своему прочитал его интонацию генерал и почему-то убавилось его огорченье, что хлопец этот даже не родственник Дениске. — За что ж ты на немца обиделся?... дом спалили или девушку твою увели?

Литовченко медлил с ответом; коротко было бы ему не объяснить, а на длинное пояснение он не решался. И чтоб выр-

чить товарища перед начальством, все заспешили к нему на помощь.

— Хлебанул беды крестьянской, — подсказал кто-то сверху, с платформы. — Все мы ею досыта пропитались.

— Сейчас только тот и без горя, кто воровски живет, — поддержал другой, и генералу показалось, что когда-то он довольно часто слышал этот голос.

— Такое дело... товарищ гвардии генерал-лейтенант... — начал третий. Ганцы на селе у них стояли, и один мамашу евонную мертвой курой шарахнул...

— Каб ударила, не стояла бы я на этом месте... — упрямо поправил Литовченко.

— Ничего не понимаю, — сказал генерал. — Ударил он ее или не ударил?

— Он у нас чудак, товарищ генерал, — пояснили со стороны.

— Какое ж тут чудачество! Кто родную мать в обиду выдаст, тому и большая наша мать ничо чем, — вступился генерал за паренька, с интересом глядя, как садятся и тают снежинки на его щеке, безволосой и чумазой, потому что водители обычно ехали под одним брезентом с печкой, которую и обогревали в походе свой танк. — И как же ты рассчитываешь поймать его в такой суматохе... врага своего?

— Легше нет, — насмешливо произнес тот же, охрипший от погоды, мучительно знакомый голос, и почему-то генералу вспомнилось, что еще не обедал за истекшие сутки. — Надоть его на перламутровую пуговицу.

— Это как же так... на пуговицу? — спросил генерал, единственно чтобы еще раз услышать голос.

— А как муху ловят. Взять простую пуговицу, от рубашки скажем, о четырех дырочках... и обыкновенно крутить у мухи перед газзави, пока она не начнет вроде вянуть. А там берут осторожно за крылышки, чтоб не взбудить, и поступают по строгому закону... Так что ль, милый Вася?

Шутка относилась, конечно, к маленькому Литовченко. Тот не отвечал: опустив голову, он уставился на руку себе, обмотанную тряпкой. Этим он как бы клал конец публичному обсуждению своей сокровенной обиды.

— Значит, гордый ты, тезка, — одобрительно засмеялся генерал. — Это хорошо. Мне и нужны такие, гордые и злые. Ладно, оставьте его. Посмотрим, что он за вояка... — И повернулся к подсказчику, чтоб удовлетворить возникшее любопытство.

Они стояли перед ним все одинакие, на одно лицо, в одеревенелых от мокроты шинелях и набухших водою сапогах. И все же человек этот, казавшийся старше других, заметно выделялся в их ряду; здесь опять пригодилась мигалка адью-

танта. И хотя танкист был теперь в усах и к тому же немедленно опустил озорватые, себе на уме глаза, сразу видно было, что личность эта вела образ жизни, навлекающий подозренье в смысле пристрастия к некоторым крепким напиткам... Нельзя было не узнать его, бывшего повара из штаба корпуса, который мог бы прославиться и во всеармейском масштабе, если бы не роковая любознательность к жидкостям. Она не только помешала ему продвигаться по служебным ступеням, но и удержаться на достигнутых высотах; падение случилось как раз после Росоши, когда кладовые штабной столовой значительно пополнились трофейным продовольствием. Итальянский вермут, французское шампанское, венгерский токай и даже тухлый немецкий ром принялись наперегонки сохнуть в его присутствии, а глазуньи, которыми он ограничил круг своей деятельности, приобрели столь броневые вкус и прочность, что офицеры диву давались, до чего можно довести обыкновенное куриное яйцо. Ему давали советы подкидывать эти злодейские яшничцы неприятелю, чтоб калечились на них, но он не внял деликатным предупреждениям, и тогда пришлось откомандировать его вовсе из управления корпуса, что не вызвало ни ропота, ни удивления с его стороны.

— А ведь это ты, Обрядин, — вместо приветствия и весело сказал генерал. — Ну, кем воюешь, как живешь?

— Башнером на двести третьей... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Вот, прибаливаю маненько, — сильным баском сообщил он, желая этим выразить степень своего раскаянья.

— Так... И болезнь все та же?

Обрядин не ответил и лишь облизал пышный ус, чтоб скрыть усмешку, какая была и у генерала.

— Что ж, выздоравливай, — пожелал генерал и уже собирался отойти, потому что не на одной только этой станции происходила выгрузка его хозяйства, да еще предстояло по пути в район сосредоточения заехать в штаб армии и, кроме того, распросить кое о чем дежурного офицера из штаба. И тут бросилось ему в глаза странное, даже неуместное для солдата, шевеленье на обрядинском животе, чуть повыше поясного ремешка... Башнер стоял смиренно, руки по швам и выпятив грудь так, чтобы по возможности натянулось на груди сукно шинели. Он даже попытался стать бочком к командиру корпуса, но в ту же минуту что-то живое выглянуло из-за борта обрядинской шинелишки.

— Ну-ка, посветите, капитан. Что это за живность у тебя, Обрядин?

— Это Кисё... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — виновато, упавшим голосом признался тот.

И уже решительно невозможно стало для начальства покинуть это место, не увидев старинного сослуживца. Не дожидаясь прямого приказа, Обрядин достал из-за пазухи свой секрет. Маленькое сероватое существо, ежась от холода и дремотно щурясь на свет, лежало в огромной правой ладони танкиста; левою он прикрывал его от простуды, так что хвост и ноги оставались под угревом мокрого обрядинского рукава.

— Ну, здравствуй, беглец. Что, разве плохо тебе жилось у меня? — тихо произнес генерал, и уж такой устоявшийся в штабе у них обычай — непременно, при каждой встрече, почесать у котенка за ухом. — А тощий он стал у тебя... верно, яйшницами кормишь? Ишь, все ребра наперечет!

— От нервной жизни... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — постарался оправдаться Обрядин. — Ведь все в боях да в боях...

...Гвардейский корпус Литовченко всегда ставили на главном направлении армейского удара. Его молниеносный маневр и свирепые рейды по тылам врага изучались в академиях не только на его родине. Ветреная военная слава свила себе гнездо на пыльных или обрызганных кровью надкрылках его танков, а горячие головы, что имелись там в каждой роте, собирались помыть их в заграничной рейнской водице... Пятеро таких товарищей, на короткую минутку сойдясь в кружок, а остальные — через их плечи, пристально глядели на домашнего зверька, который мигал и встряхивал головой, когда снежинка залетала в глаз. Вряд ли то была нежность к безответному спутнику героических скитаний; она давно истаяла горьким дымком из их опрубелых сердец, — даже не жалость! Но именно на этом теплом комочке жизни, напоминавшем о покинутом доме, о милых в далеком тылу, на которых замаяхнулся Гитлер, сосредоточилась их глубокая солдатская человечность... Снег переставал, шерсть на котенке смекла, он становился похожим на ежа. Светало, и когда генерал взглянул на часы, он уже без помощи науки и техники разглядел стрелки.

— Ладно, — сказал он, и офицер связи побежал вперед предупредить, чтоб заводили машины. — Тезке выговор, чтоб помнил, какая правая, и какая левая сторона. Через недельку надеюсь услышать о вас, товарищи. Все.

Прижав подбородок к воротнику, он медленно, против ветра, двинулся назад. Штабной офицер, на котором лежала приемка эшелонов, докладывал в подробностях, когда прибывают очередные,

кто именно, по фамилиям и должностям, срывает график движения, и откуда должны подать недостающие паровозы... Посерело, когда они подошли к машинам.

Холодная влага с вечера проникла в хромовые генеральские сапоги, но он стоял еще здесь, прежде чем перелезть высокий, неудобный порог своего виллиса. Что привлекало его внимание в этой равнине, нынешнюю безотрадность которой не могли скрасить и причуды недавней метели?.. По белесому покрову полей проступали черные дорожки; больше ничего там не было, кроме головешек.

— Здравствуй, зазимок, — непонятно произнес Литовченко, и у всех, кто стоял поблизости, создалось впечатление, будто он поклонился тому, что лежало под белой простыней снега.

Офицеры имели основания приглажаться к своему генералу. Волнение, обычное при посещении старого, милого жильца, сопровождало его последние сутки. Оно не улеглось, когда машины, по радиатор ныряя в хляби, ринулись по дороге; оно усилилось, как только по сторонам развернулись виды, узнаваемые и все же непохожие на себя. Литовченко пытался думать о войне, но среди больших хозяйских планов все чаще, как сухие полевые цветы, попадались благословенные воспоминания, живые и трепетные до озноба и легкого холодка в пальцах.

Здесь прошло детство. Отца и мать он знал лишь по блеклой карточке над комодиком, среди пучков чернобильника и тимьяна. Первые четырнадцать лет безоблачно протекали под крылом у бабушки, прославленной великошумской лекарихи; сам Митрофан Платонович, просвещенный тамошний деятель, лечился ее тинкгурами от ревматизма. В городке, среди вишневых джунглей, доживали век древние монастырьки; ручейки богомольцев тянулись к ним отовсюду. И кому не помогали их пышные святыни, те брели на окраину, к опрятной хатке старухи Литовченко. Безжалобная простонародная хвороба всегда сидела на ступеньках ее крыльца. Старуха не брала платы, — люди тайком оставляли посылные, зачастую щедрые приношения: за цветы, даже сухие, надо платить вровень тому, сколько надежды или радости доставляют они душе.

Этой прямой и суховатой женщине с блестящими, без сединки, волосами, принадлежало волшебное травное царство, раскинутое под ногами у всех и открытое немногим. Постоянный спутник странствий на сборы трав, мальчик помогал ей добывать скудный хлеб вдовьего существованья, и за это бабушка научила его слушать голоса родных полей и леса, за сутки проникать в сокровенные

замыслы природы, что сгодилось ему не раз в его военных предприятиях, и в скромном венчике любого придорожного цветка видеть ласковый, недремлющий, всегда присматривающий за тобою глазок родины, что также невредно знать солдату..

Босыми ногами он исходил великошумскую окрестность. Под тем коренастым дубком, который за красу пощадила война, они стояли однажды, застигнутые первосеннею грозой. Первые капли уже пристреливались по лохматым листьям медвежьего уха, и веселый гром прокатывался в небе, словно перед обедней на великошумском крылосе прокашливались басы. А здесь, на развилке дорог, он навсегда простился с бабушкой, уходя в жизнь; и старая все наказывала надевать новые штаны лишь по праздникам и беречь сапоги деда, прослужившие ему полвека. И еще брала обещаньице слать ей письма о своем бытье, которые он и написал ей, ровным счетом два... В час прощанья стояло безветренное утро. Было тихо в природе, и пели молодые пегушки. Дымок паровоза уже белел вдалеке, гудела звонкая июльская земля. Мальчик помчался один, не оглянувшись на старую... Заскочить бы к ней сейчас, она напоила бы его густым, медовой крепости, липовым цветом, а потом закутаться бы в дедов кожан и забыть до сумерек, пока старая хлопочет внизу, сооружая богатырскую пищу. Он уже забывал несложную и меткую знахарскую фармакопею, но из собственного опыта убеждался не однажды, что отвар обыкновенной капусты, в равных долях со свеклой и добрым украинским салом, оказывает целебное влияние на организм, ослабевший от бессонных ночей и сезонного солдатского нездоровья.

Лекариху сменил в городке фельдшерок, лечивший хоть и безуспешно, зато и без старинной поэтической чепухи. Бабушка умерла одна, тремя годами позже, когда внук, поскапавшись по ремеслам, поступил в учительскую семинарию. В семнадцать лет он еще не разумел обязанности хоть на часок примчаться в Великошумск, проводить старую на порог последнего жилища... И странно: давно обратилось ее сухое тело в цветы и травы, хозяйкой которых слыла, а голос растворился в шопоте капелей, листвы и ручьев, а дыханье влилось в громадный воздух родины, но владело им чувство, что она совсем рядом, радуется его свершеньям и слышит, как гремят в его честь московские салюты.. Старуха Литовченко еще жила, только нельзя стало захватить к ней запросто, обнять за никогда неоплаченную заботку. И этот неотданный должок он с лихвой платил теперь своей земле, людям на ней и ее честной правде.

Он полуобернулся к адъютанту, кото-

рый трясся позади на железном сиденьи вилгиса и подскакивал вроде камешка в погремущке.

— Знобит меня, капитан... и мысли все как-то в бок уклоняются. Осталось у нас что-нибудь во фляге?

Там едва плескалось на доннышке; он отхлебнул ровно столько, чтоб не беспокоить посудину до конца пути... Дул сырой и теплый балканский ветер, почти весенний шум заполнял уши; начиналась оттепель, и не один танкист сейчас, вот так же, взирал со вздохом на эту непролазную распутицу... Нет, не похож стал Великошумский край на тот, что он покинул тридцать годков назад, И уже не пели там юные, неумелые пегушки.

Острая, почти колючая синева сияла из облачной промоины; в ней, журча, на бомбежку тылов прошли германские самолеты. Литовченко мысленно увидел свои танки, застигнутые в дороге.. но вслед за тем проглянуло солнце, и тонкая колоколенка розовым видением вспрыгнула на горизонте, за бугром. Она стояла на рыночной площади Великошумска, которую, в пору детства, просекала тень трех знакомых рослых тополей; тотчас за ними и ютился домик учителя Кулькова, самого милого из проживающих нынче на белом свете.

Это был неказистый, без возраста и личной жизни человек, безвестный сеятель народного знания. Только прежде чем бросить семя в почву, он прогревал его в ладони умным человеческим дыханьем. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступленья бывали самой лакомой пищей для его птенцов. Юноша Литовченко пошел бы тою же дорогой из одного подражанья этому честнейшему образцу, не призыви его революция в солдаты.. Старый учитель и учитель несостоявшийся не повидались ни разу; Митрофан Платонович только раз выезжал из Великошумска, в Москву, за трудовой медалью. Случилось это осенью тридцать девятого года, когда подполковник Литовченко лечился от ран в иркутском госпитале и о награждении узнал из странички учительской газеты, в которой привесли подкило терпкого зеленого винограда. Рядом с краткой заметкой, куда уложились все сорок лет педагогического подвига, помещалась фотография серебряного старичка, стриженного под бобрик и в толстовке; сквозь очки с пытливым юморком глядели те же добрые, пристальные глаза.. Весь день до сумерек подполковник мысленно бродил с ним по бедным, немощным улицам родного городка, а утром напомнил Митрофану Платоновичу открыткой, как тридцать слишком лет назад он уронил школьный глобус и помял всю Европу от Вислы до самого Рейна..



И старик отыскал в памяти этот эпизод; в ответ пришло цветистое послание, исполненное затыльным почерком, так как кроме всех известных в учебном мире наук Кульков преподавал также и чистописание. Он изведал, что живет хорошо, и его даже выбрали заместителем председателя чего-то; что и Великошумска коснулись пятилетки после того, как под городом, за бывшим конским кладбищем с названием Едовиче, обнаружались особые, всемирно-полезные глины, какие, по слухам, имеются еще только в республике Эквадор, на реке Сангурима; что на подъеме у них народная жизнь, и до полного счастья осталось не более семи шагов, а сам он молодеет с каждым годом, и если так продолжится, пожалуй и женится он на какой-нибудь соответственной краде, чтоб было на кого ворчать в долгие зимние вечера. Кстати, он звал навестить — если не его самого, ворчуна Кулькова, то хоть помятый глаубус, который еще жив и шлет поклон приятелю, — а вместе с тем и отдохнуть в родных привольях, тем более, что целое парковое кольцо защищает теперь Великошумск от убийственных степных пылей, — и вкусно соблазнял кавунами, которые в чудовищных размерах и на удивление иностранных специалистов вырастают там совместно с ним некий Литовченко, но не тот Литовченко, который колобок, а другой, участник сельскохозяйственной выставки от Украины. Горечью старческой обиды отзывали эти убористые строки: много он раскидал семян добра и правды в народную ниву, и хоть одно, разрастаясь в плодородное дерево, кивнуло бы ему издали своей могучей кроной!

Так возродилась их дружба. Теперь куда бы ни прибывал по служебным делам полковник Литовченко, отовсюду слал местную диковинку в адрес великошумского учителя: даже из Риги, куда история также закинула однажды генерал-майора Литовченко; наверняка сыщется подарок старику и в немецком городе Берлине.. Стесняясь вначале признаться, что не получился из него педагог, он не упомянул в переписке о своем военном поприще, а позже, чтоб уж не смущать его чинами, умолчал и о продвижении по службе. Пусть в памяти старика живет до поры некрасивый черноглазый мальчик, которому после поврежденья центральной Европы на школьном глобусе он шутивно предсказал шумную военную будущность.

В тихий город Великошумск немцы вступили на третий месяц войны; переписка оборвалась сама собою. Страна узнала имя Литовченко сразу в звании генерал-лейтенанта, которого немцы к исходу второго года именовали уже ein grosser Panzermann. Но как у всех на неза-

метном перекате к старости взор невольно обращается назад, к истокам жизни, чтоб подвести итоги перед решительным рывком вперед, так и для Литовченко стало насущной потребностью посещение родного городка. И опять шла навстречу генералу его удачливая судьба. За час до того, как был получен приказ о переброске корпуса на украинский фронт, стало известно о взятии Красной Армией Великошумска.

По существу он так и ехал напрямик в гости к Митрофану Платоновичу. И теперь, щурясь от бокового ветра, он примеривался заранее, как вкаты на чetyрех машинах в тесный дворик на Шевченковской, и войдет с обнаженной головой, во всех регалиях и славе, и, минуя обычные восклицанья, тут же, в темных сенцах, прижмет старенькую толстовку к олубеневшему сукну генеральской шинели. Не повредит и мальчишеское озорство такого внезапного появления: тем больше будет ликованье старика, когда узнает, что это тот Литовченко, чей газетный портрет прячут под подушками сиротки, у которых Гитлер убил отцов.. Они сядут за стол и будут молчать, пока не обвыкнутся после разлуки, и наверно вся улица, прослышав о таком госте, соберется под окошками Кулькова, и хозяин станет спрашивать его о самом сокровенном человеческом на свете. А там, расположась на часок-другой, можно будет выжечь простуду из тела какой-нибудь ядовитой домашней настойкой... И, вот, началась и потекла долгожданная, горячая беседа, и он сам сидел перед Литовченко, добрый великошумский старик, подливая ему в тоненькую рюмочку. Тем более странно было, что у Кулькова вдруг оказалось лицо адъютанта. — Ленивый струйчатый жар поднимался из мокрых хромовых сапог и подступал к подбородку.

— Василий Андреич, — уже настойчивей повторял капитан, — я так полагаю, стоило бы вам в хату заехать, переобуться, а то совсем свалитесь. Майору валенки из деревни прислали, а сухие подвертки где-нибудь на селе добудем. Тут везде наши части стоят. Завтра трудный день... похоже, гроза собирается!

Потребовалось еще некоторое время, чтоб совсем расстаться с великошумским мирражем. Возрастающая, такая мирная издали, в сознание просочилась канюнада. Колоколенка давно пропала; на ее место продолговатое, военного происхождения облако встало над горизонтом.. Они ехали вдоль линии фронта, приближаясь к нему под малым углом. Пригревало солнце, грозя к ночи обратить все правобережье в сплошное месиво.

— Как же я в валенках к командующему заявлюсь! — сообразил, наконец, ге-

нерал. — Погоди, кончим войну, назначат меня смотрителем на маяк... тогда и заведу себе козловые сапоги со скрипом, а пока рано мне, капитан. — Возражение звучало неубедительно, и капитан упорствовал, решась использовать слабость противника до конца. — Ну-ну, там посмотрим. Что-то длинно мы едем, не сбиться бы с дороги. Вы следите за картой?

Адъютант расстегнул плащ и стал чертить ногтем по целлулоиду:

— Давеча Малый Грушевец проехали, та-ак. Нравятся мне здешние населенные пункты... товарищ генерал. Ла-асковский кто-то прозванья им раздавал. Затем бабочка, только-что миновали, а за нею селение под именем Райское. — Он высунулся из машины, чтоб удостовериться. — Та-ак, похоже, — согласился он, различив уйму пеньков между пригорками багрового щебня и золы; две вороны, явно нездешние, транзитные, доставали себе скудный харч из-под снега. — А ведь в каждом домике по хозяйке имелось, девчатки из окон глазели, в каждой печи вареники... Знатная еда, говорят! В кои веки в гости зашел, а у них покойник в доме... Нет, едем мы правильно. — И так выходило по его словам, что сейчас будут Белые Коровичи, а оттуда двенадцать километров останется до Лытшина, где стоит штаб эрмки.

— Вот вы давеча, видать сквозь сон, про сердце танкиста обронили... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — отозвался шофер, и капитан с неудовольствием покосился на него. — А только, извиняюсь, конечно, нет во мне теперь этого самого сердца. Не надейся и не спрашивай: нету. Нагляделся я раз всего под Кантемировкой, машину остансвил, воевался в ромашки у дороги, плачу. И как отплакал свое, так и зажгло во мне враз, не могу себя погасить. Так и горю... Вот, еду, а дым черный столбом надо мной идет!

Значит и другие заметили его простуду: видимо сочувствие к командиру располагало их к такому дружелюбному красноречию. Следовало заехать на часок в Коровичи для просушки и леченья. Вскоре показалось жилье, сперва такая же битая скорлупа теплых мужицких гнезд, а потом, в отраду сердцу, явилась череда вовсе нетронутых домов, оазис среди пустыни. То и были Белые Коровичи. Пока офицеры бежали куда-то, генерал смотрел, расставив ноги, как молодая женщина доставала журавлем воду из колодца.

Он спросил ее о чем-то для первого знакомства, молодая ответила не сразу. Разминая застывшие плечи, генерал осведомился также, как живут они здесь, на безлюдьи. «Хорошо», отвечала молодая, без плеска ставя ведро на колоду. «Чего ж, хорошего, даже собаки на не-

званных не лают. Пуганые, что ли?» Выяснилось, что собак немцы поморили всех, и даже сверчки на Украине перестали сверчать, но теперь возвращаются кое-где на обжитые места. Словом, когда вернулся офицер связи, генералу стало уже известно, что немцев прогнали всего неделю, что в Коровичах стоит артиллерийский резервный полк, а дальше крыло уплотнено вдобавок погорельцами, — маются где придется — в клунах, чуланах и погребках.

Валенки сказались сибирскими пимками, чуть не до пояса и на кожаной подошве, такими осанистыми, что у генерала не нашлось возражений против столь вещественного довода.

— Пока обогреетесь, товарищ Крушинин, — уже по-фронтовому обратился к комкору адъютант, — хозяйка тем временем чайку смастерит. — Он подмигнул молодой, и та ответила спокойным взором таких красивых, с такой величавой, неисплаканной печалью, таких глубоких, как после болезни, глаз, что капитан невольно подтянулся и стал обдергивать на себе ремешки. — Как фамилия, царевна?

— Литовченко, — сказала женщина, поднимая коромысло на плечо.

— Ишь, совпаденье какое. И мы все тоже Литовченки, — весело поддержал адъютант, потому что этот тон избавлял от расспросов и сразу создавал отношения старой дружбы. — Ну, веди нас к себе, посмотрим, что за дворец по такой красавице.

Узкая натопанная тропка вела к густой хатке на пригорке, казавшейся благополучнее других. Початки кукурузы янтарными монистами свисали над окном и покачивались в ветре на крыльце. Слегка сутулясь от тяжести, женщина пропустила гостей на ступеньки. Генерал вошел первым... Топилась печка. Ветер задувал дым из трубы; домовитый, уютный после холода, соломенный чад стлался по хате. Человек тридцать артиллеристов сидели на лавках вдоль стен и на низких дощатых полатях; иные приладились на чурочке у порога, а один свесил босые ноги с печки, обняв запущенного от сна мальчишка, такого же красавца, как его мать. Все поднялись, кроме хозяйки. Старуха осталась сидеть перед печкой и не отвела глаз от огня, даже когда шестеро проезжих молодцов ввалились к ней на постой.

— Сидите, товарищи, — жестом предупредил общее движение генерал. — Мы только посушиться, мимоездом. — Нет-нет, ни в коем случае... — удержал он адъютанта, собравшегося очистить хату на время их стоянки, и выждал, пока все снова уселись в нерешительном смущении. — Продолжайте свои дела. Политзанятия, кажется?

— Никак нет, товарищ генерал. Седьмая батарея артполка находится на прочтении писем, — отвечал довольно тщедушного вида усац, быстро оправив на себе застиранную гимнастерку. — От хозяйкина сына письма, из неметчины. Тут у нас пополнение имеется... вводим, так сказать, в курс всеобщего дела. Красивым слогом написаны!

— Вот и отлично, и мы послушаем, — одобрил генерал, высвободившись из мокрой отяжелевшей шинели.

— Да уж почти все отчитали, эва, целую горочку. Последнее осталось, — пожалел сержант и кивнул на пачку писем посреди темного скобленного стола. — Только беда, все по-украински восточнито, товарищ генерал, а у меня все вологодские да мордва... один татарин есть, Алексей. Ишь, на приступочке сидит, согнулся... болеет. Лишний сила в бою давал! — И для приличья посмеялся жестяным, никому не обидным смешком. — Однако все, понятно, слезой писано. Освободить место генералу! — повысил он голос, и скамья сразу опустела, точно полотенцем обмахнули для высокого гостя, но почему-то тесней в кате от этого не стало. — Читай, Куковеренков, не торопись, а то не выдам я тебе рекомендации в артисты.

Он был слишком суетлив для должности политрука, но что-то звенело, то струнчочкой, то набатно звенело в нем, заставляло вслушиваться с возрастающей тревогой и торопиться, опреть торопиться куда-то. Обстановка не соответствовала его шутивому тону; прибаутками он хотел побороть смущенье собравшихся хотя бы и перед чужим начальством. Бледной зимней окраски бальзамины не совсем застилали свет в окнах. Все же стреляная противотанковая гильза, сплюснутая сверху, снабженная бензином и фитилем, горела на столе, придавая особую, как в храме, торжественность собранию... Шоферы долго стелили салфетку на краешке стола, доставали припасы, выдавали молодке чай на заварку, пока генерал не прекратил их неуместную суетню.

— И кстати, дайте конфеток мальчику, капитан... — сердясь и сквозь зубы приказал генерал. — Понимать надо... Сам же жалобился, что детей в эвакуации оставил! — И хотя это было сказано вполголоса, тень одобрительной улыбки поочередно прошла по всем лицам, кроме старухина. — От отца, что ли, открытки-то?

— Не, то от дядьки, товарищ военный. А папаша у него нет. Никогда он сынка не приглубит... Все собирается письмо написать батьку в могилку, — сказала женщина с закушенными губами по-украински, обернувшись к окну поправить занавеску.

— Не бойсь, махонький... ешь, сиротка. А немцу, что дружков твоих в коло-

дец побросал да животиной дохлой сверху накрыл, чтоб не вылезали — кагут, капут еще добудем. Душу вытряхнем, а добудем... если начальство разрешит, — сказал он еще, испытующе покосясь на генерала, который с наслаждением вдыхал хмельной и сытный пар из стакана.

— Данке шён, — кротко, забито сказал мальчик.

— Слышали? — зловеще окликнул усац свое собрание, которое вдруг заежилось и недобро пошевельилось. — Приступай, Куковеренков!

Ближний, широкоскулый, с неподвижным лицом красноармеец уже держал в руке это остатнее письмо. Как и прочие, то была стандартная открытка с печатным предупреждением писать в одну строку и без помарок. Вместо обратного адреса стоял квадратный лиловый штамп с указанием лагерного номера корреспондента. Чтец некоторое время как бы изучал почтовую марку, запоминая одуловатый, с прядью на абу и выпуклыми жабыими глазами, профиль. Личность эту он видел не раз на плакатах в немецких землянках, и не промахнулся бы при встрече, а теперь он просто выжидал, когда все придет в прежнюю стройность, перестанет хрустеть серебряная бумажка в сироткином кулачке и замолчит сверчок в подпечки. Слишком много слов было напихано как попало в это письмо; столько слов, что любой полдень затмит и опечалит хватало бы этой черноты. Указанное обстоятельство охранило его от цензуры, но оно же заставляло и Куковеренкова запинаться, тем более что он сразу переводил по-русски. Наконец, сверчок пискнул еще раз и затих, также приговясь слушать послание из неметчины.

«Здравствуйте, родные, кто меня еще не забыл. Я жму твою правую ручку, мамо, и поклон всей милой, сколь глаза хватит, Украине. Сестрице Одарке мой скучный, далекокрайний привет. И братику Кузьме щиросердечный привет тоже. И спасибо, что послали сапоги, а то порвали чоботы мои, и работа мокрая, но только я не получал. Хоть дают мне двенадцать марок в месяц, но ничего не купишь кроме ситра. Я пишу тебе, мамо, что немощко запах весь и живу хорошо. И снилось мне два раза, что выстроили новую хату, и будто идут коровы из нашей улицы, стадо в поле идет. И тут все поле превратилось в гробовище. Ты стоишь одна, мамо, и ни травки кругом, ничего нет».

— Хорошим слогом писано, — взволнованно отметил генерал, и повернул голову к молодке. — Это, значит, и есть дядька?... сколько ему лет, дядьке?

— Семнадцатый с Покрова, — отвечала молодая, по-бабьи подпершись рукой и внимая письму, как новинке.

Черная струйка копоти вилась над гильзой, как и несложная нитка повествования. Кашлянув и как бы подстроив свившееся горло, Кукуверенков ловко провел пальцем по огню, смахнул нагар и тем прибавил свету. Все молчало, только из рукомойника у двери размеренно капала вода. Сейчас все эти люди принадлежали к одной семье Литовченко: заезжие шоферы, генерал, перед которым стлы американские бобы со свиной, вологодские с суровыми лицами мужики, татарин Алексей, соломинкой подметавший пол, — и самые боги, выглядывая из бумажного цветника, силились выныкнуть в эту протяжную как песня жалобу.

«Живу, только и думаю про Украину, — писал дальше мальчик Литовченко. — А нельзя мне тут жить и гулять. Как вспомню все, и как братик Тимофей суму мою нес, и как мамку ударили, так и плачу. Тогда я побежал к вам, но меня поймали. Дали двадцать пять по голому телу, а потом морили голодом, но недолго, мамо. Я опять побежал, в темноте бежать хорошо, тогда поймали меня еще, а я ничего, только бы не убили. А как узнал я про смерть Тимофея, все продал с себя. купил ведро картошки и ситра ведро и пил, три дня лежал бесчувственно, поминал старшего братика Тимофея в городе Берлине. Меня палкой тычут, как зверя, чтоб на работу шел, а я лежу, не могу итти, плачу. А город Берлин разбит чисто, хуже Киева побит. И детей не видать, и людей мало».

Пока звучал этот вопль издали, генерал допил чай, куда украдкой капитан долил на четверть рома. Да тут еще две девушки из полкового медсанбата принесли генералу сухие шерстяные подвертки, заказанные капитаном. Ногам стало легче и теплей, и на душе сделалось так, будто давно живет здесь; генералу казалось, например, что во всех мелочах знает этого усача, добровольного устройства нынешнего чтеня. Верно, это был старый солдат, которому вторично в жизни пришлось обороняться от немца; и смертно надела ему вековая угроза, что придут и разорят до тла его достаток, и решил покончить с нею разом, и посетив дом врага, показать ему военное лихо во всей его страшной красе. Он затем и обращался то словом, то взглядом, как бы за поддержкой к генералу, чтоб не упрекнуло его впоследствии в беспощадности строгое начальство.

«Я жду от вас ответа, как соловей лета, — заканчивал тем временем Кукуверенков. — Хоть пришлите четыре слова. Мне теперь номер дали, пятьсот тридцать, вы не спутайте. И марку наклейте, а то без марки письма не идут. Не давай плакать маме, братик Кузьма, мне тогда легче будет. Я буду жить, пока не забь-

ют. А племяннику ленточку припас, хоть и не девочка, больше ничего нету. Привезу, как уцелею. Больше писать нечего. Писал ваш сын и брат на чужбине...»

— Это который же Кузьма-то? — спросил офицер связи, когда Кукуверенков, сложив письмо поверх кучи, отодвинулся от стола.

— Средний, всего трое было... кроме Одарки. Он еще при немцах через фронт в Красну Армию убежал, — неохотно, потому что не впервые, объяснила молодка. — Опротивило ему со стариками в болоте сидеть. Уж их с овчарками искали, все норочки обшарили.

— Так-так, — ухватясь за слово, скороговорчато выступил усач. — С етерьками, значит, как на волчатино, охогились. В сундук железный спрячь письма-то, хозяйшук... не загорелась бы хатка твоя от них! Вот и поговорим, товарищи, пока каша варится. Выходит, мать, трое у тебя кормильцев-то?.. Богатая!

Старуха поворотила голову, и новоприезжие увидели, что годами сна не старше была самого сержанта.

— Я богатая, — согласилась старуха.

— Итак, младшенького с сестричкой в неметчину угнали. Средний к нам ушел. За что же старшего-то сказнили?

— Старостой у них ходил, — с тем же неподвижным лицом ответила мать и поправила складку платья на колене.

Ответ смутил бы любого, но усач, и глазом не моргнув, шел к правде своей напрямик, зная, что она его не обманет.

— Так-так!.. Тогда ему бы, наоборот, в кафе круглы сутки сидеть, немецким шнапсом совесть заливать. Староста у немцев первый человек. Это есть зубы, собственному народу горло грызть... а ведь кто же себе зубы беспричинно ломать станет?

— Не трожь ее. Партизанам он помогал, затем и в старосты пошел, — сказала вместо старухи молодая и вдруг, глянув на мальчика, заговорила много, часто и жарко, точно пламя плеснулось в ней. — Корова у нас была, а старик один, сосед, и прельстился. Уж старый, шестидесяти осьми годов, на что ему корова?.. И выдал он Тимошку немцам за молочко. Мы вот так же ужинали... вваились, ухватились за Тимошу, семеро одного держат...

— Храбрые, значит, семеро одного не боятся! Давай, давай... и ты нам не картину описывай, а шаг за шагом иди. Мы судьи, вот мы кто! Нам все обстоятельно надо знать...

Она стала рассказывать, как увели Тимофея и как она прокралась послушать мужнин крик, но все три часа не было крику из немецкой хаты, и как водили его потом по селу, в кровище, с повыдольбанными глазами и с доской на груди, и как билась она затем в ногах у коменданта, чтоб выдали ей порубленное мужни-



но тело, потому что все село за него распишется, и ее снимали на карточку при этом, и как словили по приходе красных танков того одряхлевшего от страха Каина, и вдовы слезно молили, чтоб дали им хоть шильцем уколоть его по разочку... Тут уж и мать поднялась с табуретки. Она неторопливо прошла к простенку, где в дешевой багете висели фотографии обширной, за полвека, литовченковской родни... Там были дивчины с букетами и в пестрых дотканых юбках, молодые люди в матерчатых пиджаках, в обтяжку, на плечах непомерной широты, какой-то шахтер, снявшийся в полном подземном облачении, длинноусые хлеборобы, еще были там рослые грудью навывкат, пренадеры прежних времен, сложившие голову за староотеческую славу, и савнитые дядьки прославленных запорожских куреней — только оселедцев им не хватало! — выставились из большой братской рамы поглазеть на нынешних хлопцев, и красовался там же вид с Владимирской горки на всеславянские святыни города Киева, и помещался там же зеркала треугольный осколок, чтоб каждый мог сравнить себя с этим отборным, зерно к зерну, племенем... А в левом верхнем углу, как заглавная буква к богатырской родословной, находился совсем еще не старый, с бритым и мужественным лицом потомок; из-под суровых, сведенных к переносью бровей застенчиво глядели почти девичьи, темные украинские очи. Рамочка висела как по отвесу прямо, но значит матери было виднее. И по тому, с какой строгой лаской старуха Литовченко коснулась ее кончиками пальцев, словно оправляла веночек на покойнике, все поняли, что это и есть ее старшенький, предколхоза, Тимофей Литовченко.

Генерал, поднявшийся, было, познакомиться с еще одним своим однофамильцем, отошел первым, и тут бросилось ему в глаза, как выскочивший артиллерист, стоя поодаль, усмехається и качает головой; и тем обидней показалась такая усмешка генералу, что парень на полторы головы возвышался над прочими, видимых признаков ранений или нашивков на погонах не имел, был с красивым, чуть матовым лицом и видимо смертной силы.

— Чему же вы смеетесь, гражданин? — недружелюбно и нацелясь в его громадный сапог, спросил генерал. — Этот Тимофей... как его по отчеству-то, молодой-ка?.. Арефьич?.. — недоверчиво протянул он. — Этот Тимофей Арефьич может быть еще на площади в Киеве будет стоять рядом с нашим Тарасом. Мы с тобой друг за дружкой как звенья танковой гусеницы идем, а он умирает в одиночку, зная точно, что никто не придет на помощь.

— Дозвольте разъяснить, товарищ ге-

нерал... — смущенно заговорил артиллерист.

— Нечего и разъяснять. А знаешь, что на передовой сделали бы из тебя за такой смешок? — оборвал его, рванувшись от двери, кто-то из шоферов.

— Нет, уж дозволейте разъяснить тогда, товарищ генерал, — нахмурясь повторил красноармеец. — Это я на Германию дивуюсь. У нас, на Ваге, ежили так с соседями обращаться, в одночасье изведут, уголочка на развод не оставят. Вот у меня, ребята смеются, кулак два кила весит... и то в будний день, пока не рассержусь. Я им медведя однова наповал уложил...

— Стреляного! — подзадорил сбоку усач, и вид у него был такой, словно раздувал поднимающееся пламя.

— А хоть бы стрельяного. Ты меня опробуй, как жить надоест! — и оглядел для проверки костистое, досина, образование на конце правой своей руки. — С чего ж они так, товарищ генерал? Али пустыни непроходные промеж нас лежат, али горы высокие... и то перешагнуть можно!.. Неосторожность какая...

— Ладно, помолчи, не волнуйся! — сказали со стороны.

— На меня теперь метра четыре земли насыпать надо, чтоб я успокоился, — забыв все, пуще расходился парень. — Я... — Слова так и летели с него, как брызги с точила, а усач пристально глядел ему в глаза, как бы закрепляя в памяти, чтоб не забыть потом в решительную минутку. Уже тянули великана сзади за рукав, стремясь остановить его дерзкую, неприличную при начальстве, ярость, но он смолк только когда офицер связи вбежал в хату с радиограммой из штаба армии. Командующий спешно разыскивал командора Литовченко. Какие-то неизвестные и грозные обстоятельства меняли установившееся равновесие на этом фронте.

— Надо мне ехать. Желаю тебе, товарищ, чтоб не изгорела твоя сердитость на подороге, — сказала на прощанье, уже в шинели, генерал, переглянувшись с усачом; оба поняли друг друга с полувзгляда. — А дорога нам еще долгая!

Сержант подал ему просохшую у печки шапку. Вдруг затрещал сверчок, благовествуя, что еще наладится жизнь, и снизойдет былое счастье на четырежды осиротелую хату. Его заглушили урчанье заведенных машин. Дружным рокотом артиллеристы проводили гостей. Во дворе старая хозяйка набирала соломы из стожка. Генерал пошурлял на ее полубосые ноги, на худые лопатки, охваченные знойким ветром, хотел сказать на прощанье, чтоб не убивалась о среднем своем сыне, который сидит теперь у него в танке, за надежной стеной, но усумнил-

ся в чем-то и, выйдя за ворота, подозвал своего капитана.

— Забыл, как у них среднего-то звали, что в армию ушел?

— Кузьма, товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Так. А того, что ночью танк чуть не завалил?

— Того Васей при нас называли...

Скоро иные мысли и совсем прочерневшие под солнцем поля охватили их. Когда, минутой позже, Литовченко выглянул в заднее окошко, ни деревца, ни дымка над трубой не осталось от Белых Коровичей. Зато другой, громадный и плоский дым вставал на горизонте. Его было много, и ветру было из чего извлекать длинную черную лисичу, выгнутую движеньем и набегу распутившую хвост. Воздух двигался как раз оттуда, слышна была усердная работа артиллерийских батарей.

— А, пожалуй, зря вы на Коровичи поехали, капитан. Через Березно было бы нам ближе. Если не ошибаюсь, это Млечное польхает?

— Нет, это Великошумск горит... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — уверенно поправил его адъютант.

Из опасений, внушенных именно этим зрелищем час назад, адъютант избрал более длинную дорогу через Коровичи. Осторожность оправдалась в ближайшем селе, в Ставищах, также памятных генералу по каруселям и балаганам его трескучих ярмарок. Оно предстало сейчас с закрытыми ставнями, горелое не однажды, примолкшее, чтоб война не вернулась, хотя бы на детский плач, добить и разметать нищие останки. При подъеме в гору, у плотины, обсаженной раскорякими сетлами, танкистов остановила регулировщица. Она направляла их на проселок, выводивший на Житомирское шоссе. Объезд означал пятнадцать километров крюку и, прежде всего, крутые перемены во фронтовой обстановке. Капитан поднялся наверх поискать хотя бы дорожního коменданта. И пока остальные дрогли здесь, у темной, загустелой воды, в узкую горловину мостка стали спускаться огромные, в грязи по кровлю, санитарные автобусы. Медленно, — из внимания к хрупкому своему грузу, они проплывали мимо, почти вплитирку к встречным машинам и на короткое время застилая в них свет. Он затемнился семнадцать раз сряду, и уже на первой трети все выбрались наружу, кроме генерала. Перестав крутить цыгарки, шофера провозжали глазами этих первых вестников ночных происшествий под Великошумском, и один глядел дольше всех, пока ветер не выдул из-под пальцев половину табаку.

— Отвык от войны-то, чорт гладкий? — пошутил сосед, когда последний автобус ушел на восток.

В Ставищах адъютант разведал не больше, чем знала со слов проезжающих эта кудреватая румяная девушка в коротенькой шинельке. Всю ночь, по ее словам, громыхали сквозь вьюгу пушки, и десятки осветительных ракет висели на горизонте; немцы проявляли усиленную деятельность. Она терпеливо растолковала все приметы объезда: как добраться до коневого совхоза, и куда сворачивать от монастырских прудков, чтоб без промаха попасть на переправу... и шумливым флажком показывала в ветреную, звенящую тревогой даль. Оттуда порывами доносились мушное тарактенье застрявшего грузовика; погудев и передохнув, он снова силился оторвать лапки от неодолимо-клейкого листа дороги. Война услышала жалобу; понижаясь в тоне, просвистел воздух, и тощий, из-за расстояния, веер земли и дыма распустился среди поваленных телеграфных столбов.

— Вам как-раз туда и надо ехать, — улыбнувшись, сказала девушка, и ямочки на щеках стали еще румяней от смущенья. — Все утро из дальнубоек шупают... впустую, — прибавила она успокоительно для шоферов, которые уже заметили, что после разрыва тарактенье грузовика прекратилось.

— Откуда сама-то? — спросил связист, топча недокурную папироску.

— Воронежская...

— Ну, и сами мы все воронежские. Не задремли, смотри, а то ганец подкрадется!

Так, подкопив силы, они нырнули в темно-рыжее месиво проселка, под некрашенный шлагбаум контрольного пункта. Здесь кончалась хорошая дорога. Два часа тащились они почти на первой скорости, и каждый давал зарок замостить после войны всякую лесную тропку клинкером; впрочем, обеты тотчас забывались, едва почва под колесами становилась тверже. Обстрел не повторялся, погода совсем разветрилась, и веселили по сторонам плакаты с наказом экономить горючее. Великошумск и его великая гарь сдвинулись в сторону, и даже мыслей не осталось о Великошумске, когда поднялись на шоссе.

Их сразу захватил деловитый поток фронтовой магистрали. Здесь ехало все, чтоб, растворясь в ничто, превратиться в победу. Ехали ящики с концентратами, бензин, зимняя стеганая одежда и металл, продолговатые пироги с толковой начинкой; ехали лекарства в гигантской таре, авиамоторы и то, чем их поражают наповал, валенки ехали пополам с гармониями, а лазаретные кровати, целая трехтонка с железными скелетами, напрасно старались опередить тот желанный и праздничный груз; ехали толстые мешки с ядрицей, кислота в просторном зеленом стекле, ремонтные станки, буханки

хлеба, которых хватало бы вымостить дорогу до самого Лытошина, книги, строительный лес, вино для живых и кровь для оживления уставших на поле боя, кипы сена, туши мяса и прочее, чем питается в разгаре наступления, — в бочках, тоннах, тюках и десятках погонных километров. Все это тысячеименное богатство страны превращалось как бы в густую и вязкую жидкость; невидимое сердце проталкивало ее в узкую и гибкую артерию военной дороги... С однообразным рокотом, в несколько рядов, мчались цистерны, заморские дожди с зенитными установками в кузовах, и серенькие наши зисы перегоняли их в стремительном беге к победе; степенно, о бок со своими крановыми американскими собратьями, шли чумазые челябинские тягачи, чернорабочие танковых сражений, неслись ловкие противотанковые пушки, стальные осы, прицепленные к бронетранспортерам, и двигалась их старшая тяжело-весная родня, едва прикрытая раздувающимися чехлами; студебекеры шлепали широкими лапищами по шоссе, и прятались за ними машины в брезентах неизвестного назначения, а рядом попрыгивала походная банька, русско-татарский рай на колесах, и добрый десяток веников припаясьвал над кабинкой белозубого водителя.

Все это, забрызганное грязью и стократно повторенное, днем и ночью, неукротимо двигалось в самое пекло Великошумской битвы. По сторонам, среди опаленных буковых рощ, как предупреждение судьбы, чернели остовы сожженных машин, битые германские танки, валялись дырявые, полные талой жижи чашки танковых башен, пучились трупы лошадей, подернутые снежком, и еще не стояли на них вороньи следки, но уже никакая сила в мире не могла задержать этот поток. Да еще по обочинам, насколько хватало кругозора, грохоча и с открытыми люками, по два в ряд катились танки, облепленные своими десанниками, как цыплятами насадка. Они служили как бы железными берегами для этой реки народного гнева, и только теперь становилось ясно, какую вековую дремучую силу разбудил вражеский удар.

— А ведь это из моих, — определил генерал, приглядываясь к новехоньким тридцать-четверкам. — Не узнаю только, которая...

— Та самая, тридцать седьмая, — подкасал адъютант.

На броне ближней машины он различил свой корпусной опознавательный знак, а через мгновение под белым, с крылышком, ромбиком он увидел и цифру двести три. Кидаясь грязью, она шла по всем правилам походного марша, соблюдая сорокаметровую дистанцию тормозного пути. Как и на прочих, среди

привязанных бачков, походной печки, ящичков с боеприпасами, сидели загипнотизированные на заветной думке люди: может быть, они пели. И вдруг генерал живо вспомнил вихрастого лейтенанта. Это вместе с ним довелось ему повоевать однажды, когда сорок четвертая летом сорок второго года напоролась на засаду Гудериана; с управленческого танка сбился ленивец, и первая машина, куда наугад вскочил командир бригады Литовченко, оказалась двести третьей. Сам он получил второе Красное знамя за это brave дело, и уже не помнил, чем именно судьба, кроме седой прядки, наградила лейтенанта. Было грустно, что не обладал Соболькова, не напомнил про жаркий денек, тем более, что они как бы породнились в тот раз, потому что оба вышли с легкими ранениями из боя. Он припомнил кстати, что по слухам это отличный мастер простонародной сказки, и тут же порешил непременно при случае послушать Соболькова, как ради поощрения таланта, так и из интереса, чем он потчует целую бригаду на отдыхе...

Ни метра не пустоало на шоссе, и всем находилось место. Вольным шагом двигалась пехота пополнения, наглядные примеры разноязычного нашего единства. Даже в такую мокредь, которая еще больше однообразила их, чем серая шинель, казах отличался походкой от грузина, а украинец повадками от сибиряка. Эти последние хмуро показывались в оссобенности сердитые на немца, оторвавшего их от воистину государственного дела. Не было нужды расставлять плакаты по пути, чтоб возбудить их воинскую решимость. Следы разрушения и гибели по сторонам дороги повелевали им грознее всякого приказа... Шли и видели, как стыннут связисты на столбах, починая рваные провода; видели, как воронки от авиабомб заваливают щебнем разгромленного поселка, и по кварталу уместается в каждую ямину; видели, как престарелый дед со внучкой пытаются набрать горелого мусора на зимний шалаш, а уж декабрь глядит из лесу; они также прикидывали на глазок, сколько гвоздей, топоров и пил получилось бы из этой железной, уже неузнаваемой падали, и переводили на трудные стоимость того материального потока, который завтра сгрызет одна атака. Они шли, сосредоточенно глядя в смутную точку впереди, за чертой неба, где маячили мрачные призраки — дурацкие мертвые головы и непонятные им райки, валлонии и викинги и прочая, на устрешение трусов выдуманная чертовня; они шли убить их прочно и навсегда; они шли, и горькое море крестьянской беды плескалось у них под ногами.

В гуще потока возвращались беженцы

на разоренные гнездовья. Тощие коровы со скорбными библейскими глазами волочили ветхие телеги, и старики сбоку помогали животинам дотянуться до domu. Выводки крестьянских ребяток, почетверо в одной деревне, с безжалобной заискивающей улыбкой смотрели на матерей, которые со сжатыми губами шагалиazole, не имея другой надежды на земле, кроме как на обвешие свои вдоль тела руки. С упорством младости плелись старухи повидать на закате родимые могилки, знакомый на шляху тополек, и поспешало сзади некое существо, голодное и пуганое, черный лохматый псишко, отвыкший лаять по чужим дворам. Увертываясь от огромных колес, он бежал и все приноживался, искал подобно себе, чтоб поведать о своих собачьих горестях... но даже и мокрой шерсткой не пахло ни разу из смрадной бензиновой реки кругом. Порой он принимался скакать на снежной обочине, похожий на чернильную кляксу, и даже лаять каким-то петушиным голосом, то ли от радости жизни, то ли из потребности показать войне, что и он тоже злой и кусачий... И еще восьмилетняя девочка, вся прогибаясь назад от непосильной ноши, тащила плетеную старушечью котомку за спиной, а в руке несла большую стеклянную бутылку на веревочке, жалкое крестьянское сокровище. Прижимаясь к берегам, эта человеческая щепка тоже плыла в реке войны, не догадываясь о ночных событиях под Великошумском.

И, как бы к сведению их, в воздухе появились германские самолеты. Усталые, они возвращались с бомбежки, на неувязимой высоте, и лишь один стрелок, любитель мертвого тела, спустился из облаков, соблазняясь беспроигрышной мишенью. Он подобрался с тыла и подвальной стороны, и в ровный гул потока влился внезапный рев его авиаторов. Его услышали все сразу, как бы судорога прошла по шоссе; большой штабной автобус с ходу ударил о передний дожд, поставив его поперек пути, и движение замерло, как останавливается поезд у станций, с буферным лягом и визгом тормозов. Насыпь была высока, и прежде чем ринуться с нее врассыпную, все, в тысячи глаз, оглянулись назад. Черная птица падала на то самое место, куда толкало самосохраненье; отраженное солнце сверкало в ее чуть наклоненном крыле. Прежде чем опасность достигла сознания, машина увеличилась четверо, потемки пронеслись над головами, и в ту же минуту летчик дал пулеметную очередь. Звон стекла и вопль женщин — все поглотило урчанье смертоносца. Так ударяют полосой капли в начале проливня, но самого дождя не последовало. Зенитные пулеметы били

вдгонку, с запозданием и без видимого успеха.

Пока они стояли так, и воздух струился над перегретыми моторами, генерал вышел из машины приказать связисту ехать впереди, прокладывая путь его виллису. «Этак мы до вечера тут проваляемся!» — собрался сказать он и забыл, привлеченный подробностью, может быть самой ничтожной в его военных наблюдениях. Девочка стояла лицом в сторону, откуда напал самолет: испаринка страха проступила в ее лице. Мать тормозила ее, припадала окровавленной щекой к ее щеке, белой и невинной, всплескивая руками и всхлипывая кому-то на ветер — «обмерла, осподи, обмерла...» А та виновато улыбалась, с недоверием косилась на правую руку, где на веревочке висело одно горлышко, без бутылки. И рядом, у тележного обода, на снегу, валялось нечто черное, неподвижное, похожее на большую чернильную кляксу. Оно лежало откинув голову, как все убитые, независимо от звания или породы; один глаз, открытый и чем-то уж слишком людской, глядел на генерала, как бы говоря — «вот, и не доехали... такие-то дела бвахот!» Наверно, то и был последний псишко на Украине.

Подошедший старик шевельнул его ногой и подтолкнул корову, чтобы шла. И как только в кузов передней машины втащили одного простреленного бойца и скинули под откос лошадь, бившуюся в постромках, шествие на запад возобновилось с удвоенной резвостью. Люди стремились наверстать время, хорошо зная, что веков рабства стоит иная утраченная попусту минута.

— Ну, погоняй теперь, — приказал Литовченко шоферу, который, пользуясь остановкой, отполировал до блеску забрызганное стекло.

Он и без того были близки к цели путешествия. Командующий гвардейской танковой армией имел привычку устраиваться вблизи передовой. Легонько подрагивала земля, и, опутимые телом, доносились артиллерийские перекаты. Времени хватало в обрез, чтоб сменить пимки на несколько подсохшие сапоги.

Шестеро нарядных гусей полтулузской породы дружным гортанным клетотом приветствовали прибытие гостей, да еще встретился знакомый подполковник из разведки; он и повел приезжего в штаб армии. В баке кончилось горючее, они решили пойти пешком. Можно было обойтись без провожатого; лишь у одной хатки, прижавшись к стенке, торчали два броневичка, ходил важного обличья часововой, с крыльца то и дело сбегали озабоченные люди, и сюда отовсюду сбегали



лись толстые резиновые провода. И пока шли, выбирая где посуше, через лазы в плетнях, мимо замаскированных управленческих танков и крестьянских бомбоубежищ, строенных из поленьев и кукурузной соломы, стали известны лытошинские новости. Ночью, в самую метель, немцы форсировали Криничку и заняли Великошумск.

Оживленье обозначилось неделю назад, когда Манштейн попытался продавить нашу оборону под Озерьянами, на юге. Наступила напряженная пора, и те, кто проездом на черноморье лакомились сладчайшей здешней вишней, никогда не подозревали стратегического значения Великошумска для победы. Трое суток сряду немцы бомбили передний край и потом неизменно к сумеркам, близ шестнадцати часов, кидали в это крошево танки, с намерением зацепиться ночью за раскистый противоположный берег речки. К переправам спускались тигры и фердинанды со всякой бронированной мелочью в их надежном полукольце; их встречали плотным огнем, и уже наложили много, в иные дни до полусотни подрывались на минных полях, но они напиралаи вновь по инстинкту саранчи: задние достигнут цели!.. Защитники рубежа стояли крепко, они выходили в поединок с подвижными крепостями, они умирали, продолжая целиться из противотанковых ружей, артиллеристы повисали на своих пушках, и немецкие разведчики открытым кодом радировали с воздуха своим штабам: русские не отступают, русские никуда не отступают. Надо было выстоять и не сосраться, пока продвигались другие братские фронты. Был там один знаменитейший злой таежный охотник с Амура, «тигровая смерть» у себя на родине; он и здесь сохранил свое прозвище, но и его свалили. Происходило испытание самой человеческой породы, и тут выяснилось, что прочнее сортовой стали смертная человеческая плоть. Буравя нашу оборону резервами, подтянутыми под прикрытием нелетней погоды, противник за четверо суток продвинулся на восемь километров... Все это гораздо короче, лаконичным штабным языком рассказал подполковник.

— Вот этот самый ганец, — кивнул он на долговязого немецкого зенитчика, которого вели по улице, — сообщил со слов офицеров, что к исходу месяца Гитлер рассчитывает посетить Киев. Киевбургом собираются возвратиться! — Он усмехливо покачал головой и мимоходом заглянул в окно. — Командующий у себя... Я покину вас здесь, товарищ генерал.

Часовой по-ефрейторски откинул винтовку в сторону, и одновременно дверь пропела что-то складное и приветное домовитым бабьим голоском. Тесная, полутемная кухонька полна была военного

народа. На скамье близ окошка занимался чтением сухощавый человек с костяным желтоватым профилем, — видимо, заезжий, в военной форме артист. Трепаную, поминоку от бежавших хозяев, книжку он держал в точеных чистых пальцах; судя по первой запевной строке главы, это был Гоголь... Два фронтовых майора также дожидались очереди на прием, и один натуго забивал махорку в трубочку, а другой, томясь бездельем, рассматривал иконы, заполнявшие угол и украшенные расшитыми ручниками. На нижней, освещенной тускнеющим солнцем и в дешевом золоченом киоте, безудая ангельская конница, численностью до полуэскадрона, гналась за пешими демонами, явно сконфуженными таким обстоятельством; впрочем не атака привлекала внимание майора, а просто он пользовался стеклом как зеркалом. Ощутив взгляд на спине, он обернул молодое лицо и не очень естественно заметил что-то о плохой кавалерийской посадке ангелов.

— Ничего, юноша... мы все небритые сегодня, — усмехнулся артист к еще большему смущению офицера и, поглажив желтоватый подбородок, перевернул страницу.

Три ординарца еще стояли у печки с подпухшими от бессонницы лицами. Ближний помог Литовченке отыскать свободный крючок на вешалке. В ту же минуту от командующего вышел генерал, его помощник по технике. Соратники по началу кампании, они узнали друг друга.

— Во-время, Василий Андрееч. Хозяин ждет тебя. Укомплектован полностью?

— По штату. Слышал, большие дела у вас?

— Да... как говорится, бои местного значения. Третьи сутки не спим, лезут. На-днях мы им такой натюрморт из двух полков соорудили, что, кажется, следовало бы образумиться, а вот опять...

Они прислушались к двойному телефонному разговору за фанерной дверью. По академии Литовченко был двумя годами моложе командующего, вместе они еще не воевали, но он сразу различил этот глуховатый, чуть иронический голос. Пока начальник штаба, надрывая горло, кричал куда то сквозь шумный оттепельный ветер, дозываясь какого-то Льва Толстого с левого фланга, командующий призывал номеру 14.63 на правом создать со второй половины дня ударную группировку и все тяжелые системы подготовить к вечернему спектаклю.

— Ну, ступай, Василий Андрееч, — сказал армейский помпотех. — Сейчас он по телефону обходит свое хозяйство... самое время знакомиться. Через часок начнется... тогда придется, пожалуй, и тебе тряхнуть своим добром!

Они условились, если посещение не займется, встретиться в штабной столовой. Был конец зимнего дня, когда Литовченко вошел к командующему. Не отрываясь от телефона, начальник штаба приветливо кивнул головой и, приговаривая Льву Толстому «так-так, так-так-так...» продолжал заносить в рабочую схему обстановку левого крыла на 15.00. Все насквозь пропиталось табачной гарью в этой небольшой, со следами бывшего зажитка, комнате — дубовые столы, накрытые скатертями двухверсток, полевые телефоны шоколадной пластмассы, плохая копия униатской мадонны в углу и даже фикус, оставленный здесь, верно, для веселья, бодрости, здоровья и красоты. В щель приоткрытого окна еле струился к ногам мокрый холодок. Тонкий, уже остывший лучик солнца просекал стоящую сизую дымку и темным золотом растворялся в стакане чая на столе у командующего... Сам он, в меховом жилете и откинувшись к спинке поповского малинового кресла, сидел вполоборота к окну; отраженные от плюша отблески лежали на его гладко выбритом и преждевременно постаревшем затылке.

Разговор подошел к концу. Как и вчера в то же время, обманчивое затишье наступило на участке 14.63. Командующий выразил сожаление, что не удалось уберечь от огня две тысячи тонн зерна, вздохнул о жителях, вынужденных вновь покидать родные очаги, не забыл подтвердить приказание о сборе стреляных гильз, распорядился узнать, в чьих руках хуторок Вышня, и позвонить ему через полчаса и в заключение похвалил за взятие у немцев четыре грузовика подошвенной кожи. «А своей сколько оставил?.. на пятках-то целая?.. Ну, не сердчай, я пошутил...» — смягчил он свой упрек за вчерашнее, и вдруг в суховатом тоне его прозвучала душевная нотка.

— Волнуешься? — спросил он, вполонину понизив голос. — Держись, я за тебя четверо переживаю. Что? Я и сам знаю, что его много... — соглашался он и рисовал все тот же синий ромбик на карте перед собою, среди сложных пунктиров и цветных границ войсковых подразделений; уже бумага продавилась в этом месте, а он все чертил, подсознательно выражая этим тяжесть вражеских танков, навалившихся на 14.63. — Раз много, значит мишень шире, это хорошо... а? Погоди, погоди, да ведь и ганец-то не тот пошел: устал, боится. Завтра его станут за просто резать финками на всех перекрестках Европы... Ну, рад за такую ясность твоей мысли... Танки, как и сказал, буду выдавать из расчета — сколько побьешь, столько и получишь. Каждую минуту гляжу на тебя. С тобой все! — Положив на подоконник трубку,

он отставил туда же нетронутый стакан, а оранжевое пятнышко так и осталось лежать на карте. — Да, ему трудно сейчас. Еще одна моторизованная, из Дании, подошла...

Прежде чем вернуться к приезшему, он долю минуты, опершись локтями о карту, смотрел на квадратный кусок Украины, положенный перед ним на столе. Если бы не пальцы, разминавшие папиросу, можно было бы думать, что он задремал. Из личного опыта Литовченко знал то особое состояние человека на большой командной высоте, когда вдруг как бы оживают эти беззвучные иероглифы, значки и цифры, приходят в движение, ощутимо заполняя все извилины мозга. Тогда одновременно, как в магическом стекле и лишь в приуменьшенных дальностью масштабах, выступают самые мелкие подробности минуты перед вражеской атакой... Чавкая, ползут запоздалые бензиновые цистерны, и жжет их на шоссе вражеская авиация; с зубовым чертыханьем вязнет по колено в грязи мотопехота; и самоходное орудие завалилось в трясину, проломив мост — никаким полиспастом не вытянешь его до ночи; в поту геркулесовых усилий люди тащат боевое питание своим машинам; ремонтники крадутся к подбитой вчера самоходке, прячась от минометов в тени тягача... А где-то рядом прокладывает трассу вечернего удара немецкая разведка, и фожке-вульфь, как комары в закате, толкутся над передним краем, и куда-то пропала полусотня разнокалиберных немецких танков, что час назад пробиралась вот этой ложиной, отмеченной синим карандашом; из них двадцать четыре зверя покрупнее завернули за рошу, в засаду, а мелочь с неизвестным намерением спустилась к разбитой переправе и рассеялась по осеннему туману в ничто. Тонны этого свежего германского хромо-никеля давили в плечи командующего, отчего, казалось порой, легче было бы, если бы все прошло через самое его тело.

— Сергей Семеныч... командир отдельного корпуса прибыл, — осторожно подсказал начальник штаба

Командующий привстал навстречу, и Литовченко мог оценить по его несвежему лицу, что стоила ему, победителю Днепра, оборона маленького Великошумска. На газетной фотографии, опубликованной по поводу присвоения ему звания Героя, был изображен нестарый человек недюжинной воинской зоркости и большого волевого нажима; этот был человеческой и старше. По меньшей мере десять лет отделили портрет от оригинала. Но с задорной хитринкой взглянули на Литовченко его светлые, низко срезанные ве-

ками глаза и читали, читали в нем все до последней, еще нынешним утром написанной строки.

— Я задержал вас, простите, — сказал он, когда Литовченко по форме представился новому начальнику. — Слышал о вас. Хорошо воевали под Кантемировкой. Мы с вами едва не встретились и на Халхин-Голе...

— Да, я командовал танковой бригадой, — уточнил Литовченко.

Их рукопожатье длилось дольше, чем требуется для обычного первого знакомства.

— Мой начальник штаба, знакомьтесь. Именинник сегодня, по этому случаю предвидится большая иллюминация в 16.00... Что ж, подсоблять приехали? Хорошо. — Он показал на стул возле себя. — У вас красивые глаза, генерал... простудились?

— Ветром надуло, товарищ командующий. Видалис.

— Тогда в порядке. Я и сам два дня с гриппом просидел... Сегодня ветрено. Ну, места тут красивые, жалко отдавать такие. Рощи, знаете, речки романтические. Например, река Слезя, пожалуйста... ваш район обороны! — и стукнул пальцем в голубую жилочку на карте, которую ни на мгновение не выпускал из поля зрения.

— Мне знакомы эти места, — вставил Литовченко.

— Воевали здесь?

— Нет... но бывать приходилось.

— Отлично. Словом, не знаю, сколь приятные воспоминания связаны у вас с местностью, но климат нынче здесь довольно жаркий...

Они посмеялись, все трое, давая время окрепнуть завязавшейся боевой дружбе. Неожиданно сухоовато командующий осведомился, как прошла разгрузка, кто состоит начальником штаба в корпусе и, прежде всего много ли стариков в бригаде. Тот отвечал по порядку, что последние эшелоны прибыли в четырнадцать десять, о чем узнал в Коровичах, что начальник штаба — его соратник по Кантемировке, и когда говорил о стариках корпуса, мысленно видел перед собою Соболькова.

— Приятно, — откликнулся командующий и помолчал, явно прикидывая сроки прибытия корпуса в район сосредоточения. — Ехали через Коровичи, значит все поняли. Напирают!.. Дорога без приключений? впечатления обычные?

Оба вопроса не требовали ответа и служили лишь переходом к большому разговору, но в памяти Литовченко мелькнули письма из неметчины, девочка с бутылкой, опустошенные селенья. Вместе с воспоминаниями опять смутный жар

вхлынул в голову и руки, и стало невозможно не подвести беглые итоги наблюдениям дня. Что-то располагало к беседе в этой чистой хатке, похожей на домик учителя Кулькова, на исходе дня и на пороге событий. Верилось, они начнутся, едва лучик переползет с края стола на фикус и потеряется в его вислой зелени.

— Горя много причинили они нам, товарищ командующий. За пальбой как-то не замечаешь его, а как зачерпнешь в ладонь да рассмотришь одну такую гориночку... — Он сконфуженно запнулся на догадке, что никто не слушает его.

— Минуточку, — перебил командующий, коснувшись его руки, и жестом обратился к начальнику штаба: — Прикажете дать мне стотысячную карту и еще артиллерийскую, по новым ориентирам. И кроме того схемы всех минных полей. Вообще я нахожу наше минирование неудовлетворительным. Разучились стоять в обороне! Я спрашиваю, как... как могла эта полусотня пройти мимо Дедовщины?.. Простите, я слушаю вас... о чем вы начали? — вернулся он к приезжему. — Ах, да, про горе. В основном это, конечно, правильное и довольно ценное наблюдение, но... А здорово вас прохватило, генерал. Вам бы спирту теперь с казенским перцем. Знатная, едучая штука, медный таз в сито превращает... ребята у одного местного фюрера достали. Вы еще не обедали? Тогда займемся пока действительностью, а там и пообедаем вместе, если не полезут. Что-то они при мне давеча имениннику карасями хвалились...

Он надел очки. Стало тихо, будто и не война. Из комнаты по соседству сочился ворчливый басок: уединясь, член военного совета отчитывал одного из прибывших майоров, видимо, осупившегося хозяйственника. Потом над самой кровлей протрещал самолетный винт, и прохожий мессершмитт выбросил наугад кассету мелких бомб. Одна упала рядом, на огороде, все легонько дрогнуло, а лампа синего стекла двинулась на подоконнике, точно собралась вон из хаты. Командующий с укоризной взглянул на нее поверх очков и снова склонился над Украиной.

\* — ...следите за мной, генерал? Здесь у них шесть танковых дивизий, правда, трепаных. Скоро довоюют до сумы, битого туза по десять раз в игру кидают. Я сам эту валлонию раза три по морде бил... Но на днях одну перекантовали с севера, да вот, оказывается, свежая из Дании подошла. Этих предоставляю вам, лакомьтесь, генерал. Заметьте, отличная самоходная на левом фланге! Все это нацеливается... — Красный карандаш пробежал от Житомира до великой водной преграды, указывая предполагаемое на-

правление главного немецкого удара; недосказанное Литовченко сам читал на карте из-за плеча командующего. — Вчера натиском необыкновенной плотности, в две танковых дивизии на километр фронта, им удалось...

Повторялся рассказ подполковника, но уже в точной схеме всех оперативных обстоятельств. — Итак, преследуя немцев, отходящих на юго-запад, наши передовые части задержались для перегруппировки и подтягивания тылов. Иссякала сила в железном кулаке, раздробившем киевский узел немецкой обороны, и противник стремился теперь обратить в выгоду себе эту вынужденную приостановку советского наступления. Здесь он решил огрызнуться, на рубеже неглубокой речки, влучки старого Днепра. На том этапе войны, когда явно обозначился перевес Красной Армии, это было отчаянье пополам с авантюрой, но даже скромный успех открыл бы щипаного германского орла и доставил бы ему временную возможность маневра на вторые советские эшелоны. Данные разведки, пленные и немецкие листовки сходились в одном: черная птица собиралась доклевывать свою жертву. Гвардейская танковая армия медленно пятилась на восток, и это походило на то, как замахивается бичом пастух, когда рукоятка еще отводится назад, а самый злой и острый кончик уже поднимается из пыли для броска вперед.

— Итак, задача вашего корпуса в том, чтобы задержать противника на этом рубеже, а когда он надпорет себе брюхо...

Ветер совсем стих. В природе наступила почти осенняя тишина, пронизанная спокойным желтоватым светом. Хотелось, чтобы длился вечно этот вечер, тихий и благостный дар, улыбка родины солдату, уходящему в бой. Но таяло его очарование, вдруг повеяло холодом, пора стало прикрыть окно. Лучик погас, и тотчас же все четыре и вперебой зазвонили телефоны. Начальник штаба взял сразу две трубки, четвертая досталась члену военного совета, который появился следом за майором, шедшим на цыпочках и красным как после бани.

Некоторое время все говорили — «да, да», отмечая передвижения противника, и видно было, как старели карты. Лев Толстой доносил справа о начале германской атаки. Семьдесят танков и около трех батальонов пьяной пехоты выдвинулись на Хомянку с намерением работать на север и северо-восток. 14.63 сообщал одновременно, что двенадцать тигров в сопровождении зверья помельче смяли минометный полк и распространяются вдоль реки. Шквальный артиллерийский огонь в центре также следовало считать

предвестием удара. В целях отвлечения внимания от основного замысла, вражеский нажим производился по всему фронту. Дольше всех держал трубку командующий.

— Так, понял. Сбить переднюю шеренгу танков, а пехотку накрыть легонько зрсами. Это хорошо трезвит... Что-о?.. трезвит, говорю, — резко повысил он голос и, рассмеявшись, дважды произнес нет и четыре раза хорошо. — Изготовить восемнадцать семьдесят и предупредить... кто у тебя, кстати, прикрывает южное направление?.. кто, кто? — Но, то ли залило провод водою, то ли раздавил его на камне броневики, слышимость становилась хуже. Приходилось криком пропихивать приказание через оголенную расплюснутую медь, — сетка голубых жиллок проступила на затылке его лба. Потом ввязалась чья-то посторонняя речь, и командующий со сдержанной вежливостью попросил телефониста убрать всех с линии к чертовой матери. — Кто..? Так вот, намеки твоему Литовцеву, что я его знаю. Это он, кажется, удирает из-под Вязьмы?

— Нет, он из-под Ржева удирает, — вполголоса поправил начальник штаба, не отрываясь от карты.

— Виноват... из-под Ржева! Известный спринтер. Что бы он ни делал, вижу его. С тобой все. — Он бросил трубку, хотя еще бурчал в ней голос, и зевнул широко, по-солдатски, набираясь сил еще на одну бессонную ночь.

— Что-то рано начали они сегодня, — заметил начальник штаба, справившись с часами.

— Зима. Дни идут на убыль. Немецкая аккуратность, — солидно, логической цепью пояснил член военного совета и пошел к окну заглянуть, не морозит ли к ночи.

На улице было сыро и пусто. Синела вода в колеях. Петух с хвостом вроде бенгальского огня проследовал со своей дамской оравой на ночлег. Телефоны молчали, но ухо различало в тишине и льющийся скрежет гусениц, и задержанное дыхание стрелка, прикинувшего к противотанковому ружью. Литовченко успел передать через связиста в Млечное, где отныне помещался его штакор, чтобы ждали его в 18.00 и держали под прищуром лево-фланговый стык с пехотой его полутезки Литовцева. Немцы продолжали давление, и вот район обороны корпуса становился районом сосредоточения, чтобы завтра же превратиться в его исходные позиции.

— Так и не дали нам вместе пообедать, генерал, — сказал на прощанье командующий. — Им сегодня непременно нужно уложить очередные две тысячи своих солдат... педанты! Да и карасы, верно, пережарились. Отложим это дело до Румынии.



Как она там именуется, эта рыбешка, что хвалила вчерашний корреспондент?.. — Но член военного совета промолчал: у него было своих забот достаточно, чтобы помнить название румынской форели. — Отправляйтесь... буду звонить вам, возможно, сегодня же. — И опять чуть дальше задержал руку Литовченко. — Вы считаете выполнимой мою наметку... при таких флангах и в свете установившейся танковой тактики?

Сумерки густели быстро; вдруг, точно карликовое солнце, над столом засияла переносная лампа, знаменуя наступление ночи. В свете ее все, включая и читателя Гоголя, оказавшегося армейским прокурором, ревниво глядели теперь на командира, вступающего в их боевое содружество.

— Я полагаю, — сказал Литовченко, — что точной науки о танках еще нет, как и во времена Камбре и Суассона. Это мы пишем ее с вами. Такой она и войдет в академические лекции... Но первые главы, на мой взгляд, составлены советскими танкистами довольно толково.

— Это верно... под Бродами, например, участь танкового сражения решили пятьдесят машин!

— Да... когда было уничтожено по полторы тысячи с каждой стороны.

— Зачем же брать немецкий пример? — возразил Литовченко. — У меня в корпусе имеются такие доценты, которые пятьдесятю танками и без предварительной подготовки сдерживали тысячу... — И опять вихрастый лейтенант встал у него перед глазами. — Разумеется, дело это довольно суеливое... Итак, разрешите приступить к следующей главе, товарищ командующий?

Судорожно зазвонил телефон. Немецкая демонстрация отвлечения продолжалась, и хотя правофланговая атака приняла ясные очертания главного направления, внезапно на сцену появился хуторок Вышня, не имевший существенного значения в начавшейся битве. Тут и обнаружилась припрятанная противником танковая мелочь. Уже одеваясь, Литовченко слышал заключение командующего: — «нахалы... контратаковать и выбросить, исполнение немедленное». И как отголосок приказа, раскатистый пушечный разговор возник в ясной тьме перед крыльцом, где наготове ждали машины.

Мерцала над горизонтом, вечерняя звезда, но сотни беспокойных земных светил оспаривали сейчас ее первенство. Цветные ракеты подымались в небо, высокие пристрельные журавли шрапнелей перемежались с пунктирами светящихся снарядов, рвали небо вспышки гвардейских минометов, и звезда блекла,

терялась в смутной пелене дыма, потому что война уже зажгла свои дикие ночные костры. Шоферы наблюдали от машин за этим разнообразным фейерверком... Генерал подошел сзади. Ближний безучастным голосом доводил до сведения остальных, как хозяин вон той, наискосок, хаточки, едва придвинулась канонада, порубил своих гусей, готовясь уходить от немца... и как они лежали на пороге, все шестеро, пышные и безголовые, те самые, что криком и крыльями встречали их на селе... и как стояли молча над ними хозяйские дети.

— О гусях потом, — сказал Литовченко, открывая дверцу. — Дотемна Ставище проскочить, опасный отрезок... Показывай, шофер, свою работу!

Офицер доложил последнее сообщение рации; за исключением тридцать седьмой, размещение корпуса закончилось. Это означало, что квартирьеры развели роты по домам, если только не зимний лес стал местом их временного пристанища, — ложатся в грязь все шестьдесят километров корпусного провода для связи с бригадами и соседями, варится побатальонная каша, бродят по карте карандаши и циркули, прощупывает разведка, где противник, сколько его, каково состояние его духа, готовности, оружия и сапог; то были первые обороты новой шестерни в большом армейском механизме. Машины прогрелись и вот поднырнули в сизый падымок туманца. Дорогу прихватило холодком, ехать было хорошо.

На сиденье рядом обнаружился плотный пакет, в нем мясо и бутылка какого-то трофейного напитка: так и не вспомнил Литовченко, чтобы командующий в его присутствии отдавал распоряжение об этом свертке. На обстоятельное ознакомление с ним ушло в среднем полчаса, и когда генерал выкидывал за борт бумагу, там плескалась и текла река ночи. Струились поля, уставленные куполами вроде казачьих шапок — ометы бурачной ботвы, мелькал нестаявший снежок во впадинках поглубже, изредка с удвоенной скоростью проносились одноглазые грузовички с белым облачком над радиатором, потом длинные руины, руины, и вдруг душевный огонечек в уцелевшем окне, и наконец, встречный лесок, такой неотвязчивый, долго и вприпрыжку бежал наперегонки с машиной. В мутном слякотном стекле, вставленном в фанерную прорезь, это сливалось в нескончаемую ленту, и начинало представляться, что уже много километров тянется стена великошумского монастырька, высокая под небеса, с полуобойницами вместо окон. Начавшийся жар и однообразное качанье преувеличивали размеры видений, еще более властных, чем днем.

«Кажется, заболела... не во-время», — впервые за сутки сознался Литовченко, закрывая глаза и откидываясь на заднюю стенку виллиса.

Собор кончился, а то, что вначале прикидывалось только снежком, на поверку оказалось фасадами глинобитных строений. Внутренний сумеречный свет, какой внезапно озаряет мрак усталому путнику, помог теперь и ему различить безлюдную и как бы недосказанную окраину Великошумска. Три тополя прошумели над головой, и стал виден уютный, такой прохладный даже в нынешнюю июльскую жару домик учителя Кулькова.

«Приехали...» — вяло подумал Литовченко.

Все сбывалось немножко не так, как предсказывала утренняя догадка. Митрофан Платонович встретил гостя во дворе, в той вышитой рубашке, в которой навсегда простился с Литовченкой тридцать лет назад. Совпадение не удивляло, с годами люди научаются беречь испытанную дружбу вещей. Дворик стал пошире, и нарядней обычного распушились в нем цветистые маальвы. Друзья обнялись, но не радость, а как бы нездоровый озноб доставило Литовченке это объятие. Хозяин пошел впереди, и огорчило гостя, что ничем не напомнил о бывлом, не пошутил о глобусе, даже не подивился чудесным превращениям в судьбе бывшего ученика. Не было ни рассказов о прошедшем житье-бытье, ни обещанных кавунов, и в окошке ничего не было, будто в пустоте висел учительский домик.

Они сидели молча, великий вопрос читался в молчании старика. «Чем возместит история неоплатную человеческую муку, причиненную войной? Чем вознаградит она труд современников, одетых в изорванные смертью шинели? Что там, за издержками века, за горными хребтами, на которые поднимались мы столько веков? Или ближе станет солнце к тем, кто доберется до их снеговой и все-таки земной вершины?»

И Литовченко отвечал с волнением, точно это был урок, заданный тридцать лет назад; и он знал, что старику мало только пространного отчета о материальных благодеяниях или перечислениях параграфов еще не полностью осуществленной программы.

«Слушай, милый старик. Завтра бой, а нынче мое время — минутка. Простоим ее благоговейно у главных врат, которых мы достигли. Взгляни в звездный проем этой вечной арки, окинь взглядом принадлежащие тебе пространства... Не зарождается ли в тебе богоподобная способность реять над безднами, где ползали гвои пращурь? Простор — отец крыльев. Колумб и Гаилдей так же стояли у океанов земли и неба, как сегодня мудрец из

Гори стоит у океана людского возрождения. И уже не отречется от его слова человек, как невозможно ему забыть колесо или рычаг или винт Архимеда, помогшие ему подняться с четверенек.

«Я слышал это и раньше», — сказал Кульков.

«От кого? От самого себя!.. Оглянись, трудно жили наши отцы. Даже когда плясал, бывало, под хмельком дед мой Фадейч, мне представлялось, что это он гудовыми сапогами отбивается от горя. Но никогда не покидала народ вера в правду, что постучится однажды в окошко мира. Мы решили помочь истории и сократить срок сказки... Смотри, грозные силы состоят служанками при людях, но уже протянута рука за ключиком от сокровенных тайн материи и жизни. Надо спешить, пока они не стали достойным злых, готовых ее созидательный потенциал обратить на разрушение. Судьбу прогресса мы как птенца держим в наших огрубелых ладонях. Оказалось, никому она так не дорога, как нам. Преданность идее мерится готовностью на усилия и жертвы».

«Цена должна соответствовать товару», — сказал учитель Кульков.

«Учась ходить на двух, человек ушибался больше, но страдание не вернуло его назад, в пещеру. Кто отправляется далеко, тот обрекает себя и на лишения. Терпение — посох подвига, который награждает время... По чередованию событий трудно представить вечность, как слепому постигнуть море по соленому брызгам на губах; смертному, слабому мнитса, что он живет на краю времени; боль застилает ему взор в будущее. Но когда мой танкист покурирует свою мажорочку перед атакой, он смотрит вперед и как бы держит ее в руках, газетку двадцать первого века, полную великих новостей! В том и заключено бессмертие советского солдата».

«Искать друзей в будущем — удел одиночества», — сказал Кульков.

«Нет!.. потому что никто кроме нас не смеет глядеть в будущее без боязни. Неодолимые резервы движутся отсюда нам навстречу. Ни с посланиями, ни с жалобами мы не обращаемся к ним. Они и без того до последней кровинки — наши. С непокрытой головой они посетят скелеты наших городов, они раскопают известковые карьеры братских могил, святая и умная печаль отуманит их сердце. Кто свалит их или прельстит соблазном скотского существования, где наука изобретала душегубки, а насилие и грабег были заповедью древних государств? Поняв все, они восславят наши горести и грубоватые песни, бедность одежды и суровый обычай времени, увенчанный победой...»

«Ты против войны!» — сказал Кульков. «Я не собирался быть солдатом, но раз коснулись меня огнем — горе им, кто обнажил меч несправедной и неразумной войны. Нам, которые голыми руками разворотили свою темницу и вырвались на простор океана, ничто не страшно. Что фашизм! Мы пройдем сквозь него, как сквозь дым последнего дикарского костра. Наше железо будет становиться лишь острее от ударов врага, пока не поймают, насколько оно безопасней в пугах и станках, чем в образе наших танков».

Больше Литовченко не слышал Кулькова. Толчок рванул его с сиденья и заставил открыть глаза. По ветлам вокруг черной воды можно было узнать Ставище. Свет фар доставал до шлагбаума, преградившего путь. Остановка произошла в том же месте, что и утром, шагах в ста от бывшего контрольного пункта. Бешеная дрожь мотора передавалась телу; чужие не стучали поблизости, некого стало спросить, отстали или проскочили вперед. За смотровым стеклом стоял немецкий верзила, передетый в красноармейскую шинель. Он почти не отличался от обычного регулировщика, всего их там было трое. Остальные выжидали во тьме, на краю платины, не сводя автоматов с проезжих. У них был свой план. Никто не произнес ни слова.

Левый флажок отсигналил приказ стать к обочине. Шофер повиновался; волнуясь и рискуя сжечь сцепление, он стал делать это на больших оборотах и с пробуксовкой. Вдруг резким броском — скорее хитрости, чем даже радиатора — он спихнул двух в жидкую черноту позади, где, верно, уже лежала на дне та давешняя, воронья, с ямочками на щеках. На мгновенное колесо повисло над бездной; в последующее, вывернувшись и выжав газ до конца, он сходу пустил машину на опущенный шлагбаум... Никто не помнил впоследствии, гаркнул ли он при этом лож и сь или сама передалась им спасительная догадка. Последовал грек, будто смаху полоснули дубиной по фанере; звонкий холод пополам со стеклом обрушился на спины пассажиров. Их выручила накапанная в этом месте дорога. Когда шофер разогнулся на сиденье, машина вскачь неслась по краю глубокой балки, и впечатленьице было посильнее, чем самая встреча с передовым немецким патрулем. Подкилометра все молчали, привыкая к жгучему ветру и слушая фанерный дребезг позади. Они так и не дождались автоматных очередей вдоронку; это служило добрым признаком, что немецкое купанье еще не закончилось.

— Эх, теперь совсем простудитесь без шапки, — сокрушенно прокричал шофер, удостоверясь в сохранности седоков. — Стекло в грязи, ни дьявола не видно. За-

то теперь поспособней будет, круговой обзор! — и помахал рукавичкой впереди себя.

— Не дразни счастья, — проворчал капитан, обирая битое стекло с шинели и в предчувствии крупного разговора с начальством. — Второй раз оно дураку не улыбается!

— Точно, — согласился тот и плавно остановил машину. — Придется вас слегка побеспокоить... товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Проверив на ощупь, не отвязались ли запасные бачки, он не без видимого удовольствия принялся срывать остатки фанерного короба. Делал он это со словоохотливой присказкой, понятной после встряски, но, может быть, ему и в самом деле нравилось, что и для них, наконец, после долгого перерыва началась война. По скату спускались качающиеся огни оставшихся.

— Торопятся... ничего, проскочат. Теперь ганцы сушиться в село поднялись. Нонешние воды, ой, ядовитые. Прямо скажем, немецкому телу они ни к чему...

Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвездная ночь осветилась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шоферской возни да привычного гудения какого-то связанного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходил до сердца далекий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвет безгласное поверженное тело. Литовченке припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, черная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая гоголевская фраза вошла в него как стрела, и острое обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи...»

Грузный, понижающийся лай дважды пронесся над головой в ту сторону, куда в облегченном виде и двинулся головной виллис. Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытошин, было бы теперь, пожалуй, и не проехать... Вскоре поземка побежала по полям; она превратилась в пеструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.

Множественный след гусениц сводил с дороги влево, во мглу горелой сосновой рощи. Деревья стояли в дряблом вислом снегу, как древние озьящие хвощи. По несмолкающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.

Наступил поздний по военному времени час. Люди еще не спали.

Тридцать седьмая пришла на место затемно; нараставшие события удлиннили намеченный маршрут, подвинув ее на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров выдвигали в батальоны. Пока они, на ночь глядя, лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Еще основательней этих явных признаков подсказывало старым танкистам особое обостренное чутье, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбежку, которую нельзя еще было считать боевым крещением. Прямых попаданий не было, — бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме заклиненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. Но про минутку, когда в открытом люке мелькнули немецкие штурмовики, причем верилось — все целились в него одного, Литовченко неоднократно впоследствии рассказывал своим затихшим вничаткам.

Смушенья от этой первой встречи он не испытал, а только боялся, что само тело дрогнет и выдаст товарищам его понятное волнение. Ему помогло одно из собольковских наставлений, какими не первый год тот воспитывал новичков: мысленно, с предельной живостью представить себе данного конкретного врага, как бы раздеть его из фальшивой славы, а затем и крушить в полную силу русской оплеухи. Литовченко так и поступил, и опасенье, что не удастся ему довести задуманное до конца, рассеялось, и он увидел за штурвалом белесое, помятое злобой и бессонницей лицо летчика, бесостное и гнусное, точь-в-точь как у сверчка по выходе из личинки где-нибудь на гнилой картошке. И заглянув так в его черные, расширенные движением зрачки, он понял, что этот человек умрет, не достигнув цели... Так и было. Машину слегка шелохнуло, обдало горячим ветром и глиной, и у всех было торжественное ощущение, будто война напутствовала их дружеским шлепком по броне, как рекрута бывалый солдат, принимая в свое кровное братство. Ей немедленно отсалютовали крупнокалиберные зенитные установки. Литовченко впервые видел вблизи, как самолет врывается в землю, стремясь закопать в нее свой огромный и шумный

огонь... Местность позволила быстро рассредоточить колонну, ранние сумерки помешали авиации повторить заход.

Когда капонир был готов, лейтенант лично опробовал боевые механизмы: Обрядин светил ему переноской. Все находилось в исправности, не считая лопнувшего ролика ведущего колеса, но это означало лишь, что экипаж полчасом позже отправится на отдых. К особой удаче для тридцать седьмой, в лесу обнаружилось добротные землянки немецкой работы, построенные в начале войны, когда Германия рассматривала поход в Россию, как увеселительную прогулку по славянским заповедникам. Послушав мотор, пока двести третья спускалась на дно земляного стога, Собольков отметил, что тот работает, как часы, и незачем ковыряться в нем больше.

— Какое число у нас сегодня? — вспомнил он вдруг, не обращая ни к кому.

— Двадцать первое кончается, — ответил из потемок радист и поднес лампу к его лицу, различив незнакомую нотку в голосе лейтенанта. — Не обедали нынче... вот он тебе и показался за неделю, нынешний день. А что?

Лейтенант раздумчиво улыбнулся, с такой недоевровой пристальностью вглядываясь в глубину леса, что и радист невольно оглянулся туда же.

— Нет... это хорошо, — неопределенно сказал Собольков и прибавил обычным тоном, что кроме радиста, который после ужина вернется сюда с автоматом, все смогут выспаться до рассвета: охрану нес моторизованный батальон, но лейтенант всегда считал, что предосторожность — старшая сестра отваги.

Сам он ушел от машины последним. Она стояла в земле, в уровень с основанием башни; ходовые чернорабочие части были скрыты брезентом, и снежок, процеженный сквозь ветви, уже округляла впадины на нем. Ничего нельзя было разобрать во тьме, но Собольков видел ее всю, двести третья, как в полдень. Сейчас она лишь отдаленно напоминала ту, что два месяца назад уходила в тыл, на поправку. Та была старая; семь летних месяцев перед тем, когда жара и пыль вдвое изнашивають цилиндры, она не выходила из боя. Нельзя было понять из формуляра, сколько пробежал этот воин по пути к победе; паспорт танка в его холщевом мешке был одновременно с командиром пробит осколком. Кашель слышался в моторе, вонючий черноватый дым валял из сапуна, стучали выношенные подшипники коленчатого вала. После каждой ездки жирная горячая испарина покрывала стенки выхлопной трубы, потому что сработались и поршневые коль-

ца; едва хватало силы довести стрелку масляного манометра до двух атмосфер. Сдавало танковое сердце, расшатанные приключениями жаркой бранной жизни. В ту пору ничего грозного не оставалось в двести третьей, кроме надписи мелом по башне — смерть фашизму. На осмотре перед уходом в тыл кто-то выразился в том смысле, что полудохлый этот танк годится если не на переплавку, то лишь под одновременную огневую точку. Экипаж встретил обещание помпехи выдать новую взамен таким угрюмым молчаньем, что никто не решился нарушить дружбу людей и машины. Двести третья осталась в строю.

Биография танка была написана на его броневой шкуре. Прежде чем приступить к починке, старики завода долго и почти тельно читали эту краткую родословную корпуса, где каждая битва оставила свой неистовый и неизгладимый росчерк. И один, сам бывший солдат и отец трех танкистов, молча сдернул шапку с лысой головы при этом. То была высшая награда танку... Так, вмятина на башне была получена под Орлом, а сквозная, от болванки, рана в обе боковые плоскости — тотчас за Валуями, а пушку почти налокоть обрезали на Днестре, когда противотанковая пуля вырубала ее нарезку, но, и кульгялая, машина ухитрилась представлять ее вплотную, как пистолет, ко вражескому виску... Ей доводилось также возвращаться на буксире у тягача или даже вовсе без ленивца, выкинув лишние траки и закрепив гусеницу через каток... Эти пробоины, защиты электрокузнецом из ремонтного батальона, выглядели как ордена и медали на груди ветерана; их было девять, — «пускай добирает до десятка!» — решило начальство.

Такая привязанность экипажа к своему временному жилищу объяснялась не только воинским тщеславием. Броневая кровля, вторично пройденная по швам электросваркой в ПРБ, казалась хозяевам надежней иной новехонькой, изготовленной в серийной спешке военного времени. Даже теплилась в них уверенность, хоть и не признались бы в ней, что война уже заприметила их машину и в дальнейшем пощадит ее, со всех боков искровырянную танковой смертью. Вдобавок лейтенант обещал лично присмотреть за ремонтом, который, к слову, производили тоже очень злые на немца люди. Новая пушка грозно выглянула из бойницы, свежий мотор мог без усталости нести ее по становищам врага. Кроме орудия и мотора, они заменили рацию и коробку перемены передач, и Соболев дважды опробовал машину на заводском танкодроме, прежде чем вернулся с нею в

часть. Так началась вторая молодость двести третьей.

К бою за родные горы, родившие ее металл, за людей, ее создавших, за Сталина, который повелел ей быть, двести третья была готова. И если человеческий инструмент, каким добывается независимость поколений, заслуживает такого слова, то была последняя ее спокойная ночь перед рывком в бессмертие. Ей уже не довелось показать свои почтенные раны на большом параде по окончании войны; все же ее удел был счастливей, чем у тех, чьи распиленные тела отдали огню на переплавку, как прах героев возвращают в материнское чрево земли. Советскому танкисту некогда было заботиться об отдельном куске даже качественной стали, хотя бы он весил двадцать восемь с половиной тонн. Но будь время обдумать заранее, как умнее обозначить в веках победу, он сохранил бы это дырявое железо как образец вещества, из которого творится истинная слава. Он поставил бы эту тридцать-четверку на высоком уральском мраморе, черную и страшную, как она стала выглядеть через двое суток, с развороченным лобовиком, с листами брони, порванной на бортах и раскинутыми как крылья, точно и мертвая она собиралась лететь в одиночку на полчища врага...

Похвала танку означает похвалу его экипажу и, в первую очередь, его командиру. Войну Соболев начал водителем на двести третьей. Тогда в бой с ним ходили другие; полностью их имена мог теперь перечислить только он один, и как хотелось ему порою попить с ними когда-нибудь потом за дружеским пол-литром! У него как-то вышутилось не без горечи однажды, что жизнь его выбрала мишенью для своей иронии. И правда, желания его исполнялись, но всегда в несколько исправленном виде. К примеру, он обожал сады, и в любой его сказке, какими он коротал и без того малый досуг танкиста, непременно и под разными предлогами осыпался яблоневый цвет. Судьба же два года водила его мимо чужих и горелых садов; даже выпал такой вечер в прошлом году, когда двести третья на полном газу и стреляя прошла по цветущим плодовым деревьям, и вихрь боя не сдул с нее налипших кое-где к мазуту лепестков. И когда на торжественных собраниях части он как бы с вызовом и блестящими глазами начинал речь привычным словесным завитком: «мы, танкисты, особый народ, бензинчики... и не зря нам завидует пехотка, хоть и не обожает стоять рядом, когда нас бомбят» — люди верили, будто он затем и родился под солнышком, чтобы век гулять в газолевом чаду. Соболев обу-

чался на агронома, но стать им не смог по причинам семейных обстоятельств...

В каждой сказке у него появлялось юное светловолосое существо всевозможных достоинств и нетронутое даже нескромным взором; а жениться ему довелось на одной пышной огневолосой вдове с целым выводком чужих и рыжих племянников. Семья жила на Алтае, куда он и отсылал целиком свой денежный аттестат. Взамен и изредка приходили треугольные писульки с детскими каракулями; заметили, что разбирать их лейтенанту нравилось наедине и вслух и чтобы, по возможности, листва шумела над головой при этом. Конверты бывали склеены из синей тетрадной обложки, он прочитывал все подряд, вплоть до таблицы умножения, напечатанной на обороте... Кроме непреклонной храбрости, этот суровый, в свои тридцать лет, советский воин владел еще удивительным даром русской сказки; истоки ее терялись, верно, в таежном дымке еще ермаковско-го костерка. Повествуя, он обычно глядел в огонь походного очага, и у всех создавалось впечатление, что рассказывает ее не им, а в розовое ушко кому-то пятому — там, у далеких алтайских предгорий. Этот человек заслуживал уважения товарищей, которое на войне труднее заработать, чем приятельство или даже любовь.

Когда Литовченко пришел сюда из танковой школы, Обрядин отвел его после первого ознакомленья в уголок.

— Как зовут тебя, парень?

— Васильем, — отвечал Литовченко.

— Вася, значит? Так вот, милый ты мой Вася, — сказал Обрядин и показал глазами на лейтенанта, который правил бритву на ремешке, — тянись и уважай этого дядьку, парень. Он два раза горел на своей железной квартире... понятно? Про него, погоди, еще песню составят... и твои детки будут ее на первое мая петь тоненьким голосишечком. Он этих самых ганцев массово погубил. Из кремня сделан, но имеютя в нём розовые прожилочки...

Всегда себе на уме и насмешливый даже в опасную минуту, он произнес это с редкой для него серьезностью. Товарищеская оценка соответствовала воинским качествам Соболькова. Обрядин потому и принял свое падение без обиды на судьбу и начальство, что честному человеку роль башнера на двести третьей должна была представляться повышением в его человеческой должности. Старший в экипаже по возрасту, Обрядин имел немалый опыт для суждения о ближних. Службу кулинарному искусству он начал поваренком с двенадцати лет; последующие

двадцать пять он проплавал как бы в сладостной кухонной дреме на больших волжских пароходах, с каждым годом совершенствуясь как в добродетелях, так и в пороках, — с незначительным уклоном в последние. На вопросы простодушных, почему у него к твердой пище нет такого пристрастия, как к некоторым видам жидкой, Обрядин сокрушенно отвечал, что ею он лечит одно коварное заболевание, под названием малярия, происшедшее от долгого местонахождения у воды; малярия в нем сидела наредкость прочная, и борьбе с нею он посвятил всю свою жизнь. Все обрядинские меню носили резко выраженный антималярийный характер, причем иное блюдо способно было одним запахом отогнать на выстрел вредного комара... Бывший повар любил вспоминать былые достижения, и члены экипажа охотно внимали ему, потому что и бахвальство развлекает во фронтовых буднях, если достаточно цветисто и не направлено в ущерб или поношение другу.

— Загибаешь ты, Сергей Тимофеич, — говаривал при этом Алешка Галышев, неизменно веселый и добродушный, тот самый, кого сменил Литовченко на посту водителя двести третьей; не затем говаривал, чтобы попридержать размахавшегося артиста, а чтобы подзадорить на дальнейшее. — Это все красноречие твое. Кто ж поверит, что у тебя волчатину от куропатки не отличишь!

Обрядин лишь головой покачивал, горько усмехаясь на его преступное неверие.

— Разве ж я виноват, что таким красноречивым зародился? Ведь я кто!.. Я мастер-художник, и все у меня крутится. Ты мне налима дай... не теперешнего дай, у зимнего-то у него тело самое хорошее. Ты мне летнего дай, когда он в норе сидит, млеет... и он у меня будет плавать в собственном масле и смеяться. Я товарищу Семенову Н. П. живых гусей к столу подавал... понятно? Я... — Он залпом перечислял свои изобретения, и если некоторые из них не были художественным преувеличением, значит, целебный волжский воздух помогал пассажирам выздороветь их без вреда для здоровья. — И я могу приготовить из любого любое. А спроси меня — почему — я отвечу. Я всегда пою, когда готовлю... и весь пароход слушает меня. — Он обводил глазами затихшую землянку. — Это верно, голос у меня немножко сильный... запою — лампа в каюте гаснет, но пою я хорошо.

— Поешь ты — ровно яшница скворчит на сквороде, вот как ты поешь! — позже, через год, прерывал его Андрей Дыбок, новый радист на двести третьей. — Тебе только в печку петь... и то, как в



Германию взойдем, для остротки населения. Свои же могут слушать тебя только под хлороформом. Протрезвись, милый русский человек!

Поглаживая небритые щеки, Обрядин подолагу глядел в грязный и натоптанный пол, прежде чем поднять глаза на обидчика.

— Эх, парень... гроб, и тот серебром оклеивают, а тут сердце с тоской перед тобой лежит... Соври, укрась, непонятный! Вот, и красивый ты, а холодный, не погреешься о тебя. И слова твои жесткие, колючие... из них только настойку от клопов делать!

Разговор таким образом упирался в отвлеченные темы, и тогда, чтобы не плодить разногласий, вмешивался Собольков.

— Ладно, хватит тебе, Обрядин. А ну... скажи за жигалка!

— Ну... жигалка, — старательно и сначала сосредоточась, чтобы не промахнуть, выговаривал башнёр, и это служило верным признаком, что уже завелась у него очередная приятельница в окрестности.

Как всегда, Собольков пророчил в этом месте, что еще доведется Обрядину поразвлечь пехотку своими приключениями, и беседа мирно возвращалась в прежнее русло, какова должна быть плотность электролита в аккумуляторе при морозе больше или меньше сорока или — что за вещество такое в нынешних снарядах, от которых свеженькие танки разваливаются в железную щепу.

Обрядин любил песню, но слушать его полагалось в землянке, в ненастный вечерок и, желательно, в канун большого военного дня; поэтому и невозможно было ему прославиться пением, равно как игрой на трофейном, с перламутровыми пуговицами, полбаине, разбитом при бомбежке. Сей незадачливый повар умел много песен, шуточных и сиротских, украинских, татарских, даже башкирских, в особенности часто доставалось от него грузинке Суайко, и все получались у него на один манер, во всех одинаково скрипывала старинная русская рябинушка. Голоса ему было отпущено достаточно, даже больше положенного по норме, но репертуар свой он выполнял таким натужным и щемящим фальцетом, что всякий раз приходилось заново привыкать ко вступлению. То бывало не менее трудно, чем выйти из теплого дома за околицу и отдаться на милость мокрого осеннего ветра. Зато привыкнув, уже нельзя было оторваться от обрядинской песни, где каждый слышал свое, одному ему желанное.

Когда Сергей Тимофеевич заводил ее, подлазая глазами, укрепляя локоть на колени и зачем-то кончиками пальцев держась

за мочку уха, — чудилось всем — какой-то иной, прекрасный голос вторит певцу от своей беспокойной силищи, которой ни почем любой всемирный подвиг. Иностранец ни черта не понял бы в этой тайне — откуда оно берется, влекущее и страдное очарование русской песни, потому что не в звуках тут дело, и не в словах; к тому же их без зазренья совести всегда перевирал Обрядин. Нет, например, и не было такой песни на свете —

...в низенькой светелочке огонек горит,  
молоденькая пряха за столом сидит,  
а ветер занавесочку тихонько

шевелит...

как, равно, и припева к ней — «лодка да сети, сети да лодка», в рамку которого он неизменно заключал начало и конец. Но неспроста однажды, после такого сеанса, обронила с затуманенным взором Собольков, что Россию следует любить именно в непогоду, а при ясном-то солнышке она и всякой сволочи мила... Плотный, плечистый, щекастый, Сергей Тимофеевич всегда уставал от песни.

Будучи женат, но по условиям деятельности находясь в разъездах, Обрядин постоянного местожительства не имел, но в любом климатическом поясе мог бы он обрести верное пристанище под старость. Из всех больших и малых населенных пунктов, где случалась хоть трехдневная стоянка, наперебой приходили к нему тихие и благодарные бабы посланьница, без упреков или напрасных надежд; зная наперед их содержание, Обрядин их не хранил и, кажется, даже не читал: сердечные свои дела он считал настоящими пустяками. Про жену он говорил со сдержанной жалостью, что она еще подождет его лет двадцать, а потом умоет проплаканные глазыньки и еще лет десять подождет.

Хотя он секретами ни с кем не делился, догадывались, что сердце женское он брал именно на песню, как уточку на манок: жертвам его нравилось, что про грустное поет, а сам улыбается... Каждый член экипажа мог в подробностях рассказать жизнеописание соседа; в танке рождается особая душевная связь, которой даже оскорбительна была бы неосторожная поспорония похвала. Поэтому повар и не любил передавать в подробностях, как целых три километра тащил из боя Алешку Галышева и как добило Алешку осколком мины у него, у Обрядина, на спине.

Стало все известно и про Андрея Дыбка, хотя и слыа выдающимся молчаливым; шутили, что даже в школе он избегал отвечать устно, а стремился — письменно. В корпус он пришел из артиллерии, где потерял мизинец на левой руке. Думали, что этот изъян, нанесенный его

стройному, гибкому телу и является причиной его особой ненависти к немцам, одетым в военную форму. На самом деле, молчание вошло в него несколько раньше, когда оккупанты растерзали на Кубани его сестренку, студентку архитектурного вуза, и умер от горя его отец... Сблизился он только с покойным Аleshкой, и то — как выяснилось, что тому известен адресок сестры, в переулке у Савеловского вокзала, куда неоднократно провожал ее после театра. Галышев узнал невесту по фотографии, наклеенной в танке, возле листа с позывными и рядом с одной необыкновенной красоткой из американского журнала. Судя по хрупкости сложения, эта маленькая киноактриска квартировала верно в какой-нибудь апельсиновой роще посреди Флориды, совместно с заграничными мотыльками, не живущими в наших русских снегах. Товарищи терпели помянутую картинку, раз она помогала их стрелкуну в бою. Только раз, дивясь такому постоянству в привязанностях, попрекнул его мимоходом Обрядин:

— Эх, нашел себе... влюбился в статую. У ей же головка глиняная. А доверился бы ты мне, Андрюша... выбрал бы я тебе заволжскую королеву. Засмеется — пар из-подмышек идет... понятно?

— Пар из-подмышек не может идти. Этого не бывает, — разумно и жестко возразил Дыбок, — если только ты не на русской печке хочешь меня женить.

С той поры экипаж примирился на мысли, что если бы эта случайно-волшебная штучка узнала про выбор русского танкиста, про высокую честь находиться в советской тридцать-четверке, плала бы вдвое лучше свои песенки, и человеческой тревогой наполнились бы ее праздничные глаза, беспечальные ее юбки.

С гибелью друга стала еще заметней замкнутость Дыбка. Все считали его старше двадцати шести лет. Брага он разил попрежнему и как-то очень спокойно, но не по равнодушию, невозможно при его горячности, а потому что это умножало меткость его руки. За полгода дружбы Галышев выцедил, однако, из Дыбка, что побывал он и столояром и слесарем-инструментальщиком, причем добился шестого разряда; пробуя силы в сельском хозяйстве, скосил однажды двумя комбайнами сто два гектара и, наконец, в качестве мозаичника выложил знаменитый пол на консервном заводе у себя, в Крымской: только в валенках по нему и ходить из опасения попортить или оскользнуться. Семья у него не была, он не торопился, он пока только примеривался к жизни, и все почтительно понимали, что этот аккуратный, всегда такой чистый и как бы со стиснутыми зубами человек успеет совершить на своем веку все ему положенное, отом-

стить за мертвых, запомниться живым, размножиться в потомстве, да еще останется время подвести итоги.

— Орел, казацких кровей... я таких знавал, — говаривал Обрядин при Дыбке. — Вижу тебя, как ты в Кремль по ковровой лестнице поднимаешься. Я к тебе тогда в гости придю... и пусть твоя дочка мне сто грамм на серебряном подносе вынесет. Не прогонишь?

— Приходи, — совсем серьезно отвечал Дыбок.

Все это были обыкновенные люди, и Литовченке лишь потому представлялись особенными, что он их разглядывал вблизи, как бы через увеличительное стекло. Он пришел сюда простоватым паренком, таким молодым, что еще помнил наперечет все прочитанные им книжки. Так и ждал бы он у себя на деревне часа, когда по приходе Красной Армии вызовут его повесткой в военкомат, если бы не происшествие с куренком, о котором в ночь разгрузки рассказал Обрядин генералу. Удар немецкий офицер его мать, паренек убил бы его сзади, без раздумий, как падает камень с горы, и все закончилось бы на протяжении вечера. Но тот лишь замаялся, и мать так странно, точно хватаясь за соломинку, взглянула на сына, который с топотом стоял у каютики и деревянно улыбался. Только через час внезапная ярость на свое постыдное бездействие вытолкнула его, дрожащего, из дому. Он не мог простить себе минутки неуместного молчания, он искал обидчика и плакал при этом. Удачливая звезда увела того из деревни. Это была самая длинная ночь в жизни Литовченки. Поочередно, то белесый и стриженный немецкий затылок, то боязливые глаза матери — не за себя, а за последнего своего хлопца! — плали перед ним в тумане. Ближ рассвета попался ему на опушке свежий, по охи и белесый пенек; Литовченко всадил в него по обухок свой топоришко и, может быть, ждал, что тот застонет... Так из полудетского стыда и муки родились решимость воина и достоинство человека. Он не вернулся к матери на печку. Но еще целый месяц дразнила его судьба, заставляя без выстрела валяться в партизанских дозорах пока не послали с поручением за линию фронта. Специальность тракториста определила дальнейшее. Танк и раньше привлекал его мальчишеское любопытство: танк показался ему чудом, едва понял, что этим комбайном можно собрать десятикратный урожай мшечья.

Новая его семья так и не поняла, в чем тут дело; на войне некогда решать сложные душевные уравнивания. Его крайняя молодость заставляла сомневаться в стойкости новичка, имевшего всего десять часов самостоятельного танководения. Да и представлялся он этим требовательным.

обстрелянным людям словами — «сержант Литовченко прибыл», упустив положенное — «для продолжения службы». Дыбок даже пророчал что-то про пуссики, которые норовят потом завести танк в трупобинку, чтобы отсидеться от боя. К счастью для него, Литовченко не понял. И только Собольков, рассмотревший злую искорку в его зрачке, оценил человеческую добротность этого юного паренька с румянцем и бровями девушки. На досуге тыловой стоянки он терпеливо делался с ним всем, что познаёт мастер в долговременном общении с материалом. Здесь были не только проверенные танковые истины вроде тех, что танк с плохим башнером — железная телега, а при плохом водителе — мишень с пушкой, — или, что в танке гореть не страшно, если метко стрелять до последнего огонька. Командир научил Литовченку искать большой политический смысл в самой малой, порученной ему задаче. И лишь после усвоения всех танковых основ он подарил ему, как брату, главный секрет победы, который усталому мускулу придает хромоникелевую прочность.

— Считай то место, Вася, где ты находишься, за самую главную точку на земном шаре... а все остальное только прилежащие окрестности. И потому думай, что нет тебя важней у Сталина, и он тебе всемирную историю вести поручил. Поэтому что история, милейший Вася, это тоже танк... держи крепче руки на рычагах!

Остальное — как натянуть сбитую гусеницу в бою или отремонтировать сцепление, Литовченко знал и сам. Все же, для проверки, Собольков в первый же день приказал ему завести мотор на двести третьей, только что вышедшей из ремонта, и провести машину через заранее намеченные препятствия... Танк плавно поднялся из капопира, слегка встав на дыбки и как бы учуяв волю нового хозяина, и все отметили, что водитель не помял вишенки при этом, стоявшей по левому борту. «Ничего, подходяще... действуя так!» одобрительно молвил Обрядин, словно Литовченко мог слышать что-нибудь за гулом своего железа. С высокой церковной паперти экипаж следил, как, перевалив канаву, танк вошел в поле, спустился в указанную балочку, пропал на минуту, и когда все решили, что заглож у него мотор, с дельной сноровкой принялся карабкаться вверх по крутой и вязкой глинке; утром прошел дождь, всюду солнце сверкало в лужах... Обратная дорога была прямая, Литовченко согласно условию дал полный газ. В сущности, испытание закончилось, Обрядин полез за табачком. Покачивая пушкой, не сбавляя скорости даже в виду села, машина неслась обратно, когда одно непредвиденное обстоятельство заставило

умолкнуть всех, даже ребятишек, собравшихся в изобилии насладиться зрелищем гонки.

Улицу переходил котенок. Никто не обратил внимания, как он появился на пути танка. Осторожно, стараясь не запачкать лапок, он перебирался через изрезанную колеями дорогу. Грохот приближался, но котенок не ускорял походки; состоя в коротком знакомстве со всей бригадой, он чувствовал себя в доброй безопасности; хромота на левую заднюю ногу также замедляла его путешествие. Зверь был явно нестоящий, его и разглядеть трудно было за пластами глины, а водитель торопился завоевать доверие экипажа. Стало поздно спасать его или хотя бы кинуть щепкой, если бы наплась поблизости. На мгновение все как бы выросло на вершок, и тогда Литовченко, сработав рычагами, ловко как пулю провел свои двадцать восемь тонн в узкий промежуток между ветхим колдцем и дурашливым существом, невозмутимо продолжавшим прогулку... Это и был Кисо, пятый, сверхштатный член экипажа.

Если бы не война, где особо ценят всякое проявление жизни, Кисо не сделал бы такой карьеры. Был он головаст, кошачьей грацией или подхалимством не обладал, вдобавок отличался крайне непрактичной бело-рыжей мастью. За ухом у него образовалось несмываемое пятно от ласкальных прикосновений танкистских пальцев. В штаб корпуса эта смешная фигура пришла из сожженной деревни, где еще дымилась головешка, — ее последний житель, вышедший приветствовать освободителей! Нельзя было немцам ни сожрать его, ни угнать на каторгу, и, видимо, убийца пожалел на него патрона. Кто-то сунул зверя за пазуку, скорее для забавы, чем из милосердия; через неделю ему подбила ногу при бомбежке на Кромской операции, а фронтовик умеет окружать незаметной и трогательной заботкой всякого, кто делит с ним опасности военного существования. Кисо быстро сдружился со всеми, и если не дремал на кухне, обдумывая очередные мероприятия по борьбе с мышами, от которых в том году приходилось даже окатывать землянки, то изучал окрестность, навещал в непогоду часовых или запросто заходил в штаб посидеть у главного хозяина на карте. Лично ему больше всего нравилось, когда член военного совета гладил его своей пятерней, способной привести в замешательство любого нибелунга. Однако после того, как Кисо, решив поделиться с ним добычей, разложил у него рядком, на байковом одеяле, шесть штук безжизненных мышей, его постиг гремучий гнев богов. Случилось это ровно через сутки после обрядинского падения: они как-то снурха-

лись в тот горестный вечер и оба решили, что штабная работа не соответствует их деятельным натурам. К сожалению, Кисо малярией не болел и с негодованием отверг те пять капель лекарства, которые Обрядин, якобы, пытался влить в горло приятелю. Впрочем, иные шутники по-другому объясняли происхождение царапин на обрядинском лбу: Обрядин покидал на селе двух красоток разом.

С тех пор Кисо поселился на боеукладке, в пушистой шубе одного немаловажного итальянского чина, сбиравшегося присоединить к Италии Сибирь. Не загадывая наперед, кто приюжит его, хромого и безродного, по окончании войны, Кисо участвовал во всех операциях корпуса и через Днепр переправлялся сквозь такой шквал огня, что танкисты предполагали выдать ему голубую ленту на хвост. До него в любимцах двести третьей состоял медвежонок, оказавшийся не портативным в условиях походного существования; его целую неделю с успехом заменял один беспризорный гусь, Петр Григорыч, но, как на грех, тут подоспело празднование по поводу вручения гвардейского знамени, а дружба человека с гусем всегда носит несколько односторонний характер; к тому же Петр Григорыч был ужасный крикун... Кисо содержал в себе достоинства, недостаток которых в такой степени повредил его предшественникам. Вдобавок, будучи философом, он разбирался и в людях; так, он не одобрял порывистых замашек стрелка-радииста, зато очень ценил в механике-водителе его склонность к раздумьям, позволявшую подолгу сидеть на его теплом, удобном колене... И в ту ночь, в канун последнего боя двести третьей, едва Обрядин ушел наверх сменить Дыбка, Кисо немедленно перебрался под шинель к Литовченке.

Тот спал беспокойным сном. Вереница людей в чужой, зеленоватой одежде уходила от него в обратную сторону; он видел ее из танка и с расстояния, как раз необходимого для разгона. Сердце немело от ненависти, а нога судорожно выжимала полный газ, но никакая сила не могла сдвинуть пристывшего к месту железа... Обветшалый накат землянки, источенный мышами, пропускал влагу. Свечера никто не заметил капли. Вещевой мешок под голову просырал с одной стороны. Литовченко открыл глаза и сел на нарах. Рядом неслышно спал Дыбок, такой же подтянутый и статный, словно и во сне взбирался по ступеням большой жизни. Тягостный мглистый свет утра пробивался в продолговатую щель окошка, окаймленного снежком. Освещение было недостаточным, и горела свеча. Огарок стоял между квадратным зеркальцем и лицом Соболькова, который брился. Он совершал это старательно и не

спеша, следуя правилу: любое дело исполнять так, как если бы оно было самое важное в ту минуту на свете. Он слегка улыбался при этом, словно видел что-то дополнительно в стекле, тесном даже для его собственной щеки. Как всегда, он поднялся раньше всех, и уже посвистывал чайничек на печке, сооруженной из немецкого бензобака.

— ... пора?

Собольков ответил не сразу, а может быть просто голос его должен был просечь какие-то необозримые пространства, прежде чем достиг Литовченки.

— Теперь скоро начнется, — сказал лейтенант, возвращаясь, но улыбку оставил там, где-то в предгорьях Алтая. — Здорово бился во сне... испугался чего-нибудь?

— Бык меня бодал. — Ложь ему далась легко, тем более, что до события с куренком это детское приключение бывало самым страшным из его снов.

— Так вот, ничего не бойся, Василий, — сказал Собольков, намывая другую щеку. — Страх, это... как бы тебе сказать, тоже вроде уважения, — только пополам с ненавистью. А фашиста уважать не за что, проверенную правду тебе говорю.

— Ничего не боюсь, — твердо как в клятве сказал Литовченко.

— Не зарекайся, — продолжал Собольков, и брился начисто, точно на смотр отправлялся или свататься к невесте. — Я и сам этак-то в первом бою... а как зачали огоньком по стенкам стучать, чую... лицо у меня нехорошее стало, низменное сделалось у меня лицо. И тогда стало мне так смешно на себя! И тут второе правило: как нахлынет на тебя это самое, телесное, ищи кругом смешного... война любит иной раз крепко посмеяться!.. К примеру, теперь уж можно сказать, очень я у себя, на Алтае, этим манером итальянцев уважал. Немцато хоть на Волге видал, ничего особенного, только окурков наземь не кидают, а этих еще не доводилось. Было время, весь мир под себя подмяли... Правда, мир тогда невелик был, вполсибири!.. И вот, как посекали в тот раз Италию русские танкисты, взяли мы в плен трех ихних генералов... в Вендзелевке, под Валуйками. Там еще конница Соколова из шестого корпуса действовала, только ее мало было...

— Ну-ну... генералы-то! — жарко, как всегда слушают новички, напомнил Литовченко, придвинулся ближе и машинально погладил голый подбородок.

— Куда!.. Тащились они, бедняги, пешком сто километров, подзябли, конечно. Младшенькому из них пятьдесят четыре годика. Ну, привели, выдали им по сто грамм. ... Усы гладят, стгаивают помаленьку, очень были довольны. «Мы, в Италии, говорят, не любим, когда холод». А пёс его любит, отвечаем, с непривычки-то!.. И каждый записал себе на бумажке,

кто его в плен взял, на память. И меня тоже записал один... страшный такой, лицо вовнутрь продавлено, и оттуда водою жесткий, как из дивана. Говорит мне по-своему, хорошо, дескать воюешь. Ничего, отвечаю, если потребуется, еще раз в плен возьму... пожалуйста! Что рано отвоевались, спрашиваю, мы только в разгар входим? Молчи-ит, стесняется... — Собольков встал и погасил свечу. — Вот она какая, война-то!

Свету в окошке прибавилось. Время не торопилось. Собольков успел вытереть лицо и, завернув старенькую бритву с огарком в тряпочку, спрятать их на дно походной сумки, когда вошел Обрядин. Он принес с собой лишь одно слово, и сразу все от него пришло в движение, и Дыбок был уже на ногах, точно только и ждал тревоги. Литовченко обвел всех шурками вопросительными глазами: ему казалось, что это начинается иначе. Он слышал, будто в последнюю минуту перед боем обычно пишут письма на родину или заявления в партию, и даже заготовил для колхозных подростков, с которыми недавно гонял голубей, прощальную фразу, полюбившуюся ему за красоту — «а больше писать нечего, идем в бой». Второпях он поискал взглядом, с кем бы обменяться адресками, чтобы сообщить родным, если что... но каждый заканчивал свои личные дела, без признака волнения даже, только стали на минутку суровее, как перед дальней дорогой, и он понял: именно здесь глубже всего понимают жизнь и даже мысленно не называют имени ее могучей соперницы... Все были готовы, и еще осталось маленькое время на вопрос, возникший у Литовченки при пробуждении. Ему заранее хотелось узнать, слышно ли из танка, когда гусеница наезжает на человеческое тело, хотя и помнил из рассказов, что железо станковых пулеметов беззвучно гнется и сплющивается при этом.

Вместо лейтенанта, который застегивал шлем у подбородка, утолить его любознательность вызвался Обрядин.

— А это смотря по тому, милый ты мой Вася, кто тебе попадет, — с видом опытного знатока таких дел пояснил он. — Венгерец, например, попискивает, деликатно так пищит, а немец похрустывает... Понятно? Что касается румына, то он под тобою только лопается, как рыбий пузырь... приходилось тебе большую рыбину потрошить?

Насмешливые и только чуть более обычного блестящие глаза смотрели отовсюду на Литовченко. Все по-разному и неправильно оценили его смущение. Собольков дружественно коснулся его плеча:

— Ничего, это сейчас пройдет. Это — есть телесное. А ну... по машинам!

Дыбок пихнул дверь ногой, серенькое утро охватило их пронзительной сыростью. Литовченко услышал знакомый, как бы утешающийся свист, и хотя кто то пригнул его вниз, воздух смаху ударил ему в уши и по глазам. Когда он снова открыл их, земля оседала; длинная жердистая сосна, треща и сбивая сучья с соседей, падала прямо на него. Вершина ее с нахлестом легла на мокрый снег, но оказалось далеко, и брызги не долетели.

— Чего, война, кланяешься? Уж видались... — сквозь зубы сказал Обрядин и, потянув носом воздух, озабоченно взгляделся в глубину леса. — Щами пахнет. А ведь это, пожалуй, щи погибли, товарищи. — Потом лицо его прояснилось. — Нет, то не щи... при щам Иван Ермолаич состоит, а ему ворожейка нагадала сто лет жить да сто на карачках проползать... Ворожейкам веришь, лейтенант?

— Не трепись, — сухо сказал Собольков.

Иван Ермолаич был батальонный повар, который, вскоре после появления нового башнера в бригаде, стал страдать приступами неизвестной болезни. Наверно, то была малярия, как верная собака бродившая по следам Обрядина.

Противник стремился прощупать границы расположения корпуса.

Слабое и множественное гуденье висело над лесом. Невысокая облачность мешала разведке спуститься ниже. Изредка между деревьями вставали тугие жгуты как бы из железных опилок, скрученные свирепой магнитной силой, но в узкой щели перед собой Литовченко не видел ничего, кроме угла землянки, где провели ночь, да прикипявшей вплотную ветки лесной калины с красными, водянистыми от заморозка ягодами. Моторы работали на малых оборотах, зенитки молчали. Экипажи наготове сидели в машинах, только командиры поглядывали из башенных люков. Время от времени, заслышав свист, Собольков оповещал своих — «держись, хлопцы!» — и опускал стальную вьюшку над головой. Следовал гулкий раскат пополам с древесным треском; всякий раз после того чуточку светлело, как всегда бывает на лесосеках. Летчик бомбил вслепую. Унизительное, даже подлое самочувствие мишени зарождалось от вынужденного бездействия; было томительно наблюдать из дрожашего от нетерпенья танка, как лешком тащится время.

Чтоб побороть гнетущее чувство холода и неизвестности. Собольков вто-

рично и в деталях разъяснил боевую задачу: вместе с первым эшелонам прорваться сквозь пятиминутный заградительный огонь к переправе, в направлении геодезической вышки, видимой отовсюду, и ждать второго сигнала в низинке у речки Стрыни, где изгиб русла и обрывистые берега надежно укрывали от обстрела; позже надлежало взять на броню мотопехоту, чтоб по красной ракете совместно ринуться на передний край врага, — передовая проходила в двух километрах оттуда... Так ждали они знака к выходу, но его не было. Самолеты ушли, в танк сочился разноголосая, похожая на шопот, переключка инструментов войны. Уже раздумывали, как скоротать время, пока приказ от верхнего Литовченко докатится до Литовченки, находящегося внизу. Вдруг два беззвучных по неожиданности смерча поднялись по сторонам ночной землянки и, ухватив ее с подмышек, вышвырнули наверх со всем деревянным пожитком. Как бы понукая к действию, волна толкнула двести третью, мотор заглох, и та же как бы ухмыляющаяся сила раздавила ягоды о триплекс; было видно, как розовые звездочки текли, пересекая смотровую щель. Дальнейшая стоянка становилась опасней самого оя. Соболюков увидел комбрига, который ежал вдоль капониров, махал рукой и ричал — «пошли, пошли...» Тотчас же, зрелев и давя пеньки, штук тридцать риземистых тел стали вылезать на поверхность.

Успокоенье пришло, как только покинули свои ямы. Танк до краев налился металлическим звуком, все пропиталось им до последнего болта; Литовченке казалось, что и сам он начинает звучать ноту со своим железом. И стало совсем легко, когда еще не заслуженное поле открылось за опушкой. Далеко шереда маячил сквозной удлинненный треугольник вышки, куда шли, но ближайшим ориентиром движенья был разлушенный домик, который на карте злился цветущей, в яблонях, усадьбой. Иные недолговечные деревья, сменившие их, изредка возникали теперь в слящем, после лесных сумерек, утреннем пространстве; было что-то собачье в том, как они с громовым лаем перебежали с места на место, потрясая черной неистойвой листвой. Количество их удесетерилось, едва последние танки первой очереди покинули лес. Одно выросло как раз по левому борту, самое гривастое. Большой осолок с близкой дистанции ударил двести третью в лобовик над водителским люком; она шатнулась, сразу отменились все смотровые щели. Отбитая покраска пополам с искрами, как показало Литовченке, больно стеганула по ли-

цу. Танк продолжал свой бег, и Соболюков уже не сомневался в водителе; он не знал, что за мгновение перед тем новичок сорвал кровавой мозоль о рычаг правого фрикциона, и эта маленькая боль в ладони спасла его от неминуемого шока. Двести третья извернулась, нырнула в кромешный мрак, и в момент разворота, сквозь падающую землю, Литовченко увидел всю шеренгу своего эшелона.

Она весело мчалась по бескрайней пойме, в проходах среди минных полей, заранее обозначенных хворостинками; пестрый вал метели оставался позади. Они мчались, поминутно меняя курс и словно издеваясь над неточным боковым обстрелом, почти в ровном строю, кроме нескольких машин, что несли на себе груз саперного леса; одна, самая быстрая, уже шлыала, но ускоряла бег, как бы в надежде сбить пламя ветром... Мчались, покачиваясь пушки, и пока без единого выстрела, потому что ничего не было впереди, а только sereneчный предзимний пейзаж с рванными, еще дымящимися проталинами да еще высокий противоположный берег с висящими над ним дымами. Передние уже вступали под его укрытие, и, как бывает иногда в начале боя, обстановка и местный замысел командования стали до мельчайшего штриха понятны самому неопытному солдату, но не разумом пока, а каким-то первичным физическим ощущением.

За ночь немцы форсировали Стрыню дополнительно и на южном участке, пробив еще километр в нашей обороне. Сплошная завеса заградительного огня сдерживала их левофланговый напор, и не стоило гадать, что случится, если устанут пушки или приостановится поток боепитания. Крохотный плацдарм оставался за советской пехотой на том берегу, все стреляло там. Под прикрытием ее смертной доблести и готовила свой маневр тридцать седьмая. Таким образом получалось центробежное вращенье двух полярных волей, где осью служил домик садовода и где запоздавший обрекался на окружение и гибель. Именно в это место на карте и смотрел сейчас большой Литовченко на своем КП... Там, наверху, уже начался военный день, а здесь, под обрывом, было еще тихо, как в раю во время земетрясения, по определению Обрядина, когда экипаж вышел из танка помочь саперам. Сложив оружие в сторонку, мотопехота совместно с ними прорубала крутую дорогу сквозь нависшую осыпь или подтаскивала к мосту многометровые тесаные брусья; они представлялись лучинками в присутствии самоходных орудий, тридцать-четверок и танкеток, что в просторечии зовутся малютками, — встревоженное стадо, сбившееся у водооя. В обступившем ар-



тиллерийском грохоте не было слышно ни дробного стука топов, ни шума незаглушенных моторов; те, наверно, могли подумать, что товарищи просто отсиживаются от бури, не торопятся, стремясь насладиться терпким запахом смолевого дерева, прежде чем войти в горячий смрад машинного боя; но они торопились, так как немецкий наблюдатель должен был когда-нибудь разгадать значение щепы в медлительном зеркале Стрыни... Тут пошел снег.

И опять железное войско ждало своей ракеты, пока танкисты яростными жестами бранились с саперным капитаном и все показывали на обрыв, откуда при каждом сотрясении струился мелкий, еще не намокший песок; более нетерпеливые и злые спустились в реку и шарили броду по пояс в воде... Уходя к своим на подкрепление, Соболюков не забыл взглянуть на приборы водительского щитка. Температура масла достигала 105°, — судя по запаху, главный фрикцион был перегрет, для воды оставалось лишь три деления на циферблате. Не столько тяжкий путь по пашне был причиной такой перегрузки, сколько волнение водителя, который с непривычки к огню явно задержал танковое сердце. И лейтенант мельком порешил дать при случае полную волю Литовченко, чтобы упоением танкового могущества исцелился от ребячьей и такой понятной нерешительности. В эту минуту Соболюков и разглядел Кисо в потемках танка. Неизвестно, когда тот успел забраться в свою походную квартиру, и представлялось уже несправедливостью выкидывать теперь за борт этого вполне заслуженного ветерана. Таким образом на операцию экипаж уходил в полном составе.

Литовченко видел через люк, как тот поднял котенка и, прищурясь, заглянул ему в глаза.

— Что ж, воюй, Кисо, зарабатывай себе место под солнышком, — сказал Соболюков и, поймав на себе взгляд Литовченко, стал выбирать из танка. — Вот, посмотрим, что она означает... тихая и грозная судьба человека, — добавил он совсем непонятно, глядя на высокий берег с вихрами седой и мокрой трясущейся травы. — Только помни, Вася... судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех, кто победить хочет! — Голос был не прежний, соболюковский, да и поучение относилось скорее к самому себе, чем к этому простодушному пареньку, — как следствие минутного замешательства, нехотенья чего-то или от горечи внезапного открытия, что и жизни он жаждал не меньше, чем победы.

Литовченко зарделся, ему стало неловко от непривычной командирской откровенности, хотя в сущности ничего и не

произошло; кроме того, он еще не знал, что означает взрослое городское слово судья и что полагается отвечать в таких случаях. Он поднял на лейтенанта прямые ясные глаза, и тогда, смутясь, тот ушел поспешно, запретив водителю далеко отлучаться от машины.

При самом беглом взгляде на окрестность делалось понятным запоздание с переправой. Судя по незаконченным окопчикам, еще недавно здесь пытались закрепить горстка немецких автоматчиков, и ее вышибали отсюда врукопашную, ценою потерь с обеих сторон. Литовченко обошел место схватки, всматриваясь в лица павших. Хотя это сглаживает различия, их легко было распознать издали, — немцам не успели выдать в срок маскировочные халаты. Враги лежали рядом, иные почти в обнимку, как бы продолжая сражаться и теперь. Павших было меньше; один — рябоватый, смуглый и скуластый — лежал на спине, грудью навывкат и с закинутой под голову рукой, как спят богатыри. Глаза были открыты, губы растянуло полуулыбка, словно среди пасмурного неба встало вдруг над ним жаркое казахское солнце. Снежинка упала в его округленный покоем зрачок и не таяла. Литовченко отвел взгляд к артиллерийской воронке, которой не заметил вначале... На дне ее скопилась подпочвенная вода. Там валялся обыкновенный, весь целый, гитлеровский солдат. Ноги тонули в ледяной жиже, а руки были широко раскинута, будто хватить хотел ее всю, украсит, унести с собою — чужую землю вместе с ее сокровищами, святынями и этим тоскливым хлюпающим снежком... но оказалась тяжелой, и нехватило объятий, и он поник тут, пугало Европы, бессильный даже отряхнуть снег с былинок, торчавших меж его разведенных пальцев.

Он мог бы рассказать много — как росла, крепла и потом сокрушилась германская мечта о самородном русском золотышке в распадах сибирских гор, о тучных рыбных стаях в тесные полноводных рек, о волшебных куполах, всегда манивших немецкое око, о самом солнце, что нисходит на землю в этом государстве в обликах нефти, хлопка, пшеницы и вина; он мог бы похвастаться, как началось бредовое шествие железных пауков по чужим столицам, этим начальным ступенькам к синим хребтам, за которыми раскинулись блаженные страны Азии, земной рай с даровым шнапсом, где закуска растет на деревьях, где гурий можно брать на гробницах непобедимых царей востока, — где дозволено, наконец, утолить темное зверство, прикрытое веками германской дисциплины. Это была бы длинная повесть, как они отправлялись в поход, провожаемые криками женщин:

«убивайте их, убивайте в Америке и Азии, убивайте везде... мы отмоем ваши руки!», и как их встретила непогодная пучина России, где поржавело их железо и обвяла душа, и как они, огрызаясь, ползли назад с распоротым брюхом, и каждый камень рвал их внутренности, и каждый куст стрелял вдогонку. Он знал много, но мертвые—плохие рассказчики. И хотя украинский тракторист не умел проникнуть в знаменья истории, он гадался, над чем улыбается невдалеке спокойный и чуть иронический казак.

Завоеватель лежал в позе вора, стремящегося уползти, с подогнутым коленом и уткнувшись лицом в край ямы. Белобрысый затылок напомнил Литовченке мину, шрамом оставшуюся в памяти. Рядом, затоптанные в снег, валялись улитки — автомат, походная шарнирная лопатка и еще какой-то неузнаваемый утиль войны. Литовченко увидел опрокинутую каску. Он пошевелил ее носком сапога. Талая вода кривой струйкой, как из чайника, полилась из пробойны. Дыра приходилась над самым надбровьем, с лучами трещинок, как кокарда; прицел был хорош. Кто-то встал рядом с Литовченкой, но он не пошевелился, как зачарованный следя за струйкой.

— Не тот? — спросил голос над самым ухом, когда каска опустела.

Это был Дыбок. Не насмешка, а лишь нетерпение читалось в его заметно похудевшем лице; ему хотелось скорее исполнить все, с чего начиналась его большая и умная житейская дорога.

— Не-ет... тот постарше и с плешинкой был, вот тут, — нехотя протянул Литовченко и показал на затылок; но даже не в плешинке было различие, а в том, что не доставило душе сытости созерцание этого застигнутого на месте вора.

— Ищи его, парень... крепко ищи! Не только врага, но себя прежде всего ищешь... — с особым значением сказал Дыбок.

— Где-то рядом ходит, всякую минуту чую его близ себя... — начал было Литовченко, и вдруг побежал к машине: уже падало над лесом алое яблочко сигнальной ракеты.

Дорога вверх была открыта, но одна дружная батарея без труда истребила бы здесь, в проходе, целый корпус по мере того, как он стал бы выбираться из низины. Какой-то чудак, в пылу усердия, раскидал дымовые шашки вдоль берега, не загадывая, что из того получится, и теперь немецкая артиллерия перенесла огонь по этой подозрительной клочковатой тьме, что, подобно чернилам в воде, распускалась во все стороны. Она клубами стекала с обрыва, ее рвали смерчи разрывов, в нее, как в туннель, незримые и незрячие уходили облепленные десанниками танки. Одновременно немцы разгля-

дели обрезки теса в реке. Десяток тяжелых мин с большим перелетом упал на пойму. Если бы Соболюков вскопал в свой люк мгновением позже, он увидел бы, как, пошатываясь и с раскинутыми руками, поднимались некоторые мертвецы, точно возобновляя сражение, и это нестерпимое зрелище стало бы заключительным в его жизни. Советские батареи открыли ответный огонь..

С полуоткрытыми люками, чтобы не протаранить соседа и не свалиться с обрыва, танки распространялись в чернильной ночи перед броском в атаку. Еще до того, как вышли из завесы, Дыбок принял по радио хриплую команду «одиннадцать», что, по условию, означало, «развернись», и следом за тем «сорок два». Больше приказов не поступало: у двести третьей осколком сбило штырь антенны. Не сразу пришло в память, чего требовала последняя команда — заходить углом слева или увеличить скорость. — Соболюков приказал и то, и другое... Все смешалось и загремело. И оттого, что каждый раз в бою надо приспособляться к обстановке и даже смириться с чем-то, все пока молчали, кроме лейтенанта. Три души, три человеческих педали находились подле него, и он жал на них словом, шуткой и авторитетом, доводя отвагу до уровня самозабвенного ликования, — без него немисливо преодоление животных инстинктов, которыми жизнь вслепую обороняется от гибели. Казалось, провода переговорного устройства принимали к самому мозгу, и туда, до боли громко что-то кричал Соболюков в похвалу двести третьей, ее прочности и резвости, а Литовченко односложно откликался, всем телом вслушиваясь в ровное машинное биенье за спиной. Ему то чудился подозрительный звон в трансмиссии, то мешал четкий и частый стук о броню, точно кто-то просился войти снаружи; ни разу не побывав под крупнокалиберным пулеметом, он с отчаяньем принимал эти звуки за прощальные сигналы десантников, вдруг ставших ему ближе всякой родни.

Те еще держались, хотя огненный ветер обстрела слудал все стороннее с брони. Танки приближались к переднему краю. По существу, до этого места курс двести третьей зависел скорее от удачи да еще от того, с какой стороны возникла глыбистая падающая тьма, чем от умения водителя. Только теперь Литовченко привлек к скачкам смотровой прези, — она то надвигалась, то уносилась вдале, то становилась почти вертикально, когда хлестала бортовая волна. Сперва он различил лесок впереди и перед ним бугристое поле, где металась разрывы; затем он увидел стрелковую цепь, частично залегшую в чистом поле и местами уже выбитую из обороны. Тяжкий минометный огонь шествовал по черте окопов, и еще шустрые вихорьки свер-

лили посеревший снежок. Здесь можно было оценить черный и страшный груд пехотинца. И одни, не оглядываясь и слегка подымая винтовки, указывали проходы своим танкам, другие же лежали как-то слишком смиренно, точно внимали ласковому и последнему напутствию родной земли, которую защищали.

— Вот она наша, мотшомпольная, — смешливо и резко крикнул Обрядин, когда на мгновение заглох мотор, точно испугавшись черной тени, с грохотом прошедшей мимо. — Заметь, обожаемый Вася, лежат, как лвы, и непримиримо смотрят в сторону врага!

Его смаху оборвал Дыбок:

— Это все земляки и братья твои лежат, чорт усатый. Полежал бы сам на мокром пузе... и полежишь еще у меня! — заключил он, точно он-то и был командиром.

Обрядин был умней своей шутки, которую придумал единственно для ободрения водителя. Как раз перед тем болванка прочертила как полозом путь перед двести третью, а гусеница дрогнула, точно наехала на камень, и была опасность, что Литовченко сожжет диски сцепления. Соболюков понял это с запозданием и сразу забыл, потому что именно, тут и увидел зайца.

То было единственное живое во всем поле, не имевшее отношения к войне. Обезумев, он мчался наугад, весь белый, ясно различимый на темной, исквырянной пашне. Иногда он останавливался, вскинув уши, приподнимая удлинненное страхом тело, и смотрел, все еще невердимый, как рвутся громады огня и воющего праха, и исчезал, припадая к снегу, чтобы снова превратиться в неуловимый глазом белый пунктир. Должно быть, заячий бог хранил до поры и как перышко нес его пушистую, невесомую от ужаса шкурку; по неисповедимому заячьему провидению он мчал ее прямо на немецкие траншеи. Он заведомо хитрил, сбивая с толку, показывая зверка одновременно в десятке мест по фронту атаки, и получалось, что именно за ним, повторяя его зигзаги, разя с ходу оружийным огнем, гнались шесть неистовых тридцать-четверок, как если бы он-то и был призом в этой беспримерной охоте. Они настигали, он метнулся, угол курса резко изменился.. Застывая, наклоненная жига блеснула под танками на дне окопа, и в нем, с поднятыми руками стояли недвижные, как на фотоснимке, какие-то зеленые, значит не русские люди; иные как будто падали и все не могли упасть. Теперь уж и собственной стрельбы не слышал экипаж, и верилось, одной силой гнева и взгляда своего роняет их Соболюков. Тогда-то, каким-то образом разглядев в своей неудобной щели, Обрядин и доложил лейтенанту, что противотанковая пушка справа, у ку-

стов, тоже настоятельно просит своего пайка. Только он выразил это в одном каком-то неистовом, неповторимом слове; действия стали короче, чем их словесные определения, и приказания отдавала сама мысль.

Они увидели пушку: радист скорее догадался о ней. Это ее снаряд прошумел по башне и огненной вишенкой рикошета ушел в небо; это она была в упор по Соболюковскому танку. Ее мишень сделалась невыразимо огромной и такой близкой, когда промах следует считать чудом, но живое белое пятно, которое перепуганный заячий бог швырнул из снегопада под ноги орудиному командиру, отвлекло на миг внимание расчета, и это решило его жалкую участь. Соболюков крикнул дави, когда сорванный ствол наполовину углубился в землю через живот наводчика под натиском двести третьей, когда Обрядин заряжал пушку для следующей цели. Ни пороха, ни стона не дошло до Литовченко, нет, даже не такого соперника искал он в ту, первую свою бездомную ночь!.. А уже немецкие танки выходили на огневой рубеж, обтекая поле боя, и наши ускорили свой бег им навстречу. Так началось это грозное соревнование снаряда и брони, техники и воли, начальных скоростей и скрытой энергии взрывчатого вещества, а прежде всего людей двух миров, расстояние между которыми неизмеримо земною мерой.

Тут можно было видеть, как пестрые громадины обминали края немецкого окопа, ровняя проходы отставшим из второго эшелона, а по полю, кидаясь дымками, вливалась в прорыв мотопехота, — как советский танк, забравшись во вражескую гущу, стоял без башни, и дымные космы подымались из страшной дыры, а стальной шипак богатыря ваялся рядом, и четыре врага факельно горели по сторонам, как бы почетный эскорт, сопровождающий героя в небытие, — как люди со звездочками на ушанках, крича слово Сталин, вступали в поединок с глыбой крупшовской стали, и она нигла, дымилась, крутилась на порванной гусенице, как дьявол от магического заклинанья. И если только не ветер преждевременной ночи, значит, беззвучные всадники в бурках мелькнули вдалеке, где жарко пылали подожженные стога...

Литовченко заметил на развороте лишь часть этого стройного, в своей беспорядочности, движенья тел, металла и огня, но и это малое вызвало в нем знакомое по детским снам чувство полета через бездну. Ритм схватки усилился, все ожгло, кричало, взрывалось; убивал самый воздух; предельно напрягались скрученные дымовые волокна его мышц, и мертвые уже не попадались на глаза живым, чтобы не мешать им в их шествии к победе. То была мускулистая, могучая

жизнь битвы; смерть как битая собака тыкалась в ногах у бессмертных, чтобы урвать крохи с их великанского пиршества... И все это как живая вода нужно было для гордой и яростной нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиными глазами!

Опять события опережали ленивое, неточное слово. Рука, опшибленная при откате казенника, с трудом закладывала очередной патрон, но Обрядин еще не чувствовал боли. Соболев еще ждал, когда догонят его отставшие танки, а они уже далеко вправо и впереди ломали и мололи вражескую оборону... Там двухметровая гряда, род естественного эскарпа, пересекала поле вдоль реки. На длинную и, казалось, последнюю ступеньку перед славой хлынула теперь тридцать седьмая, чтобы, восстановив утраченный строй, ринуться на штурм Ставища; вокруг него и рещалась судьба Великошумска. Село виднелось как на цитадели, за сбившимся в кучку леском, откуда били тяжелые немецкие батареи. И если туда передвинулось теперь самое главное того крошечного дня, значит, неправду утверждал Соболев, будто судьба боя решается там, где находится двести третья!.. Временно укрытая от обстрела, бригада как бы взрывалась сейчас, распространяясь в обе стороны и давая дзоты, размещенные по скату. Их было там насовано, как ласточкиных гнезд в речном обрыве; звук был такой, точно и впрямь яйца хрустели под тяжелой поступью бригады. Один из них, в особенности хлеставшийся огнем, достался на долю двести третьей; пулеметы царапали ее триплекс, в предсмертном ожесточении стремясь хотя бы ослепить машину, но она уже вошла в гнездо, как поршень, бельмастая и неотвратимая, и накренилась, вгрызаясь левой гусеницей, и вдруг осела, и это полуметровое падение также напоминало чем-то пробуждение от детского сна. Все обстояло хорошо, если не считать временной слепоты танка да обрядинского ушиба. Рука плохо сгибалась в локте, но какое-то дополнительное злое озорство зарождалось из тулой, неотвязной боли; кстати, Обрядин никогда по долгу не таил в себе обиды.

— Дозвольте обратиться к водителю, товарищ стрелок-радист, — перекричал он мотор, пользуясь маленькой остановкой для последующего маневра, и не дожидаясь позволения, осведомился у Литовченки, что он испытывает теперь, глубокоуважаемый Вася. — Не указывает тебя маненько, не беспокоит, не трясет?

— Щекотно будто... — жарко и с задыханьем ответил тот, задним ходом выводя машину из крошева.

Этот дзот был последним. Пользуясь передышкой, водитель выбросил левый триплекс, где ни на сантиметр не оставалось

прозрачности. Стало видно, как необыкновенно крупный, ватными клоками, валил снег. Смеркалось, — все же Литовченко разглядел кровь на куске плексигласа. То была его собственная, — так что вовсе не от пота прилипла к рукоятке фрикциона его растертая ладонь. Пришлось замотать руку тряпкой, Дыбок впервые выступал в роли санитаря, это также заняло щепотку времени. Обрядин успел кроме того дать наставление водителю, чтобы теперь в особенности берег лицо от пулевых брызг, и даже начать рассказ, как угостил однажды того же бесценного товарища Семенова Н. П. зайчиной, вымоченной в коньяке, чем и ввел свою жертву в глубокое поэтическое ошеломление. Случай пришел в память от неосознанного пока убеждения, что только заяц и спас их от прямого попадания. Он оборвал повесть на том месте, когда помянутый Семенов лично пожаловал на кухню показать московским гостям этого невероятного художника пищи; он оборвал, чтобы коснуться пальцев лейтенанта, лежавших на штурвале орудия.

— Ты чего... чего замолк, Соболек? — пронзительно, в самую душу заглянул он. — Хочешь, у меня во флаге есть... непочатая. Одна хозяйка домашнего кваску на прощанье налила... понятно? — И он прищелкнул языком для обозначения обжигающих достоинств напитка.

Он и с женщинами не бывал так настойчив и нежен, но лейтенант не ответил. Высунувшись из люка, тот сделал вид, что вглядывается в сумеречное поле; оно приходилось на уровне головы. Двести третья оказалась левофланговой. Бригада ушла вправо, по ложине, куда перекинулся и грохот битвы. Прямо перед Соболевым подковкой лежал бугорок, и в неглубокой впадинке ее подобно мотыльку сновала впад и вперед тридцать-четверка, в суматохе боя вырвавшаяся наверх. Три больших немецких машины, прикрываясь снегопадом, двигались в обхват этого места, изредка стреляя, в намерении выпугнуть жертву из норы. Загонщики заходили на большом радиусе, ближняя находилась в створе со своей будущей добычей; вступать отсюда во фронтальный поединок с ними было для двести третьей вполне рискованно. Видимо, по неисправности орудия, тридцать-четверка не отвечала на огонь, и ей уже нельзя было бегать, не подставив кормы под прицел охотников.

Соболев признал их скорее по калибру грузного лаистого звука, чем по контурам, источенным снежной, мигающей мглой.

— Тигры... смотри, ребятки: тигры! — твердил он, словно и остальным был доступен такой же круговой обзор, как из командирской башни. — Сволочи, губители... ну, сейчас мазанет! — и даже сознавая нелепость такого решения, мысленно

прикидывал, успеет ли добежать туда с противотанковой гранатой.

Не было бы ему лютее муки — смотреть из безопасности, как станут расстреливать безоружного товарища; сперва расколот ему железный череп и разорвут бока, потом в три длинных клюва будут долбить костер, пахнущий газолем и горелой кожей. Представлялось неразумным отвлекать огонь на себя, но, как часто случается в бою, доводы разума пересилились стихийным побуждением сердца. Соболев дал выстрел по правому, дальнему тигру; он и сам не понял, что произошло... Такой удачей не дарит война даже прославленных танковых ассов. То была не меткость, скорее совпадение, стоявшее на грани несбыточного. Так, значит, победить он хотел все-таки больше, чем жить в желанном, послевоенном яблоневом саду!.. Он попал в самый ствол тигра, в черноту его орудийного зрачка; 76 хорошо разместились в 88; двести третья как бы заткнула ему пасть куском своего железа, и та огненно распалась: короткий обрубок торчал теперь из шароустановки тигра. В эту минуту он принял решение. Здесь его не остановили бы даже минные поля, слишком возможные в этом подозрительно чистом и девственно-неоптанном снегу, потому что подвиг и есть порой пренебрежение собой ради величайшей цели. Вдруг какое-то искроверканное несуществующее слово, означавшее даже не полет, а стремглавое орлиное паденье на добычу, вырвалось у него сквозь зубы. Только Обрядин, больше всех понимавший лейтенантское сердце, сумел перевести это на язык военной команды.

— А ну, дай кофоти, сынок! — гаркнул он Литовченко; хорошо осведомленный, чем кого угощают в разных случаях жизни, он не требовал у командира, чтобы тот заблаговременно заказывал ему артиллерийское меню.

Весь дрожа, на самом малом газочке, Литовченко бережно стронул машину. И время стало маленькое, время молнии, в которое она успевает родиться, ослепить вселенную, ужаснуть живое и погаснуть. На счастье не пришлось и разворачивать танк; он и без того смотрел пушкой влево, туда, откуда выгодней всего представлялось контрнападенье. Литовченко выжал газ почти до конца, так что даже хрустнуло в колене. Двести третья пошла на предельной скорости и с легкостью порождавшей недоверчивую улыбку. Было что-то живое в том, как свистел мотор и просил еще ходу. Видимость почти пропала: чем быстрее движенье, тем темнее ночь. Вьюга крутилась в танке, шла с открытым люком. Снег залеплял лицо водителя, но тот все забыл, забыл даже, что где-то поблизости находится крутой речной

обрыв, забыл боль, самое тело свое забыл, лишь бы не терять из виду скачущей ленты чернобыльника, обозначавшей правый скат эскарпа. Рычаги ему выламывали руки, ветер гонки срывал односложные восклицания с закушенных губ, а лейтенант все давил ему ногой в плечо, словно в водительской воле было вырвать крылья у танка.. Обратная дорога на Алтай, кратчайшая и единственная, проходила лишь через победу, и дочурка не упрекнула бы Соболева, что плохо к ней торопился Соболев!

Поворота вправо не попадалось, гонка становилась бегством от цели. В эти считанные мгновенья и могло произойти убийство наверху. И опять судьба злоевеще улыбулась Соболеву, — прежде чем отчаянье остановило его лютый бег. Она разрешила лоцинку пополам, и правый рукав под острым углом вывела на поверхность, в заросли густого кустарника, краснотазого даже во мгле... Точно секундомер лежал в руке судьбы: охота еще не кончилась, только метанья застигнутой тридцать-четверки стали суматошной и короче, так как сократился сектор ее укрытия. Все же не поломкой орудийного механизма объяснялось ее бездействие, а просто, израсходовав боезапас, она сберегала свой заключительный выстрел, последний из ста пяти, чтобы жалить наверняка. Значит, дождалась она своей минутки, и если только не дьявол, длинный и на раскинутых ногах, стоял на правом фланге, — и огненные мышцы просвечивали сквозь черные струйчатые сапоги! — так это подбитый ею немец исходил серым смертным дымом. Зато два других, увеличив радиус нападения, и, по существу, уже без риска подступали к ней лобовиками вперед, а она вертелась всяко посреди все новых и новых ям. Как змей вертелась она, лишь бы стать лицом к врагу, лишь бы умереть не спиной к полю боя.. Слышно было, как задыхался ее мотор, как силло кричал ее командир и как ветер выл в своем пустом стволе, и даже как сердце билось у товарищей, тоже было слышно на двести третьей... Все это, разумеется, не было вполне достоверно, но то, чего глазом и ухом не различал Соболев, ему безошибочно подсказывала танкистская душа; именно так, в равных условиях, поступал бы он сам.

Маневр получал блистательное оправдание; даже стоило утраститься в иное время, не слишком ли судьба баловала Соболева. Пантера и вовсе не тигр, как оказалось, проходила всего в ста метрах, да и ощущение этих ста следовало наполовину отнестись за счет метели и потемок: она проходила в профиль, дразня широким граненым залом раскинутое на подьеме жало двести третьей. Соболев ударил ее еще раньше, чем Литовченко вогнал машину в

кусты; он ударил ее дважды, аккумулятивным снарядом, и тотчас же, не меняя прицела, подкалиберным в живую мякоть у подмышки, над вторым сзади катком, где кожа пантеры утончалась до 45 миллиметров. Это было все.

Он испытал слабую ноющую усталость в руке, как если бы лично поразил коротким толстым ножом и повернул его в спине зверя. Двести третья стояла с открытыми люками, вся на виду, и потому экипаж мог в подробностях наблюдать это, недоступное ни на одном полигоне мира... Невыразимый полдень шумно рванулся из щелей, неправдоподобных, дырчатых и косых, а палита командирской башни отлетела, чтобы запертое солнце могло выйти наружу. Литовченко сменил место не потому, что слепительный свет превращал самоё двести третью в мишень, а из желания укрыться от огненной измороси, от которой горел даже снег. Сам Дыбок, холодный, рассудительный Дыбок, поддался складовскому очарованию зрелища:

— Выпей русского кваску... Пей! — Вот он, элексир жизни, пусть напьется досыта. — шептал он, но какое-то гордое достоинство мешало ему еще и еще бить из пулемета по пламени, хотя и чудилось, та еще ползла на одной гусенице и с вулканом в брюхе: так вихрился оранжевый пар вокруг нее. — Выпей русского кваску... пей!

— Культурно сделано, Соболек, — похвалил и Обрядин зубовым, срывающимся голосом, точно заправдавшая малярка трясла его. Поглядела бы одна из его бабенок на нынешнего Обрядина, — он был как мальчишка, пропала его степенность. Высунувшись из люка, он выставила лицо в этот неистовый свет: душу, ознобленную близостью гибели, ласковой солнышка греет жар горящего врага. — Эй... пол-литра с тебя, товарищ? — гаркнул он, когда громадная тень спасенной тридцать-четверки шмыгнула через самое место их недавней стоянки — Натерпелись, болезные... — сочувственно проводил он ее, когда как бы рассосалось в снежной тьме самое ее вещество.

— Похоже, мы у них тут целый зверинец разбудили. Смотри, еще один претя, — сказал потом Дыбок, когда остыла первая радость удачи. — Так оно и есть... Не люблю я в ночное время «фердинандов», товарищ лейтенант! — То было тяжелое самоходное орудие, германская новинка того года, прозванная так, по объяснению Дыбка, за сходство с профилем носатого болгарского царя, которого довелось ему видеть в старой Ниве.

«Фердинандом» оказался тот, что двигался в центре облавы. Он засветил фару; судя по перемещению светового эллипса на снегу, он разворачивал свое неуклюжее тело, идя на сближенье. Два звука

слились попарно, кроме того двести третья стреляла еще в промежутке, — были напрасны все пять залпов. В такой непроглядный въязынный вечер успех решался не тем, кто железной или метче, а удачливей кто. Двести третья пятилась назад, и тогда случилось то, уже совсем невероятное, о чем до поздней старости обожал живописать внучатом ветеран великой кампании, Василий Екимович Литовченко. «Волос на мне дыбочком встал, — рассказывал он, глядя лысину, и ему верили не больше, чем Паньку Рудому, знаменитому его земляку. — «Думаю-думаю, как же мне поступить при такой бисовой оказии...», но если бы это «думаю-думаю» длилось у него в тот раз дольше секунды, никогда бы не узнали про этот случай маленькие, затихшие в страхе украинцы. «Фердинандов» стало два, потом сразу четыре зажженных луча пронизали взвихренную метельную неразбериху, да еще какой-то блаудливый, так и не разгаданный огонек добавочно запетлял и заюлил в поле. Верно, они плодились там, эти ночные твари, вылезая друг из дружки, и действительно, замогильная чертовщина миргородского пасечника представлялась, в сравнении с этим, поэтической выдумкой, навеянной шелестом вишен в благодатную южную ночь... Пользуясь даровым освещеньем от собрата, пылавшего как солома, дьяволы разили из всех своих жерл, и двести третья поступила по меньшей мере правильно, заблаговременно и без выстрела спустясь назад, в низинку.

Бежать отсюда было хорошо, горящая пантера служила достаточным ориентиром, пока не взорвался ее боезапас. Она исчезла с ловкостью привидения, оставив по себе глухое эхо, дырку в снегу, дождь железных ключев и вспышку как от адского магния... Двести третья мчалась, петляя, и на бога, потому что любое на свете было лучше прямого полупудового клева в корму, — мчалась, заводом углубляясь в расположение противника, — мчалась, пока не отстала погоня. Последние выстрелы легли далеко в стороне, все погасло, самое окошко люка потерялось во мраке. Возбуждение успеха охладилось, на смену пришли озноб и голод; Обрядин, кроме того, вспомнил про разбитый локоть. Литовченко промолчал на вопрос лейтенанта, видно ли ему хоть что-нибудь на дороге; промолчал из боязни выдать голосом щемящую тоску, меньше всего предсхлывшую от метельной неизвестности ночи. Следовало убавить ход до самого малого; так и сделали, но было поздно. Центр тяжести вполне ощутил, шарообразно перевалился вперед, инструменты гремуче двинулись по дну танка. Горный тормаз не остановил скольженья. Все одновременно ощутили, как пучина дохнула на них холодом.



«Вот оно, то самое...», — со странной вялостью подумала Собольков, клонясь на пушку. Машина весом сползала вниз, с заметным уклоном влево. Обрушилась левая гусеница, Литовченко вслепую и немедля выправил движение, и стоило отметить выдержку новичка, хотя нигде его не обучали, как падать в реку с наименьшим повреждением. Теперь танк полувисел на месте. И опять опоздало тело; команду с т о й Собольков подал, когда был включен уже и задний ход. Не жалея ничего, он до бешенства разогнал мотор, но оно не могло даиться долго, единоборство хотя бы и пятисот лошадиных сил с законом тяготеня. Земля одолевала, она стаскивала людей с сиденья, и это было пострашней поединка с фердинандом.

— Спокойствие, лейтенант, спокойствие... — чудовищно-ровным голосом крикнул Дыбок в микрофон, точно ему принадлежала власть в танке, точно знал, что пока он здесь, товарищам не грозит несчастье...

В передний лок хлынула вода. Упираясь рукой в американскую картинку, Дыбок включил аварийный свет на плафоне рации; он увидел неподвижное от наугуи, откинутае назад и в снежной маске лицо соседа. Шустрая пена, бугая и ледоаная щели, вилась вокруг колен. Свет погас, пора было кричать в эфире, но пимся, но все молчали, неживая слаа пригавила их волю. Дальше пояс вода не поднималась... Кос-как оторвавшись от танка, Обрядин выскочил наружу. Прошла вечность, и может быть две вечности сряду, когда он псывился опять невредимый, сухой, даже веселый.

— Глуши мотор. Вася.. кажется приехали,—оповестил он сперва собольковским голосом, потому что мотор еще работал, с поминутным кашлаем и во весь дух своих двенадцати цилиндров; загляни сюда тигр, он мог бы спокойной лапой добивать двести третью до последнего пламенного вздоха, ползая на выхлосп. И когда Литовченко стацила с акселератора онемевшую ногу, Обрядин прибавил уже собственным, в раздирающей уши тишине: — Приехали к теще в гости. Эва, на горочке с блиндами стоит. Выгружайтесь, граждане, поменьку!

В сухом верхнем кармане гимнастерки у Дыбка нашлись спички. Их было семь. Головки с шипоньем отлетали, норвя в глаз; на корбочной этикетке было напечатано, как вести себя гражданину во время войны. Загляде четвертая, и пока не протунила се хлопок снега, главное успело отпечататься в зрачке. Танк держался на скате стандартного немецкого рва, кормой вверх и с перевесом левого борта, как в ночь разгрузки, когда комкор читал наставление новичку; он опрокинулся бы

на большей скорости. Вода достигала третьего катка; две широких колеи, прорытых гусеницами, круто уводили в черноту, смоянисто блеснувшую при вспышке. Собольков не успел различить стрелок на часах, — было скорее пять минут девятого, чем без четверти час, но и в первом случае событий явно не доставало на такую уйму протекшего времени. В суматохе дня, видимо, проскочили еще какие-то происшествия, не оставившие в памяти следа. По сходству с собственным их положением, Собольков припомнил только, как они вытаскивали из воронки одну завалившуюся шестидесятку, но эпизод тогдаш поблек и затянулся как бы тинкой.

— Я уж думал, нас в подводную лодку за заслуги произвели, — пошутил Дыбок, но все не шибко поверили, что ему веселей, чем прочим.

Так они стояли, трое, молча и бездельно, без мыслей и усталые до степени равнодушия к тому, что случится с ними на рассвете, когда найдет и распорядится их жизнью мимоходный немецкий броневичок. Вдруг, опустившись прямо на снег, Дыбок принялся снимать сапоги; натекшая вода могла повредить его здоровье, необходимое для великих дел.

— Не разберу... морозит или это малость озяб я? — спросил он ни у кого и зевая. Значит не все еще кончилось у этой жирной итоговой черты в безвестном поле. Собольков поднял голову:

— Вася, — позвал он негромко, потому что теперь стало можно говорить и негромко. — Чего ж тебя не слышно, Вася?. Ты где, чудак, а? — говорил он, сбходя громаду танка.

Снег падал реже, чуть посветлело Черно было сейчас на земле, и вот, в упоение, выдали ей где-то за бетонными облаками скупой и тонкий ломтик луны. Лейтенант увидел своего механика-водителя Литовченко стоял с обратной стороны, прижавшись к гусенице, вздыбленной над его головой. Он весь дрожал, когда Собольков коснулся его лица; он так дрожал, что именно это ощутил сначала лейтенант и лишь потом — живую, горячую влажность на кончиках своих снежених пальцев.

— Вася, ты что?.. остыл, что ли? Да нет, погоди, не отворачивайся. Ты толком объясни, в чем дело? — шептал он в самое ухо, заслоняя от товарищей; тем временем подошли и остальные.

— Машину жалко... — всхлиывая признался Литовченко и ребячливо, мокрой тряпкой, размотавшейся в ладони, тер свои безволосые щеки. — Я же знал, куда мы катимся.. вот и запомо! — Но он еще умсачал о главном, — что все позапрошлые ночи снился ему сам Сталин, но не такой, каким его знает мир,

а вполне облыженный, с черными усами, как у Екима Литовченко; он наказывал хлопцу беречь двести третью, потому что из ста тысяч она самая дорогая у него и какое-то сытное заветное слово, как колобок в дальнюю дорогу, клал ему за пазуху души... Вдруг новый приступ горя погряз паренька, сорвав шлем, плача и весь подавшись вперед, он закричал товарищам, что стрелять его надо за это, именно так, как делали немцы с детьми: — в рот, в рот мне надо за это стрелять!

На войне нет ничего страшнее плачущего солдата, и не надо его останавливать, пока не выгорит отчаянье до конца. Экипаж молчал, они тоже были однажды новичками, как и этот чумазый хлопец, — такой чумазый, что и вековухи отворачивались от него на стоянках. Зато платок любимой девушки можно было уронить на дно трансмиссионного отделения в его танке и, незамаранный, спрятать назад, в кармашек. Им нравилась скрытная мальчишеская гордость Литовченко, когда ему доверили шрапнелю, прославленную двести третью, и, верно, до его крестьянского сознания достигла ужасная, совершенная в глазах современников, целеустремленная красота советской тридцать-четверки... Кроме того, эти люди понимали, что только настоящий человек может требовать справедливости и подвигу своему, и оплошности.

— Сердечко не выдержало... — сочувственно буркнул Обрядин, толкнув локтем командира и держа наготове бачок для питьевой воды, налитый на этот раз лекарством от малярии. — Чужую душу и снежинка царапает. Знаю, сам имею такую же!

Литовченко приходил в себя. Он поднял голову и виновато усмехнулся, стыдясь товарищеского внимания. Тогда они подошли ближе, заговорили шепотом, и не различить было, кто и что произносил в той жаркой словесной толчее; даже Дыбок испытал особую волнительную размягченность чувств, какой опасался больше всех болезнй на свете.

— Эх ты, вояка полтавская... а мы тебя женить после войны собрались. Она ж целая, смотри, ее чорт рогом колушал, да скис. Ее до Берлина хватит пока, а там, коли потребуются, еще моторишко попросим... У меня земляк закудышний на заводе имеется, замдиректор, тоже художник своего дела... только малярия его гложет, вроде меня. А танкисты, брат, особый народ... и не зря им завидует пехотка! — Последнее, чуть ироническое замечание принадлежало Дыбку и так откровенно, хоть и не злобно, было направлено в лейтенанта, что Собольков, нащурясь, даже покосился на него!

Поддела было сделано, водитель воз-

вращался в строй; по степени важности теперь оставалась меньшая половина, — выйти к сроку из немецкой мышеловки. Обрядин поднял шлем и, отряхнув от снега, надел на голову товарища.

— Посушить бы его теперь, лейтенант, — заметил он при этом.

Дыбок с хозяйской властью заставил водителя сесть на снег и повторить все, что проделал сам незадолго перед этим.

— Ладно, теперь другую ножку, — шутит он. — Выжми, выжми ее потуже. Ишь, сколько воды набрал... куда ее тебе столько! Теперь лезь наверх, погрей ноги на моторе...

— Не холодно мне, — оборонялся Литовченко и вдруг вспомнил, что и Дыбок рядом с ним принимал ледяную купель. — А сам, сам!?

— Э, мне эта штука нипочем. Я телу моему хозяин строгий, — с жесткостью, исключавшей и тень похвалы, бросил Дыбок; все же озноб мешал ему выразить мысль короче, чем полагалось по его характеру. — Я от тела много требую... а то ведь и расчет дам. Оно меня боится, и очень правильно поступает, что боится! — пригрозил он вслух, чтоб прониклось его волей продрогшее солдатское тело; Собольков подумал даже, что если убьет его, Соболькова, то именно Андрею Дыбку налагенит стать капитаном двести третьей.

— Греться изнутри надо... ну-ка! — осторожно вставил Обрядин, поднося флажку Литовченко. — Та-ак, еще отпой на рубль семьдесят, хватит. Эх ты, девочка!.. Эй бы протреть малярию, покружиться теперь в вихре вальса, товарищ Собольков!

— Верно — надо поспешно согласился тот; он руководился тем соображением, что после происшедшего следовало поднагрузить паренька каким-нибудь заданием. — Ну-ка, протрись, посмотри место на ближнем ридусе.

— Нельзя посылать водителя, лейтенант!.. — тихо, под руку, возразил Дыбок.

И оттого, что он был тысячу раз прав, всегда прав, этот удачник, Собольков посмотрел на него с каким-то пристальным и враждебным интересом, как если бы видел его из последующих суток. Он недобро усмехнулся: вот уже и самая правая сторона вышла на сторону его преемника! Глаза встретились, одна и та же мысль ранила обоих. Дыбок смущенно отвернулся, едва понял, что содержалось в этом взгляде, и тогда Собольков медлительными словами повторил то, что сказали раньше его глаза:

— Не рано примешься, Андриша? Я еще живой! — И полтакнул Литовченко. — Иди, ничего пока не будет... Я тебе велю. Иди!

Ни на один факт не могла опереться догадка: собственные их следы уже замело, и хоть бы зарево или выстрел в

пустоте. Жгла и жалила мучительная надежда, что в это самое время тридцать седьмая вступает в Великошумск. Только одна двести третья засела в трущобинку крайнего левого фланга; ей предоставлялось воевать в одиночку, в меру разума и солдатской совести. Прежнее ощущение беспомощности постепенно замещалось решимостью на предстоящий, долгий и тяжкий труд. Нужно было передохнуть, поесть, подкопить сил, а там, глядишь, сами собою разъясятся обстановка и мысли!

Они взобрались на танк. Горячий воздух обильно поднимался сквозь жалюзи мотора Обрядина слезил за едой. Соскучась в одиночестве, замыкал Кисо, и всем стало немножко веселее от сознания, что количество их умножилось на единицу. Ему также выдали полагающийся рацион, и он довольно усердно занялся этим делом.

— Давай думать, лейтенант, — сухо и тихо сказал Дыбок.

— Успеем, отдохни... Не торопи войну, Андрюша! Пять минут всего прошло, как сели. — ответил Соболюков и снова занялся котенком. — Что, Кисо... хвост-то намок? Ничего, на войне это и есть главное: будни. А сражение, это уж праздничный день, гуляй душа! Ешь, ешь... Тебе бы щец со свиникой? Я твою натуру знаю. Не хочешь щец? Ну, врешь, хищный зверь, притворяешься. Ладно, вот закопаем Гитлера, поедим с тобой на Алтай. Новая хозяйка у тебя будет, маленькая и добрая. Все глупые — добрые, вот почему и умный у нас Дыбок. Небось, злитесь на меня, памятливые... А ты скажи ему, Кисо, чтоб не сердчал. От этого дружба вянет, волос лезет, здоровье портится. Сказал?... ну, что он тебе ответил?

Дыбок промолчал на этот шаг к примирению. И верно, злость в какой-то степени помогала ему бороться со стужей, ломавшей ему кости. Обильный пар стал подниматься от ног, начавших согреваться, и он хорошо знал, что зато потом будет хуже, но нечто телесное мешало ему сдвинуть ноги с горячей решетки. Так, злясь на все кругом, он злился в первую очередь на свое затихшее тело... Обрядин пытался сгладить неловкость деликатным посторонним разговором.

— Меню рояль, что означает королевский харч! — сказал Обрядин, надкусывая смачно какую-то особо прочную колбасу. — Что-то мой товарищ Семенов Н. П. нынче поделывает? В артиллерии был... Нет, друзья, я вам так скажу: лучше зима, чем беда. И лучше беда, чем война, а тут все три разом навалились!

— Ты прямо рудник, Сергей Тимофеевич, — тотчас заметил Дыбок, аккуратно и ножиком надрезая ту же колбасу.

Заведомый капкан таился в этом загадочном замечании, но Обрядин безобидно

ступил в него, лишь бы облегчить сердце товарища.

— Всем я бывал у тебя, Андрюша, а вот рудником еще ни разу. Откройся, чем же я рудник, капитан?

— Я к тому, что... глыбы наредкость ценной мысли в тебе содержатся. Ты бы записывал, чтоб не забыть. Можешь прославиться, как выдающийся светоч человечества. По Волге будет ходить нефтяная баржа под названием светоч Обрядин. Как мыслитель, ты в особенности для баржи хорош.

Обрядин со вздохом взялся за флагу.

— Этак скрутят они тебя, злость и холод, Андрюша, — спокойно сказал он, — нельзя. Ну-ка, отпей грамм на триста... разом, разом! Не согреет, так дух повеселит.

И Дыбок пил пороховую жидкость, отзывавшую сырцом, а сам безотрывно глядел в хитрую, с дружеской ухмылкой, такую милую ему вдруг рожу Обрядина, который все причмокивал и облизывал губы, спрашивал — хорош ли, не горит ли на языке, гладко ли проходит в нутро этот жидкий огонь, из которого, видать, и наварила ему того кваску одна скромная богобоязненная женщина на расставанье. «Пей, пей сколько хочешь, дружок...», — приговаривал он, бескорыстно радуясь за товарища, хотя сам ни глотка не отпробовал с самого прибытия на место. Уже почти совсем теперь не плескалось на доньшке. И что-то случилось с Дыбком; он положил руку на колено Соболюкову, точно в тисках зажал, и сами сорвались с губ эти слова, каких в иное время бы попытку не выжать бы из Дыбка:

— Эх, лейтенант... и что-то дрогнуло в его голосе, — хороший народ проживает на моей земле, мой народ. Семь раз сряду жизнь за него отдам. Потом отдохну немножко... и еще раз отдам. А только... Вот ты, Обрядин, всему честному миру друг, а ведь ты б у лодырей королем был!

— Большие реки не торопятся в океан идут, — как-то неожиданно серьезно и важно ответил Обрядин, хоть и смотрел с прежней хитрой приглядкой его прищуренный глазок.

— Вот вот, — с горечью сказал Дыбок, — узнаю! Души океан, а спички не зажигаются... Стыну я, лейтенант, валит меня, свалюсь. Пора начинать, — заключил он, поднимаясь, и без команлы, сам, полез через верхний люк за лопатой.

Лопата, лом, гранаты — все соскользнуло в переднюю, полную воды, часть танка. Дыбку пришлось как бы нырять туда и шарить в ней наощупь.

— Лом-то намок, ровно губка... а еще железный, — шутил Обрядин сверху, принимая от него инструмент, — Не утонешь, Андрюша?

— Тут мелко... В Днепре глубже было, — как-то в растяжку, застылыми словами, отзывался тот.

Он потешной шуткой извинялся перед Кисо, которому чуть замочил его палаццо, и не забывал пояснить товарищам, что палаццо есть жилплощадь итальянского феодала; он шутливо осведомлялся, протекает ли в такой же степени снаряжение у настоящих водолазов. Щемило сердце это сдержанное, на звенящей волевой струнке, балагурство. Вот он был каков, Андрей Дыбок с Кубани! Людям следовало знакомиться с ним впервые даже не в бою, когда отвага родится сама из недр разгоряченного сердца, а здесь, минуткой позже, пока он молча стоял, раскинув руки, и темные талые дыры образовались кругом него на снегу.

— Эх... отожи мы сколько можно со спины, — попросил он потом лейтенанта. — Повозиться бы теперь с каким-нибудь ганцем... я б ему ребра в кашу стер А ну, тронь тронь меня побольней! — стеклянно крикнул он подходящему Литовченко и в послылы толкнул его в плечо.

Благодаря тому что отступив на шаг, тот доложил Соболюкову, что и следа немецкого присутствия не обнаружил поблизости, кроме прокинутой мимо стога телефонной линии, которую на свой риск и порезал ножом; метров шесть провода висело у него на руке. Подумав, Соболюков решил, что это, пожалуй, правильно, так как война для них еще не кончилась, а на поверку линии выйдут теперь немецкие связисты, и от одного из них можно будет добиться приблизительной ориентировки. Следовало быстро накопить план действий и расставить людей. Лейтенант исправил свою ошибку, на этот раз оставив водителя у танка; Обрядин, как мыслитель, в особенности годился для земляных работ, — кстати, это ему принадлежало глубокое замечание, что подкопку надо начинать изнутри, чтоб машина не села днищем. Соболюков решил в засаду взять с собой Дыбка, который навострился за войну в немецкой речи; ему, таким образом, представлялась возможность погреться в рукопашной.

— Ну, лезь, Сергей Тимофееч, — сказал Соболюков Обрядину. — Береги лопату, чтоб не защемило. И помни, выберем-ся — будем живы!

— Сейчас, дай с духом собратся. Вот она главная-то малярка! — с прискорбием заметил тот, глядя в темное месиво под танком; он раздумывал при этом — стоит или нет признаться экипажу, что почти не сгибается в локте разбитая рука, и выяснил, что неправильно, не по-товарищески будет это.

Было еще время и помедлить; какая-то живая стрелка в них с точностью отсчитывала время, потребное на то, чтобы немцы обнаружили повреждение связи, и доложились начальству, и снарядились в путь.

— А не любишь ты воды, Сергей Ти-

мофеич... зря! Прохладная, она закаляет организм. Это тебе надо знать, как ходоку по женской части, — сказал, наконец, Дыбок. — Полеза-ай!

Обрядин безропотно отправился под танк, отметив вскользь, что уже не Соболюков, а как бы Дыбок становится командующим танковыми силами на данном отрезке фронта. В темноте слышно стало чавканье жижи да металлические удары по тракам. Глина детскими горстками выкидывалась наружу, танк стоял недвижим, хотя и Литовченко уже в полный мах мотыжил земаю по скату рва, вдоль гусеницы. Соболюков прикинул в уме, что работы хватит часов на пять, если не прервет ее какая-либо внезапность.

Он взял с собою провод на случай, если придется вязать языка. До стога было не больше метров семидесяти. Уже с подороги корма танка расплылась в подобие куста. Идя по следу Литовченко, который, к счастью, возвращался из обхода не по прямой, лейтенант отыскал конец провода и показал Дыбку... Раскидав снег, они вырыли норки в соломе и разместились на стогу, плечом к плечу и ухом к уху. Сперва молчали, привыкая к месту.

— Ну, как, Андрюша.. зажигаешь?

— Теперь хорошо, мягко, — неопределенно сказал Дыбок.

— Слушай.. хочешь, сапогами поменяем? Все-таки посуше.

— Не надо, не хочу, — упрямо сказал тот. — Сейчас придут, смотри.

Опять стало темно, месяц убрал до следующего раза. Временами Соболюков поднимался, вслушиваясь, не идут ли; никогда такой шумной не была солома. Кажется, примораживало... Представлялось несбыточным, чтобы цветы, птицы и синие небо могли когда-нибудь явиться в этом месте, и хотелось впоследствии, по окончании войны, непременно посетить его в летние месяцы и полежать в этом самом стогу, если уцелеют — и стог, и он сам. Нескончаемо длились сутки, разжиревшие событиями. Кстати, Соболюков открыл, что между людьми возможен разговор без единого слова. Так он мысленно спросил Дыбка, доводилось ли ему проводить ночь в свежем сене, и чтоб кузнечики при этом! И тот отвечал сразу, что доводилось мальчишкой, только тогда светили звезды...

— Знаешь, как придут — тихо надо, холодным способом, — сказал Соболюков несколько спустя — Я с одним управлюсь, а ты своего сбери, не зашиби только.

— Да, — согласился Дыбок, неохотно, точно ему в чем-то помешали. — Ты молчи. Сейчас придут.

А нельзя было молчать, хоть и в дозоре. Делались все односложней ответы Дыбка, недвижимей его тело. Его усыпляла стужа, ему стало все равно, только

бы спать дали. Он хотел спать, тело становилось сильнее воли... Из знакомства с сухими алтайскими буранами Соболюкову было известно, как происходит это.

— Я слушаю, я все слышу. А, знаешь, Андрей, ты прав был давеча. Хорошие мы люди. Очень!

— Будем хорошие... потом. Ты к чему это?

— На что мы только не пускаемся для них, для деток... для всемирных деток. Сами в гать стелемся, лишь бы они туфелек своих в сукровице не замочили. Верись? — всю дрянь жизни выпил бы одним духом, чтоб уж им ни капельки не осталось. А, может, и не поймут?

— И не надо им понимать. У них свое. — Он догадывался, для чего Соболюкову нужен был этот разговор, а тот уже и сам сбился — из душевной потребности начал его или из хитрой уловки расшевелить товарища. И хотя слова, вязкие и стылые, застревают во рту, Дыбок по дружбе шел к нему навстречу. — Что ж, говори, расскажи мне про нее... большая у тебя дочка?

— Восемь, — тихо, как тайну, доверил тот, и с этой минуты точно и не было разговора между ними. — Знаешь, у ней там беда случилась, смелая Пинет, даже к бабе Мане в гости перестала ходить. Понимаешь, котенок у ней пропал... любимец, только черный. Верно жена закинула... не любит кошек.

— Мачеха? — издаലെка откликнулся Дыбок.

— Хуже, злодейка жизни моей. Вторых как то это у меня случилось... а вот, все идет к ней как к вину... как к зеленому вину, Дыбок! Двадцать два года было, как жила. Злая цифра, двадцать два, перебор жизни моей! Баба в поездом в двадцать втором году заехала, война тожь под это число началась... Да нет, не так уж и хороша, как приманчива, — ответил он на мысленный вопрос Дыбка. — Дочка Пинет, чужой дядька с ней ходит... конфетку каждый раз дарит. Бумажку мне в письме прислала, образец.. видно, на подабочек подзадорить меня, отца, хотела. Они ведь хитрые, ребятки-то... Люди!.. Ума не приложу, что за учитель завелся, может, эдакий-то из Прибалтики, по русски плохо говорит. — Приподнявшись на локте, лейтенант послушал застывший воздух; немцы еще не шли, точно пронохали о засаде. — А баба Маня — это не женщина, не думай это гора... понимаешь? Это ты с дочкой так ее прозвали: ягод много. Вроде старушки, вся в зеленых бородавках. У нас там секретный каменный столик есть, на нем бархатная моховая скатертка. Дочка свдет тебя туда... — И лишь теперь получала объяснение его путаная, просительная исповедь. — Слушай, Андрей... ты не спишь? Не спи! Я все просить собирался,

да совестно было. Ты ведь холостой, тебе все равно...

— Мне все равно... — сказал Дыбок еле слышно, одним своим дыханьем.

— ...тебе все равно, говорю, куда ехать потом. Ты же холостой. Если что случится со мной, отвези дочке Кисю... понимаешь? И писем никаких не надо. Ты ее враз узнаешь, как увидишь. Она сама тебя и встретит... как завидит военную одежду. А больше послать, скажи, ничего... ничего я ей в жизни не накопил. Скажешь, папа шлет... воевали вместе. Песиди с ней, если понравится, там хорошо. Словом, тебе видно будет!

Он успел довольно подробно обрисовать алтайские красоты, утверждая, что не раскается Дыбок... Немцы не шли; Соболюков подумал даже, что за подобное промедление стоило бы их отдать под суд. Лежать так становилось нестерпимо. Была полная ночь. Временами она раздвигалась, Соболюков тоже начинал видеть звезды. Тяжелой рукой он стирая одурь с лица; чувство холода возвращалось, и звезды гасли... Потом он вспомнил, что еще не получил ответа от Дыбка. — Ладно... Андрей?

Радист не отозвался, он уже дал согласие. Еще в самом начале он согласился даже на то, чего и не просил Соболюков. Похоже было также, что он чему-то засмеялся.

— Ты о чем... Андрей?

— Заяц... — без движения губ сказал голос Дыбка. — Испугался!.. глаза по ловнику. Хороший, все хорошие... свои.

Он замолк. Большие не надо было его просить. Алтай холостому недалеко. Он хотел спать. Разве мало солдат на свете, кроме него? Собаки и зайцы, все спят. Это была правда... Но через крохотное пулосметное отверстие Дыбок не мог разглядеть давешнего зайца, и лейтенант схватил руку товарища. Она была не теплее снега на стогу; зато там, за тесемками рубахи, стояло ровное ларибе тепло в пазухе Дыбка, еще не пламень. Сердце слышалось наощупь, как бы на малых оборотах. Значит, то еще не жар был, а лишь смертное томление полусна.

— Нользя, не смей спать, Андрей! — зашептал Соболюков, касаясь губами его уха. — Сейчас придут... теперь уж не отменишь. Жалей товарищей... Кисю убьют. Обрядина убьют... кто тебе петь станет, радист? — Ни лаской, ни приказанием, ни шуткой не удавалось ему проникнуть в меркнувшее сознание Дыбка. — Ведь это ж немцы, понимаешь? Забыл, как они се-стренку твою волокли... жеребья на ее голом теле метали, кому первое начинать. А она кричала им — вас Алешка Гальшевы побьет всех, вам жених мой отплатит...

Он говорил еще грубее, лишь бы про-сунуть хоть искорку в порох Дыбковой души. И случилось, чего он добивался.

Поднявшись, Дыбок сидел с открытыми глазами и дрожал, пока еще не от гнева, а от озноба, но и это было хорошо.

— ...они тогда и Гальшева. Ты один остаешься. Пусть зайцы и собаки спят... не ты! Ты же слышишь меня, а молчишь... Я давно раскусил, кто ты есть. Потому ты и живым в такой войне остался! Небось, потроха со страху вянут... а?

— Не надо, пусти... — пробормотал Дыбок, отпихивая его от себя. — Нехорошо тебе будет... пусти!

Они сравнялись в силах, и, возможно, радист четче командира понимал теперь действительность, потому что прежде не то почувствовал, что немцы уже тут. Еще и снег не хрустел, и глаз не видел, но только как-то теснее стало в пространстве ночи... Двое, как всегда ходят немецкие связисты, шли по линии, прусская провод в ладони. Они нашли место обрыва и остановились, — неожиданное продолговатое пятно стога заставило их насторожиться. Сквозь бурелом соломы, коловшей лицо, Дыбок отчетливо увидел, как левый поднял автомат. Тот же, левый, спросил быстро и негромко, кто там, а другой засмеялся и, возможно, сказал, что солома не обязана отказываться даже на немецкую команду.

— Бери правого, — шепнула Соболюков товарищу, и тот услышал.

Немудрено было догадаться, что кто-то унес кусок провода... Пока один, став на колени, подкараулился к линии, другой двинулся по следу Литовченки, водя автоматом, как таракан усами. Он был и длинный такой же, как таракан, с утолщением посреди от хорошей пищи; возможно, он и мастью также походил на таракана-пруссака... Он проходил мимо, на нем была пилотка с приспущенными наушниками, чтобы уши не зябли. Дыбок упал на него всей своей зыбкой тяжестью, и странно было, что у того не переломились позвоночки Соболюков также ударила своего гранатой, как кастетом, но промахнулся. Там началась эта маленькая и неравная битва... Немцы были свежее, перед выходом они послали жирных наших щей и хорошо выспались на доброй лежанке: им не доставало как раз того, чем с избытком располагали их противники, — чувства поруганной справедливости и голодного иступления мертвой хватки. Угрю оба лежали спиной, и один вслепую нащупал рот Соболюкову, а другой, наполовину примирясь с неизбежным, мокрым и полужадущим, смотрел в нависшее над ним лицо судьбы. Он был много крупнее Дыбка, которого вдруг стала покидать уверенность в исходе. Наступила та степень взаимного изнеможения, когда и плевка достаточно, чтобы спорокнут врага, но и на плевки хватало силы.

— Брудер... — прохрипел тот, что был внизу, даже не пытаясь дотянуться до

автомата, упавшего поблизости; он упоминал, кажется, также слова муттер, и кажется испробовал силу слова швестер; перечисляя все степени родства, какими можно было проникнуть в старинную славянскую жалостливость.

— Не брудер, а бутерброд... — неистово сказал Дыбок, и еще не родилось могущества на свете разжать его пальцы. — Я тебя двадцать лет брудером звал. Я тебе карман и житницы раскрывал свои, в самую душу пускал тебя... а ты мою сестренку на жребьях делил! Ах ты, брудер сукин сын... — Оно опаило ему разум, подлое иудино слово; искра добралась до пороха.

Ему хотелось только заглушить скорее этот чужой, нечистый голос. Он не заметил, как подошел очень спокойный Соболюков с автоматом и документами своего партнера.

— Отпусти... теперь не убежит, — вслеп он, вытирая испарину с лица. — Ишь, смиренный лежит... многоуважаемый. Скажи, чтоб вставал да приятеля на стог завалил... Нечего ему тут, на виду, валяться.

Дыбок стоял еще на коленях, шумно переводя дыхание. Он не слышал, только эхо брудер, брудер по-обезьяньи скакало и дразнило его со всех сторон. И то самое, в чем он когда-то усумнился — пар ваала из его подмышек; он посмотрел на руки себе, и не увидел их. — Желтые фонари качались в глазах. Он хотел лишь пожаловаться Соболюкову — в какую бездну загнал человека фашизм — и тотчас же забыл об этом. Но ему было тепло теперь, только очень хотелось есть. Ему так хотелось есть, что он не замечал, как стало ему тепло теперь. Лейтенант повторил приказание пленному и толкнул ногой его огромную ступню.

— Вставай обильнее? Думал, в трактир на радостях поведем?

Тот не хотел. Соболюков наклонился к лежащему. Открытый глаз пристально и так бесцеремонно глядел поверх его головы, что Соболюков отвернулся. Лишь теперь он заметил, что живые не могут долго лежать так, с выкрученными назад руками.

— Видать, переложил я в тебя, своего лекарства, — усмехнулся он, поднимаясь. — Жа-аль... Что ж, и то слаб! Знаем, по крайней мере, в какую сторону пушку колить. Помози мне.

Они величали связистов в те насканенные ямки, где недалеко сами, ухом к уху, слушали ночь... Провол пригодился: Соболюков самостоятельно починил порезанную связь из раската, что это стодвинет поясские вторые, усиленной группой на спок, достаточный для откорма танка Тропкою Литовченки, следом в след, они вернулись назад, захватив все, не нужное теперь связистам.

Шагом через двадцать лейтенант резко



обернулся в сторону тех, с кем они только-что поменялись местами.

— Кто там? — вполголоса окрикнул он и постоял, что-то соображая; со стога не ответили. — Какое у нас число сегодня?.. двадцать второе?

Он и сам знал, что время перевалило полночь, но, как в воздухе, нуждался в подтверждении товарища.

— Нет, теперь уж двадцать третье потекло, — ответил Дыбок, вглядываясь в небо, как в большой календарь; он пожегил и широко зевнул. — Морозит хорошо... а то совсем наш брат танкист замаялся. Чудно... никогда мне есть так не хотелось, лейтенант!

Еще три больших часа длился нечеловеческий труд, из которого в равных долях с опасностью и скукой состоит война. Похолодало, изредка прогревали мотор. Все были мокрые, все успели побывать под танком. Молча сменяя друг друга, теперь они жалели силы даже на шутку. Первым выбыл Обрядин; сквозь рукав легко прощупывалась опухоль на локте. Он взялся за флягу и сразу бросил ее на дно танка, чтоб не дразнить себя оставшимся полугулком. Потом лейтенант приказал водителю поспать часок до рассвета, перед тем как тронуться в путь. Последнюю четверть часа он копался сам, в одиночку, в липкой, стыгущей гуще.

Корма опускалась с резвостью часовой стрелки. Пушка, будь она с другой стороны, показала бы половину пятого, когда крутизна наклона стала преодолимой для мотора. И в третий раз Дыбок по колесу вступил в воду, чтобы выпустить целое озеро ее через аварийный люк. Зато потом он разулся без всякого разрешения и оставил обувь сушиться на решетке трансмиссии: воевать вовсе босым было бы ему не в пример легче.

— Ну.. будем живы, — повторил давнее слово Собольков и засмеялся. — Ангел мщенья, а не машина. Доброе утро тебе.. ангел! — взволнованно прибавил он, обходя танк и лаская рукой его холдовые части.

Давно, ребенком, в глухой староверской молельной на Алтае он видел такого ангела, которого зрел, на книрой, как корыто, доске, изобразил дотошный и поэтический богомаз. Непонятно, как не отвергла церковь такого жестокого и правдивого творенья. Ангел был шербатый, некрасивый и худой, в будничной рабочей одежде цвета несмытого пепла; широкие, едва ли не демонские крылья были опалены от груза пламени, который ему постоянно приходилось таскать на себе. Ему не ставили свечей, старухи обходили его, избегая попадать на глаза, и было страшно представить в действии это мифологическое создание суровой совести неграмотного сибиряка.. Было

что-то от ангела мщенья и в двести третьей, как стояла она сейчас, обратясь лицом к врагу, невредимая после стольких бедствий, если не считать оторванного буксирного крюка, смятых надкрышков и многочисленных вмятин, лишь умножавших ее гневную и грозную красоту. Белесый ледок успел намерзнуть на железных веках ее триплексов; она как живая, помигала им, когда Собольков разворачивал машину.

Было еще темно, но предметы, казалось, уже сами отдавали свет, поглощенный ими накануне; представлялось рискованным отправляться в рейд по полутьме. Просторная и торжественная, как перед громадным праздником, удлинявшая пространство, заставлявшая сосредоточиться и говорить шепотом, — такая была тишина! Кое-кто уже пробуждался и раньше всех — ветер. Он донес мягкий и вкрадчивый стглосок оружейных запов; экипаж слушал эту кошачью поступь проснувшейся войны с сердцебиением точно весточки с родины. В такие минуты предки этих людей надевали чистые рубахи.. Потом, все приведя в боевой порядок, экипаж сидел на своих местах, торопя рассвет и стараясь лишь не прикасаться к металлу. Здесь потихоньку стал засгигать их сон.

Он уже давно бродил возле танка и заглядывал в щели, как лазутчик. Вяло и молча мечтали о теплой лежанке или хотя бы о костерке, но у одного уже спала рука, а другой не мог пошевелить приставшую к железу ногу.

— А знаешь, Собольков.. этак задремлем мы тут по-апостольски и не заметим, как вознесут нас живьем на небеса, — заговорил Обрядин, сдвигая шапку на левую бровь. — А ну, скрути мне кто-нибудь дыхнуть разок, а то рука.. от холода онемела, не сгинается. — Ему даже не столь хотелось пополезать себя дымком, сколь поддержать в ладошке милаый уголек цыгарки. — Не даром и стишок сложен такой.. Папирской ароматной мне приятно подымить. У ней дымочек аккумуляторный, на кону огонь горить.

Он покосился на Дыбка, не терпивою обрядинской поэзии, но и тот оживился при упоминанье о махорке. Этой божественной русской крошки у Обрядина с избытком хватало бы на всех, включая и Литовченко если бы не спал сейчас в обнимку с Кисо в дубрях итальянской шубы; пар и крап валяли из щелей. Бережно, как святыню, Собольков достал котелок со спичками; вспышка осветила три, с нетерпением протянутых к огню самокрутки. Из четырех последних не загорелась ни одна, и надо считать, эту самую минуту начальник всех труженников спичтреста с грохотом проснулся на своем диване от добротной братской оплеухи: тут и пригодилась трофейная за-

кигалка у Дыбка. Мороз и усталость, однако, брали свое, и тяжкая дремотная лень, такая преодолимая перед рассветом, все больше вливалась в тело.

— Соври нам что-нибудь, Соболек, — попросил тогда Обрядин, и его поддержал тот самый Дыбок, который с детства не любил сказок, потому что сам собирался бесцельно творить их наяву. — Про что-нибудь такое соври, чего на свете не бывает.

Собольков молчал; было в нем маленькое смущение перед этими людьми за себя вчерашнего, хоть и не обнаружилось ни в чем его мимолетное малодушие перед неизбежным. Но по мере того, как прибавлялось свету, полнокровная радость вступала в него, как всегда — когда пройден через узкое горлышко ночных сомнений, вырывается душа на простор нового утра. Он молчал, не зная лишь, какую сказку выбрать из тысячи; любую окрашивала личная, собольковская, горечь и рушила ее степенный строгий лад...

— Есть у нас одна гора такая, вся бирючиной заросла, — начал Собольков, чуть стесняясь вначале, словно самое сокровенное рассказывал про себя, и глядя, как движутся во тьме огоньки цыгарок. — Там под навесом каменная коечка, на ней постелено моховое одеяльце. Я шел раз из МТС, прилет от жары и сам слышал, как птица птице сказывала. Может и неправда, ведь кто ее проверит, птичью быль.. Будто проживал там поблизости, в стародавнее время, один обыкновенный гражданин, только служил в кооперативе. Имел хозяйство с яблочным садиком, жену, трех девчуток, краше вишенки.. и все три в одну неделю закопались. Пойдут по ягоды, шагком в сторону, да две прислупки вниз, где поспелее, а уж там ждут, кому надо. Брехали, что змей семиголовный поселился, он девок и таскал. Вырастит, музыке обучит, потом женится по всем правилам: видать, еще в соку был Конечно, нынешние профессора это опровергают, но, значит, тогдашняя наука послабже была!. Так и замухрел с горя мой мужик. Всегда при нем бутылочка — сидит, срывает цветы удовольствия. Что и накрад, весь прожился, а жена только пышной цветет, ходит колечком шурстит. Кстате весна выдалась крутая, деревья почку, во, наиграли!

А в ту пору все попроще было. В горах жили странники, собирали травы для аптекоправления.. у нас в Сибири беглых много проживало. Один и забрел на дымок. «Чего ты печальная, хозяйка?» — «А что тебе, дедка, печаль моя?» — отвечает. — «Ежели грех мутит, то не беги. Им спасаемся, в нем огонь. Без него погнили бы от святости». Она сперва брыкается, как всякая верная жена.. чтоб

совесть облегчить. «А коли хочешь свой огонь пригнать, на, отпей глоток». Пригубила она из его ковша, да и проглотила горошинку и с того сына родила. Мужу так объясняла, а как в точности было. науке неизвестно. Назвали сына Покати-Горошком. Стал парнишечка расти, матереть не по годам. По седьмому году краю себе завел, даже перстенками обменялись. Чистенькая да кротка, ровно яблонька, только никогда, никогда не осыпнется ее цвет. Словом, та красавица! Скажи, с каждым днем расширилось у него сердце к этой барышне, пока и ее змей не уволок. Тут заказал он родителю железную палку, чтоб ни сломать, ни согнуть. «Отвою я себе невесту, а тебе дочерей. А из этого зеленого бабника надеваю костей в полном, как говорится, объеме». Всей округой и сготовили ему три. Две Покати-Горошек сразу в узелок повязал, скорбно посмеялся: «Нет, эта мне не гожа!» А про третью, что семь кузнецов ковали, сказал — «это моя палка», Мать ему сухарцов насушила, фотокарточки с каждой дочки дала; хоть и переросли, а признать можно. Отправляется в путешествие.

На пятые сутки попадаете ему при горелом селе мущина, тощий да длинный да коряжистый, — на башку короб берестяный надет. Облокотился о колоколенку, куполок промял, плюется.. все норовит плевком птичку мимолетную подшибить. «Как вас зовут, — Покати-Горошек спрашивает, — и почему при таком теле имеете такой слабый ум?» — «Я есть Вырви-Дуба, — отвечает, — не знаю, где мне силу применить. От этого и расстраиваюсь.» — «Мне таких и надо. Известен мне один адресок, могу услужить, пойдем вместе!» Неделю-вторую идут, вода им дорогу переступила. Они в обход, видят — такой же мущина в озере купается.. только этот в ширину, наподобие шара раздался. Башку окунет, вода на семь метров подымется. Ну, документов у голого не спросишь. «Дозвольте поинтересоваться, — наши говорят, — кто вы есть, такой беспорядок устраиваете?» — «А я Переверни-Гора, — объясняет. — Сковырнул сейчас одну да, вот, взопред малость». «Какие бесполезные пустяки! — наши усмеваются. — А ведь по врагу и сила мерится. А лучше мы вам такого господина предоставим, что все человечество в ножки вам поклонится». Взяли и его в компанию.. Так они месяц шли, сухарцы кончаются, застают их в дороге вечер. Подобрали на ночлег разваленную хатку, а утром гадать принялись, как им пополнить продовольствие. Решили подкопить харчей охотой, ушли, а Вырви-Дуба хозяйкой оставили. Ходят, дерево с дичью приметят, Переверни-Гора ладошкой прихлопнет, и все наше!

— Ты поглядывай кругом, Осютин, — не-

ожиданно вставил Соболюков, — но никто не заметил его оговора.

Теперь слушали Соболюкова все: Литовченко, проснувшийся как по тревоге, слушал Обрядин, в интересных местах поталкивая Дыбка в плечо, чтоб обратил внимание, слушали американская, уже помятая при аварии девушка и Дыбова несчастная сестра; самые стены танка, казалось, жадно впитывали человеческое тепло сказки. Она создавалась давно, когда другие люди, не эти, сидели вот так же вокруг Соболюкова: незабвенный Алешка Гальшев, а рядом великан Осютин, едва уместившийся в тесной башнерской келье, а наискось вниз — Коля Колецкий, верный друг, закопанный с дыркой в сердце в мерзлой росошанской земле. Потухшие цыгарки не освещали лиц, и рассказчику казалось, именно они слушали его, милые, непобедимые, все еще живые. Тогда Соболюков еще не знал про измену, и сказка имела простодушный и счастливейший конец.

— А Вырви-Дуба тем временем сварил последнюю солонинку, горницу подмел березкой, сидит. Вдруг под ногами голос является, сохшийся, не из ихних. «Полно изсом-то клевать, отпирай!» Распахнул — никого за дверью, а только стоит при порожке удивительный дед, вполне карманный, четверть сам да бородача в три четверти. «А ну, пересадь меня через порог — хрипит. — А ну, подмости под меня, чтоб я грудями до стола касался. Обедать наварил? Давай!» — «Не имею права, — Вырви-Дуба отвечает. — Питания нехватит на товарищей». — «Я тебе приказываю». Да швырк ему полено под ноги. Повалил, долговязого, спинку ему разрезал перочинным ножиком по это самое место, соли под шкуру насыпал, мяжишем залепил, обед скушал и досвиданья.

— Ты уж не торопись, товарищ лейтенант, в сказке все — самое важное, — сказал Литовченко.

— ... В ту ночь обошлись, а на утро Переверни-Гору оставили. Однако та же картина, только соли больше ушло. В третий раз Покати-Горошек остался. Дед ему командует: «поставь меня на стол. Давай, а то время нет. Я люблю, когда меня хорошо кормят». — «Нет, это не те ребята, что вчера были», — Покати-Горошек отвечает. Дал ему хорошо, сбил, вытянул во двор за бородащу, еще дал для памяти, а там валялся дуб, водой подмытый. Он комель надколол, бороду захпал, сидит у окна, размышляет про свою королеву. «Когда я цвет твой увижу, яблонька моя?..» Приятели вернулись, смеются — «соли-то хватило на тебя?» — спрашивают. А он — «пойдем, покажу!» Смотрят — ни деда, ни дуба во дворе: сбежал. А этот дед был тот дед!.. Ладно, надо выходить из положения. Четыре кило-

метра шли, следом, как дуб корнями прочертил, видят — за кустами дырка в земле, а на дверце золотая шишечка — отрываться. Заглянули — голова кругом пошла: бездонная трубища, в конце светлой пятнышко, но человек, между прочим свободно пролазит. «А ну, рви корни, вей веревку... чего силе зря стоять! Вей, а до Берлина...» Те свили, дрожат, даже пахнуть начали, такой у них страх создавался: а вдруг Покати-Горошек лезть их туда заставит? «Ладно, сидите уж тут, — он их утешает, — ждите меня месяц, а как дерну ту веревку, тяните потихонечку, чтоб не порвалась»...

— Я эту сказку слышал, — вставил Обрядин, пока Соболюков закуривал при тухлую папирску. — Они все змеиные сокровища да краю его наверх подымут, а самого внизу оставят.

— Нет, браточек, с тех пор подрост, умный стал Покати-Горошек, — непонятно поправил Дыбок. — Еще кто кого, думается мне, обманет!

Сказано было гораздо больше, чем уместилось в пересказе. Там были камни и звери, говорящие на иностранных языках, прозорливые одноглазые старцы, реки, что в бурю гуляют на своих водяных хвостах, бездонные пропасти, куда скатывался заветный перстенок, и прочее, точно рассчитанное по времени Соболюковым. Неторопливо подступал рассвет. В сизой мгле непоследовательно, как из негативе, проявлялись бесвязные пока черные и белесые пятна. Расстояния изменялись на глазах, но тьма еще надежно держалась в небе, и можно было лишь догадываться о значении смутной бахромы, протянувшейся по ровному ночному месту. И то чудилось, шевелился ближний кусток, то пригнулся кто-то к земле, врасплох застигнутый обрядинским глазом. Теперь только сказка да мысль о солнышке и согревали продвигший экипаж двести третьей.

— Словом, долго он спускался, все руки ободра. Огляделся, видит — туда-сюда шоссеяная дорога, на ней след от дуба процарапался. Ладно, двинулся по тому ориентиру. Жуть его забирает, — под землю попал, а вокруг такая обыкновенность... только всё, ровно бы, плохими спичками приванивает. А сердечко-то чует, как кличет она его — «томлюсь в темнице, торопись, мой милый, пока не облетел мой пышной цвет!» Наконец, видит — город. Срежь зубцов развешены на просушку туловища, руки... разные куски человечества, которое сюда достигало. Головы отдельно кучкой сложены, печально смотрят их впалые очи. «Мы тоже жили и стремились. Остановись, поприветствуй нас, путник!» А при самых вратах, и смех и грех, дед все с дубом возится: «Здорово, старик, — Покати-Горошек говорит и дает ему разок для просветления. — Теперь и я к вам в гости соб-

рался. Сказывай, чьи хоромы и зачем геройские кости по стенкам висят?» Тот ему докладывает, что это есть дворец змея. А имеет он не семь, а все двенадцать голов, и проживает с главной женой в боковом флигере налево за углом, пока меньшенькие подрастают. Их всего здесь, змеиных невест, девяносто восемь штук. Лег ему неисчислимо, а кости для острастки висят. «Сейчас,—говорит,—улетел на тот свет купить кое-что и для моциону перед обедом.» — «Где ключи?» — «При мне». — «Давай сюда!» Подвязал брюки, чтоб какая ядовитая мелочь не запоздала, и пошел. Разомкнул все три парадных крыльца — нет никого. Змеевы холопы, как завидят его тросточку, так и прячутся... Идет, каждый уголок по имени окликает: милая, отзовись, вот он я! В одной комнате непочатые бочки стоят с продуктами, в другой — запасное хозяйское обмундирование — зубчатые хвосты, зимние крылья на черном меху, когти разного размера... В третьей — товаров целый универмаг: отрезки, чулки, пишущие машинки. Разомкнул он десятую комнату — колена подломились. Сидит его краля за столом, нарядная... как они нашему брату снятся! Только с лица малосгь бледная... с зеленцой... нето от душного помещения, нето притомил ее прошлой вочкой змей. И при ей девочка сидит на стульчике, худенькая, о трех головках... Змеи им чай с вафлями подают.

Враз она голову повернула — «вы чего хотели?» — интересуется. «Где, милая детка, твой муженек двенадцатоголовный?» — Покати-Горошек спрашивает: — «А вам по какому делу?» — «Хочу его убить для общей пользы». — «Не советую, — говорит и жует вафлю при этом, — а советую, гражданин, скорее всего уходить. Он вас погубит. — «Что ж, я это теперь только приветствую...» — «Хорошо, тогда обождите, говорит, в прихожей». А сама все дочку потчует: «Ешь, маленькая, ешь, а то у тебя малокровие разовьется!» И тут приметила она свой перстенок у Покати-Горошка, да прыг к нему через стол в его объятья. Дрожит вся, ласится, без умолку говорит: «Я тебя ждала, мне с ним жить хуже смерти. Я буду тебе верной женой. Хотя и обутил он меня различной музыке, но он меня и погубил. Ты сейчас покушай, выпей пока сто пятьдесят грамм, больше не надо, и ложись под койку. А как прилетит да заснет, ты ему головы отрубывай; а я буду в большую корзину складать, чтоб не приклеивались назад. Только остерегись, из его ушей иногда выскакивает пламя... Будем с тобой жить, золото распечатаем, да я еще из одежды запаса. И не сердчай, я тебе хорошую, справную дочку рожу, а эту сырой водичей напьем... может, и помрет, бог даст. И таким маерцем мы выйдем с тобой из положения».

Она ему крабы, портвейн придвигает... он не ест, не пьет. Она его хочет целовать, он не может на нее смотреть, мой бедный Покати-Горошек... лишь только головой качает. Сердце его в ключья летит... Да вдруг представилось ему, как входит к ней муж под вечерок во всем своем сраме, ночной халат нараспашку, а из ворота все двенадцать голов букетом торчат... и целует сна их в зеленые их прыщи, по очереди все двенадцать, одна другой краше, и гладит точеной ручкой его подлое ледяное тело. И махнул он рукой на нее, но не убил, а только шатнул от себя тварюку. «Нет, дорогая, я не такой. Посмотри, какой я из-за тебя ошарашка стал, ведь ты меня не узнала. Неделями не ел, месяцами не спал из-за тебя. Но зачем ты надругалась над героем?» И заплакал на женскую любовь, а потом вышел, опустя голову, из змеиною дворца, видит — дед. Освободил ему бороду, посидели они тут, свернули по одной, покуривали. «Так-то, дед, зря я тебя обидел. Лучше бы мне не приходиться.» А тот смеется — «ласки в тебе мало, молодой человек, — отвечает, — небось, все в делах. А ведь женщина, что чурка, лизнуло огоньком — и горит. Я это дело по своей старухе на практике изучил... Ты знаешь, отчего я седой? Так я скажу тебе, отчего я седой... И только зачал он про себя рассказывать, прошумело над ними небо. Глядь — летит с зеленым выхлопом большая лысая птица, целая гроздь виноградная заместо головы...

Больше он не сказал ни слова. Обрядин тронул его колено.

— Идут, — шепнул он, и все поняли, что ночь кончилась, и наступил день; он также спросил взглядом, нужно ли закрывать люки, но лейтенант отрицательно качнул головой.

Бахромка в поле оказалась густой кустарниковой порослью, за которой виднелись деревца и повзрослей. Полею деловито шли немцы, шестеро, но может быть, их было восемь; они шагали, видимо, не по целине, потому что шли быстро и не проваливались в снег. Патруль увидел двести третью и свернул к ней с дороги. Произошло маленькое совещанье, они залегли, и Соболев пожалел, что заблаговременно не положил дымовую пашку на плиту моторного отделения. Но лежать так — было глупо, кроме того танк мог оказаться и своим, немецким, подбитым во вчерашнем сражении. Двести третья молчала, — стали расползаться цепью. Отделяясь от потемок, двое в рост двинулись вперед со связками круглых и на длинных ручках банок, похожих на большие детские погремушки. Ноги едва волоклись, им не хотелось; сзади подталкивали криком и, донеслось, припугнули чем-то вроде Гитлера. Само-

убийцы приближались с частыми останковками и в смертной тоске сияясь рассмотреть на танке его грозную рану. Наблюдать из-за броневой стены их петушиное недоумение было смешно и весело. Один пошел в обход. «Без команды не стрелять», — почти вслух приказал Соболюков. Расстояние сокращалось, но он знал, что не бывает таких силачей, чтобы связку гранат швырнули за тридцать метров. Так чего еще жаждал он испытать в жизни, куда заглянуть стремился этот не раз простреленный человек? Ждал, когда подымутся остальные, или просто смеялся над собой за вчерашнее?... Извернувшись, Обрядин тискал ему колено здоровой рукой: такая игра происходила не по уставу. Но теперь все происходило не по уставу. Не разрешалось отрываться от штурмующей бригады или сидеть ночь в противотанковом рву; кроме того двадцать третье число также не было обозначено красным праздничным цветом в уставе... Те опять залегли, и стало слышно, как левый, передний, судорожно плачет и корчится, уткнувшись лицом в снег. Видимо, он был не из героев.

— Испугался, дерьмо. — каким-то тягучим голосом сказал Дыбок, заражаясь волнением Соболюкова. — Цып-цып-цып, — позвал он еле слышно, но те лежали; он еще позвал, послушней, и, тогда, повинувшись, те поднялись в окончательную перебежку.

— Заводи! — в голос крикнул Соболюков.

Так началась война и в этом рассветном загибши. Гул мотора сиялся с беспорядочным треском стрельбы. Кому было положено, те сразу свалились навзничь, но другим дано было видеть еще полминуты, как, вспугнутая, вилась и галдела над лесом галочья разведка. Двести третья намеревалась прорваться по прямой, как ей было короче, но сбоку застучал по броне станковый пулемет, и она сделала небольшую крюк, чтобы наказать дурака за бесцельную грату патронов. В зимнем эхо лесов, как в зеркалах, отразилось множество батарей. Артиллерия пронулась, лишь когда двести третья, отвернув пушку назад, чтобы не повредить при таране, уже углубилась в перелесок... Подобие лесной сторожки попало ей на пути; Литовченке на мгновение показало, что видит в упор, в триллексах перед собою, стол с самоваришком и немецких командиров, мирно сидящих вокруг: они так и не успели сообразить, что помещало им попить чайку во благовремени... И еще километра три мчалась она по опушке, выбирая полянки и стараясь не выдать своего направления падением обитых деревьев. Им попало прогалинка в мелком ельнике, там сделали они останковку — осмотреться, оправиться, при-

нять решение. Соболюков отбежал с компасом метров на десять от машины, но стрелка объяснила ему не больше, чем подсказывали чутье и опыт: вдобавок события ночи неминуемо должны были смешать диспозицию вчерашнего дня. И тут Соболюков произнес самую краткую свою речь; ему хотелось, чтобы каждый в отдельности и вслух подтвердил свою решимость на то грозное и последнее, что не уместается в обычном приказании.

— Вот, товарищи... — и засмеялся радуясь чему-то, как мальчик. — Неизвестность окружает нас. Мы нынче как канона в немецком теле... и выручки нам ждать не приходится. Но мы, танкисты, особый народ... они не жалуются на долю. Ихнее сердце и в огне смеется над судьбою!. Мое решение вперед и напролом итти. Чтоб ветер не догнал, так лететь. Так биться, чтоб навек у них застряло в памяти двадцать третье декабря. Ну.. может, неправильно я болтаю, Андрей? Ты ведь холостой, детишек нет у тебя.. тебе драться не за кого, а? Ты, Вася, одного себе искал, а я их тебе сотню враз подарю. Бери жадней, сколько в горстку влезет. А ты, повар, чего потускнел? Ой, не любишь ты беспокойства в жизни. Твою силу три раза вокруг земного шара обмотать... да еще чорту шею сломать останется! Прав Андрюшка, не обожает беспокойства русский человек. Сам того ж племени, знаю. А скажи, можно им за дарма экое серебро отдавать?

Он окинул глазами зимнее убранство леса, строгие елочки в снежных коронках и с царственным горностаем на детских плечиках, небо громаднейшее, как родина, самый этот снег, легкий и лапчатый, еще на синей ночной подложке, но уже волшебной и ало подкрашенной сверху. Его сердце зашло, его голос срывался. Никогда в такой вещественной прелести не воспринимал он родной природы, ее вкрадчивых шорохов и запахов, — все ему было дорого в ней, даже эта знобящая шероховатая тишина. Обрядин глядел себе в ноги; вдруг его лицо потемнело, точно Соболюков, тряхнувший седым хохолком, кнутиком хлестнул по самому больному месту.

— Решай, Сергей Тимофеевич. А и убьют дружка твоего, товарища Семенова Н. П., — другие хозяева найдутся. Ведь тебе главное — было бы кому жареного медведя в томатах подавать.. Ну, вали, погрепись, коли охота.. пока земляки кровь льют!

— Чего меня терзаешь! Али я слабее тебя, лейтенант? — поднял голову Обрядин, и что-то пугачевское, черное, атаманское слепительно блеснуло в его взоре, — блеснуло и, не ударив, погасло. — Я тебя постарше буду, во мне твоей прыти нет. Куда собрался? Что в уставе сказано? Глава восьмая, двести совок четвертый номер... действовать в составе тан-

кового взвода, в боевом порядке место сохранять, поступать по заданиям командира. Где это все у тебя? А обождашь бы — глядишь, наши и придвинутся. Ишь, воздух-то гудет! — А то не воздух, то сердце шумно билось в нем самом. — Ты прикажи, я выполню.

И тогда, злой, машистый и веселый, ударил его по плечу Дыбок.

— Везет тебе, законник... везет тебе, Сергей Тимофеич, — с двух приемов выговорил, наконец, он. — Везет тебе друг милый, что есть при тебе советская власть. Без нее, точно тебе говорю, так и слонялся бы ты по земле, на манер Вырви-Дуба... вконец извелся бы, что силушку некуда приложить. Ну, хватит; поговорили, лейтенант Пора, а то вон пташка сместя. — И верно, какая-то одинокая синичка резко порхнула с ветки, осыпая снег. — Садись, похали!

Обрядин переклочил горячее на левый бак, Собольков приказал закрыть жалюзи мотора на случай, если кинут бутылку с бензином, Литовченко надел рукавички, чтобы так и не вспомнить о них до самого конца... С опушки они огляделись в последний раз, стараясь угадать место и рассмотреть добычу. Ничего там не было впереди, кроме неба с голубыми морозными промоинками да сожженного села под ним. Да еще дикая простолодая женщина, без возраста и худая до сходства с дымом, встала им на дороге. Все в ее жизни покончилось, она тащилась до первого германского патруля... Высунувшись из люка, Собольков посоветовал, было, ей сидеть дома и спросил кстати, как называлось когда-то село, лежащее ныне в безжизненных головах.

— Война, где мои дети... где мои дети, война?! — плаксиво и безнадежно проплакала та, цепляясь за надкрылок; ничего там не было, в ее красных обветренных веках, ни разума, ни страдания, ни самых зрачков: все съело горе и не подавилось.

Понадобилась третья скорость, чтобы оторвать машину от ее рук... Встреча подстегнула ожесточенную удачу экипажа. — Отсюда начинается тот баснословный кинжальный рейд, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подбных. Поколениям танкистов он мог бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и глухонемая тридцать-четверка, когда ее люди не размышляют о цене победы!... Впоследствии даже участники не могли установить истинную последовательность событий: действительно ли автомобильный парк немецкого мотополка стал первой жертвой Соболькова или тот эшелон с боеприпасами, что рвался вплоть до прихода нашей основной бронетанковой лавы. Все спуталось в их памяти, утро и вечер,

лето и зима, явь и бред, — самый пейзаж, наконец, так прыгавший в смотровых щелях, словно разрезали пополам и сложили обратными концами... Блаженная теплота, исходившая от перегретых механизмов, превращалась в зной; к исходу боя все в танке срывалось за счет вом и температурой. Показания уцелевших как раз и сходятся лишь на том, что отменно жарко стало в машине.

Зарывшись в тело германской дивизии, двести третья низала его во всех направлениях: так ходит снаряд по танку, пока не погасится его живая сила. И как снаряд не жалует себя, вламываясь во вражескую броню, так и люди забыли об опасностях своего стремительного бега. Здесь следует искать причину, почему до самого конца ни одно попадание из всех, какие двести третья во множестве приняла на себя, не оказалось для нее смертельным, — но уже не удивляясь и не пугая командира чудесная неуязвимость его машины!.. Одна могучая бронированная тварь с белым фашистским крестом вырвалась из сарая наперсез двести третьей: целый стальной тоннель уперся крутым марком в сердце Соболькова, — ветер громого промаха на мгновение оледенил его, и все болты и клетки напряглись в своем технологическом пределе... Потом гадина горела, но не оттого, что так хочется глазу наблюдателя и патриота, а потому, что солнце поднималось за танком Соболькова, и всё, даже это холодное медное солнце, работало теперь на гибель фашистской Германии.

— Нет, сперва ты, а потом уж я... — сорванным голосом, торжествуя, закричал Собольков.

Гром и треск огневой погони остались позади. Пока преследовать двести третья было некому. И тогда, круто вывернувшись из-за бугра, они увидели высскую гряду насыпи. Она была полна немецкими солдатами, повозками, машинами и лошадьми. Все это двигалось в сторону, обратную той, откуда пришла двести третья. Не обмануло Соболькова солдатское чутье. Это было шоссе.

Тяжело дыща, приоткрыв грузные веки, двести третья не мигая смотрела из-за кустов, смотрела туда долго и страстно, точно хотела, чтобы досыта насладилось око, прежде чем доверить железу самую работу мшнцы. Тихо, на малых оборотах, рокотало ее сердце, и что-то бесповоротно надорвалось в нем за два часа исполнской расправы. Слабый звенящий вой слышался в его неровном гуле, но такой же тонкий и пьяный звон, как от вина, стоял и в ушах экипажа. Как в котелке плохого парохода, машинный чад выливался изовсюду; масло достигало почти аварийной температуры — 120. Собольков глянул под ноги себе: снаряды

были на исходе, дисков нехватало бы даже пунктиром пройти по всему горизонту. Он также увидел живое белое пятно на полу, блестящем от масляного пота. Это был Кисо, которому, видно, разонравился жаркий климат итальянской шубы и начинало пугать такое затянувшееся землетрясение. Озабоченным вопрошательным взглядом он скользнул по своему беспокойному командиру.

— Терпи, Кисо... недолго осталось, — мигнул ему Собольков. — Скоро приедем домой, а там и Алтай близко, будут тебе щи со свинойкой... слышишь, варят-ся? — И правда, издалека, из снежной сини, внятно слышалось как бы глухое бульканье варева.

Возможно, что и это он сказал лишь мысленно: его все равно заглушил бы другой, неслышимый и нечеловеческий крик, от которого давно оглохла душа: — вот они, вот... убийцы, завоеватели, изверги!

Шоссе в этом месте поднималось на мост, который легкой журавлиной ступью перешагивал реку. Плоское, сплющенное и цвета отпущенной меди, восходило солнце. Мороз нарядно приделал деревья, и праздничное затишье этого перевозимого дня оглашали лишь истощенный немецкий окрик да еще однообразный шестиступенчатый движенья, славившийся над крупнейшей артерией фронта. Плотная черная кровь текла по ней в сражающуюся руку, которую на протяжении часа должны были отсечь от тела. Основной инвентарь убийства уже работал на передовой, и теперь попеременно с подходящими резервами туда подтягивались подсобные товары германской стратегии. С расстояния полувыстрела это казалось безличной пестрой лентой, но и в полном мраке видит глаз ненависти!

Сама смерть двигалась по шоссе, всякая — в бидонах, ящиках, тубиках и цистернах, добротная немецкая смерть, проверенная в государственных лабораториях, смерть жидкая, твердая и газообразная смерть, что кочует по нашим землям в душегубках. Загримированные под штабные автобусы, они шли здесь в ряду бронетранспортеров и грузовиков, крупноволосые олехи и мерседесы, как бы возглавляя их шествие, а за ними, мелким дьяволом и на бесшумной резине, несло все, что века таилось в подпольях германских университетов — скотские бичи на наших мужиков, гвозди — приближать младенцев под мишени, негашеная известь и сквозные металлические перчатки для пытки пленных, черная паста, что вводится в ноздри грудных для умерщвления, пустые и жадные чемоданы под трофейные барахло и мины, пока еще безвредные, бесконечно замедленного действия, неуловимые приборами мины на святых и элеваторы, обсерватории и

школы наши, когда они наполнятся детворой. Горемычные лошадки тянули это материальное страдание, выбываясь из сил, и даже пешие маршевые батальоны опережали их. Эти шагали уже без песен, скучные и томные, но еще прочные — железная связка отмычек к сокровищницам мира, отребье, стремившееся поселиться во внутренностях человечества; трехтонки с фабричными деревянными крестами сопровождали их, смертельно раненых, мечтой о надмирном могуществе... Все это двигалось в самое печало великошумской битвы, чтобы расплыться в ничто, обратиться в поражение; они еще не знали, что творится у них на левом фланге. Было шумно, но не очень весело в этом потоке: двести третьей нехватало им для оживленья!

Так крадется охотник, чтобы не спугнуть трепетную дичь, — двести третья медленно набирала скорость. Удобный отлогий подъем выводил дорогу на шоссе; став в сторонку, германский штабной связист копался здесь в своем мотоцикле, пока другой материл его по-немецки из прицепной коляски. Оба они увидели над собою танк, когда он стал величиной с полнеба... Задние сарахнулись, передние не успели понять, что случилось за спиной. Норовя уйти от гибели, трехосный, специального назначения, бюсинг зарылся было в свои же повозки, но Собольков подумал только — «куда, сатана!», и тот через мотор, наперегонку со своими ящиками, закувыркался под насыпь. Этим ударом открывается победоносный бег двести третьей к ее немеркнувшей военной славе.

— Твой!.. — крикнул Собольков, даря водителю весь этот черный, многогрешный сброд, застылый вокруг его гусениц.

В каждом мгновенье есть своя неповторимая подробность, которой не превзойти последующим столетиям. Защищая своих малюток от дикарей, мой народ создаст машины утроенной убойной мощности, но страшней и прекрасней двести третьей у него не будет никогда. Стоило бы песню сложить про это крылатое железо, которого хватало бы на тысячу ангелов мщенья, и чтобы пели ее — пусть неумело! — но так же страстно и душевно, как умел Обрядин.. Двести третья недолго пробыла в схватке, но ради этих считанных минут не спят конструктора, мучатся сталевары и милые женщины наши стареют у станков! Но, значит, не зря мучились они, не спали и старели... Танк швыряло и раскачивало, как на волне; движение почти поднимало его над гудроном, и тогда верилось — на первом препятствии вылетят пружины подвесок или лопнет стальная мышца вала... вот он становился на дыбы и опрокидывался на все, дерзавшее сопротивляться; он крушил боками, исчезал в горах



утила и вылезал из-под обломков неожиданной, ревущий, гневный, переваливаясь и скользя в месиве, которое шепилось, горело, кричало, вздувалось пеной и пузырьем. Все в нем убивало наповал; карточный, с нахлестом, и иной огонь, что лился из всех его щелей, подавлял волю врага не больше, чем самый вид его и то красное, шерстистое, неправдоподобное, что прилипло к броне или металось кругом, застряв в крепленьях траков. Никто не плакал, не поднимал рук, не молил о пощаде, — у них не оставалось времени на это. Простреленные насквозь, они еще стояли, когда набегал на них танк.

Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое полотно моста. Любо было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное немецкое добро, падая в алую зимнюю бездну, а лошади сгибались точно подвешенные под брюхо на лебедке, а солдаты, которые и шли сюда за этим, цеплялись за колеса машин, подвернувшиеся им в полете. Уже не было перил, и ничего кругом не было, кроме вместительного, насыщенного голубой снежной пылью простора, — довериться ему, опереться о него раскинутыми руками было умнее, чем остаться на узкой ленте шоссе. И он принимал их всех, громадный розовощекий воздух, и, поиграв, швырял смаху о бетонные откосы, а река распахла ливой, непрочный ледок, размещая без задержек грузы, войска, и технику, прибывшие, наконец, к месту назначения. И каждый раз горячий пар облачком вырывался из воды, а отраженное солнце разбегалось на куски, чтобы, порезвясь, снова сомкнуться в круглое, медное целое... Находились и смельчаки; в испугленные отчаянья они вскакивали на танк, били железом по командирскому перископу или пытались просунуть куда-нибудь гранату, а потом неслись вместе, начиненные ее осколками, свисая и судорожно держась за поручни, пока там, внизу, гусеницы рвали и грызли их тело...

Там же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга, в походных сумках, где лежали письма о разрушении фатераанда, тяжелое немецкое сомнение контрабандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно преобразилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседлавших шоссе. Он взрывался сам, с силой тогда разнося поток по обе стороны магистрали. Его взрывная волна давно опередила двести третья, почти расчистив ей дорогу: все валилось само, чтобы не быть поваленным... Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы — все осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешел на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой — взорваться в гущу врага... Лишь одна от-

крытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулем сидел майор; видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги — из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий; им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на двести третьей, вес и скорость стали ее оружием... Впоследствии улыбались на рассказ Литовченко, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и немецкое мясо спружинили ее паденье, но таково же было впечатление всех, еще имевших признак жизни, очевидцев... На пути двести третья срезала телеграфный столб, дополнительно ожесточая ужас удара, и только один успел выпрыгнуть, пока двести третья висела в полете, — майор.

Его колени усердно бились в полы длинной шинели, всякие походные футлярички скакали по бокам, фуражка скатилась с него, и слетели очки. Он бежал вслепую и не оглядываясь, к ближним кустам, где можно было притвориться падалью, — проваливался в снег и опять бежал: ой! любил жить! Ему удалось выиграть время, — двести третья не сразу выбралась из ямы, словно мертвые генералы дружно ухватились за ее скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора не хватит. То была уже пожилой, средней упитанности, фашистский хлюст, с отличительными зигзагами на рукаве и, наверно, в хороших заграничных сапогах со шпорами для совращения девок... Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его затылке... и уже никто не посмел бы отнять этого майора у Литовченко. Изогнувшись, Дыбок поднял передний люк, чтобы догнать его хоть из автомата, потому что не тратить же было на удовлетворение частной потребности последний их, последний в жизни снаряд. Расстояние сокращалось... и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третья.

Левая гусеница была цела и мертва, снаряд ворвался в ведущее колесо танка. Он тяжело и медленно закрутился на месте, как бы стремясь ввинтиться в мерзлую землю. Соболюков решил сгоряча, что немецкий танк подобрался сбоку. «Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку... сейчас, погоди, сейчас!» — бормотал Соболюков, пытается обернуть орудие к врагу, которого еще не видел — сколько его и каков; второй удар пришлось по венцу башни, и все поворотные механизмы отказали разом. Это был полный паралич, но еще бешено и грозно ревел мотор; в его раздражающий уши звон вплелись неясные смертные дульки, и все же он тянул куда-то, уставший жить, но не сражаться.

— Уходи... все! — успел крикнуть лей-

тенант, тяжестью тела налегая на штурвал пушки, и он никогда не думал, что она будет такой мучительной, тишина последней остановки, когда Литовченко снял ногу с педали. — Лес... бежать... всем... — повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться.

Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее, — Обрядина предохранили казенник и балансиры орудия. Оглуший, долуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая соленую горячую росу с збожженных губ, он обернулся к командиру. Тот еще сидел, привалась к задней стенке, прямой и очень строгий, только непонятная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот, в самую сказку, незаконченную сказку всей его жизни. Убитый командир еще глядел и, кажется, приказывал Обрядину покинуть танк, и опять, уже в последний раз, ослушался его башнер, как изредка по мелочам делал это и при жизни.

Он привстал, упираясь головой в круглое стальное небо: ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не замечал, как внизу, сквозь каток, в одну дыру, туда, где тревожно мяукал Кисо, вошли четвертый и пятый, и дрогнули по-братски все семьдесят два трака, и почему-то ноги саломило у Обрядина.

— Погоди, не вались.. давай вылезать сюда, — осипло и почти спокойно шептал Обрядин, вертясь в своей тесной рубке. — Вылезай, Соболек.. милый, вылезай. Хватайся за меня, я помогу. Врешь, танкисты особый народ... мы еще, о! Давай, упрись сюда ножкой. Соболек мой...

Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу, на выпрямленных руках, и если бы даже остался жив теперь, вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зеленые глаза почернели, едрт понял, что и у десятка Обрядиных нехватит силы вытолкнуть командира наружу. «Одолели.. одолели...» — прохрипел он, усмехаясь на подлую радость того, кто бил его сзади. Тогда-то, без боли и шума, в башню и в спину ему вошел шестой.

Чуть впереди, на шоссе, стояла одна немецкая противотанковая пушчонка. Чорт поставил ее там на страже своего воинства. Она расстреливала двести третью в упор, не целясь, со стометрового расстояния, с какого не ошибаются и новички. Уже были исговорканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валил из трансмиссии и командирского люка, — уже вся она просвечивала насквозь, уже чинить в ней было нечего, а те все стреляли, дырявя кормовые баки, откуда хлестала огненная кровь, голыми ее сшибали все катки и, как жель, разгибали броню; только животный страх, что она еще оживет — без гусениц, без башни — мог быть при-

чиной такого шквального и уже недостойного огня. Все, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без ликования наблюдало эту солдатскую истерику... Напрасно Дыбок с Литовченко, прячась за танком, пытались автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба; он добывал их милый тесный дом, где родилась их дружба, до той поры, пока десятиметровое милосердное пламя не одело его весь, и выстрел из накаленной пушки потряс окрестность, как прощальный салют живым. И так продолжалось все это, пока другие зрители не пришли на место расправы.

...Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда сбершь его перестрает размеры долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, рождает подражанье тысяч, и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки становится частицей национального характера. Таков был подвиг двести третьей.. По живому проводу шоссе волн смятения покагилась на передовую, и тот момент, когда в армейском немецком штабе была произнесена фраза «на коммуникациях русские танки», надо считать решающим в исходе великодушской операции. Одновременно с этим корпус Литовченки с трех направлений охлестнул поле сражения, и третья танковая группа двигалась как-раз той трассой, какой за сутки перед тем проложил Соболеков... Одинокая размашистая колея изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. И хоже было — не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становища, и шла дальше, во лоча по земле свои беспощадные паицы.

Штурмовая лава Литовченки размел и свалила под откос остатки вражеской колонны, пропуская в прорыв конницу и мотопехоту. На больших скоростях, как бы церемониальным маршем военного времени, они проходили мимо догорающего товарища. И каждый кто глядел из люка, или с седла, или с сиденья транспортера, поворачивал голову по мере бега, не в силах оторваться от печального и благородного зрелища. Ключок тепла от этого уже маленького, как представлялось сверху, костерка, они на своих лицах уносили в бой. Время перевалило за полдень, двести третья еще пылала, но черные прожилки усталости все гуще струились в мышцах огня. Ветерку не составило бы труда вовсе погасить лютное, остывающее пламя, сквозь которое стал проступать остов преображенного танка... Дело шло к вечеру, и примораживало. Не стерпимая красота наступала в природе..

Большое солнце опускалось за низкие облачные горы. Глаз легко различал по-

каты хребты и малиновые склоны, пересеченные глубокими лиловыми распадами; розовые реки и спокойные озера светились там, недвижные, как в карауле. Возможно, сам Алтай в праздничной своей одежде припожаловал через всю страну проводить земляка в вечный путь танкистской славы. А тот, в ком есть отцовское сердце, отыскал бы там и каменный стол год моховой скатерткой, за которым отдыхал не однажды со своею дочкой Соболюков.. Чуть вправо от этой родины героев сказочной и совсем близко рисовался синий профиль Великошумска, потому что пригороды его начинались тут же рядом, за тонким полупрозрачным перелеском. Мускулистые стальные дымки поднимались над ними; казалось, само горе народно встало на часах возле двести третьей... Тем отрадней блистал сквозь них крохотный клочок золотца на высокой, узорчатой. может быть — лишь для этого уцелевшей колокольне. Город горел; догорало не испеленное накануне. Видны были изгрызанные взрывом стены собора, у которого не раз Украина брталась с Русью, и тесные вишневые садики, разгороженные плетнями и спускавшиеся к реке, безлюдные улочки, где неторопливо проходила дымная мгла, все — кроме пламени; оно никогда не бывает видно в закате.

Двое сидели на поваленном телеграфном столбе, лицом к солнцу и танку. Как у всех, перешагнувших пропасть, не было у них песка ни раздумья, ни ошущения времени или голода, ни пониманья всей нсвизны обстановки, — ничего, кроме чувства безвозвратной потери. Душою они находились еще там, внутри; крошилась броня над ними, и звучал голос Соболюкова. Снежинка, спорхнув с порванного провода, опустилась на руку Дыбку, на запястье. Она была маленькая и нежная; даже удивляло, что целую ночь, пока дрались и падали люди, трудился над нею мороз, чтоб выковать такую пустяшную и хрупкую бесценность. И сам собою возникал вопрос — повторится ли она когда-нибудь за миллионлетье — в точном ее весе, рисунке, в ее живой и недолговечной прелести? Она растаяла прежде, чем родился ответ.

Вдруг Дыбок вспомнил про Кацо, его лицо искажилось, виноватая тоска сжала душу. Он побежал к танку и заглянул через передний люк, как будто еще не поздно было исполнить ночную просьбу Соболюкова. Чадный жар пахнул ему в глаза. Ничего там не было, на дне танка, в копотной мохнатой тьме, кроме горки застылой коричневатой пены да желтого пятнышка заката, проникшего сквозь пробойну. Нельзя было долго глядеть сюда: **жгло.**

— Поезжайте медленно... мне нужно осмотреть все, — сказал Литовченко свое-

му шоферу: оба Литовченки смотрели сейчас на одно и то же, только один издала, а другой совсем сблизил.

Старинное желание сбывалось, генерал Литовченко навел, наконец, родные места. Три виллы и один броневичок проехали по пустынной набережной, поднялись в горку, потом спустились на круглую базарную площадь, где бывало, галдели бабы, странники и кобзари, и где он на паях с Дениской покупал копеечные лакомства ребячьего рая.. Немецкое самоходное орудие с развороченной кормой чернело пугалом посреди. Ветерок гудел в зеве поникшего сьвола. Вокруг ложили немцы, как застигнутые глубоким сном.

Никто не встречал победителя, точно спали все за поздним часом; ничто не двигалось кроме огня. Тушить было некому: жителей угнали раньше, а войска ушли в прорыв. Вот нахохлилась в стороне вчерашняя, деревянная развалюха его приятеля Дениски, но ничто не катилось навстречу обаять чужое колесо. Значит, спят денискины собаки, как и тот, неугомонный, вроде чернильной кляксы, спит сейчас под откосом шоссе. А вот и три дружных пенька от срезанных тополей при дворике учителя Кулькова... Никто не опросил генерала, кого ищет здесь, ни сосед, ни хозяин, ушедший в дальнюю отлучку. Сквозь едучий дым в окнах видна была ободранная железная кочка и этажерка над нею уже без книг, раскиданных по полу; огонь несспешно блистал их странички, с несложной, в глазах переросшего ученика, мурсыю учителя Кулькова.

«Что же не велешь меня в дом, не угощаешь знаменитыми кавунами, не хватаешься, как вкшнал их заморский профессор и все просил семечек на развод, как благодееяния американскому человечеству?»

«Да видишь сам, какие дела творятся, дорогое ты мое превосходительство..» — так же полуслышно отвечал Митрофан Платонович голосом легящих искр и пустых зимних ветвей, скрипом снега под ногами; да еще доносилось по-рой, как кричат рачки в машине рядом, вызывая Льва Толстого с левого фланга и требуя обстановку на 16 00.

— Да, непохоже.. изменилось, — вслух подумал Литовченко и жестко, до боли, пригладил усы. — Раньше тут по-другому было. И сарайчик не там стоял..

— Верно любовь какая-нибудь.. на заре туманной юности? — пошутил помптех, схавший с ним вместе.

То был румяный весельчак, не терявший духа бодрости даже тогда, когда следовало побавить и бодрости; они давно воевали вместе.

— Ты у меня просто сердцевед, — кашляя от дыма, а также потому, что

еще не прошла его простуда, сказал Литовченко. — Не зря ты у меня железо лечишь.

Осталось посетить лишь школу. Обветшалое двухэтажное зданьице, плод кульковских усилий еще в царское время, стояло там же, близ почты, недалеко: больших расстояний в Великошумске не было. Переднюю стену сорвало взрывом, как занавеску; внутренность школы представлялась в разрезе, как большое наглядное пособие. Литовченко узнал изразцовую, украинской керамики, печку, а также лестницу, по перилам которой они всем классом в переменки съезжали вниз. И хотя ступеньки достаточно приметно колебались под ним, он поднялся и благоговейно обошел темные загаженные комнаты с немецкими кроватями и окровавленной марлей на полу, каждому уголку отдавая дань внимания и благодарности. В дальнем крыле находился чуланчик, куда и раньше складывали ослуживший учебный хлам. Дверь пошла на толку, и на полке, засыпанной известью, Литовченко еще издали увидел глобус, сохранный, видно, ради этой встречи хозяйским усердием учителя Кулькова.

— А... — протянул генерал, точно увидел приятеля давних лет.

Страхнув белую пыль, он внимательно глядел в глянцевиую поверхность, расписанную линиями материками и освещенную закатцем. Вмятина приходилась чуть севернее того места, куда теперь устремлялись его танки; вмятина еще оставалась, так как для исправления глобуса, как и земного шара, потребовалось бы безжалостно распороть его и соединить половинки заново.

Он поставил его на место и огляделся, прощаясь с тем, что изменялось теперь каждое мгновенье. В пролом стены видна была река, движение на переправе и, среди прочих, один очень знакомый домик на том берегу. Окна ярко светились, точно старуха Литовченко затопила печь к приезду внука, только дым валил не из трубы, а из-под самой кровли. Генерал посмотрел на часы и удивился: на все вместе ушло одиннадцать минут — посетить родные места, выслушать стариковское молчанье, подвести тридцатилетние итоги.

— Ишь, как быстро управились, а я думал, неделей не обойдусь. Новое, во всем новое надо строить! Вот, помпотех, где закончился старый, смешиной век девятнадцатый и начался другой... совсем другой век! Ну, что там у Льва Толстого? — Он выслушал сводку до конца, не перебивая. — Ладно, поехали.

Городок отодвинулся назад, во вчерашний день. Сразу за окраиной начинались уже привычные картинки немецкого разгрома. Там, как в музее, были представ-

лены для обозрения образцы вражеской техники и вооружения, вразброс и навалом, и зачастую в нетронутом виде. Еще не оплаканные магерями и вдовами, юнцы и тотальные солдаты того года валялись всюду, прикинув к чужой земле и вслушиваясь в гул своих отступающих армий. Одни из них пребывали уже в плохой сохранности, другие вовсе не имели внешних повреждений; может быть, их убила страх. Виллись ловко скользили между ними, стараясь не замарать своих чистеньких, после великошумского снега, колес. Вихрь машинного боя разметал мертвых по всей окрестной пойме, шеренгами наложил у переправы или воткнул, как попало, в сугроб, где им предстояло ждать весны, пока не выйдет украинский пахарь на поля, освобожденные от зимы и нашествия. Ее было здесь много, мертвечины: казалось, вся она лежала тут, Германия, вымолоченная как сноп. Так выглядела дикарская мечта, по которой прошли история и танки.

Все это несло мимо, не оставляя следа в привычном к таким зрелищам сознании Литовченко. Но, вот, воспоминания отступили перед большим черным пятном в облаившем снегу. Генерал тронул шофера за рукав.

— Стой!.. это, кажется, мои.

По колено проваливаясь в снег, он спустился вниз. Остальные последовали без приглашения. Два человека в матерчатых шлемах, понуро сидевшие на бревне, вскинулись и молчали, пока адъютант не намекнул глазами левому из них. Держа руку у виска, тот принялся докладывать о происшедшем, но губы его тряслись и судорожно вздергивались плечи: еще не доводилось Дыбку в присутствии Соболькова рапортовать за командира.

— Ладно, не надо, — сказал Литовченко, касаясь его влажного плеча; всё вокруг — раздавленная на шоссе пушчонка, непромокая одежда, обломки штабной машины — рассказывало опытному глазу обстоятельнее чем этот пошатнувшийся танкист. — Ну ну, пройдет, — прибавил он, переглянувшись со своим. — Озябли ребятки. Кто командир... ты?

Дыбок отрицательно качнул головой, и, что-то поняв, генерал сам двинулся к танку. Длинная лиловая тень от двести третьей была дорожкой, по которой он шел. Она растяла, когда он добрался до цели; солнце зашло, сказка кончилась, вступали в свои права ночь и военная действительность. Как бы считая дыры, генерал обошел танк по жесткой, как войлок, обугленной траве. Он припомнил эту машину; сквозь копоть был достаточно различим ее номер, только теперь рваное отверстие зияло вместо нуля. Привстав на отогнутый клок брони, генерал заглянул в башню и снял папаху.

— Дайте-ка мне сюда вашу науку и технику, — приказал он адъютанту, потому что в однообразной черноте танка сумерки настали скорее, чем в остальном мире. — Ишь, как они обнялись, — заметил он дрогнувшим голосом, как-то слишком спокойным для того, что он увидел. — Вот они, советские танкисты. Вот они, мы!..

За двое суток капитан удосуужился, наконец, сменить батарею, и командир корпуса сумел прочесть в танке все, что требуется для определения подвига. Надев шапку, Литовченко уступил место помпотеху. Пока остальные, в очередь и подолгу, глядели внутрь этого потухшего вулкана, генерал вернулся к экипажу. Теперь он признал и тезку, но этот был много старше того мальчишка на железнодорожной станции.

— Узнаю... Значит, отца все-таки Екимом звали? Так... Кажется, брат у тебя в немецчине имеется?

— Точно... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — ответил Литовченко с суровостью, какой не было раньше. — Трое нас было... младшенький, Остапом по деду звать.

Генерал вопросительно взглянул на адъютанта, но тот, запутавшись в однообразии имён и горя, уже не помнил, как им называли угнанного паренька из Белых Коровичей.

— Помню командира вашего, кажется, Соболюков?.. Такой, с седым вихорком бы? Как же, помню Соболюкова. Что ж, сгорела знаменитая ваша хата. Ничего, новую дам. Сам не ранен?

— Организм у меня целый... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Это главное!.. Так вот: там, метров триста отсюда, танк без водителя стоит, — он кивнул в меркнувшую глубину шоссе. — Новичок... с открытым люком воевать хотел. Скажешь — я послаа. Хозяин там тоже хороший, я его знаю. Он тебя посушит, покормит... и воюй. Будет что рассказать внучатам. — Затем он обернулся и к Дыбку, потому что обоим нужно было поддерживать словом товарищеского участия. — Дети есть?

— Дочка... — неожиданно для себя сказал Дыбок, и желанная легкость вошла ему в сердце.

— Это хорошо. Дочка — значит, мать героев. Большая?

— Восемь... товарищ гвардии-лейтенант, — ответил Дыбок, покосившись на танк, таявший в сумерках.

— Большущая. Верно, и читать умеет. Станешь писать — кланяться от меня. Все. Записать фамилии!..

Малча подошли офицеры. Помпотех стал закуривать

Январь—июнь, 1944.

— Да... могила неизвестного танкиста, — сказал он раздумчиво, для самого себя.

— Неверно! — немедленно возразил Литовченко. — Это у них солдат одевают в форму, чтоб были одинакие, чтоб их не жалко было. А мы... нет, мы не забывчивые, мы все помним. Жена изменит, мать в земле забудет... но у нас каждое имячко записано. Кстати, — он показал на танк, — их не закапывать. Выйду из боя, сам буду их хоронить... в Великошумске. Таким и поставлю на высоком камне этот танк, как есть. Пусть века смотрят, кто их от кнута и рабства оборонял... — И тут же подумал, что проездом на теплые черноморские берега всякий сможет видеть из вагона высокую, как маяк, могилу двести третьей.

Виллисы ушли и сразу пропали в сумерках. Пора было и Литовченке отправиться к месту новой службы. У товарищей не было даже кisetов, поменяться на прощанье: все осталось в танке. Они взяли за руки и стояли без единого слова; мужской солдатской силы не хватало им порвать это прощальное рукопожатье.

— Слушай меня, Литовченко, — глухо и не своим обычным голосом заговорил Дыбок, и сейчас не было в нем ни одного потайного уголка, куда не пустил бы товарища. — Что бы с тобой ни случилось... — Он помедлил, давая ему срок проникнуть в глубину клятвы. — Что бы ни случилось с тобой, приходи ко мне. Отдам тебе половину всего, что у меня будет. Меня легко найти, ты обо мне еще много услышишь... Я знаю. Приходи!

Литовченко выбрался на шоссе и, задышав, побежал прочь от этого места. Еще незнакомое чувство kloкoтaлo в нем и просило слезами наружу. Лишь когда всё, танк и товарищ, затерялось в потемках, он перешел на шаг; итти в обратную сторону было бы ему гораздо легче, но он тут же решил, что за истекшее время он не мог уйти далеко, тот майор с зигзагами на рукаве! Новые, незнакомые люди ждали его где-то совсем рядом, и паренек испытал такую же щемящую раздвоенность, как и Соболюков в ночном танке, когда он принял своего башнера за Осютина.

Непонятная сила повернула его лицом назад. Война тянула к себе. Горизонт оделся в грозное парадное зарево, а над ним сияла одна, немерцающая точка, на которую в эту минуту глядели все — и Дыбск, и черный Соболюков из открытого люка, и разорванное орудие двести третьей, и сиротка на Алтае, — простая, чистая и спокойная звезда, походящая на снежинку.

# ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ

КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ

★

## I. КАСПИИ

Невесело вчера ты встретило нас, море,  
Но, в путь готовые, мы не ушли назад.  
От штормов яростных, реверших на просторе,  
Шаталось, море, ты и мутен был твой взгляд.

Рычанием нас твоя пугала середина, —  
В берлогах будто там чудовища сопят.  
Откатывалась, вновь вставала из пучины  
Вся в пене грива бурь, качаясь и хрипя.

Стемнело Воли простор старательно укрыла  
Издранная вся ночная пелена.  
Высоких волн хребты порою серебрила,  
Шатаясь в клочьях туч, двурогая луна.

Казалось, адский яд замешивала в чане  
Гигантская рука, незримая никем.  
Как токсом сильным, жгло пёстрой все сознание  
Желание прыжка в зияющую темь.

Но, — победили мы! И напрямик несётся.  
Как мошка, в брызгах волн наш быстрый пароход,  
И вот уж Туркестан в лучах блеснувших солнца  
Вершиною горы отточенной встает.

Предстала осень здесь в сиянии червонном,  
Нет на тебе следов ни бури, ни грозы.  
На поезд сели мы, вперёд, — влюблённо  
Глядя на гладь твоя безмерной бирюзы.

Вот ты лежишь теперь в своем парчовом платье  
На ложе брачных ласк стыдливого женой,  
Взял материк тебя в могучие сбывать  
И в солнечных лучах подол сверкает твой.

## II. КАРАКУМ И НЕСА

Ты — моря антипод и ты его отродье,  
Хвалу, о Каракум, я о тебе спою!  
Противна зелень трав самой твоей природе,  
Снедаст страх кайму хлопковую твою.

С тобою люди в спор вступали постоянно,  
Кто страшных сил своих не мерил на тебе:  
Бактрийцы были здесь, монголы и османы, —  
Немало черепов крошил и ты в борьбе!

На рубеже твоём лежат останки Несы,—  
Столичный древний град, властителей чертог.  
Окаменелый пульс! Здесь слёз былых завесу  
Подъемлет из земли киркой археолог.

Раскопками идём. Шаги чуть слышны наши.  
Тут много ступеней, числа колоннам нет  
Прекрасен был дворец, он даже был окрашен  
В цвет алый, коридор и залы — в алый цвет.

Здесь ниши, чаны здесь и водоёма лону..  
Шла по трубе вода под крепостной стеной.  
Поведал много нам о прошлых днях учёный..  
Закатный сумрак пал на землю пеленой.

Страничка прошлых лет! Увы, властители не вечны!  
Бактрийского царя давно уж нет в живых.  
Пасутся здесь теперь одни стада овечьи,  
Да раздаётся лай собак сторожевых.

### III. СУЛТАН-САНДЖАР

Привет, Султан-Санджар! Расстался я со степью,  
Заехал посмотреть святыню этих мест.  
Ты тоже у гробниц времён стоишь, — вся трепет, —  
И молча смотришь вниз, где все мертво окрест.

Ещё лежат вдали угрюмые руины,—  
Полуснесённый бал обходит строй холмов.  
На стенах у тебя нет облицовки ныне,—  
Тут гнезда голубей и сети пауков.

Свирепо гнался век за веком... Здесь нередко,  
Насупившись, Хайям разгуливал кругом.  
Земная пыль ему казалась прахом предков.  
Горшечник разбирал стихи его с трудом.

Куда девался ум мятущийся Хайяма?  
Горшечник где? Он был трудолюбив и тих.  
Великий человек и рядом малый самый,—  
Как много общих черт, нет разницы почти!

Я на тебя смотрел и прошлое представил,—  
Кровавый, мрачный путь, он за тобой лежит.  
Стемнело; месяц встал, взгляд на меня устави,  
Как Тохтамышга глаз, в котором гнев горит.

### IV. БАЗАР В МЕРВЕ

Вот и базарный день на родине Рамина.—  
Мерв дряхлый свято чтит обычай старины.  
Со всех сторон к нему идут сплошной лавиной  
Дехканы на ослах,— пути запружены.

Ногами семена и поводя ушами,  
Торопятся осла, чтоб на базар поспеть.  
Верблюды тут и там с высокими горбами,  
И мерно бубенцов позванивает медь.

Вот так и в старину потоком непрерывным  
Народы, племена в просторах шли степных;  
Как знак своих могил, оставили курганы..  
Хотели и они, чтоб не забыли их!

Бежали от нужды, от голода и горя,  
От гнева идолов и от ножёвых ран  
Путь преграждали им пески пустынь и море,—  
Одни шли на Урал, других встречал Иран.



Они неслись вперёд по всем путям-дорогам,  
 На лошадях, ослах и на верблюдах мчась, —  
 На лицах ярость, гнев, в глазах была тревога, —  
 Рубили саблями, крича и хохоча.

Топтали нив простор и рощи оголяли, —  
 Ни рубежей для них и никаких препон, —  
 Дни в битвах проводя, сверлили гиком дали,  
 А по ночам они ласкали своих жён.

Осели. Истощён источник непрерывный.  
 Угомонился он, великий материк.  
 В сердцах, где ярость, боль казались неизбывны,  
 Исчез кипевший яд, умолк мятежный крик.

На лицах у людей теперь следы покоя,  
 И в солнечных лучах исчезла ночи тень.  
 Сегодня старый Мерв большой базар устроил, —  
 Крикливый, бойкий торг и братской встречи день.

#### V. ОДИН ИЗ МНОЖЕСТВА

Люблю я наблюдать дорогу из вагона.  
 Я вижу из окна дехкана одного, —  
 Дехкан спешит к себе, о доме беспокоясь, —  
 Он знает: там жена и дети ждут его.

Приедет, — и жене слова привета бросит,  
 С подарком свёрток он спокойно развернёт.  
 Ощупав ткань, она про цену мужа спросит.  
 Пошутит он, приврёт и... цену назовёт.

Ребята льнут к нему, — тепло на сердце станет, —  
 Наверно, он для них с базара сласти взял.  
 Развяжет узелок платка из тонкой ткани,  
 Достанет леденцы, багровые, как лалл.

Один малыш тотчас свою хватает долю,  
 Второй — в слезах: ему так мало дал отец!  
 Желая, чтоб в семье все радовались вволю,  
 Ребенку он даёт побольше леденец.

Соседи подойдут, и, вздор болтая всякий,  
 Он долго про базар им будет говорить.  
 Потом, облокотясь, как деспот, на мутаки,  
 Зелёный будет чай в пиале белой пить.

#### VI. ДЖЕОН\*

Прочь, смерти тень! Уйди, исчезни, дух бесплодный!  
 Мысль, сушащую мозг, скорее отстрани!  
 Для чистой дружбы ты, для братства непригодна, —  
 Хочу, чтоб в радости мои текли бы дни!

Раскинь по сторонам седые ключья дыма,  
 Идущий по пути стальному паровоз!  
 На склоне солнца диск, — и, мнится, мир незримо  
 Запутался в огне его золотых волос.

\* Или Дейхун, — арабское название Аму-Дарьи, одной из четырех рек, вытекавших якобы из рая; упоминается в поэме Руставели.

Вот мост загрохотал своим железным телом,—  
Восторженно тебя приветствую, Джеон!  
Хочу я ширь твою без грани, без предела,  
Носить всегда в себе, тобою восхищён.

Крадётся Каракум к тебе песчаной дланью,  
Он хочет сок твой взять, — напрасные мечты!  
Лежишь ты, словно уж, на солнцем тканой ткани,  
К аральским берегам несешься плавно ты.

В сухих песках свои теряя ответвленья,  
Ты извиваешься среди звериных троп.  
На влажных берегах — следов столпотворенье, —  
Скакали тут стада куланов, антилоп.

Вместилище дождей, потоков, перекаатов,  
Которыми богат седой Афганистан,  
Ты не гордишься тем, что райская река ты,  
Хорезму тучный ил преподнося к устам.

Ты вспомнить можешь ли про жениха\* в Хорезме?  
На чём же ты его отправил в Индостан?  
Там полог у него в палатке был растерзан,  
С разбитым черепом поник он, бездыхан.

Здесь Автондила конь, промчавшись из Магриба\*\*,  
Остановил полет свсих, как ветер, ног.  
И витязь\*\*\* тот, чей стан был, словно пальма, гибок,  
С тобою сравнивал горючих слёз поток.

## VII. У Т Р О

На куполе небес светила пламенеют,  
Несётся быстро ночь в потоке звездных выюг.  
Пространства над землёй, перед зарей бледнея,  
Пьянящий свет луны из чаши ночи пьют.

Как грандиозный ёж, густая тень от дыма  
За поездом ползёт, — и вот уже вдали.  
Белесый брезжит свет, едва лишь ощутимый,  
И поднял бровь рассвет, взглянув в лицо земли.

Уходят степи вдаль, просторы безграничны,  
Края за горизонт закинули поля,  
Я убедился здесь впервые, что сферична  
И что действительно вращается земля.

Здесь беспредельный свет струится отовсюду;  
Закутался весь мир в сияющий покров.  
Приветствуют рассвет двугорбые верблюды  
И кобылиц стада движением голов.

Хлопковые поля раскинулись без края.  
Уж скоро, — знаю я, — мы будем в Бухаре.  
Затмила Алазань фазаньи стаи,  
Хвостами из огня сверкая на заре.

\* Жених главной героини поэмы Руставели, был убит Теризлом.

\*\* Северная Африка (Марокко).

\*\*\* Автондил (герой поэмы Руставели).

## VIII. БУХАРА

Расцвечена, стоишь, гордишься ты собою:  
Колонны, купола, — мозаики игра!  
Как много было здесь сражений и побоищ  
И сколько было здесь народа, Бухара!

Обогащалась ты, — амбаром ненасытным\*,  
Стояла на путях торговли мировой.  
К чему они теперь, — вал этот глинобитный  
И врат двенадцать в нем, — оплот когда-то твой?!

Мечети и в твоей черте почет стяжали,  
Впитали бирюзу и солнца яркий свет.  
В медресе спят твои арабские скрижали  
Во прахе и пыли неисчислимых лет.

Чем человек владел? Лишь бедами и горем.  
Он шёл из мглы веков и, обреченный, нес  
Боль сердца своего и скорбь в бесцветном зоре,  
И безнадежный груз страстей и пылких грёз.

С мольбою к небсам объятья простирало  
Всё человечество, народы всей земли.  
Обломками надежд им небо отвечало, —  
И ливни горьких слёз из глаз текли, текли...

Так завершился цикл, так вихрь событий сгинул  
И канул в вечность он под нерушимый свод.  
История, с себя без страха платя скинув,  
Одежды новые с улыбкою берёт.

## IX. ЭМИР

Я осмотрел, эмир, дворец твой. Для музея  
Пригоден лишь простор его высоких зал.  
Зевая широко и от безделья млея,  
Права властителю лишь здесь ты проявлял.

Носил ты ордена Руси самодержавной,  
И Курбашей Курбаш и Николая раб.  
В гареме с жёнами жизнь проводя бесславно,  
Ты уронил свой сан, стал немощен и слаб.

Ты злейшим был из злых, врагом был для дехканов  
И вот дехкан тебе за кровь свою отмстил:  
Не белою чалмой, а саваном Нирваны  
Он голову твою беспутную покрыл.

Решил он, что тебе деревни грабить хватит,  
Пот проливать чужой, тиранить бедняка —  
Страна теперь сама цветные носит платья,  
Халаты пестрые и яркие шелка.

*Перевел с грузинского*  
БОРИС СЕРЕБРЯКОВ

# ПЕТР I

Книга третья

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ\*

1.

На бугре, где только что была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекадинам на площадку. За ним — Чамберс, Меншиков, Аникита Иванович Репнин и — последним — Апраксин Петр Матвеевич, — этому весьма мешала тучность и верчение головы: шутка ли взлезать на такую страсть — сажень над десять над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся, вынул из кармана подзорную трубу, расставя ноги — стал глядеть.

Нарва была видна, будто на зеленом блюде, — все ее призмистые башни, с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен — выступы башенков, сложенных из тесаного камня, громада старого замка с круглой пороховой башней, извилистые улицы нового города, острые кровли кирок, вздетые, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались восемь мрачных башен, покрытых свинцовыми шпалками, и высокие стены, пробитые ядрами, крепости Ивангорода, построенной еще в ливонскую войну Иваном Грозным.

— Наш будет город! — сказал Меншиков, тоже глядевший в трубу. Петр Алексеевич ему — сквозь зубы:

— А ты не раздувайся раньше времени.

Ниже города, по реке, в том месте, где на ручье Россонь стояла земляная крепость Петра Матвеевича Апраксина, медленно двигались обозы и войска, плохо различимые сквозь поднятую ими пыль. Они переходили пловучий мост, и конные и пешие полки располагались на левом берегу в верстах пяти от города. Там уже белелись палатки, в безветрии поднимались дымки, по луговинам бро-

дили расседанные кони.. доносился стук топоров, — вздрагивали вершинками, валялись всковые сосны.

— Огородились мы только телегами да рогатками, не прикажешь ли еще для бережения и рвы копать, ставить палисады? — спросил Аникита Иванович Репнин. Человек он был осторожный, разумный и бывалый в военном деле, отважный без задору, но готовый — если надо для великого дела — и умереть, не птясь. Не вышел он только лицом и дородством, хотя род свой считал древнее царя Петра, — был плюгав и подслеповат, однакоже мааснькие глаза его за прищуренными веками поглядывали весьма умненько.

— Рвы да палисады не спасут. Не для того сюда пришли — за палисадами сидеть, — буркнул Петр Алексеевич, поворачивая трубу дальше на запад.

Чамберс, имевший привычку с утра выпивать для бодрости духа добрый стакан волки, пресипел горлом:

— Можно велеть солдатам спать не разуваясь, при ружье.. Пустое! Если достоверно, что генерал Шлиппенбах стоит в Везенберге — раньше, как через неделю, нельзя ожидать его сикурса..

— Я уж так-то здесь один раз поджидал шведского сикурса.. Спасибо, научены! — странным голосом ответил Петр Алексеевич. Меншиков коротко, грубо засмеялся. Чамберс задрал к нему изпод огромной шляпы крючконосое лицо: — Не понимаю..

— Подумашь, поймешь..

На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, растянулось море, ни малейший ветерок не рябил его сероцветной пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала де Пру... с серебряной рукой.

Апраксин, вцепясь в перильца зыбкой площадки, сказал:

— Господин бомбардир, как же мне

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 3, 1944 г.

не испугаться было эдакой силы — полсотни кораблей, сам видишь, и адмирал такой отважный... Истинно — бог меня выручил, — не дал ему, проклятому, ветра с моря..

— Сколько добра пропадает, ах! — Меншиков ногтем считал мачты на горизонте. — Трюмы у него доверху, чай, забиты угрями копчеными, рыбой камбулой, салакой, ветчиной ревельской... Ветчина у них, батюшки! Уж где сдят — так это в Ревеле! Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, чорт однорукий... Апраксин, Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная! Почему у тебя лодок нет? В такой штиль — посадить роту гренадер в лодки, — де Пру и деваться некуда.. досадно!..

— Чайка на песок садится! — крикнул вдруг Петр Алексеевич — Ей, ей садится! — Лицо у него было задорное, глаза круглые. — Бьюсь о заклад на десять ефимков, — жди шторма... Кто хочет биться? Эх вы, моряки! Не стони, Данилыч, — Весьма возможно и попробуем адмиральской ветчины.

И он, сунув трубу за пазуху, бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, сказал: — «Один эскадрон пошли вперед, с другим следуй за мной.» Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, — рослый гнедой мерин, с большими усами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха, — шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рыси высоко подсакивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана, жеребца, тоже отбитого у шведов, — и конь с веселыми глазами, и всадник точно играли, — то проходя бочком, коротким галопом по светлому лугу, то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался, — алого сукна короткий плащ, накинутый на одно плечо, на стальные латы, взвивался за спиной Александра Даниловича, вились перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хороши был день, — в небольших рощах, в покинутых сейчас садах распелись, раскричались птицы.

Аникита Иванович Репнин, привыкший с малых лет ездить по-татарски, спокойно — бочком — трясся в высоком седле на мелкой, уходистой лошадке. Апраксин обливался потом под огромным париком, в котором для русского человека не было ни удобства, ни красоты. Далеко впереди шнырял между зарослями рассыпавшийся эскадрон драгун. Позади — в строю — шел второй эскад-

рон, — перед ним поскакивал полковник Рен, красавец и заливoha, — так же, как генерал Чамберс, — в поисках счастья и свету отдавший царю Петру честь и щипу.

Петр Алексеевич указывал ехавшему стремя о стремя с ним Чамберсу на рытвину и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полусгнившие колья, торчащие повсюду из земли:

— Здесь погибла моя армия, — сказал он просто. — На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы — силу. Здесь мы научились — с какой конца надо редьку есть, да похоронили навск заостренную старину, от коей едва не восприяли конечную гибель.

Он отвернулся от Чамберса. Оглядев ваясь, заметил невдалеке заброшенный домишко под провалившейся крышей. Стал придерживать коня. Круглое лицо его сделалось злым. Меншиков, подвигав, сказал весело:

— Тот самый домишко, мнн херц Помнишь?

— Помню..

Насупясь, Петр Алексеевич ударил шпорами коня и опять запрыгал в седле. Как было не помнить той бессонной ночи перед разгромом. Он сидел тогда в этом домишке, глядя на оплывшую свечу: Алексашка лежал на кошме, молча плакал. Трудно было побороть в себе отчаяние и срам, и бессильную злобу, и принять то, что завтра Карл неминуемо должен побить его.. Трудно было решиться на неслыханное, непереносимое, — оставить в такой час армию, сесть в возок и скакать в Новгород, чтобы там начинать все сначала.. Добывать деньги, хлеб, железо.. Исхитряться продавать иноземным купцам исподнюю рубашку, чтобы купить оружие. Лить пушки, ядра.. И самое важное, — люди, люди, люди! Выгаскивать людей из векового болота, разлеплять им глаза, растапливать их под микитки... Драться, обламывать, учить.. Скакать тысячи верст по снегу, по грязи.. Ломать, строить.. Вывертываться из тысячи бед в европейской политике. Оглядываясь, — ужасаться: — «Эка громада какая еще не проворочена..»

Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стенами Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота Петр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями.

Наверху воротной башни стояли шведы, в железных касках, в кожаных пан-

дырях. Один держал — отставя на вытянутой руке — желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала вода ее по всадникам на холме, потом прямо оставил на Петра Алексеевича.

— Люди какие все здоровые, на башню их увидишь, ужаснешься, — негромко говорил Апраксин Аниките Ивановичу Репнину, обмахиваясь шляпой. — Сам теперь видишь, что я вытерпел в усть-Нарове один-то, с девятью пушками, когда на меня флот навалился.. А этот, длинный, — в трубу глядит, — ох — какой вредный человек.. Перед самым вашим прибытием я с ним встретился в поле, хотел его добыть.. Ну, где же..

— Кто этот высокий на башне? — крипло спросил Петр Алексеевич.

— Государь, он самый и есть, генерал Горн, нарвский комендант..

Едва Апраксин выговорил это имя — Александр Данилович толкнул коня и посккал по дугу к башне.. «Дурак!» — бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот осадил, сорвал с себя шляпу и, помахивая ею, заголосил протяжно:

— Эй, там, на башне.. Эй, господин комендант.. Из нежелания пролития крови христианской — предлагаю вам честный аккорд.. Высылай офицера с белым флагом..

Генерал Горн опустил трубу, вслушиваясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный, как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему перевели. Суровое, стариковское лицо сморщилось как от кислого, он перегнулся через край башни и плаюнул в сторону Меншикова..

— Вот тебе мой ответ, гаупец! — крикнул. — Сейчас получишь кое-что покрепче.

На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко, — ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой Александра Даниловича.

— Э-э-эй! — закричала с холма Аникита Иванович Репнин тонким голосом, — плохо стреляете, шведы, пришлите нам пушкарей, мы их поучим..

На холме тоже враз засмеялись. Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на коне, махал шляпой и скалил зубы шведам, покуда второе ядро не разорвалось совсем рядом и конь, шарахнувшись, не унес его прочь от башни.

Окончив объезд крепости, сосчитав на стенах, по крайней мере, до трехсот пушек, на обратном пути Петр Алексеевич свернул к памятному домику, слез с ло-

шадя и, велев всем ждать, позвал Меншикова в ту самую комнату, где четыре года тому назад он пожертвовал стыдом и позором ради спасения государства русского. Здесь тогда была хорошая печь, сейчас валялась куча обгорелого кирпича, на полу — грязная солома, — видимо, сюда загоняли овец и коз на ночь. Сел на подконник разбитого окошечка. Алексашка виновато стоял перед ним.

— Запомни, Данилыч, истинный бог — увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой, — сказал Петр Алексеевич. — Молчи, не отвечай.. Сегодня ты сам себе вгбрал долю.. Я думал: кому дать начало над осадным войском, — тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпочесть своего перед иноземцем.. Сам все напортил, друг сердешный, — плясал, как скоморох, на коне перед генералом Горном! Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские! Все шутить хочешь, как у меня за столом! А на тебя Европа смотрит, дурак! Молчи, не отвечай. — Он посопел, набивая трубочку. — И еще — второе: посмотрел я опять на эти стены, — смутился я, Данилыч.. Второй раз отступит от Нарвы нельзя.. Нарва — ключ ко всей войне.. Если Карл этого еще не понимает, — я понимаю.. Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела.. Через две недели придут осадные пушки.. А дальше как быть? Стены крепки, генерал Горн упрям, Шлиппенбах висит за плечами.. Будем здесь топтаться — накличем и Карла из Польши со всей своей армией.. Город брать нужно быстро, и крови нашей много лить не хочется.. Что скажешь, Данилыч?

— Можно, конечно, придумать хитрость.. Это — дело десятое.. Но, раз фельдмаршала Огильви здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает, — что к чему.. А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь — тят да ляп — по мужицки. — Меншиков топтался, мясая и поднял глаза, — у Петра Александровича лицо было спокойное и печальное, таким он его редко видел.. Алексашку, как ножом по сердцу, полоснула жалость. — Мин херц, — зашептал он, перекосил брови, — мин херц, ну — что ты! Дай срок до вечера, придю в палатку, чего-нибудь придумаю.. Людей наших, что ли, не знаешь.. Ведь нынче — не семисотый год. Не кручинься, ей-ей: поедем, лучше, обедать..

## 2.

В просторном полотняном шатре работами Нартова, так же как и в петербургском домике, были разложены на походном столе готвальдни, инструменты,

бумаги, военные карты. Через приподнятые полотнища, как из печи, дышало жаром земли, и — хоть уши затычкой про смоленной пенькой — остро, сухо трещали в траве сверчки.

Петр Алексеевич работал в одной рубашке, распахнутой на груди, в голландских штанах — по колено, в туфлях на босу ногу. Время от времени он вставал из-за стола, и в углу шатра Нартов выливал ему на голову ковши ключевой воды. За эти дни нарвского похода, — как и всегда, впрочем, — накопилось великое множество неотложных дел.

Секретарь Алексей Васильевич Макаров, незаметный молодой человек, недавно взятый на эту службу, стоя у края стола, у стопки бумаг, подавал дела, вятно шелестя губами. — настолько громко, чтобы заглушать трещание сверчков. «Указ Алексею Сидоровичу Сняину ведать торговыми банями в Москве и других городах», — он тихо клал перед государем лист со столбцом указа на левой стороне. Петр Алексеевич, скача зрочками по строкам, прочитывал, совал гусиное перо в чернильницу и крупно, криво, неразборчиво, пропуская за торопливостью буквы, писал с правой стороны листа: «Где можно при банях завести цирюльни, дабы людей приохотить к бритью бороды, также держать мезольных мастеров добрых»

Макаров клал перед ним новый лист: «Указ Петру Васильевичу Кикину ведать рыбные ловли и водяные мельницы во всем государстве...» Рука Петра Алексеевича с кляксой на кончике пера повисла над бумагой:

— Указ кем заготовлен?

— Указ прислан из Москвы от Князя Кесаря на вашу, милостивый государь, сверочную подпись...

— Дармоедов полна Москва, сидят по окошечкам, крыжвник кислый жрут со скуки, а для дела людей не найти... Ладно, поиспытаем Кикина, зыворуется — обдеру кнутом, — так ты и отпиши Князю Кесарю, что я в сумнении...

— Из Питербурга с нарочным, от подполковника Алексея Бровкина донесение, — продолжал Макаров — Прибыли из Москвы от Тихона Ивановича Стрешнева для вашего, милостивый государь, огорода на Питербургской стороне шесть кустов пионов, в целости, да только садовник Леонов, не успев их посадить, помер.

— Как — помер? — спросил Петр Алексеевич. — что за вздор!

— Купаясь в Неве, — утопул...

— Ну, пьяный конечно... Вот ведь — добрые люди не живут... а гораздо был искусный садовник, жалко... Пиши...

Петр Алексеевич пошел в угол палатки — обливать голову и, отфыркиваясь,

говорил Макарову, который, стоя, ловил писал на углу стола:

— Стрешневу... Пионы ваши получены в исправности, только жалеем, что мало прислал. Изволь не пропустить времени — прислать из Измайлова всяких цветов и больше таких, кои пахнут канунера, мяты, да резеды... Пришли садовника доброго, с семьей, чтобы не скучал... Да отпиши, для бога, как здравствует в Измайлове Катерина Васильевская с Анисей Толстой и другие с ними... Не забывай об сем писать чаще! Также изволь уведомить, как у вас набором солдат в драгунские полки, — один полк возможно скорее набрать — из людей получше — и прислать сюда.

Он вернулся к столу, прочел написанное Макаровым, усмехнувшись про себя — подписал:

— Еще что? Да ты мне на по порядку подкладывай, давай важнейшее...

— Письмо Григория Долгорукова, и Сокала, о благополучном прибытии наших войск

— Читай! — Петр Алексеевич закрыл глаза, вытянул шею, большие, в царапинах, сильные руки его легли на столе. Долгорукий писал о том, что с прибытием русских войск в Сокаль король Август «опять восприял чрезвычайную отвагу и хочет встречи на бранном поле с королем Карлом, дабы с божьей помощью генеральной баталией взять реванш за конфузию при Клицсове. На это безумство особенно подговаривают его фаворитки, — их теперь у него две и его бытие сделалось весьма беспокойное. Дмитрию Михайловичу Голицыну с великими трудами удалось отклонить его от немедленной встречи с Карлом (который как хищный волчец, только того и ждет) и указать ему путь на Варшаву, оставленную Карлом с малой защитой. Что из сего может произойти — одному богу известно...

Петр Алексеевич терпеливо слушал длинное письмо, губа его с полоской усиков поднималась, открывая зубы. Дернув шеей — пробормотал: «Союзничек!» Пододвинул чистый лист, скрекнул ногтями в затылке и, едва поспевая пером за мыслями, начал писать, — отвел Долгорукому:

«... Еще напоминаю вашей милости, чтобы не устал оивсдить его величество короля Августа от жестокого и пагубного намерения. Он спешит искать генерального боя, надеясь на фортуны — сиречь счастье, но сие точно в ведении одного всевышнего... Нам же, человекам, разумно на ближайшее смотреть, что — суть на земле... Короче сказать, — искание генерального боя весьма для него опасно, ибо в сии час можно все потерять. Не удастся генеральный бой, — от чего, боже, боже сохрани и его, да и



нас всех, — его величество Август не только от неприятеля будет ввергнут в меланхолию, но и от бешеных поляков, митенных добра отечеству своему, будет со срамом выгнан и престола своего лишен... Для чего же ввергать себя в такое бедство? Что же ваша милость пишет о фаворитках, — истинно сию горячку лечить нечем... Одно, — старайся с семи мадамками делать симпатию и альянс...»

Дышать уже было нечем в слоях табачного дыма, Петр Алексеевич с брызгами подписал, — «Птръ» и вышел из шатра в нестерпимый зной. Отсюда с холма была видна в стороне Наровы пыльная туча, поднятая обозами и войсками, передвигавшимися из лагеря на боевые позиции перед крепостью. Петр Алексеевич провел ладонью по груди, по белой коже, — медленно, сильно стучало сердце. Тогда он стал глядеть туда, где в необъятном стеклянном море, откуда неразличимые дремали корабли адмирала де Пру, набитые добром, которого хватало бы на всю русскую армию. Земля и небо, и море были в томлении, в ожидании, будто остановилось само время. Вдруг, много черных птиц беспорядочно пронеслось мимо холма к лесу. Петр Алексеевич задрал голову, — так и есть! С юго-запада высоко в расклевенное, как жесть, небо быстро поднимались прозрачные пленки облаков.

— Макаров! — позвал он. — Спорить хочешь на десять ефимков?

Макаров сейчас же вышел из шатра, — остроносый, пергаментный от усталости и бессоницы, с прямым ртом без улыбки, и потащил из кармана кошелек:

— Как прикажешь, милостивый государь...

Петр Алексеевич махнул на него рукой:

— Пойди, скажи Нартову, чтоб подал мне матросскую куртку, да зювестку, да ботфорты... Да крепили бы хорошенько шатер, нето унесет... Шторм будет знатный.

Море всегда завораживало, всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, он ехал крупной рысью в сопровождении полускадрона драгун к морскому берегу. (В лагерь к Апраксину было послано за двумя пушками и гренадерами). Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча вышолзала из-за помраченного горизонта. И море, наконец, дыгнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все негнутые губы...

Придерживая зювестку, Петр Алексеевич весело скакал. Он соскочил с

коня на песчаный берег, — солнце в последний раз блеснуло из закружившегося края тучи, стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, — обдавали водяной пылью. Громящая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели, — обрушилось небо...

Около Петра Алексеевича очутился Меншиков, — тоже в зювестке, в куртке.

— Вот это шторм! Вот это — люблю! — прокричал ему Петр Алексеевич.

— Мин херц, до чего же ты догадлив...

— А ты сейчас только понял это?

— С добычей будем?

— Подожди, подожди...

Ждать пришлось не так долго. При вспышках молний стали видны совсем недалеко военные и купеческие корабли адмирала де Пру, — буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали, — раскачивались голые мачты, развалились обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с Нептунами и морскими девами. Казалось — еще немного и весь разметанный караван прильет к берегу.

— Молодец! молодец! — закричал Петр Алексеевич. — Гляди, что делает! Вот это адмирал! Бом-клевера ставит! Форстенга стакселя, фока-стакселя ставит! Триселя ставит! Эх, чорт! Учись, Данилыч!

— Ох, уйдет, ох, уйдет! — стонал Меншиков.

Изменился ли ветер немного или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала — корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные барки продолжало нести на песчаные отмели. Треща, громыхая реями, хлеща ключьями парусины, — они сели на мель шагах в трехстах от берега. Огромные волны начали валить их, — перекачиваясь — смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты.

— А ну, давай по ним огонь, с недолетом, для испуга! — крикнул Меншиков пушкарям.

Пушки рывкнули, и бомбы вскинули воду близ борга одной из барж. В ответ оттуда раздалась пушечная выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меншикову пришлось спешиться, — жеребец заупрямился, — и он тоже зашагал в мутных волнах, оплевываясь и крича:

— Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!

Шведов должно быть сильно испугал вид всадника среди волн и огромные

усатые гренадеры, идущие на abordаж по грудь в воде, ругаясь матерно и грозя дымящимися гранатами. С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и abordажные сабли: «Москов, москов, друг», — и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меншиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взяв на аккорд капитана, — тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда:

— Господин бомбардир, из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно.

### 3.

Войска обложили Нарву подковой, упираясь в реку выше и ниже города. На другой стороне реки точно так же был окружен Ивангород. Рыли шанцы, обставлялись частоколами и рогатками. Русский лагерь был шумный, дымный, пыльный. Шведы с высоких стен урюмо поглядывали. После шторма, разметавшего флот де Пру, они были очень злы и стреляли из пушек даже по отдельным всадникам, скакавшим короткой дорогой через луг мимо грозных бастионов.

По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные с барок, были на виду шведов привезены в лагерь, — за телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала де Пру и генерала Горна. Бочки роздали по ротам и батареям. Солдаты, помахиная вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!» Тогда шведы не выдержали. Заглубили в рожки, забили в барабаны, мост опустился, и, теснясь большими конями в воротах, выехал эскадрон кирасир, — нагнув головы в ребрастых шлемах, уставя широкие шпаги меж конскими ушами, они тяжело поскакали на русские шанцы. Пришлось, побросав добро, отбиваться чем попало, — кольями, банниками, лопатами. Началась свалка, поднялся крик. Тут кирасиры увидели драгун, мчавшихся на них с тыла, увидели лезущих через частокол страшных гренадеров и повернули коней обратно, — лишь несколько человек осталось на лугу, да еще долго скакали испуганные лошади без всадников и бегали за ними русские солдаты.

Помимо таких вылазок шведы не выказывали особенного беспокойства. Генерал Горн, — как передавали языки, — будто бы сказал: «Русских я не боюсь, пускай с помощью своего Георгия-Победоносца осмелятся на штурм — угощу их лучше, чем в семисотом году..» Зер-

на, пороха и ядер у него было достаточно, но больше всего он надеялся на Шлиппенбаха, ожидавшего подкреплений, чтобы сделать русским жестокий сикурс. Стоял он на ревельской дороге, в городке Везенберге. Это установил Александр Данилович, сам ездивший в разведку.

Бездействовали и русские войска: — вся осадная артиллерия — огромные стенобитные пушки и мортиры для зажигания города — все еще тащились из Новгорода по непролазным дорогам. Без тяжелого наряда нельзя было и думать о штурме.

От фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева вести были тоже не слишком бойкие: Юрьев он осадил, окопался, огородился, повел подкоп для пролома стены и начал метать бомбы в город. «Зело нам докучают шведы, — писал он в нарвский лагерь Александру Даниловичу, — по сие время не могу отбить пушечной и мортирной стрельбы неприятеля; палат из многих пушек залпами, проклятые, сажают враз по десяти бомбов в наши батареи, а пуше всего стреляют по обозам. Так же — бьемся — не можем достать языка из города, только вышло к нам два человека — чужны, ничего подлинно не знают, одно бредят, что Шлиппенбах обнадеживает город скорым сикурсом..»

Шлиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меншиков не обманул, — придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал — какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна — надеяться на Шлиппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился: «Спяню, что ли, придумал?..» Но, — походил по шагру, попыхивая трубочкой, и вдруг рассмеялся.

— А не плохо было бы одурачить старика.

— Мин херц, одурачим, ей ей..

— Это твое — «ей ей» — еще дешево стоит. А не выйдет ничего? Не в шутку ответишь, куманек.

— Что ж, и отвечу.. Не в первый раз.. На одном ответе всю жизнь живу..

— Делай!

В ту же ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стремянную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно, для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны, епанчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские трухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно — эскадрон за эскадрон —

два драгунских полка Асафьева и Горбова, и два полка — Семеновский и Ингерманландский — с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по ревельской дороге и расположились в лесном урочище Тарвиэги, в десяти верстах от Нарвы. Туда же — в урочище — было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили.

В ясное утро — восьмого июня — под нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывная глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, — застегивая кафтаны и пуговицы на петрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под треуголов — строились в две линии. Пушкари с криками вытаскивали пушки и поворачивали их в сторону ревельской дороги. Верховые гнали табуны обозных лошадей с лутов в лагерь, за телеги.

Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и установил подзорную трубу на ревельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела, через минуту — снова два выстрела и так до шести раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы приближающегося Шлиппенбаха, и сейчас же с бастiona Глория они ответили королевским паролем из двадцати одной пушки. На всех кирках города празднично задрезали колокола.

За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои, увидя, как по ту сторону шанцев перед строящимися в две линии московскими войсками по-козлиному поскакивает на белом коне разнаряженный Меншиков, нахальнейший из всех русских. Будто и на самом деле опытный полководец, он взмахом маршальского жезла приказывает задней линии солдат повернуться лицом к крепости, и они бегом, как стадо, побежали и заняли места в шанцах за частоколами. Вот, он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к ревельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну: этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас сделает непоправимую глупость, — поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, распотчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. Двенадцать эскадронов конницы и четыре батальона пехоты стояли у него у

запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха, кинуться с тылу на русских.

Меншиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом — в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «ура». Крик долетел до нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меншикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, плескующий из-за сосен, — во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставя перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегом, с ходу, стрелял через головы первого ряда, в третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались, высоко поднятые, желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из лядунки полотняный платок, встряхнул его и провел по глазам. «Боги войны!» — пробормотал он..

Меншиков, придержав шляпу, помчался перед фронтом и остановил свои батальоны. На фланги к нему скакали — в упряжках по шести коней — пушки и двуконные зарядные ящики. Русские артиллеристы были расторопны, — кое-чему научились за эти годы. До блеска начищенные пушки — по восьми на каждом фланге — ловко завернули жерлами на шведов (упряжки были отпелены и ускакали в сторону) и враз выбросили плотные белые дымы, — что указывало на доброе качество пороха. Шведы не успели пройти и двух десятков шагов, как пушки снова рявкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок, — такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. Что за чорт! Непохоже на Шлиппенбаха — смутиться пушечной стрельбой! Или он хочет пропустить вперед кирасир для атаки, или поджидает свою артиллерию? Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи.. Но он выжидал.. На конец-то! — из лесу выдвинулись шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор.. Тогда, — это он увидел ясно, — смешались ряды Меншикова.. Пора!.. Горн отвернул от трубы морщинистое лицо и, показывая до десен желтые зубы, сказал своему помощнику полковнику Маркварту:

— Приказываю: отворить ворота и атаковать правое крыло русских.

Загромыхали мосты, разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир, за

ними бегом — пехота. Полковник Маркварт вел, построенный клином, нарвский гарнизон так, чтобы — снагата перескочив через русские частоколы и рогатки — ударить Меншикова с тылу во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях.

То, что увидел Горн в подзорную трубу, вначале порадовало его, затем — смутило. Отряд полковника Маркварта быстро, без больших потерь, разметав русские рогатки, перелез через частоколы и оказался по ту сторону шанцев. Вслед за ним из ворот вышли — пешие и на телегах — нарвские жители, чтобы грабить русский лагерь. Беспорядочно палящие из ружей батальоны Меншикова неожиданно начали делать мало понятное передвижение: их правый фланг, на который устремился Маркварт с нарвским гарнизоном, со всей поспешностью начал отступать к своим палисадам и рогаткам, левый же — дальний — с такой же поспешностью кинулся к шведам Шлиппенбаха, как бы намереваясь сдаваться в плен. Пушки с обеих сторон внезапно замолкли. Блестяще атакующий Маркварт оказался в чистом поле, в развилке между войсками Меншикова и Шлиппенбаха. Отсвечивающие панцирями эскадроны его кирасир начали сдерживать коней, разворачиваясь в полудугу и остановились в нерешимости. Остановилась и подбежавшая к ним пехота..

— Ничего не понимаю! Что случилось, чорт бы взял этого Маркварта! — закричал Горн. Стоящий около адъютант Бистрем ответил:

— Я так же не совсем понимаю, господин генерал.

Затем, все более темнея, опливо вода трубой, Горн увидел Меншикова, — этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами. Но Меншиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров, — судя по их епанчам и по желтому — со вздыбленным львом — знамени это был штаб Шлиппенбаха.. Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меншиковым к той же кучке офицеров, странно замахам рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с сядла.. На бугор поднимался всадник на большой вислоухой лошади, — знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах.. Слеза замутила глаз старику Горну, он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на вислоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха.. Он походил больше всего..

— Господин генерал, измена! — невольно мутимо сурово проговорил. адъютант Бистрем.

— Вижу и без вас, что это царь Петр наряженный в шведский мундир.. Меня изрядно провели за нос, понимаю и без вашей помощи.. Прикажете подать мне кирасу и шпагу.. — Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную подзорную трубу и, как молодой, побежал по крутой лестнице с воротной башни.. Там на поле машкеранного боя началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами Преображенцы и Ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальоны Меншикова кинулись со всей фурией с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, — который, отдав царю Петру шпагу, бросив медную каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший, по крайней мере, треть нарвского гарнизона.

Кирасиры его, прикрывавшие пехоту, некоторое время отступали, не теряя строя, огрызаясь короткими наездами. Но когда на них с тылу, из березовой рощи, помчался с драгунскими эскадронами полковник Рен, сидевший там в засаде, — началась свалка. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг о кирасы и шлемы. Взывались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из башенной свалки отдельные всадники скакали как ослепшие, по лугу, сшибались, размахнув руки, валялись.. Все русское войско вылезло на шанцы, как на масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя.. Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх треухи, вопили: «Вали, вали»..

Только небольшой части шведского стряда удалось пробиться к Нарве. Все что мог сделать генерал Горн — это отстоять ворота, чтобы русские снагата не ворвались в город. Выехавшие грабить жители металась на телегах перед рвом. Солдаты перескакивали через палисады, сгоряча не боясь стрельбы со стен, хватали немало нарвских жителей с телегами и лошадьми, привели их в лагерь для продажи господам офицерам.

Вечером в большом шатре у Меншикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину и — мало кем еще виденную — копченую камбалу, — разрывали ее руками, как чулок, стаскивали кожу. Рыбка пованивала, но была хороша. Александр

ру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие. «Поставил премудрому Горну изрядный нос! Истинно ты именинник сегодня!» — басил, подсакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич — и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток. «Бьюсь об заклад — ты бы мог перехирить самого царя Одиссея!» — кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора, — трудно представить себе людей, более хитрых, чем русские!»

Перебивая друг друга, — гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена «Большого Носа». Начало было складное: «Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, колошеному когу, аки лев рыкающему...» Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу.

Аникита Иванович Репнин, отсмеявшись козыльным голоском сколько нужно, сказал под конец:

— Петр Алексеевич, а стоит ли сражаться то старика? Ведь дело еще не кончено...

На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман:

— Посмеялись, — будет...

Он поднялся, покачулся, вцепился, Макарову в плечо, распустившиеся черги круглого лица его с усилием отвердели, — вильнув длинной шеей, он, как всегда, овладел собой:

— Кончай гулять!

И вышел из шатра. Рассветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. Петр Алексеевич глубоко вдохнул утреннюю свежесть:

— Ну, в добрый час... Пора! — И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, Аникита Иванович Репнин и полковник Рен. — Еще раз повторяю обоем, — пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое и кровавое. Его нужно так побить, чтоб он не мог уж более собраться с силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем... Побить и полонить все его войско. Ступайте...

Аникита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колена в густой траве к темному лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги — все участники вчерашнего машкератного боя. Сегодня их ждало не шуточное дело: окружить под Везенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха.

## 4.

— Итак, господа, бывший король Август, которого мы считали приведенным в ничтожество, получил помощь от русских и быстро движется к Варшаве, — сказал молодой король Станислав Лещинский, открывая военный совет. Король был утомлен навязанными ему государственными делами, тонкое надменное, недоброе лицо его было бледно до синевы под опущенными ресницами, — он не поднимал глаз потому, что ему до отращения надоели напыщенные лица придворных, все разговоры о войне, деньгах, займах... Слабой рукой он перебирал четки. Он был одет в польское платье, которое терпеть не мог, но с тех пор, как в Варшаве стоял шведский гарнизон под командой полковника Арведа Горна — племянника нарвского героя, — польские магнаты и знатные паны повесили свои парики на подставках, пересыпали французские кафтаны табаком и ходили в жупанах с откидными рукавами, в бобровых шапках, в мягких сапожках с многозвонными шпорами, вместо шпаг — опоясывались тяжелыми девскими саблями.

В Варшаве жила весело и беспечно под надежной охраной Арведа Горна, простив ему невежество, когда он застал Сейм избрать в короли этого мало знатного, но изящно воспитанного молодого человека. Шведские офицеры были грубоваты и втсокомерны, но зато в питье вин и медов не выдерживали боя с поляками, а в танцах и совсем уступали роскошным мазурщикам, — Вишневецкому или Потоцкому. Была одна беда, — все меньше поступало денег из разоренных войною имений, но это обстоятельство казалось так же скоропреходящим: не вечно Карлу хозяйничать в Польше, когда-нибудь да уйдет он отсюда на Восток — расправляться с царем Петром.

И вот, не ждано не гадало, на Варшаву надвинулась черная туча. Август без боя захватил богатый Люблин и стремительно двинулся с шумным польским конным войском по левому берегу Вислы на Варшаву; одноглазое страшилище, атаман Данила Апостол с днепровскими казаками перебрался на правый берег Вислы и приближался к Праге — варшавскому предместью; одиннадцать русских пехотных полков очищали прибугские городки от приверженцев короля Станислава, уже заняли Брест и также поворачивали к Варшаве; а с запада к ней быстро шел саксонский корпус фельдмаршала Шуленбурга, бманувшего ловким маневром короля Карла, который искал его на другой дороге.

— Видит бог и пресвятая дева, я не

стремился надевать на себя польскую корону, такова была воля Сейма, — не поднимая глаз, говорил король Станислав с презрительной медленностью. На ковре у ног его лежала — мордой в лапы — белая борзая сука благороднейших кровей. — Кроме затруднений и неприятностей я пока еще ничего не испытал в моем высоком сане. Я готов сложить с себя корону, если Сейм из чувства осторожности и благоразумия пожелает этого, чтобы не подвергать Варшаву злобе Августа. Несомненно, у него много оснований — испортить себе печень. Он честолюбив и упрям. Его союзник — царь Петр — еще более упрям и хитер, они будут драться, покауда не добьются своего, покауда мы все не будем вконец разорены. — Он положил ногу в сафьяновом сапожке на спину собаке, она повела лиловыми глазами на короля. — Право же я ни на чем не настаиваю, я с восторгом удаюсь в Италию... Упражнения в Болонском университете восхищают меня...

Румяный, с бешено холодными глазами, плотный в своем зеленом, поношенном сюртуке, полковник Арвед Горн проворчал, сидя напротив короля на раскладном стуле.

— Это не военный совет, — позорная капитуляция...

— Король Станислав медленно pokrивил рот. Кардинал примас Радзиевский, лютей враг Августа, не слыша неприличного замечания шведа, сказал тем вкрадчивым, смиренно повелительным голосом, какому прилежно учат в иезуитских коллегиях со-времен Игнатия Лойолы. Он сказал:

— Желание вашего королевского величества уклониться от борьбы — не более чем минутная слабость... Цветы вашей души поникли под суровым ветром, — мы умиляемся... Но корона католического короля, в отличие от шляпы, снимается только вместе с головой. Или на то нужна особая булла его святейшества папы. Будем со всем мужеством говорить о сопротивлении узурпатору и врагу церкви, каков есть курфюрст саксонский Август, дурной католик. Мы слушаем, что скажет полковник Горн.

Кардинал примас, шурша шелком пышной пурпуровой рясы, отражавшейся в наводненном полу, грузно повернулся к шведу и повел рукой столь изысканно, будто предлагал ему сладчайшее кушанье. Полковник Горн толкнул стул, расставил крепкие ноги в смазных ботфортах (поношенный сюртук и грубые ботфорты с раструбами он носил, как все шведы, в подражание королю Карлу), сухо кашлянул, прочищая горло:

— Я повторяю: военный совет должен быть военным советом, а не разговором о цветочках. Я буду оборонять Варшаву

до последнего солдата, — такова воля моего короля. Я приказал, — с наступлением темноты моим фузилерам стрелять в каждого, кто выходит за ворота. Ни одного труса не выпущу из Варшавы, — у меня и тусы будут драться! Мне смешно, — у нас не меньше войска, чем у Августа. Об этом лучше меня знает великий гетман князь Любомирский... Мне смешно, — Август нас окружает! Это лишь значит, что он дает нам возможность разбить себя по частям: на юге — его пьяную шляхетскую конницу, на восток от Варшавы — атамана Данила Апостола, казаки которого легко вооружены и не выдержат удара панцирных гусар... Фельдмаршал Шуленбург найдет свою могилу, не доходя до Варшавы, — за ним, несомненно, гонится мой король. Единственная значительная опасность — это одиннадцать русских полков князя Голицына, но покауда они тащатся пейком от Бреста, мы уже уничтожим Августа, им придется или отступать, или умирать. Я предлагаю князю Любомирскому нынче же ночью собрать в Варшаву все конные полки. Я предлагаю вашему величеству сейчас, покауда не догорели эти свечи, объявить посполитое рушение... Пускай возьмет меня чорт, если мы не выдержим у Августа все перья из хвоста...

Раздувая белокурые усы Арвед Горн засмеялся и сел. Теперь даже король поднял глаза на великого гетмана Любомирского, командующего всеми польскими и литовскими войсками. Во все время разговора он сидел по левую руку от короля в золоченом кресле, опустив лоб в ладони, так что была видна только его остриженная чуприной круглая голова, точно посыпанная перцем, да висящие, жидкие, длинные усы. Когда настала тишина, он будто очнулся, вздохнул, выпрямился, — был он велик, костист, широкоплеч, — медленно положил руку на осыпанную алмазами булавку, засунутую за тканый драгоценный пояс. Горбоносое лицо его, тронутое оспой, со впавшими щеками, с натянутой на скулах воспаленной кожей, было так нелюдимо и гордо мрачно, что у короля затрепетали веки и он, нагнувшись, стал гладить собаку у ног своих. Великий гетман медленно поднялся. Для него настал долгожданный час расплаты.

Он был знатнейшим магнатом Польши, более властительным в своих обширных владениях, чем любой король. Когда он отправлялся на Сейм или в Ченстохов на богомолье — впереди его кареты и позади ехало верхами, в бричках или на телегах не менее пяти тысяч шляхтичей, одетых — один как один — в малиновые жупаны с лазоревыми отворотами на откидных рукавах. На посполитое рушение, — походы против бунтую-

шей Украины, или против татар, — он выводил свои три полка гусар в стальных кирасах с крыльями за плечами. Как Пяст по крови он считал себя первым претендентом на польский престол после низвержения Августа. Тогда, — в прошлом году, — уже две трети делегатов Сейма, стуча саблями, прокричали: «Хотим Любомирского!» Но этого не захотел король Карл, которому нужна была кукла. Полковник Горн окружил бушующий Сейм своими фузилерами, — они запалили фитили и оскорбили торжественность треском барабанов. Горн, как бы вбивая каблучками гвозди, прошел к пустому тронному месту и крикнул: «Предлагаю Станислава Лещинского!»

Великий гетман затаил злобу. Никто и никогда не осмеливался запрагивать его честь. Это сделал король Карл, у которого пахотной земли и золотой посуды, наверно, было меньше, чем у Любомирских. Поводя диким темным взором, скребя ногтями яблоко булавы, он заговорил, с яростью, как змий, шипя согласными звуками:

— Ослышался я или почудилось: — мне, великому гетману, мне, князю Любомирскому, осмелился приказывать комендант гарнизона! Шутка? Или нахальство? (Король поднял руку с четками, кардинал подался вперед на стуле, за тряс совиным обрюзшим лицом, но гетман лишь угрожающе повысил голос). Здесь ждут моего совета. Я слушаю вас, господа, я беседовал с моей совестью.. Вот мой ответ. Наши войска ненадежны. Чтобы заставить их пролить свою и братскую кровь, нужно, чтобы сердце каждого шляхтича запело от восторга, а голова закружилась от гнева... Может быть, король Станислав знает такой боевой клич? Я не знаю, его.. «Во имя бога, вперед, на смерть за славу Лещинских!» Не пойдут. «Во имя бога, вперед, за славу короля шведов»? Побросают сабли. Вести войска я не могу! Я более не гетман!

До косматых бровей побагровело искаженное лицо гетмана.

Не в силах сдерживать себя, он вытащил из-за пояса булаву и швырнул ее под ноги мальчишке — королю. Белая сука жалобно взвизгнула..

— Измена! — бешено крикнул Горн.

## 5.

Слово «берсеркиер», — или одержимый бешенством, — идет из глубокой древности, от обычая северных людей опьяняться грибом мухомором. Впоследствии, в средние века, берсеркиерами у норманов назывались воины, одержимые бешенством в бою, — они сражались без кольчуги, щита и шлема, в одних холщевых рубахах и были так страшны,

что, по преданию, например, двенадцать берсеркиеров, сыновей конунга Канута — плавали на отдельном корабле, так как сами норманы боялись их.

Припадок бешенства, случившийся с королем Карлом, можно было только назвать берсеркиерством, до такой степени все придворные, бывшие в это время в его шатре, были испуганы и подавлены, а граф Пипер даже не чаял остаться живым... Тогда, получив от графини Козельской голубиную депешу, Карл, наперекор мнению Пипера, фельдмаршала Реншельда и других генералов, остался непоколебим в мстительном желании теперь же доканать Августа, привести всю Польшу к покорности Станиславу Лещинскому, дать хороший отдых войскам и на будущий год, в одну летнюю кампанию, завершить восточную войну блестящим разгромом всех петровских полчищ. За судьбу Нарвы и Юрьева он не тревожился, — там были надежные гарнизоны и крепкие стены — не по зубам москвитам, там был отважнейший Шлишпенбах. А, помимо всего, пострадала бы гордость его, наследника славы Александра Македонского и Цезаря, смешавшего свои великие планы из-за какой-то голубиной депешки, да еще переданной распутной куртизанкой...

Весть о приходе в Сокаль русского вспомогательного войска и о неожиданном марше Августа на Варшаву из-под самого носа Карла (который, как сытый лев, лениво не торопился вонзить клыки в обреченного польского короля) привез тот самый шляхтич, что на пиру у пана Собещанского разрубил саблей блюдо с колбасой. Граф Пипер в смущении пошел будить короля, — было это на рассвете. Карл тихо спал на походной постели, положив на грудь скрещенные руки. Слабый огонек медной светильни озарял его большой нос с горбиной, аскетическую впадину щеки, плотно сжатые губы, — даже и во сне он хотел быть необыкновенным. Он походил на каменное изваяние рыцаря на саркофаге.

Вначале граф Пипер положил надежду на королевского петуха, которому ка-раз припело время загорланить во всю глотку. Но петуху приходилось разделять монашеское житие вместе с королем, он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдавал из горла что-то вроде — э-хе-хе..

— Ваше величество, проснитесь, — как можно мягче произнес граф Пипер, прибавляя огонек в светильне, — ваше величество, неприятное известие. (Карл не шевелясь, открыл глаза). Август ушел от нас..

Карл тотчас сбросил на коврик ноги в холщевых исподних и шерстяных чулках, опираясь на кулаки, глядел на Пипера. Тот со всей придворной осторож-



ностью рассказал о счастливой перемене судьбы Августа.

— Мои ботфорты, штаны! — медленно произнес Карл, еще ужаснее раскрывая немигающие глаза, — они даже начали мерцать, или то было отражение в них огонька свечей, начавшего коптить. Пипер кинулся из шатра и тотчас вернулся с Беркенгельмом в нахлобученном кое-как парике. В палатку входили генералы. Карл надел штаны, задирая ноги, натянул ботфорты, застегнул скрутук, обломав два ногтя, и тогда только дал волю своей ярости.

— Вы проводите время с грязными девками, вы разжирили, как католический монах! — лающим голосом (потому что скулы у него сводило и зубы лязгали) кричал он ни в чем не виновному генералу Розену. — Сегодня день вашего позора, — повернувшись точно для удара шпагой, кричал он генералу Левенгауту, — вам уместно тащиться нижним чином в обозе моей армии! Где ваша разведка? Я узнаю новости позже всех!.. Я узнаю важнейшие новости, от которых зависит судьба Европы, от какого-то пьяного шляхтича! Я узнаю их от куртизанок! Я смею! Я еще удивляюсь, почему меня сонного не утащили из шатра казаки и с веревкой на шее не отвезли в Москву! А вам, господин Пипер, советую заметить дурацким колпаком графскую корону на вашем гербе! Вы, пожиратель бекасов, куропаток и прочей дичи, пьяница и осел! Не смейте изображать оскорбления! Я с удовольствием вас колесую и четвертую! Где ваши шпионы, я спрашиваю? Где ваши курьеры, которые должны сообщать мне о событиях за сутки раньше, чем они случаются? К черту! Я бросаю армию, я становлюсь частным лицом! Мне противно быть вашим королем! Вам нужен какой-нибудь толстопузый король Дагобер, который носил пивную кружку на голове.

Затем король Карл оторвал все пуговицы на своем скрутке. Ударом ботфорты проткнул барабан. В ключья истрепап Париж, ставши его с головы барона Беркенгельма. Ему никто не возражал, — он метался по шатру среди пятащихся придворных. Когда припадок берсеркьерства стал утихать, Карл завел руки за спину, нагнул голову и проговорил: — Приказываю немедленно по тревоге поднять армию. Даю вам, господа, три часа на сборы. Я выступаю. Вы узнаете все из моего приказа. Оставьте мой шатер. Беркенгельм, перо, бумагу и чернила.

## 6.

— Это несносно... Стоим, стоим целую вечность... Побольше решительности, хорошая атака, и сегодняшнюю ночь мог-

ли бы ночевать в Варшаве, — ворчливо говорила графиня Козельская, глядя в окно кареты на бесчисленные огни костров, раскинувшиеся широкой дугой перед невидимым в ночной темноте городом. Графиня устала до потери сознания. Ее изящная карета с золотым купидоном сломалась на переправе через реченку и пришлось пересест в неудобный, трясучий, безобразный экипаж пани Анны Собещанской. Графиня была так зла, пани Анна казалась ей столярным презренным существом, что она была даже любезна с этой захоластной полячкой.

— Карета короля стоит впереди нас, но его там нет.. О чем он думает — самому богу неизвестно... Никаких приготовлений к ужину и отдыху...

Графиня с трудом, дергая за ремень, опустила окно кареты. Потянуло теплым запахом конского пота и сытным дымком солдатских кухонь. Ночь была полна лагерного шума, — перекакивались голоса, трещали сцепившиеся телеги, — крики, брань, хохот, конский топот, отдаленные выстрелы. Графине осточертели эти походные удовольствия, она подняла стекло. Откинулась в угол кареты, ей все мешало, — и сбившееся платье, и бурнус, и углы шкатулок, она бы с наслаждением кого-нибудь укусила до крови...

— Боюсь, что королевский дворец мы найдем в полном беспорядке, ограбленным... Семья Лещинских славится алчностью, и я слишком хорошо знаю Станислава, — ханжа, скуп и мелочен.. Он бежал из Варшавы не с одним молитвенником, в кармане. Советую вам, милая моя, иметь в запасе чей-нибудь партикулярный дом, если, конечно, у вас в Варшаве есть приличные знакомые... На короля Августа вы не очень-то рассчитывайте!.. Боже, какой это негодяй!

Пани Анна наслаждалась беседами с графиней, — это была высшая школа светского воспитания. Пани Анна с юного девичества, едва только под сорочкой у нее стали заметны прелестные выпуклости, мечтала о необыкновенной жизни. Для этого стоило только поглядеться в зеркало: хороша, да не просто хорошенькая, а с перчиком, умна, остра, резва и неутомима. Родительский дом был беден. Отец разорившийся шляхтич; промышлял по ярмаркам да за карточными столами у богатых панов. Он редко бывал дома. В затрапезном кафтанчике, усталый, присмирелый, с помятым лицом, сидел у окошка и тихо глядел на бедное свое хозяйство. Анна, — единственная и любимая дочь, — приставала к нему, чтобы рассказывал про свои похождения. Отец, бывало, с неохотой, потом — разгорячась, начи-

нал хвастать подвигами и сильными знакомствами. Как волшебную сказку слушала Анна были и небыллицы про чудеса и роскошь князей Вишневецких, Цотоцких, Любомирских, Чарторийских... Когда отец, продав за карточный долг последнюю клячу со двора и съев последнего куренка, просватал дочь за пожилого пана Собещанского, — Анна не противилась, понимая, что этот брак лишь надежная ступень к будущему. Огорчало ее только то, что муж ужасно пылок, не по годам, влюбился. Сердце у нее было доброе, впрочем в полном подчинении у рассудка.

И вот, — случай вознес ее сразу на самый верх лестницы счастья. Король попал в ее сети. У пани Анны, не закрываясь голова, как у дурочки; острый ум ее стал шнырять; как мышь в темном закроме; — все надо было обдумать и предвидеть. Пану Собещанскому, который, обыкновенно, как влюбленный муж, ничего не понимал и не видел, она заявила ласково: «Хватит с меня деревенской глупости! Вы сами, Иозеф, должны быть за меня счастливы: теперь я хочу быть первой дамой в Варшаве. Ни о чем не заботьтесь, пируйте себе и обожайте меня».

Сложно было другое: перехитрить графиню Козельскую и безмятежно утопить ее, и самое, наконец, шепетильное, — не для минутной прихоти послужить королю, но привязать его прочно...

Для этого мало одной женской прелести, для этого нужен опыт. Пани Анна, не теряя времени, выведала у графини тайны обольщений.

— Ах, нет, любезная графиня, в Варшаве я готова жить в лачуге, лишь — вблизи вас, как серая пчелка близ розы, — говорила пани Анна, сидя с поджатыми ногами в другом углу кареты и мельком поглядывая на лицо графини с закрытыми глазами; оно то розовело от отблесков костров, то погружалось в тень (будто луна в облаках). — Ведь я еще совсем дитя. Я до сих пор дрожу, когда король заговаривает со мной, — не хочется ответить что-нибудь глупое или неприличное.

Графиня заговорила, будто отвечая на свои мысли, кислые как уксус:

— Когда король голоден — он пожирает с одинаковым удовольствием ржаной хлеб и страсбургские пироги. В одном придорожном шинке он увязался за рябой казачкой, бегавшей как молния, через двор на погреб и, опять в шинок с кувшинами... Она ему показала женщиной... Только одно это имеет для него значение... О чудовище! Графиня Кенигсмарк взяла его тем, что во время танца показывала подвязки, —

черные бархатные ленточки, завязанные бантиками на розовых чулках...

— Иезус, Мария, и это так действует? — прошептала пани Анна.

Он, как скотина, влюбился в русскую боярыню Волкову; она во время бала несколько раз меняла платье и рубашку; он вбежал в комнату, схватил ее сорочку и вытер потное лицо... Такая же история была в прошлом столетии с Филиппом Вторым — королем Франции... Но там это кончилось долгой привязанностью, а боярыня Волкова, ко всеобщему удовольствию улизнула у него из-под носа...

— Я ужасно глупа! — воскликнула пани Анна, — я не понимаю при чем же тут сорочка той особы?

— Не сорочка, важна кожа той особы, ей присущий запах... Кожа женщины то же, что аромат для цветка, об этом знают все девчонки в школах при женских монастырях... Для такого развратника, как наш возлюбленный король, его нос решает его симпатии...

— О, пресвятая дева!

— Вы присматривались к его огромному носу, которым он очень гордится, находя, что это придает ему сходство с Генрихом Четвертым... Он все время раздувает ноздри, как лягавая собака, почувывая куропатку...

— Значит, особенно важны духи, амбрные пудры, ароматические притирания? Так я поняла, любезная графиня?

— Если вы читали Одиссею, должны помнить, что волшебница Цирцея превращала мужчин в свиней... Не притворяйтесь наивной, милая моя... А впрочем, все это достаточно противно, скучно и унизительно...

Графиня замолчала. Пани Анна принялась размышлять, — кто кого, собственно, сейчас перехитрил? За окном кареты показалась конская морда, роняющая пену с черных губ. Подъехал король. Он соскочил с седла, раскрыв дверцу, — ноздри его были раздуты, крупное, оживленное лицо ослепительно улыбалось. При свете факела, которым светил верховой, он был так великолепен в легком золоченом шлеме, с закинутым наверх забралом, в пышно перекинутой через плечо пурпурной мантии, что пани Анна сказала себе: «Нет, нет, никаких глупостей...» Король воскликнул весело:

— Выходите, сударыни, вы будете присутствовать при историческом зрелище...

Пани Анна тотчас, тоненько вскрикнув, выморкнула из кареты. Графиня сказала:

— У меня переломлена поясница, чего вы, несомненно, добились, ваше величество. Я не одета и останусь здесь дремать на голодный желудок.

Король ответил резко:

— Если вам нужны носилки, я при-  
шлю...

— Носилки, мне? — От ударов зеле-  
ного света ее распахнулись глаза Ав-  
густ несколько попятился. Графиня, буд-  
то с зажженным фтигидем, вылетела из  
карей, — в персиковом бурнусе, в огонь-  
ках драгоценных камней, дрожащих в  
ушах, на шее, на пальцах, с куафюрой  
потрепанной, но оттого не менее преле-  
стной. — Всегда к вашим услугам! —  
и сунула голую руку под его локоть.  
Еще раз пани Анна поняла, как велико  
искусство этой женщины...

Втроем они пошли к королевской ка-  
рете, где при свете факелов стоял на  
коных эскадрон отборной шляхетской  
конницы, — в кирасах с белыми лебе-  
динными перьями, прикрепленными за  
плечами на железных ободах. Август и  
дамы, — по сторонам его и несколько  
позади, — сели в кресла на ковре. У  
пани Анны билось сердце; — ей пред-  
ставилось, что обступившие их высокие  
всадники с крыльями, с бликами энгей  
на кирасах и шлемах, — божьи анге-  
лы, сошедшие на землю, чтобы вернуть  
Августу его варшавский дворец, славу  
и деньги... Она закрыла глаза и прочла  
короткую молитву:

— Да будет король в руках моих, как  
ягненок...

Послышался конский топот. Эскадрон  
расступился. Из темноты приближался  
великий гетман Любомирский со своим  
конвоем, также с крыльями за плечами,  
но лишь из черных перьев. Подъехав  
вплотную к королю, великий гетман рва-  
нул поводья, раздвигая епанчу, прынул с  
храпящего коня и на ковре преклонил  
колени перед Августом:

— Если можешь, король, прости мою  
измену...

Порочие темные глаза его глядели твер-  
до, воспаленное лицо было мрачно, голос  
срывался. Он ломал свою гордость. Он  
не снял меховой шапки с алмазной ги-  
ряндой, лишь сухие руки его дрожали...

— Моя измена тебе — мое безумие, по-  
томнение разума... Верь, — я все же ни  
часу не признавал королем Станислава...  
Обида терзала мои внутренности. Я дож-  
дался.. Я бросил ему под ноги мою була-  
ву.. Я плюнул и вышел от него... На  
королевском дворе на меня напали сол-  
даты коменданта.. Слава богу, рука моя  
еще крепко держит саблю, — кровью  
проклятых я скрепил разрыв с Лещин-  
ским... Я предлагаю тебе мою жизнь.

Слушая его, Август медленно стаски-  
вал железные перчатки. Уронил их на  
ковер, лицо его прояснилось. Он поднял-  
ся, протянул руки, потряс ими:

— Верю тебе, великий гетман.. От все-  
го сердца прощаю и обнимаю тебя...

И он со всей силой прижал его лицо  
к груди, к чеканным кентаврам и ним-

фам, изображенным на его панцире  
итальянской работы. Продержав его так  
прижатым, несколько дольше, чем следо-  
вало, Август приказал подать еще один  
стул. Но стул уже был подан. Великий  
гетман, время от времени трогая помя-  
тую щеку, стал рассказывать о варшав-  
ских событиях, произошедших после его  
отказа выступить против Августа и рус-  
ских.

В Варшаве начался переполох. Карди-  
нал примас Родзиевский, который в про-  
шлом году на люблинском Сейме публич-  
но, на коленях перед распятием, клялся  
в верности Августу и свободе Речи  
Посполитой, а через месяц в Варшаве  
поцеловал лютеранское евангелие на вер-  
ность королю Карлу, потрещал, — даже  
с пеной на губах, — декорации Авгу-  
ста, выдвинул кандидатом на престол  
князя Любомирского и тут же, по тре-  
бованию Арведа Горна, предал и его, —  
этот трижды предатель первым бежал  
из Варшавы, ухитрясь при этом увез-  
ти несколько сундуков церковной казны.

Король Станислав три дня бродил по  
пустому дворцу, — с каждым утром все  
меньше придворных являлось к короле-  
вскому выходу. Арвед Горн не спускал  
его с глаз, — он поклялся ему удержать  
Варшаву с одним своим гарнизоном. Так  
как по правилам этикета он не мог при-  
сутствовать за королевским столом, поэто-  
му в обед и ужин сидел рядом в комнате  
и позванивал шпорами. Станислав, что-  
бы не слышать досадливого позванива-  
ния, читал сам себе вслух по-латыни,  
между блюдами, стишки Апулея. На чет-  
вертую ночь он все же улизнул из двор-  
ца, — вместе со своим парикмахером и  
лакеем, — переодетый в деревенское пла-  
тье, с наклеенной бородой. Он выехал  
за городские ворота на телеге с двумя  
бочками дегтя, где находилась вся коро-  
левская казна. Арвед Горн слишком позд-  
но догадался, что король Станислав, —  
истинный Лещинский, — помимо чтения  
Апулея и скучливого шагания вместе со  
своей собакой по пустым залам, зани-  
мался в эти дни и еще кое-чем... Арвед  
Горн сорвал и растоптал занавеси с  
королевской постели, проткнул шпагой  
дворцового маршалка и расстрелял на-  
чальника ночной стражи. Но теперь  
уже ничто не могло остановить бег-  
ства из Варшавы знатных панов, так или  
иначе связанных с Лещинским.

Август хохотал над этими рассказами,  
стучал кулаками по ручкам кресла, обо-  
рачиваясь к дамам. Глаза графини Ко-  
зельской выражали только холодное пре-  
зрение, зато пани Анна заливалась сме-  
хом, как серебряный колокольчик.

— Какой же совет ты мне дашь, вели-  
кий гетман? Осада или немедленный  
штурм?

— Только — штурм, милостливый ко.

роль. Гарнизон Арведа Горна невелик. Варшаву нужно взять до подхода короля Карла.

— Немедленный штурм, черт возьми! Мудрый совет. — Август воинственно промыкнул железными наплечниками. — Чтобы штурм был удачен — нужно хорошо накормить войско, хотя бы вареной гусятиной... По скромному счету пять тысяч гусей!.. Гм! — Он сморщил нос. — Неплохо также заплатить жалованье... Князь Дмитрий Михайлович Голицын смог выделить мне только двадцать тысяч ефимков... Гроши! Что касается денег — царь Петр не широк, нет — не широк! Я рассчитывал на кардинальскую и дворцовую казну... Украдена! — закричал он, багровея. — Не могу же я обложить контрибуцией мою же столицу!

Князь Любомирский все это выслушал, глядя себе под ноги и сказал тихо:

— Мой войсковой сундук еще не пуст... Прикажи только...

— Благодарю, охотно воспользуюсь, — несколько слишком торопливо, но с чисто версальской грацией ответил Август... — Мне нужно тысяч сто ефимков... Возвращу после штурма... — Просияв, он поднялся и снова обнял гетмана, коснувшись щекой его щеки. — Иди, князь, и отдохни. И мы хотим отдохнуть.

Гетман вскочил на коня, не оборачиваясь, ускакал в темноту. Август повернулся к дамам.

— Сударыни, итак, ваше утомительное путешествие будет вознаграждено... Скажите мне лишь ваши желания... Первое из них и самое скромное, — я догадываюсь, — ужинать... Не подумайте, что я забыл о ваших удобствах и развлечениях... Таков долг короля, — никогда и ничего не забывать... Прошу в мою карету..

*(Продолжение следует.)*

---

# КАПИТАН 1-го РАНГА

Роман

**А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ**

★

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ\*

I

Большой моторный катер, на котором я находился, вышел из гавани и, сделав крутой поворот, направился на запад. Слева, в открытые иллюминаторы, заглядывало летнее солнце, обдавая теплом. Под ясным небом сладостно нежилось море, сверкая словно безмерная шаль, вышитая золотыми узорами. Море и воздух казались неподвижными. Только под кормою кипел бурун и тянулся за нами треугольником волн.

Я ехал на линкор «Красный партизан». Со мною в каюте сидело несколько краснофлотцев. Здесь были артиллеристы, горпедисты, электрики, кочегары. Они знали меня и охотно со мною разговаривали.

— Вы бы описали нашего командира судна, — сказала артиллерийский старшина, хитрово улыбаясь тонкими губами.

— Почему именно его? — спросил я небрежно, полагая, что артиллерист сказал это ради шутки.

— Человек интересный. О нем можно целую книгу сочинить.

— А кто у вас командиром?

— Капитан 1-го ранга Куликов. Он участник гражданской войны. Отважный человек. Недаром правительством наградили его двумя орденами. Надо думать, что и орден Ленина получит.

— Ну как вы с ним живете?

— Хорошо. Команда очень довольна им.

— Вероятно, уже пожилой?

— Да, годков ему порядочно будет, наверно, вторую полсотню разменял. Только никак не хочет с этим примириться. И все удале свою показывает. По физкультуре любого молодого заматает. Железный человек. Неделю тому назад он участвовал в состязании по заплыву. Расстояние было тысяча метров. И что же вы думаете? Занял второе место.

Рыжий кочегар, которого товарищи называли Гапкиным, добавил:

— Наш командир любит также участвовать в гонках на гребных шлюпках. Это для него самое большое удовольствие. В таких случаях он сдает судно своему старшему помощнику и садится на весла. Ну, и сила же у него!

Я слушал эти отзывы и вспоминал прошлое. Мне, бывшему моряку, хорошо были известны порядки в царском флоте. Тогда не только командир, но и ни один мичман не мог сесть на весла наравне с матросами. В таких поступках офицера увидели бы подрыв дисциплины. А если бы это сделал глава судна, то такого начальника все офицеры сочли бы сумасшедшим или опасным нигилистом и, вероятнее всего, на него полетели бы в Главный морской штаб доносы. Нечего и говорить о том, чтобы командир того или другого корабля решился принять участие в состязаниях по плаванию. На высшую власть того времени это произвело бы ошеломляющее впечатление, равносильное сообщению о мятеже на каком-нибудь судне.

Командир Куликов начал интересоваться мной. Хотелось узнать о нем подробнее. Краснофлотцы охотно отвечали на мои расспросы.

Заговорил электрик Сигалов, низкорослый и большоголовый парень.

— С таким командиром можно служить: умный и справедливый человек. И что за голова у него! Ведь сколько людей на судне! А он знает почти каж-

\* Среди рукописей, оставшихся после А. С. Новикова-Прибоя, оказалось восемь глав из второй, неоконченной части романа «Капитан 1-го ранга». С разрешения наших следников редакция печатает эти главы-фрагменты.

кого в лицо и по фамилии. Он часто обходит корабль. И у него такая привычка: где много людей, он присоединится к ним или даже присядет потолковать с краснофлотцами. Тут с ним можно говорить о чем угодно: о домашних делах, о колхозах, о танцах, о том, кто и чем займется после службы, у кого и где находится невеста. Иногда он обратится к краснофлотцу: «Ну, товарищ Поляков, что вам пишет Маруся?» А тот отвечает ему: «Это было, товарищ капитан 1-го ранга, в прошлом году». — «Так быстро утасла у вас любовь?» — «Ничего не поделаешь, товарищ капитан 1-го ранга. Если женское сердце сравнить с замком, то я к нему не мог подобрать ключа». А командир уже спрашивает другого: «Товарищ Дроздов, как ваш сынок Вася поживает? Растет?» Вот память! Уж что он услышал, то никогда не забудет. Бывает — командир сам начнет нам рассказывать что-нибудь такое, что мертвых рассмешит. А как встал и пошел, то опять он начальник. Этому командиру очки не вопрешь. Ты никак не узнаешь, когда ему вздумается облазить корабль: днем, ночью или перед рассветом. Таким образом и командный состав и краснофлотцы у нас всегда на-чеку.

Я спросил:

— Командир, видимо, живет с вами в хороших товарищеских отношениях. Но этим не снижает ли он себя в глазах своих подчиненных?

— Нисколько, — поспешил с ответом коцегар. — Он является для нас опытным и разумным начальником, каждое его слово для нас закон. А характером командир такой: сам он не врет и не любит, тех, кто вздумает его обмануть. Случается, что человек совершит нечаянно какой-нибудь проступок по службе. Тогда лучше заранее иди к командиру и расскажи ему все по совести как было дело. Он во всем разберется и может простить тебя. Но если ты соврешь ему, то пощады не жди. Больше тебе не придется с ним служить. У него лозунг такой: экипаж судна — это одна дружная и честная семья, а родина — ее мать.

Один из собеседников посоветовал мне:

— Когда вы познакомитесь с ним поближе, то расспросите его о гражданской войне. Вот порасскажет — заслушаетесь. Досталось от него белогвардейцам.

Чем больше я беседовал с краснофлотцами о командире Куликове, тем сильнее он возбуждал к себе мое любопытство. Судя по их восторженным отзывам, он, повидимому, пользовался среди своих подчиненных большой любовью. И авторитет его, как начальника, стоял чрезвычайно высоко. Насколько я понял, это был испытанный боец, проявивший себя

во время гражданской войны как великодушный стратег и тактик. А рассказы о его непомерной храбрости были похожи на легенды.

Через несколько часов наш моторный катер повернул влево. За это время солнце значительно склонилось к западу и теперь заглядывало в каюту справа. Попрежнему узорчато искрилось море и казалось еще более приветливым. Голубели ясные дали, и, как всегда, манили душу моряка смутными обещаниями.

Вскоре за мысом, поросшим громадными соснами, показалась эскадра, стоявшая на якоре в просторной губе. Это постоянное ее местопребывание во время летних учений. Все яснее вырисовывались контуры кораблей. Здесь были линкоры, крейсера, эсминцы, посыльные суда. Ближе к берегу, разбившись на небольшие группы, выстроились рядами подводные лодки. Эти страшные боевые единицы теперь казались игрушечными суденышками, созданными как будто только для забавы человека. Среди них возвышались своими корпусами пароходы — это базы для подводников. Эскадра слегка дымила. Не трудно было догадаться, что на судах лишь часть котлов находилась под парами, обслуживая вспомогательные механизмы.

Я с жадностью смотрел на корабли, и мысль невольно возвращалась к недавнему прошлому. Что было после гражданской войны? Часть судов была потоплена в сражениях, многие корабли белогвардейцы, изменив своей родине, увели за границу. В разоренной Советской стране остался небольшой флот, плохо обслуживаемый и не имевший даже возможности обеспечить себя топливом. Но теперь он сильно увеличился в своем составе, окреп и продолжал вырастать в могучую и грозную силу, охраняя водные рубежи социалистического отечества.

Катер с полного хода ловко пристал к правому трапу линкора «Красный партизан». Я взшел на верхнюю палубу. Меня встретил капитан 2-го ранга, отрекомендовавшийся старшим помощником командира Ложкиным. Он почтительно улыбался, сверкая золотыми коронками на передних зубах. Его высокая фигура на момент заслонила от меня всю палубу. Тут же со мною поздоровался лейтенант — вахтенный командир. Только теперь я заметил, как много людей на верхней палубе. Но еще больше удивило меня то, что из них только вахтенные были одеты по всей форме. А остальные не имели на себе ничего, кроме трусиков или плавок. Капитан 2-го ранга Ложкин, заметив мое изумление, пояснил мне:

— Это перед ужином приготовились купаться.

Оглянувшись, он осторожно взял меня

под локоть и подвел к пожилому человеку.

— Познакомьтесь — наш командир, капитан 1-го ранга Куликов. А это..

Старший помощник назвал мою фамилию.

Командир протянул руку и до боли сжал мои пальцы в своей широкой и сильной, как медвежья лапа, ладони.

— Очень рад с вами познакомиться, — заговорил он басом, вонзаясь в меня пытливым взглядом серых глаз. — Заочно я давно знаю вас по вашим произведениям. Приехали посмотреть, как мы живем?

— Совершенно верно, товарищ Куликов, — ответил я, в свою очередь оглядывая его с ног до головы.

Большая седеющая голова, подстриженная под ершика, уверенно покоилась на толстой шее. Лицо, гладко выбритое, безусое, продубленное солнцем и морскими ветрами, было кирпичного цвета. Он был среднего роста, широкоплеч, грудаст и твердо стоял на упругих ногах, немного расставив их, как привык это делать на мостике во время качки. Ему, вероятно, перевалило за пятьдесят лет, но его тело сохранило гибкость и молодость. Он то сдержанно улыбался, то сразу становился серьезным, выражая нетерпение скорее познать гостя.

— Может быть, и вы за компанию покупаетесь? С дороги это будет особенно полезно.

— Благодарю вас. Этим делом, с вашего разрешения, я займусь завтра.

Со мною здоровались какие-то еще люди, и каждый из них называл свое звание и свою фамилию. Так, помимо командира, со мною перезнакомились корабельный врач, инженер-механик, лейтенанты-артиллеристы, штурманы и политработники.

На палубе стояли во фронте краснофлотцы, разбившись на подразделения, объединенные одной какой-нибудь специальностью. Старшины групп проверяли наличие желающих купаться. Когда все было готово, вахтенный командир, взглянув на часы, приказал горнисту:

— Играть движение вперед.

Раздались звуки горна. Всегда привычные и знакомые, они в этот момент прозвучали по-особенному, взбудоражив жизнь на корабле. Сигнал внес необычное оживление среди людей. Смех и говор заполнили палубу, как будто сразу оборвалась дисциплина. Сотни моряков, блестя на солнце свежестью и здоровьем юношеских тел, устремились на старт купания. Одни спускались по трапам на нижние ступеньки — это были, вероятно, новички водного спорта. Другие, матерые пловцы, становились в шеренгу по борту с солнечной стороны или при-

мащивались на откиннутые от бортов выстрелы\*. Некоторые мастера прыжков в воду, взбирались на мостики, высота которых над морем равнялась самым высоким вышкам и трамплинам водных станций. Меня целиком захватила эта горячка приготовлений к купанию голубой массы в разноцветных плавках и трусиках. Прежде чем войти в воду, многие, стоя у самых краев борта и мостиков, на выстрелах и на ступеньки трапа, проделывали всевозможные волевые гимнастические упражнения. Люди, словно проверяя свои физические силы, вытягивались на носках, трясли ногами, подтягивали животы, расправляли плечи, приседали, поджимали колени, размахивали руками, выбрасывали их вперед, назад, вверх, массировали мышцы груди. Корабль, облепленный обнаженными телами, теперь походил на спортивную водную станцию или школу плавания на Москва-реке. Так же, как там, здесь борт, мостики, выстрелы трапы служили вышками и трамплинами разной высоты.

От борта линкора отделились шлюпки и направились в разные стороны.

Капитан 2-го ранга пояснил мне:

— Дежурные шлюпки на случай оказания помощи тонущим. Это у нас всегда на купании. Наш освод.

От движения шлюпок на спокойной воде расходились легкие волны, дробя солнечные блики. На поверхности моря вспыхивали беглые зайчики. От их ослепительных искр жмурились глаза стартовых купающихся.

Вдруг, покрывая говор, раздались всплески падающих в воду тел.

Я увидел, как с мостика прыгнул голубовою вперед, поворачиваясь винтом человек в голубых плавках. Одновременно с ним, согнувшись и поджав колени почти к груди, закувыркался двумя салями в воздухе еще человек в черных трусиках. Оба они шукой нырнули в глубину.

Капитан 2-го ранга не переставал пояснять мне:

— Это два из многих наших мастеров прыжка: в голубых плавках — машинист, в черных трусах — сигнальщик.

Я не успевал следить за множеством простых и сложных прыжков. Началось непрерывное мелькание бросающихся вниз тел, в разных замысловатых движениях. Меня удивляло, до чего многочисленны и разнообразны могут быть фигурные комбинации из человеческого тела. Конечно, не все моряки проделывали сложные и смелые прыжки. На

\* Выстрелом называется рангоутное дерево, которое во время якорной стоянки откидывается от борта и к которому привязываются шлюпки.

блюдались чередования простейших входов в воду без толчка, «спады» вниз головой и «соскоки» ногами. Но все это неудержимое стремление к воде настолько было заразительно, что мне самому хотелось, не раздеваясь, броситься с борта в прохладную влагу.

Залюбовавшись воздушными полетами моряков, я забылся и потерял из виду самого командира.

На заднем мостике стоял инструктор по спорту, одетый в форму младшего командира. В руке он держал записную книжку, отмечая в ней свои наблюдения за купающимися.

Мне опять вспомнился царский флот. За шесть лет, проведенных мною на военных кораблях, я никогда не видел того, что пришлось наблюдать здесь. Лишь на некоторых судах раза два в месяц устраивались общие купания. Но в этом принимали участие не больше одной четвертой части команды. А остальные, не умея плавать, с завистью смотрели на своих товарищей, но продолжали оставаться на палубе боязливыми зрителями, изнывая от жары и пота. Для купающихся, чтобы они не могли утонуть, укрепляли за выстрелы сеть, горизонтально погруженную в море на глубину половины человеческого роста. Таким образом, раздольная ширь сводилась до масштаба деревенского лужи, где можно было только барахтаться, а не свободно плавать. Поэтому прыгать вниз головой с бортов, а тем более с мостиков, совсем никому не разрешалось. Еще хуже было на кораблях учебно-артиллерийского отряда. Каждый год этот отряд по три месяца проводил на Ревельском рейде. Адмиралу никогда и в голову не приходило разрешить команде купаться. Так же было и на кораблях минного отряда. Матросы могли позволить себе такое удовольствие только в тех случаях, когда их отпускали на берег. Неудивительно, что большинство из команды, прослужив на судах военного флота по семи лет, ни разу не испытали радости морского купания.

Начальство будто не понимало, какую пользу приносит людям купание. Совершенно иначе смотрят на это в советском флоте. Сейчас каждому пионеру известно, что ни один спорт не может так закалить человека, как купание. А все эти упражнения в прыжках развивают в моряке ценнейшие свойства: решимость, самообладание, настойчивость и умение добиться победы.

Я обратился к старшему помощнику Ложкину:

— А есть у вас из команды не умеющие плавать?

— Ни одного! — не без гордости ответил он. — А если из молодых краснофлотцев такие к нам попадут, то их обя-

зательно научат овладеть этим искусством. Моряк не должен бояться воды. Вы видите, с какой охотой все бросаются в море? Это вполне естественно. Молодежь всегда имеет желание помериться своими силами с другими. Добиться успеха в соревновании — вот одна из важных форм ее воспитания.

Вокруг линкора шумные всплески воды смешивались с человеческим гомоном. В косых лучах солнца радужно вспыхивали фонтаны брызг. Одни из моряков просто танцевали, пользуясь для этого разными стилями, другие пускались на перегонки, соревнуясь между собой в быстроте и на дальность заплыва. Некоторые из купающихся, разбившись на кучки, сгрудившись, играли в водное поло. Ведя и перебрасывая резиновый шар, игроки действовали руками и головою. Можно сказать, все части тела пускались в бой. И выходило это у них с такой поразительной легкостью и свободой, словно они двигались не в море, а на суше. Поражало их мастерство держаться и двигаться на воде. В стороне от групповых заплывов видно было, как несколько виртуозов то состязались по нырянию вдаль, то показывали фокусы, переворты в воде колесом, то неподвижными пластами застывали на спине, ложась в дрейф. Под безоблачным небом, в лучах дневного светила море, ослепляя отраженным блеском, как бы кипело от множества барахтавшихся молодых, сытых и загорелых тел. В этом общем порыве возбужденного движения, казалось, принимали участие и чайки, с криком носившиеся над пловцами. Получалось впечатление, что эти люди выросли в самом море, оно стало для них родной стихией, и они, возбужденные, резвились в нем, как дельфины. Я слушал зазорные выкрики и безудержный смех сотен моряков, и у меня возникла мысль, что так ярко веселиться не могли даже древние греки, родоначальники культуры водного спорта.

Я обратился к старшему помощнику: — Часто бывают у вас такие купания?

— Во время стоянки на якоре каждый день перед обедом. Иногда и перед ужином еще раз купаются, как, например, сегодня.

Я посмотрел на другие корабли — вокруг них так же, как и здесь, купались люди.

По приказу вахтенного горнист проиграл сигнал купающимся. Моряки стали повертываться к линкору. По трапам и штурм-трапам они быстро взбирались на палубу. На них, словно утренняя роса, дрожали, излучаясь солнцем, капли морской влаги. Бодрые, налитые силой молодости, они разбегались по кораблю, торопясь одеться в морскую форму.



## II

Мне дали отдельную небольшую каюту. Я с радостью поселился в ней. Столик, кресло, койка, диван, умывальник, шкаф для белья и одежды, книжные полки были так удобно размещены, что занимали мало места. А чтобы во время качки мебель не могла передвигаться, она была прикреплена к переборкам или к палубе. Мое помещение показалось мне достаточно уютным. Ночью оно освещалось электрической лампой, днем проникал свет через иллюминатор. Этот иллюминатор все время был у меня открыт, и я с наслаждением вдыхал соленый морской воздух.

Находясь в отдельной каюте, я не переставал ощущать биения пульса судовой жизни. Линкор, даже стоя на якоре, не замирал ни на одну минуту. Молчали лишь его главные машины, а вспомогательные механизмы продолжали работать. При них люди несли свою вахту. По временам до моего слуха доносились выкрики отдаваемых начальством распоряжений или топот ног пробегавшего по коридору человека.

Вчера после купания мне не удалось поводить с командиром Куликовым. Он был чем-то занят и за весь вечер, запершись у себя в каюте, ни разу не показался на людях. А сегодня утром за мною прибежал вестовой и пригласил меня в салон. Там за круглым столом уже сидел командир. Он был одет в белый китель, в широкие демносиние брюки. Грудь его украшали два ордена Красного Знамени, на рукавах блестяли по одной широкой золотой нашивке, означая звание капитана 1-го ранга. При моем появлении он встал, поздоровался со мною и спросил, как я спал и как я вообще чувствую себя на новом месте. На мои положительные ответы его загорелое и лоснящееся лицо слегка улыбнулось. Он пригласил меня за стол:

— Вместе подхарчимся.

Движения его были неторопливо-солидные. Но ел он хлеб с маслом, сыр, яйца и пил кофе с такой поспешностью, словно находился в буфете железнодорожной станции и боялся опоздать к поезду. Меня удивляло его молчание. По отзывам краснофлотцев он представлялся мне не таким. И почему-то он поглядывал на меня подозрительно, словно был недоволен мною. Что случилось? И только покончив с завтраком, Куликов вытер салфеткой губы и заговорил:

— Вы женаты?

Я растерялся от неожиданности такого вопроса и не сразу ответил, а он, как бы утешая меня, сказал:

— Ничего. Я тоже женат.

Озорной огонек сверкнул в его серых глазах. Мне показалось, что он пошляется надо мною. Я хотел заметить ему о неелости его вопроса. Но он только улыбнулся и спросил:

— Как вам нравится наш линкор?

— Ничего не могу сказать, потому что не видел его как следует.

Он встал и вышел из-за стола.

— Мы с вами успеем о многом поговорить. А пока вот что — познакомьтесь кораблем. Я назначу вам толкового лейтенанта. Походите с ним по разным отделениям.

— Спасибо.

Командир продолжал:

— Современный линкор — это вам не прежние корабли. Ход его до двадцати пяти узлов. Он может поражать противника, еле видимого на горизонте. И вы знаете, какую энергию заключает в себе «Красный партизан»?

Я вопросительно поднял брови.

— Не меньше, чем Волховская гидроэлектрическая станция. Ничего себе, а!

— Да, наглядно.

Извинившись, Куликов удалился по своим делам.

Я остался в салоне один, размышляя о современном флоте. На подобных линкорах и других судах я и раньше бывал, но от этого у меня нисколько не утратился интерес к военному кораблю. А «Красный партизан» особенно занимал меня. Закованный в толстую броню, он сверху не имел никаких лишних надстроек. Башни, передний и задний мостики, две дымовые трубы, подъемные краны — вот все, что возвышалось над верхней палубой. С внешней стороны он напоминал громадный утюг длиной в одну пятую часть километра. Башни и борта линкора грозно ошметинились дальнобойными и противоминными срудями.

В салон вошел старший лейтенант, худощавый и стремительный человек, лет тридцати семи. Скуластое, со впалыми щеками, его лицо приветливо улыбалось, из-под густых бровей, сросшихся над переносицей, бодро смотрели карие глаза. Протягивая мне руку, он браво отрекомендовался:

— Федор Матвеевич Пазухин. Назначен командиром в ваше распоряжение, чтобы познакомить вас с нашим линкором.

Я попросил его присесть и предложил ему папиросу. Пока мы курили, я узнал от него кое-что из его биографии. До службы он занимался со своим отцом рыболовством на Белом море. С малых лет он увлекался водной стихией. Поэтому по первому призыву ЦК комсомола он добровольно пошел во флот

Будучи на действительной службе, Пазухин прошел школу рулевых, а затем три года пробыл на сверхсрочной службе в звании младшего командира. За это время, посещая вечерние курсы по общеобразовательным предметам, он подготовился и поступил в Военно-морское училище. По окончании его стал штурманом. Но ему хотелось приобрести больше знаний. Этой весной он получил диплом об окончании академии по своей специальности.

Я спросил:

— Что это ваш командир такой необычайный? Никак к нему не подъедешь. Молчит. Всегда он такой?

Лейтенант Пазухин рассмеялся.

— Значит, присматривается к вам. Это будет продолжаться еще два-три дня. А в общем это замечательный командир: по службе суровый, но в жизни исключительный добряк. Великолепный организатор и боевой человек. Плавать с ним — это значит пройти хорошую морскую школу на практике.

Мы пошли осматривать линкор. Наксколькo «Красный партизан» казался мне прост с внешней стороны, настолько же все было в нем сложно внутри. Даже мне, побывавшему на многих военных кораблях, трудно было сразу разобраться в его железных лабиринтах. Мой проводник, лейтенант Пазухин, в некоторых помещениях на короткое время задерживался, давая объяснения на счет того или другого механизма, и торопливо шел дальше. Я едва успевал за ним. Это был осмотр на скорую руку, поверхностный, лишь бы удовлетворить новизной впечатлений нетерпеливую жажду мозга. Немыслимо было охватить все в один раз. Чтобы облазить все палубы, отсеки, кубрики, машинные отделения, котелгарки, трюмы, мостики, штурманские рубки, боевые рубки, трапы, коридоры, бронированные башни, казематы противоминной артиллерии, кюит-камеры, бомбовые погреба, торпедные погреба, радиорубки, телефонные станции, электрические станции, отделения для сухой и сырой провизии, угольные ямы, канцелярии, каюты, помещения за двойным бортом, канатные ящики, коридоры, где вращаются гребные валы, — словом, чтобы загладнуть во все закоулки, в люки, горловины, вентиляционные отдушины, на это пришлось бы потратить несколько дней. Но еще больше потребовалось бы времени для выяснения работы главных машин и всевозможных вспомогательных механизмов, проводов, переборки, артиллерийских, торпедных, штурманских приборов, беспроводных телеграфов, электрических станций, всех бесчисленных манометров и других изобретений, необходимых для управления

боевым кораблем. Осматривая линкор, мы то поднимались вверх на несколько этажей, то опускались в глубь его железных недр. Для этого нам приходилось пользоваться трапами или скобами, прикрепленными к вертикальной переборке, и только в тех случаях, когда нам нужно было попасть на мостики, прибегали к помощи лифта. Беседа с лейтенантом Пазухиным, я с трудом, до боли в голове, осмысливал всю сложность современного корабля. Понятным становилось, почему для обслуживания его нужны не просто моряки, а люди высоких специальных знаний: инженеры, техники, машинисты, котелгары, артиллеристы, радисты, электрики, турбинисты, минеры, сигнальщики, дальномерщики. Им приходится иметь дело с различного рода механизмами и приборами.

Из радиорубки, проникая во все отделения судна, раздался повелительный голос:

— Внимание! Внимание! Говорит радиоузел линкора «Красный партизан». Прекратите занятия! Проветрите жилые помещения!

На время я расстался со своим командиром.

Командир Куликов на этот раз не присутствовал на купании и не обедал. Его зачем-то вызвали на флагманский корабль. А я с большим удовольствием освежился в море и затем плотно пообедал.

После обеда я с тем же лейтенантом возобновил осмотр судна. Мы порядочно задержались в одной из орудийных башен. Снаряды, приспособления для подачи их, сами орудия, всевозможные приборы для управления огнем — как все это усложнилось в сравнении с тем, что было раньше во время моей службы! А дальнoбойность стрельбы стала такой громадной, что попадание снарядов может быть только при правильном определении расстояния до противника. Вот почему на судне установлены самые усовершенствованные дальномеры. Лейтенант Пазухин пояснил мне:

— Допустим, что противник находится от нас в ста двадцати кабельтовых. Хороший дальномерщик, овладев современным прибором, точно определит расстояние до него. Ошибка может быть допущена в полкабельтовых, не больше.

Мы еще долго ходили по разным закоулкам линкора. От впечатлений у меня трещала голова. И все же этот осмотр был очень белым. Мы не могли останавливаться на деталях судна, насыщенного от киля и до самого клотика техническими изобретениями.

— Вы уже имеете некоторое представление о современном корабле, — говорил

лейтенант Пазухин. — Чтобы вся его материальная часть работала бесперебойно, требуется от личного состава очень много специальных знаний. Неудивительно, что число строевых краснофлотцев с течением времени все уменьшается. На их место становятся люди с техническим образованием.

Он привел меня в библиотеку. Заведующий ею был краснофлотец, развитой и разговорчивый человек. Он охотно и с любовью рассказывал нам о судовой книжной сокровищнице. Я слушал его и невольно вспоминал прошлое.

В царском флоте каждый корабль имел по две библиотеки: одна для начальства, другая для нижних чинов. Считалось хорошо, если в офицерской библиотеке находилось до тысячи томов. Тут были и научные книги, и беллетристика на разных европейских языках. При этом русские авторы пользовались меньшим почетом, чем французские. Что же касается матросской библиотеки, то она представляла собою жалкий вид, состоя из сотни брошюр. Здесь были всякого рода сказки, много раз проверенные военной цензурой, чтобы не проскочила в них какая-нибудь вредная идея; описания жития святых и великомучеников, проповеди Иоанна Кронштадтского, лубочные дешевки, ничего не дающие ни уму ни сердцу. В такой библиотеке нельзя было найти ни одной серьезной книги. Отсутствовала даже история России, казалось бы, так необходимая, чтобы пробудить у военного читателя любовь к своей родине. Вот почему более развитые матросы покупали книги на свои собственные гроши. Но и это давалось не так легко. С произведениями таких авторов как Лев Толстой и Максим Горький или с передовыми журналами люди из команды старались не попадаться на глаза начальства. Мало того, что они рисковали попасть в карцер, их могли еще взять под подозрение, как политических преступников. И все же, несмотря ни на что, матросы читали. Для этого им приходилось забираться либо за двойной борт, либо в подбашенное отделение и в другие такие места, куда не заглядывал офицерский глаз.

Не то стало теперь. На линкоре «Красный партизан», как и на всех судах советского флота, библиотека была общей для всего экипажа. Команда пользовалась ею наравне с начальствующим составом.

Я спросил у библиотекаря:

— Сколько у вас книг?

— Более двадцати тысяч томов.

Названная цифра меня удивила.

Мне было обидно за прошлое и радостно за настоящее. До неузнаваемости изменилась жизнь флота. Теперь не толь-

ко никто не преследует краснофлотцев за чтение книг, но всячески это поощряется.

Я поблагодарил своего спутника, лейтенанта Пазухина, и, усталый, ушел к себе в каюту отдохнуть.

Вечером я ужинал с командиром Куликовым. Со мною он держался так же, как и утром: был скуп на слова. Тогда я сам стал приставать к нему с расспросами главным образом по артиллерии. Его лицо приняло выражение настороженности. Он отделался от моего любопытства общими фразами, не сообщив никаких конкретных данных. А когда я поинтересовался, насколько подготовлены комендоры, он как будто не слышал меня и заговорил о другом:

— Странные бывают случаи в жизни.

— А именно?

— Несколько лет тому назад я побывал в Ленинграде на кладбище. Дело было летом. Только что брызнул мелкий дождь, и сейчас же небо очистилось от облаков, поглубело. В ярких лучах солнца вся зелень деревьев и трав празднично расцвела каплями росы. Воздух был пропитан каким-то особым ароматом и свежестью, приятно щекотал ноздри и наливал тело здоровьем. Словом, кругом было разлито столько сияющей радости, что даже не верилось, что находишься на месте человеческих страданий, горестных вздохов и горьких слез. Но, как и всегда на кладбище, невольно приходят мысли о бренности нашей жизни. Походив я между могила и холмов, поразмышляя, попустил. Потом со мною встретился кладбищенский сторож. Сели мы на скамеечку, я уступил его папиросой. Разговорились. Старик имел за своими плечами семь десятков лет, но чувствовал себя, повидимому, еще бодро. Когда-то он был бондарем, но бросил свою профессию. Оказалось, лет тридцать назад он похоронил здесь свою любимую жену и с тех пор здесь же остался сторожем. Живет неважно и все же остался верным своей супруге. Бывают же на свете такие однолюбы! Вспоминал он о ней с такой трогательной сердечностью, с таким глубоким чувством, как будто она была самая добрая женщина на всей земле. И я видел, как по его загорелым щекам покатились две крупные слезы. У него осталось одно желание — лечь в могилу рядом с женой. Покуриваем мы со сторожем, мирно беседуем. В это время появляется на кладбище старушка. Проходит она мимо могильных холмиков и памятников, вся сгорбленная, покачивает голову и смотрит по сторонам, точно прискивает себе местечко на вечный покой. На ней шляпка с широкими полями, украшенная полинявшими розами и ягодами вишен, и черное шелковое платье старомодного покроя. Все

но когда-то дорого стоило, но теперь и шляпку и платье давно бы нужно выбросить в мусорный ящик. Только туфельки на французских каблучках, бальные, отглаженные серебром, сохранили изящный вид. Очевидно, они были связаны у нее с какими-то радостными воспоминаниями, и она надевала их только в исключительных случаях. По всему видно, что это бывшая барыня. Она бережно несла в горшочке гвоздику. Судя по ее бедному наряду, надо полагать, что она купила эти цветы за счет экономии на лице. Старушка подошла к могиле, чисто убранной, огороженной чугунной решеткой, за которой возвышался мраморный памятник и стояла зеленая скамеечка. Зайдя за решетку, эта сгорбленная женщина остановилась как бы в недоумении. Я ждал, что сейчас она разрыдается, олакивая милое и дорогое существо, похороненное в этой могиле. Но она подозрительно оглянулась на нас. В этот момент я увидел ее лицо, желтое и сморщенное, как сухой гриб, и невероятно злое. Губы ее еще шевелились, она что-то шептала, но только не молитву. В этом я был убежден. Вдруг она повертывается и начинает что-то проворно хватать с могилы. И что же я вижу? Она рвет цветы и разбрасывает их в разные стороны, а баночки из-под них разбивает об ограду. Все это она проделывала с ненавистью. Потом она поставила на могилу свои цветы и уселась на скамеечку. Но от волнения седая голова старухи еще долго дергалась. Пораженный этим случаем, я обратился за разъяснением к сторожу. От него я все узнал. Под мраморным памятником покоится прах знаменитого певца. Было время, когда он шумел на всю страну. В театрах он своим необыкновенным голосом и художественным исполнением покорял зрителей. Все для меня стало понятным. Десять лет прошло, как зарыли знаменитого певца в землю, но бывшие барыни все еще приходят сюда, чтобы поклониться праху своего бывшего кумира. По словам кладбищенского сторожа, все они такие же ветхие, как и эта особа. Но ревность у них все еще не угасла. Почти все они приходят к этой могиле и уничтожают цветы, расставленные на ней другими. Иногда они сталкиваются здесь вместе, и тогда между ними происходит отчаянная ругань. Они готовы выцарапать друг у друга глаза. Очевидно, каждая из них думает, что он, кости которого давно истлели, любил ее одну и только ей одной принадлежал. Над кладбищем, стрелочка пропеллером, низко пролетел самолет. Старушка не обратила на него внимания. Она перестала трясти головою, замерла. В этот момент она была вся в прошлом. Может быть, в ее памяти всплывали те сладостные моменты, ка-

кие она переживала тридцать-сорок лет назад. Возможно, что при первой встрече и первых поцелуях с любимым она была в этих именно отглаживающих серебром туфельках. Время ничего не оставило для нее, кроме ярких, но уже оборванных лепестков воспоминаний.

Куликов замолчал. Я задумался над его рассказом. И вдруг мне стало досадно, почему я не получил ответа на свой вопрос. Мне показалось, что командир относится ко мне недоверчиво. Я сказал:

— Случай, какой вы наблюдали на кладбище, сам по себе интересный, а в вашей передаче особенно. Но какое это имеет отношение к линкору?

— Ах, да, линкор, — спохватился командир, вылезая из-за стола. — Знаете что? На осмотр его вам придется потратить еще не мало времени. Скажу о себе. Когда меня назначили на этот линкор командиром, то я по долгу службы решил облазить его весь, побывать во всех его отделениях. И каждый день я аккуратно записывал в блокнот, сколько на это у меня тратится времени. Когда такой осмотр был мною закончен, я подытожил свои записки. Получилось, что я потратил на это ровно два месяца. Вот что значит современный линкор.

Он ушел, оставив меня одного в салоне.

Мне начинал он казаться человеком очень интересным и сложным. В его седоющей, подстриженной под ерша, голове, как в надежном сейфе, вероятно, много ярких переживаний и всевозможных ценных наблюдений. Но он был осторожен со мной. Я вспомнил слова лейтенанта Пазухина и решил, вооружась терпением, ждать, когда он заговорит со мной языком простых человеческих отношений.

### III

Меня интересовал вопрос: что это за люди, населяющие линкор «Красный партизан», и откуда они пришли?

В этом мне много помог комиссар линкора Ефим Савельевич Огородников. Высокий, жилистый, лет тридцати, с медлительной походкой, он показался мне при первом знакомстве человеком вялым. Но скоро я изменил о нем свое мнение. Воспитанник специальной академии, он хорошо разбирался в политике, обладал твердой волей и организаторскими способностями. А энергии в нем было заложено хоть отбавляй. Для него не существовало ночи, если предстояло срочное дело. На собраниях, когда он выступал с речью, его удлиненное, густобровое лицо становилось вдохновенным, глаза загорались синим блеском. Свою страстность он заражал всех слушателей. Команду он знал не мень-

ше, чем командир, и среди нее также пользовался большим уважением.

Это были два главных лица на корабле: один ведал боевой подготовкой своих подчиненных, другой выработывал в них политическую и моральную стойкость. Оба, кстати сказать, дружили между собой и, в случае надобности, могли на время заменить один другого. Командир выполняет свою роль всегда на виду у всех, часто появляясь на мостике. Комиссар же как бы отодвигается на задний план, но он вникает во все подробности судовой жизни и выполняет напряженную большевистскую работу.

Как-то вечером я прохаживался с комиссаром Огородниковым по верхней палубе линкора. Он говорил мне о команде:

— С каждым годом состав команды все улучшается. Да иначе и не может быть. Возьмем для примера только пионерское движение, распространившееся по всей нашей стране. Вы, вероятно, сами видели, с каким энтузиазмом молодые ребята готовятся стать будущими моряками?

— Да, я видел их на Балтике, видел на Черном и Азовском морях, — согласился я. — В возрасте от двенадцати до пятнадцати лет они уже не боятся моря и катаются на шлюпках под парусами и на веслах, как заправские моряки. Они могут семафорить, управлять рулем и держать курс по компасу. А некоторые из них, наиболее развитые, даже разбираются в морских картах и умеют прокладывать по ним курс. Малограмотному и забитому матросу царского времени нужно было прослужить во флоте года два, чтобы сравняться знаниями в морском деле с нынешними пионерами.

— Правильно сказано, — подхватил комиссар, оживляясь. — Откуда у нашей молодежи такое желание попасть в Красную Армию и Флот? Стало великой честью быть воином в такой стране, как наша родина. Об этом вы сами хорошо знаете. Вот и стремятся к нам лучшие представители молодежи. Присмотритесь к ним. В связи с развитием школ в государстве и к нам поступают все более и более грамотные люди. У нас на корабле семь человек из команды с высшим образованием. А таких, которые кончили средние учебные заведения или разные техникумы, можно считать несколько десятков. Разве было что-либо подобное в царском флоте? Кроме того, сколько славных юношей, прошедших уже общественно-политическую школу, дали нам комсомольские организации. Среди команды вы много найдете и таких, которые до призыва работали на тракторах, на комбайнах и при сложных заводских и фабричных машинах. Словом, к нам приходят много развитых людей. А за время пребывания на корабле они еще больше приобретут специаль-

ных знаний и получат хорошую политическую шлифовку.

Комиссар замолчал и посмотрел на закат. Солнце, спускаясь к горизонту, подзолотило края облаков. С юга подул легкий ветерок и рассыпался по рейду серебряной ребристой рябью. От борта отвалил моторный баркас, увозя краснофлотцев, отпущенных на берег. Огородников снова заговорил:

— Конечно, в семье да еще в такой большой, как наш экипаж, не без уродов. Иногда попадаются человечки неважные: любители выпить и лодыри. Приходится над ними много работать, чтобы выветрить из них эту дурь. В конце концов под действием дружного коллектива они становятся порядочными людьми.

Мы стали разбирать начальствующий состав. В общем командиры происходили либо из рабочих, либо из крестьян. Многие из них родители были малограмотными или даже совсем неграмотными. А их сыновья, пользуясь тем, что просвещение стало доступно для всех, получили хорошее образование, включительно до академии. Они носят блестящую форму лейтенантов и капитанов разных рангов. Это энергичная и цветущая молодежь. Только командир линкора, старший механик и старший артиллерист представляли собою исключение.

— Вы, вероятно, познакомились со старшим механиком Остроумовым? — спросил комиссар.

— Да. Очень степенный и солидный человек. Мне показалось, что он из «стародистых» людей.

— Ошибаетесь. При царском режиме он был машинистом самостоятельного управления. Но после революции он окончил институт инженеров. Партийный стаж у него более двадцати лет. Это человек неповоротливый, с ленцой. Впрочем, он великолепно выполняет свои обязанности. Во время похода линкора у нас не бывает перебоев в работе механизмов. Все недочеты в своей области он заранее устраняет.

Разбирая начальствующий состав, мы не могли миновать и старшего артиллериста Судакова. Роста выше среднего, плотный, он находился в расцвете своих сил. На его лице, полном, слегка рябым ватом, с коротко подстриженными черными усами, всегда играла безобидная усмешка. Это был балагур и весельчак, любитель поиграть на гармошке. Хотя я имел звание капитана 2-го ранга, я принимал его за легкомысленного человека. Но комиссар разубедил меня в этом.

— У Судакова есть свои недостатки. Он вихломалку выпивает, иногда у него прорывается резкая ругань. С этим мы боремся. Но в то же время он является исключительно талантливым артиллеристом. Любит свое дело. В старом

флоте он был только комендором-наводчиком. Дальше этого не пошел. И только советская власть дала ему возможность кончить Военно-морское училище, а затем артиллерийский факультет Военно-морской академии. Пусть кто-либо из его подчиненных попробует втереть ему очки. Ничего из этого не выйдет. Судаков, мне кажется, может в абсолютной темноте разобрать и собрать любую пушку. Если вам удастся побывать на стрельбище, вы увидите, как под его управлением будет действовать наш огонь. Жаль, что Судаков, вероятно, скоро от нас уйдет.

— Куда?

— В Морскую академию. Ему предлагают кафедру по артиллерийской части. Только в нашей стране может так быть: человек от комендора-наводчика поднимается до звания профессора.

Я заговорил о главе судна:

— Ваш командир Куликов, повидимому, любопытный человек, но уж очень не разговорчивый.

Комиссар рассмеялся:

— Это он то неразговорчивый? Редкостный рассказчик. Говорит, как по книге читает. Послушать его интереснее, чем читать повести и романы.

К Огородникову подлетел краснофлотец и, вытянувшись, бойко заговорил:

— Разрешите, товарищ комиссар, доложить.

— В чем дело?

— Партактив весь в сборе. Ждут вас.

— Иду.

Комиссар отправился в ленинский уголок, а я — к себе в каюту. Около дверей своей каюты я неожиданно встретился с командиром линкора. Я сказал:

— Может быть, ко мне зайдете, товарищ Куликов? Покурим.

— С удовольствием.

В каюте он расположился на диване, я усеялся на стуле. Закурили. Я рассказал ему о своей беседе с комиссаром о личном составе. Куликов кое-что добавил от себя для характеристики некоторых командиров, а потом заговорил об Огородникове:

— Бывший подпасок, а здорово умственно развился. Этот человек далеко пойдет. Отец его с трудом научился читать на курсах по ликвидации безграмотности. Дело было в приморском городе, куда он попал в качестве простого землекопа. В деревне у него ничего не осталось. Захватил он с собою и сына. Мальчик увидел море и, кажется, влюбился в него на всю жизнь. Через свои комсомольские организации он окончил среднюю школу отличником. А теперь, как вы видите, стал моряком.

Я слушал командира и смотрел на его ослепшее от здоровья лицо с тем лю-

бопытством, какое возбуждают необычные люди. А он мне казался именно таким. Между нами сложились странные отношения. Часто бывало так: я заговорю об одном, а он отвечает мне совсем другое; то он насупится и молчит, словно я сделал ему какую-то гадость, то старается быть очень предупредительным. Иногда мне казалось, что он подсмеивается надо мною. Я даже решил про себя: должно быть он из бывших офицеров, и ему, несмотря на его партийность, тошно говорить с бывшим матросом. А когда он бывал ласков со мною, то во всем его облике было что-то родное и близкое, как будто я давно уже был с ним знаком. Так или иначе, но меня почему-то неудержимо тянуло к нему. На этот раз он был в хорошем настроении. Я спросил:

— А вы не служили в царском флоте?

Куликов в свою очередь спросил меня:

— Разве вы ничего не знаете об этом?

— Нет.

Он внимательно посмотрел на меня и, словно в чем-то убедившись, ласково улыбнулся.

— Года два тому назад я прочитал одну из ваших книг. Она надела меня на верную догадку. Я сейчас же написал вам письмо. В этом письме я все изложил о себе. Но вы не удостоили меня ответом, и я решил про себя: вероятно человек загордился или зазнался, если не откликается на мое дружеское послание.

Я сразу понял, вот почему Куликов до сих пор относился ко мне холодно и с какой-то недоверчивостью.

— Смеем вас уверить, что никакого письма я от вас не получал. Уж кому другому, а моряку я не мог бы не ответить. А зазнайство — это не мой стиль.

Куликов еще больше обрадовался. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он знает, в каком экипаже я служил и в какой роте с новобранства обучался, и даже назвал фамилию инструктора. Он напомнил мне при этом о таких подробностях моей службы, о каких даже я стал забывать. Мой взгляд сосредоточился на его лице, смутно улавливая знакомые черты. Несомненно было, что где-то я встречался с этим человеком.

— Откуда все это вам известно, товарищ Куликов? Может быть, и вы в этой же роте обучались одновременно со мною?

— Да, уважаемый приятель! Можно еще кое-что вам напомнить. Я хорошо знал одного вашего ученика. Вы ему помогали по арифметике и русскому языку. Потом он служил вестовым у капитана 1-го ранга Лезвина. Вы продолжали с ним дружить. Это был мой тезка — Захар Псалычев. Он благополучно здравствует до сих пор.

Я гарашил глаза на командира, а при последних словах его вскрикнул:

— Скажите, что вы знаете о нем? Что с ним стало? Где он? Ведь Псалтырев — это мой задушевный друг.

Я заерзал на стуле, ожидая скорейшего ответа, а командир, словно наслаждаясь моим нетерпением, неторопливо достал из серебряного портсигара папиросу, закурил и спокойно сказал:

— Он много поработал для революции, не раз бывал на волоске от смерти, но и революция не обидела его. Она дала ему то, что ему даже не снилось во сне. В настоящее время он имеет звание капитана 1-го ранга и командует советским кораблем.

— Каким?

— Линкором «Красный партизан».

Ошеломленный, я несколько секунд сидел молча, все еще не веря в превращение одного человека в другого. В памяти моей замаячил новобранец, который явился на флотскую службу в рваном полушубке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях. Потом, приняв присягу, он служил вестовым. Но это не мешало ему до самозабвения любить море и корабли. Парень был талантлив на все руки. С этой стороны у него имелись все данные на то, чтобы теперь, при советской власти, занять высокий пост командира судна. Но тот человек щеголял большими черными усами, носил другую фамилию и только какими-то отдаленными чертами напоминал этого солидного капитана 1-го ранга. Я растерянно забормотал:

— Это вы и есть тот самый Псалтырев?..

— Да, тот самый.

— Который...

— Да, который.

— А почему фамилия теперь другая?  
— Когда призвали меня на военную службу, я был записан по уличной кличке. А после революции я восстановил настоящую свою фамилию: стал Куликовым. Зачем же мне носить уличную кличку, да еще церковную? А вы, как видно, все еще сомневаетесь? Неужели я настолько изменился, что вы не узнаете своего друга?

— Захар! — вырвалось у меня.

— Алексей! — оглушил меня басистый голос.

Мы бросились друг к другу в объятия и крепко расцеловались. Это был момент такой искренней радости, словно мы обрели величайшее счастье. Чувство дружбы, угасшее было за длительное время нашей разлуки, снова властно вспыхнуло в душе. Вся официальность сразу исчезла, как не любимый моряками туман.

— Почему, Захар, ты в первый же день не открылся передо мною? — возбужденно упрекал я Куликова. — Зачем тебе понадобилось морочить мне голову?

Он задушевно смеялся, прищурив сияющие серые глаза.

— Во всяком деле прежде всего нужна выдержка. Кроме того, у меня было основание не сразу открыться перед тобой. Пойми, разве не обидно было, что ты ничего не ответил на мое письмо? Да и присмотреться нужно было к тебе: остался ли ты тем же человеком, каким я знал тебя на военной службе, или изменился к худшему.

— Ну, и что же?

— Нашел все в порядке.

Распахнув душу друг перед другом, мы еще долго восторгались нашей неожиданной встречей.

(Окончание следует.)

---

# ИЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА

В. ГЛОТОВ

★

## ПРИСЯГА

У знамени суров и строен,  
Земли одной, крови одной,  
Стоял перед бойцами воин  
И присягал стране родной.

А день бросал лучи косые.  
И в ноги кланялась трава.  
И молча слушала Россия  
Простые твердые слова.

## СКРИПКА

Мы без слов друг друга понимали,  
Вместе закалялись и мужали,  
Жили вместе, воевали вместе,  
Он скучал немного о невесте.  
И всегда, от радости и скуки,  
Скрипку брал в обветренные руки,  
И в руках его, переживая,  
Пела скрипка, пела, как живая.  
Только раз в бою — у перевала,  
Пулей сердце парню разорвало,  
Он ничком приткнулся к пулемету,  
Мы вернулись без героя в роту,  
Нет на лицах радостной улыбки:  
Тосковали мы о песнях скрипки.  
И когда в сердцах кипела вьюга —  
Уходили на могилу друга.  
Тут пришел к нам пулеметчик новый:  
Забайкалец — парень чернобровый,  
Понял он и нас и наши муки,  
Глубоко вздохнул, взял скрипку в руки.  
И сказал он, инструмент настроив:  
— Не умрут ни песни, ни герои...  
И в руках его, переживая,  
Вновь запела скрипка, как живая.

---



# АНФИСА НИКИТИШНА

Рассказ

ЛОЛАХАН ТУМАНОВА

★

1.

Не стара годами, стара бѣдами», -- это еще покойница-бабушка говаривала. А уж покойнице-бабушке -- да будет земля ей пухом! -- можно поверить: во всем селе первой хозяйкой была.

Оно и на самом деле -- пятьдесят девять лет -- много ли? Не случись этой войны, не напади этот Гитлер окаянный, Анфиса Никитишна не токмо одну короვენку да телку, а и пять голов прокормила бы, не считая овец. Не токмо пуд, а и два зараз подняла бы, и не двести шагов, а полверсты с теми пудами отмакала б без роздыха. Их порода крепкая.

Теперь не то. Съели заботушки силу.

Два сына у нее, у Анфисы Никитишны, оба на фронте.

Лешенька -- старший, карточка вон у зеркальца, бумажная роза сверху приколота. На инженера учился, год всего и осталось до выпуска.

«Я, маманя, за ваши старанья-заботы на машине возить вас буду», -- скажет, бывало, Алеша. А глаз такой голубой, приветный, такой безобманный, что как тепер вспомнишь, так по сердцу и заскребет. Заскребет, хоть вырви сердце да брось. Это к тому говорил он, Лешенька, что мать батрачила, пока сыновья учились...

Второй -- младший Сашенька. В отца кучеряв, оком да волосом темен.

Работлив, гармонист... Такой говорун да дивной! А вот, поди ж ты: сколько Анфиса Никитишна ни горевала, сколько приказов ему ни давала -- на инженера, как Леша, либо на доктора -- не захотел!

«Желательно мне, маманя, по рекам нашим поплавать», -- поступил в судомеханики. «И вот вам, маманя, мое комсомольское: в капитаны я выйду».

И вышел бы, не будь войны, -- бойкий такой, расторопный. Ростом в отца -- высокий...

Пока, слава богу, живы, здоровы, оба весело пишут. Намедни, в четверг, при-

шло письмо от Алешы. И не гляди, что Лешенька тихий, а награду за боевые дела получил!

«Поздравьте меня, маманя! Порадуйтесь вместе со мной!» Как прочитала Анфиса Никитишна, ну, конечно, поплакала, поцеловала, поздравила карточку. Даже про Сашеньку чуть не забыла! Потом спохватилась, прощенья просила:

— Любый ты мой сыночек, Сашенька! И ты народу заслужишь, награду получишь, горячий ты мой...

Если по правде сказать, то уж слишком горячий. В детстве, бывало: обидит ли кто кого понапрасну, или другое что, -- Сашенька тут. А немец-то подлый, вдовсирот обижает. Не сашенькину оку на то глядеть, не сашенькину сердцу то вытерпеть, -- на пятерых один выйдет. Пуля же, она безрассудная: что сокола, что ворону...

Поплакала, поговорила с сынами, на место убрала карточки. А думы с души не уходят, Скучала Анфиса Никитишна. И сильней всех дума такая: вот ты, мать, -- старая, далеко ты от фронта... И чем ты сынам своим, старая мать, поможешь? Чем ты их потешишь?

Сыночки мои дорогие, Лешенька, Сашенька... Ну, чем я, старуха, могу вас обрадовать? Что я, бессильная, сделаю? И такая тоска нападет, что ни цветок чертогон (от дурного глазу на притолку вешают), ни уговоры людские не помогают.

2.

А тут поздней осенью Таленька-дочка с внучатами прибыла. Не ждано, не гадино: бомбили под Ленинградом. Как душу вынесли, -- сами не помнят.

Таленька (Наталья, полное имя -- Наталья Петровна, по мужу Кудрявцева, в девичестве -- Белкина) за здешнего замуж вышла. Только после смерти свекрови уехали -- деверь ее в Ленинграде работал.

На одном заводе с мужем устроились,

ивно жила: квартирка о двух комнатах, посуды всякой, машинка, конечно, швейная... Все там осталось, будь они прокляты, немцы! И от мужа известий нету — как пошел рыть окопы, так и пропал. Может, убит, может, жив, в окружении, кто его знает!..

Была бы Таля одна, — другой разговор. Одна — не беда: легла-свернулась, стала — встряхнулась, никого перед ней, никого нет за ней. А тут целых четверо!..

Оно конечно, внучата завидные, врать не приходится. Витенька — старший, в пятый класс перешел, пионер-мальчик, мизантроп. Воды ли принести, в лавку ли за хлебом сбежать...

«Вам, бабонька, трудно, устали. А я сидеть притомился. Уроки долго учил» — первый отличник Витенька. Жалко его, манет — бледненький, худенький, по ногам до сих пор беспокоится: «Тревога, мама. Скорее!» — бомбы боится. Глазки большие станут, губы трясутся, пропади они пропадом, немцы океанские!

Ну, успокоишь, конечно: «Витенька, матюшка, спи, мой родимый». В постельку обратно уложишь: «Не дрожи, моя ясочка, — дядя тебя защищают: дядя Сашенька, дядя Лешенька!» А у самой слезы так и бегут, так и бегут... Стара, видно, стала...

Девочек трое. Рита — хоть не отличница, а учится, Лизанька — средняя, Галенька — младшая. Бойкая Галенька — диву даешься, стишки знает и про березаньку, и про скворца! Самый же лучший стих — это про танкиста, про героя народного.

«Чуешь, Галенька, о ком читаешь? О дяде Саше, голубчике, дядя Саша — танкист. А дядя Леша — по артиллерии».

Талья скоро на место устроилась — не такое время теперь, чтоб молодая женщина без службы сидела. Воспитателем в детский сад назначили.

К детям Талья приветная, что свой, что чужой — одинаково. Ну, занавесочки там навесила; если чулок у кого порвался — заштопает. Матери, ясно, довольны, благодарность ей вынесли. И не то, чтобы премией Анфиса Никитишна больно гордилась (в премию Тале оклад за месяц постановили), а человек, коли его похвалят, еще с большей душой на работу кидается. По себе Анфиса Никитишна знает.

## 3.

Улица их Комсомольская, дом номер сто четыре. Раньше звалась Широкой, теперь Комсомольская.

К слову сказать, правильно переименовали. Улица, правда, широкая, чистая: возле ворот Анфисы Никитишны в зеленый лужок разливается. А комсомол, — он широким, чистым путем-дорогой идет. И

Саша сейчас в комсомоле, и Лешенька был. Теперь Леша в партии.

Как выйдете на лужок, так по тропке к Каме не спускайтесь. Сверните немного в сторонку, в проулок. Если собачка залает, рыженикий песик (дети Рыжином прозвали), тогда стукните цепкой. Анфиса Никитишна мигом выйдет, либо Риту пошлет.

Сараюшка для дров налево, прямо — хлев для коровушек, в дом же, в сенцы — направо.

Из сеней — прямо в кухню, из кухни — в горницу. Занавески на окнах тюлевые, на тумбе герань, красавица-роза, граммофончики тоже. Шикарнейший цвет — граммофончики, алым и желтым цветут. За горницей спальня Анфисы Никитишны: кровать нарядная с шишечкой, пять подушек, конечно, — внизу побольше, вверху поменьше, все, как у людей полагается. Да вот, тесновато — печь много места берет, по-старомодному сложена.

— Непременно ее, маманя, сломаю, — грозился Леша.

— А пироги где же печь, Алешенька?

— Не обязательно в русской печи, маманя. В духовке отлично можно.

— А старик где же спать, Лешенька? Чай, не мальчишка.

Ох ты, беда! Опять старик позади остался. Всегда старик позади остается, хоть и ростом под потолок, и щеки румяные, и в бороде только чуть седины посыпано. Про все расскажут, про всех помянут, его одного забудут. А он ничего, молчит да молчит. И не то, чтоб сердится, или со скуки, нет, просто привычка такая. Будто и не отец сынам-соколам, не муж Анфисы Никитишны.

— Бездушный ты, безжалостный ты! — рассердится часом Анфиса Никитишна. — Прожил с тобой век за холщевый за мех! Заботы на сердце ты не кладешь, работы не любишь. Сам был в пеленках, а лень с теленка. Тысячу раз тебе говорил, чтобы хлев ты вычистил?..

И что бы вы думали? Возьмет молча лопату, пойдет. Такой озорник супротивный!

Тут уж Анфиса Никитишна так рассердится, что непременно во двор побежит. А старик-озорник уже хлев и вычистил, ей на досаду.

— Все успел?

— Сама погляди.

— Соломы постлал? Без чистой соломы ни корова, ни телка в хлев не взойдут, такие барыни!

— Сама погляди.

Вот, ведь, тиран бездушный! И слова ему не скажи, и полсловечка ему не вымолви.

— Вилы, небось, без толка-порядка оставил?

Нет, и вилы в солому воткнул. И когда

поспел — диву даешься. Даже, вроде, досадно. И сапоги не сапоги...

— Сапоги зачем надел рваные? Чай, не нищий какой, не бездомный. Отец сыновей фронтowych, пенсионер почетный! Не бездельник какой: тридцать семь лет, как один годок, отмахал — и механиком, и боцманом, и капитаном. Зачем сапоги надел старые, я тебя спрашиваю?

— Ты же велела.

— Я велела?... Что-то не помню. А если велела, так то ведь поутру, когда роса. И что бы вы думали? Пойдет, сапоги молча снимет, трубку закурит! Такой человек беспощадный, что хоть кто угодно будь на месте Анфисы Никитишной, а и то не удержится: возьмет молока крынку и поставит перед ним:

— Пей, не мучь, не терзай, губитель жестокий!

Молоко старик пуще всего кушать любит, зараз целую крынку выпьет. И нет ему дела-заботы, что с молоком оказия вышла. Хотя, конечно, если признаться, то старик про оказию даже не знает. И знать ему нечего: Анфиса Никитишна сама в ту трату вошла, сама из той траты и выйдет. И другие не знают, и знать им не надо, потому что это дело особое, тонкое...

#### 4.

Началась все с галстуха Леша. Таленька-дочь о ту пору еще в Ленинграде жила — перед самой войной дело было. Надо вам доложить — дети Анфисы Никитишной всегда хорошо одевались. Всегда либо костюмчик бостон, либо белые брюки, либо летний кофийный. Шуба с воротником, пальто — драп изрядный. Все в сундуке лежит, приедут сыны — покажут.

Только последним летом перед войной замечать начала Анфиса Никитишна: скажем, вчера надел рубашку в полоску — шелк полотно, — сегодня зеленую требует. Галстухов целая куча, а пошел новый купил. Духи, конечно, флакон «Гиацинт». От материнского ока, сколь ни там, все равно не укроешься...

— Куда ты собрался, Алеша?

— В парк, маманя. Из Казани артисты приехали.

— Счастливой дороги тебе, Алешенька. Веселó воротиться.

Сказала, а у самой сердце дергает: что-то не то с парнем, и перед зеркалом долго стояла. Не то!

Воротился часу во втором, светать начинает, скоро коров пора выгонять.

— Я помогу вам, маманя.

— Спасибо, Алешенька. Хорошо артисты играли?

— Подходяще, маманя.

Только всего и сказал. Скрытный такой, молчаливый, в отца. Ладно... День проходит, другой. Сели обедать. Мясные

щи, на второе — вареники. Когда Сашка дома, вареников лучше не подавай: он любит. Теперь же Сашенька в плаванье.

— Скоро тебе двадцать четыре годочка, Алеша. Пора бы хоть и жениться, — это Анфиса Никитишна говорит. Узнать ей больно охота.

Ничего не ответил Алешенька (плохо, что не ответил — крепко, видать, задумано). Пообедал, спасибо сказал — спасибо всегда говорит, с детства приучены.

— Достаньте, маманя, мне белый костюм.

— Что так рано, Алеша? В театре спектакли вечером.

— Сначала на лодке поеду, маманя. Затем уже в парк.

Только ушел, а золовка Дарья Кузьминишна и подкалится. Все на свете знает Дарья Кузьминишна — кто где родился, кто с кем любился, кто где умрет. Языка та... Слов, что тебе чурбаков в половеде, Нипочем ты не скажешь, что старик — ее брат родимый. Высока, костиста, шааль персидскую носит.

— Здравствуй, Никитишна.

— Здравствуйте, Дарья Кузьминишна. Вареников, милости просим.

— Что же, вареники — славно. А новостей не слыхала, Никитишна? Новости! Не оберешься.

И вареников Дарья Кузьминишне хочется, и рассказать ей не терпится, вспотела даже, носом зашмыгала.

— Лешка-то наш, Алексей Петрович, с кузнецовой Гранюшкой крутится!

Тут Анфиса Никитишна, как стояла так на скамейку и села.

— И не грех тебе, Дарья Кузьминишна, за слова твои? Чтобы мой Леша Граню Семенову взял? Разве она ему пара? И лицом-то она не дивная — вроде яичка лицо, округлости нету. И глаз незавидный — черный. И бровь густая, как у мальчишки, и всего семилетку окончила, а Алешенька мой инженер и в партии!

— Приворожила, видать, — сказала Дарья Кузьминишна, за вареники принялась. И как ей только вареники в горло лезут!

Вы, может, осудите: на старости лет одурела Анфиса Никитишна, по музыкам-паркам пошла шататься. Но мать поймет, не осудит.

Народищу — тьма. Где в таком гулянье сыскать? Да материнское сердце вешун — прямо к скамеечке и привела. Сидят, разговоры ведут, смеются. На ней платье неважное — сарпинка в полоску красную, Волосы лентой кверху подняты, ленточка тоже красная. Посмеялись, поговорили, потом взял ее за руки и танцовать. А у ней на ногах простые тапочки!

Воротилась домой Анфиса Никитишна ума не приложит, что теперь делать. Ста

рику говорить, — что в гости эхо кликать. Поглядит молча, скажет:

— Не наше дело. Их, молодое.

Это как же не наше? Не сын тебе, что ли, Лешенька? Не про нас пословица, что ли, сказано: детей малых пестовать — горе, вырастут — вдвое? Разве сорока лебедю пара? Отец — и кузнец второсортный, и запивает. Домишко невидный, сама даже не в комсомоле, кассиршей в бане работает. И Дарья Кузьминишна на той неделе ходила, справлялась — грудью вроде болеет, кашляет. Оно, положим, золушке нашей Дарье Кузьминишне и соврать не в зазор, а все же, чтобы Граня Семенова Анфису Никитишну маманей назвала — этому не бывать. И не будет!.. Потужила, конечно, погоревала, однако Леше сказать не сказала. С ним надо исподволь — сам обходительный и от других не потерпит грубости.

«Как придет состязанье футбольное, так с ним и объяснюся» — сама себе срок наметила. В этот день Лешенька добрый, хлебом его не корми. Загадала она, задумала, а вышло-то как несподручно: война началась! Разве до Грани? И только на пристани, когда уж совсем прощались, сказал ей он тихо:

— Не оставляйте, маманя, Граню Семенову.

Как от сыновней груди оторвали, не помнит Анфиса Никитишна. Как старик домой ее вел, тоже не помнит. А вот лицо его нежное — лешино, глаз его дорогой, голубой, во век она не забудет. Стоит на палубе, ручкой машет голубчик Алеша... Коли вы мать, то поймете. Коли не мать — поверите.

## 5.

Слова же те: «Граню Семенову не оставляйте, маманя», словно пчелы возле ушей жужжать принялись.

Что значит не оставляйте? Да разве где видано-слыхано, чтобы старуха к девочке молоденькой шла на поклон? Ни в жизнь, никогда!

Не оставляйте, маманя... А, может, стыдится? Может, правда, грудью болеет?..

И в среду, когда бани нет (выходной у Грани), собралась Анфиса Никитишна. И кузнец в этот час на работе. Кузнец, пока не запьет, человек ничего. Запьет же... Как девушке с пьяницей жить? Не подходяще, совсем неловко.

Огород полола Граня. Ноги босые, тонкие, юбочка подоткнута. Волосы, как и на вечере, лентой подобраны. На вид лет семнадцать, не больше. На самом же деле двадцатый пошел, золовка Дарья Кузьминишна знает. Огород же дивненько выполот, Анфису Никитишну не проведешь.

— Здравствуйте, гражданочка Граня. Шла мимоходом и завернула.

Гранины щеки бледные — уж и прав-

да, не грудью ли болеет? — а тут зарумянились, вспыхнули. Видно, с совестью девушка, хоть и не пара Лешеньке.

— Садитесь, Анфиса Никитишна, сюда на скамейку, — рукой пыль обмахнула.

— Ничего, я ненадолго, шла мимоходом и завернула.

В огороде ж и репка, и свекла, и пастернак. И салат английский посеян. Для кого же салат посеян? Здесь у них в городе не уважают, один Лешенька кушает. Взяла себе то на заметку Анфиса Никитишна.

— Цветы обожаюте, Граня, или не очень? — Гвоздика, левкой, настурция. Леша гвоздику любил — вкусы, значит, похожие. Опять на заметку взяла Анфиса Никитишна, хотя, по правде сказать, и брать не хотелось: не пара, не пара!

— Не от вас ли, гражданочка Граня, семена граммофончиков Алексей Петрович принес?

Тут глаза у нее (глаза большущие, черные... И наврала Дарья Кузьминишна — глаза совсем не плохие) слезами запламы. Видно, про Лешеньку вспоминала.

Ох, слеза ты женская, слеза ты горячая, чьего сердца ты не растопишь? Кого, слеза, ты не помиришь? Да и делить-то им нечего: обе по Леше скучают, тоскуют.

— Не горюй, голубушка Граня, немца побьют и придет.

— И я так надеюсь, маманя. Однако печаль не веточка, не выкинешь.

И как она назвала тут маманей, так веселее, будто, сделалось. Будто Лешенька с палубы ручкой махнул!..

И опять же наврала Дарья Кузьминишна: совсем не так незавидна. Локон черный, густой, по плечу рассыпается. А что станом тонка, так ее дело девичье, и подкормить всегда можно. Зато зубы, как сахарные, светятся.

— Ты скажи мне, голубушка Граня, может, мечту какую имеешь? Может, питание тебе не подходит?

— За питанием я не гоняюсь, маманя.

И ступни, и пальцы рук длинные, тонкие. Видать, работливая девушка. Грудь же вылечить можно, типун на язык ей, этой Дарье Кузьминишне!

Глупышка ты, девушка. Питание — первое дело. А мечту носит Граня хорошую. На медфак в Казань ей хочется.

— Доктором буду, маманя. Хоть я семилетку окончила, а за десять сдала.

— Славно это, приветственно, Гранечка. Только в Казани теперь трудно: отец тебе не помощник, сама понимаешь. Одеяться к тому же надо, за лето грудь свою подкрепить тебе надо...

— Так, ведь это только моя мечта, маманя.

— Мечта — мечтой, Гранечка. Однако смотри, наблюдай, чтобы никто о том не дознался. Особенно Дарья Кузьминишна.

На прощанье цветочков нарвала Гранечка — нашей золовке Дарье Кузьминишне и не понять...

Идет Анфиса Никитишна, розу-настурцию нюхает. Эка, ведь, куда хватила Гранечка! Шутка подумать — Казань! С другой же стороны взглянуть — что такое мечта? Разве теперь такое время, чтобы мечта мечтой оставалась? Разве в старые годы живем? Как вы это находите?

## 6.

С питанья, конечно, начали. Творожку, сметанки, маслица сбила Анфиса Никитишна. Молока свою долю отдала — старик пусть не знает, его не касается. Потому: что и так беспокоиться начал:

— Что ты, мать, все хлопочешь? Зачем на заре косить одна собралась?

До того старикашка дерзостный! Во все норовит проникнуть. Чуть было не рассердилась Анфиса Никитишна, чуть было не сорвалась:

— Безобразник ты, тиран ты зловерный! Или понять не можешь? Чем корову больше кормить, тем молока дает больше. В Казань, чай, ехать — не на полатах лежать.

Однако, слава богу, сдержалась, не поддалась стариковым хитростям.

Только месяц прошел, поправляться начала Гранечка. В конце второго шутить начала: подойдет неслышно сзади и поцелует.

— Экая ты озорница, Гранечка! Девушка ты нестепенная! — И снова будто Лешенька с палубы машет, приказ дает матери: — Собирайте, маманя, в Казань.

Легко говорится — в Казань. Девка — не парень — майку надел и в Казань. Туфли, перчатки... Без платья, без джемпера тоже в путь не отправилась. Хорошо, прошлогодняя шерсть осталась. Да и такой завидной красавице Гране в чем зря ходить не пристало. Насчет пальто подумать, конечно, пришлось. Лешино перешивать не подходит: вернется Лешенька — самому будет надо. Из драпа Анфисы Никитишны сшили — Сашенька, чай, не обидится, что подарком его, как задумалось, распорядилась.

— Поезжай, голубушка Граня, поезжай, моя мышка черная, чтобы и я, и Леша тобой гордились. Чтобы народ по тебе видал, чего наша женщина может достигнуть. А чтобы ты себя не стесняла, буду каждый месяц тебе высылать.

Отошел пароход. Граня на палубе стоит, плачет, смеется, прощается. Сколько гляди, лучше девушки нет: глаза из-под щяпки, как на картинке.

— Пиши, пиши, Гранечка, не забывай!

Потом и лица не стало видно, потом и фигура пропала, словно пустой пароход по реке уходит. Потом и дымок за берег

завернул. Скучно стало Анфисе Никитишне, скучно, на сердце темно. Время теперь военное, кто на фронте, кто здесь, кто в Казани для пользы народной старается. Одна она, старая, без толку ходит... Заскучала Анфиса Никитишна, а тут и Саша приехал прощаться — тоже на фронт.

Сокол ты мой дорогой, Сашенька мой ненаглядный! На сраженье идешь ты великое, чем я, старая мать, тебе помогу? Чем тебя, детку, потешу?..

Опустел дом, словно гнездо птицы-ласточки в осень, и кабы не Таля с внучатами, захирела б совсем Анфиса Никитишна.

## 7.

А про то, что каждый месяц она Гранечке деньги шлет, про то никто не знает. Старик молчит. Внуки малы; Таленька может Дарье Кузьминишне рассказать, а Дарья Кузьминишна — целому городу. А не для города дело сделано.

Зимой, конечно, потяжелее пришлось — коровушка перестает доиться, дрова нужны. Семь ртов — не один.

Принялись корзинки плести. Из ивы. Респторг охотно берет. Лозы старик заготовил еще по осени. Таля на службе, Риточка с Витенькой в школе, Лизанька азбуку учит, Галя стишки говорит. И про березаньку, и про танкиста.

— Чуешь, дедушка Петр Кузьмич? Сидим мы тут, корзинки плетем, а на поле, в сраженье — танкисты. Сашенька наш, голубчик! И выходит, старик, будто ничем мы войне не помогаем, будто не люди советские.

Смолчит старик, не ответит. Молча на плечи корзины возьмет, в Респторг понесет — сегодня заказ надо сдать к двенадцати.

— Будем срочный товар посылать, — сказал директор.

— Замолчи ты, Галенька, девочка ты неумная. Не расстраивай ты бабоньку милую, говори про березаньку, не про танкиста.

А березанька тоже, ведь, наша! Проклятый немец ее ломает, лужок, на котором она растет, сапожищами топчет! Как же тут о войне-сраженье не думать, когда каждое слово, каждая вещь тебе о сынах говорит? Говорят, укоряют: чем ты, старая мать, соколам угодишь? Чем дитяткам своим поможешь?

Принесет старик из Респторга деньги:

— На, получай, Никитишна. Эко ты тратишь, Никитишна!

Ах, ты, чудак непутевый! В Казани, чай, не родима сторонущка — доктором Гранечка будет! — подумает только Анфиса Никитишна, а сказать не скажет: старик он дотошный, догадается мигом.

Впрочем, этому делу скоро конец: пришло вчера извещение от Грани.

«Учусь отличницей. С нового месяца не присылайте — стипендиатом назначили. В комсомол меня приняли. Что вы на это, маманя, скажете?»

«Что же скажу, Граня, дочка моя?» — села сегодня Анфиса Никитишна Гране отписывать. — «Конечно, стара я стала. Ты же молодая, жизнь пред тобой расстилается. Береги эту жизнь, не порочь. Я хоть и темная, и неученая, однако словом тебе объясню: в прежнее время женщина шага ступить не могла, а ты будешь доктором. По причине такой высоко держи себя, Гранечка... Зла на людей не таи, кроме немца, конечно, врага проклятого»...

Написала Анфиса Никитишна, перечла и задумалась. Как же это выходит? А сама она разве зла не таит? Вот соседка Кланька Сорокина. Такая же, как Анфиса Никитишна, вместе в одном селе жили, такой же сын у нее на фронте воюет. Почему же тогда, как цветок — гарь, как петух — реку, как птица-ласточка — зиму, почему ненавидит так Анфиса Никитишна Кланьку Сорокину?

Ну, уж, коли спросили, коли затронули... На то причина имеется. И пусть это грех, пусть против воли людской, против воли сынов-соколов, а с соседкой Клавдией Сорокиной Анфисе Никитишне Белкиной на дороге одной не стоять, в доме одном не гулять, из одной посуды не кушать. Так тому быть. А чтобы вы толком поняли, Анфиса Никитишна толком вам и расскажет.

## 8.

Не всегда была стара, не всегда поясницу ломило, не всегда Никитишной звали. Было время, когда величали Фисушкой-девушкой. Когда выйдешь, бывало, по утру коров выгонять — заря разливается, а на душе у тебя веселей той зари золотой. Шиповник, розовый цвет — натирают им щеки девушки, — а лицо у нее того цвета нежнее. Трава под легким шагом и не пригнется, вода на коромыслах не шлохнется, роса ногу торопит, ветер на перегонки зовет. Пастух в рожок заиграл, сердце откликнулось песней. Для тебя река Кама блестит, для тебя луна-звезды светятся. О ту пору семнадцатый год пошел.

Село их Змеево, на горке, над самой Камой стоит. Летом купаться ль, на сенокос ли — лошадей Анфисушка ждать не станет. Зимой по дрова, иль на салазках — никто ее не догонит.

— Фисушка, матушка, чай, не железная, — скажет, бывало, покойница-мать (да будет земля ей пухом). — Чай, не сон, работа тебя дожидается.

Работы, к слову сказать, доставалось. Одна заря вгонит, другая выгонит. И жать, и косить, и домой отвозить. Зимой пестрядей наткет, чисто тебе шотландки!

Варежки, валенки, платочки — и те с узором!

И обхожденью, конечно, учили. Бывало, покойник тятенька (да будет земля ему пухом) взглянет эдак сурово:

— Без обхожденья девица, что колос без зернышка. Подружку встретишь, приветно ей улыbnись; стариком поклонись; парня увидишь, головку потупь.

Парни же, было дело, глядели. И даже подружки-девки, и те не сердились! Дунька богачка, и та под конец смирилась, хотя долго Дунька нос кверху держала, до той самой поры, пока не снялася Анфиса Никитишна.

Снялася, спору нет, на загляденье. Платье — сатин голубой, на голове два булавочных розана. В одной руке ваза, в другой портманета, в портманете двадцать рублей, как одна копеечка!..

Так и жила до семнадцати лет: во всем селе первая. Однако не даром в песне поется: собиралися тучки на небе ясном...

Откуда Кланька (тогда не Сорокина — Бокова) — так доподлинно и не дознались. Говорят — оттуда, где чувашки живут, а кто ее ведает, может, и врет. Погорели они на родине, или другое что, только купили возле оврага домик, переселились. Отец, бондарь, вскоре помер, мать с дочкой остались.

Оно и видно — не дешенного рода: не рукодельницы, не огородницы, к колодцу и то не так ходят!

Старика Кланька встретит, дерзостно взглянет; с подругами зубы оскалит; на парней глаза пялит, чисто не девушка. А передразнивать!.. Стороной обходи, не гляди. Попа и того задевала! Попа, правда, в Змееве не больно любили — скаредный поп был, недивный, под проценты деньги давал. Но чтобы передразнивать, — да так похоже, что все со смеху покатытся, — это уж срам.

И лицом была не больно спесива. У Анфисы Никитишны личико — яблочко: кругло, румяно, да бело. Глаза голубые, рот ягодкой — маленький. Оно, конечно, себя неповодно хвалить, да теперь уже время прошлое. Да и к тому это сказано, чтоб понять вы могли, как все дело происходило.

У Кланьки щеки худые — то ли больна чем была, то ли порода такая, — взгляд, как у кошки, зеленый. Рот большой, брови гордо подымет... А хуже всего — рыжий волос. На солнце — медь и медь. Однажды летом, в ночь на Ивана Купала, гуляли, так не поймешь — где язык от костра, где ее, кланькины, косы вьются.

Зато ростом, да пляской взяла. Анфиса Никитишна, спора нет, и личиком, и обхожденьем. А вот, ростом мала, по плечо этой самой Кланьке. Теперь попривыкла, конечно, с молодую ж было обидно.

И Кланька, она без стыда — так прямо в круг и выперла. На святках это случи-

лось, в избе у Дуньки-богачки. Парни тогда собрались, с гармошкой, с песнями, с пляской.

— Выходи, Фиса, первая.

Ну, конечно, девушка с толком сразу тебе не выйдет: попроси раза три, четыре.

— Выходи, не стесняйся, Фисушка.

Опустила глаза Анфиса Никитишна, поднять не успела и ахнула: в самом что есть кругу, на самой середке избы — рыжая Кланька!

— Вот как у нас подружки танцуют! — и пошла, пошла каблуками!

Сдержаться бы надо Анфисе Никитишне. И тятя покойник учил: коль обиду имеешь, людям зря не показывай. Да нет, нет, сердце по своему перекрутило. И будто кто за нее слово вымолвил:

— В плохой кампании мне не гулять!

— С дороги, короткие ноги! — это Кланька ответила. И, что зазорней всего, передразнила. Всех передразнивать люта, тут же со злости, больно похоже. И все видали, и все слышали, и Константин Сорокин смеялся!

## 9.

Конечно, в Змееве своих парней немало. Константин же Сорокин из города. Младшим приказчиком у купца богатея Челищева жил. Теперь в доме Челищева детский сад шикарный, комнат, поди, с двадцать будет.

Константин Алексеич Сорокин одевался по-модному, по-городскому: кольцо с бирюзой, по жилету — цепочка, волос крылом воронным на лоб набегают.

Взглянет — глаза невеселые, серые — так тебя ими и охватит. И уже не для людю смутиться, по-настоящему. И хотя молодой, а губы вроде в усмешке всегда опущены. Папиросы «Моя услада» курил.

— Есть у меня две услады, Фиса. Одна во рту, другая кто — угадайте! — И снова сердце, будто под самую Каму в обрыв покатится.

— Мы, Фиса, много женского пола видали, в красоте разбираться умеем. Для кого же в Змеево кожу, разбираю калоши, мне то известно. — От их Змеева до города верст десять будет, сперва лугами, потом лесочком. — Понятно вам, Фиса?

Понятно, ох и понятно... Зачем только душу тревожил, намеки давал? На стыд, на срам девицу наталкивал?.. Взять хотя бы тогда, на сятках. Коли по правде задумал, вышел бы вслед за Анфисой Никитишной. А тут нет, остался. Глянул на Кланьку, чисто кочет, охорошился. Дунька потом прибежала, рассказывала.

И пошло, и пошло с той поры. Ты от горя, оно за тобою.

— Фисушка, детушка, уж не больна ли? — спросит, бывало, покойница-мать.

— Маменька, милая, разве от этой на-

пасти лекарство имеется? Подружки смеются, парни с жалостью смотрят.

А вчера он сказал ей, рыжей:

— Второе кольцо покупаю, барышня Кланя. Камень — рубин заграничный. Чтоб это значило?

Значило это... Впрочем, правда, раз еще подошел, поманил, как прежде:

— Разговор к вам, Фиса, имею.

Картуз в руках держит, козырек-лак на солнце блестит, пальцы жесткие, цепкие — от них внутри все вроде болит, сжимается. Уйти бы, не слушать, взгляда того не видеть — а воли нету противиться. За скирды отошли, он папиросу «Моя услада» вынул.

— Хочу посватать вас, Фиса. За друга мово, за Петра Кузьмича, за водника Белкина.

Много лет с той поры утекло, но до сих пор Анфиса Никитишна помнит: и картуз, и скирды, и коробку «Услада». И гордость свою девичью. Гордость, она и ответить заставила:

— Петр Кузьмич, водник Белкин, может, лучше других человек!

Поведал ли, нет ли Петру Кузьмичу, только в скорости сватов послали. И свои, и чужие, все в один голос наказывали: у Белкина Петьки в городе домик. Человек работающий, хороший. Нет, не пошла бы Анфиса Никитишна, да Кланька ей по дороге встретилась:

— Приходи на свадьбу, Анфиса. Мы с Костей жениться задумали.

Так и согласие дала... Не знала последней обиды, что дом Константина Сорокина рядом с домом Петра Кузьмича. Обманула золовка Дарья Кузьминишна.

— У тебя, Петька, дом незавидный, еще, может, откажут. Приводи сватов в мой — совет, значит, брату дала. И тогда была язвчатая, на хитрости ловкая, только персидскую шаль не носила.

У нее, у Дарьи Кузьминишны, и жили после свадьбы неделю. На вторую голубушка кланяется:

— Теперь обкрутились, уйти не уйдешь, пора и до дома. На улицу вашу, на Широкую, значит!

Ох, ты золовка Дарья Кузьминишна, что ж ты наделала, злая? Выйдет утром Анфиса Никитишна — напротив крыльцо Константина Сорокина. В полдень двери открыт — кланькина песня так и льется, и душит. Вечер звезды на небе высыпают, лампа в окне Сорокиных звезды те забивает. И сын Андрюша — первый тогда родился — немилый, и глядеть на него не хочется. А глядела бы днями на сына Кланьки Сорокиной — потому на Коську похожий. А ненависть, вроде любви, она жгучая... Молчал, молчал Петр Кузьмич — и с молодцу был терпеливый, да тихий — наконец не вытерпел, вымолвил:

— Уедем отсюда, Анфиса.

— Это как же гнездо свое оставлять? Что мы, кукушки бездомные? — Тут впер-

ме вдруг и заметила: статный, да рослый, да карие очи...

Через год родилась дочка Поля. Пожила месяцев с десять и померла, как Андриша, — недолговечные первые были. С той поры лет семь детей не носила.

— Кланька во всем виновата, — злится юловка Дарья Кузьминишна. — И первых двоих она уморила, и порчу на кот напустила. И Сашка через нее непокорный, у Алешки веснушки, у Натальи коса не выдалась. И сейчас на тебя тоску напускает. Ты, Андришушка, с ней не водися, в избу к ней не ходи, посуды ее не бери, одежду свою от нее хорони — порча с тебя и свалится, тосковать перестанешь.

Советы твои, Дарья Кузьминишна, поздние. Сама ты про это знаешь, зря юлько треплешься. Знаешь, что лет уже двадцать Анфиса Никитишна с Кланькой не водится, в сторону дома ее не глядит, на улице встретится — не примечает. И Петру Кузьмичу наказала, и родне своей, что в Змееве, и детям сынам-соколам, и внучатам теперь наказывает. Потому что ненависть хуже бурьяна: не вырви сразу — заполонит, олетет, и нет с нею сладу.

И тоска нынешняя у нес, у Анфисы Никитишны, не от порчи, не Кланькой напущена. Тоска человечья — по сынам голубчикам. По той самой причине тоска, что не может Анфиса Никитишна детям своим в сраженье помочь.

В колдовство же Анфиса Никитишна больше не верит. Сашенька с Лешей смеются, да и сама она видит — была бы Кланька колдунья, заморозила бы долю себе посветлее. А то всего годика два и пожила с Костькой ладно. Гулять начал, пить. На глазах у целого города с бабами свадьбы крутил!

Она, конечно, сперва на дыбы. Да по старому времени разве жена — человек? Анфиса Никитишна глядеть не глядела, зато Дарья Кузьминишна бегала. Бил до того, что дитём скинула! Бил, когда первый сын при смерти лежал — так дитя и скончалось при отцовском при крике, при матерщине! Ну, понятно, не вынесла Кланька, сбежала. На канате ее обратно привел, в избу ночевать не пускал. Забил, аж высохла вся! Может, внутри что отшиб, кто его знает... Сам же вдруг и пропал. Родила она Генку; последнего, того, что теперь танкистом вместе с Сашенькой борется. А сам-то, Костя, в город Царицын собрался. Не по делу купца Челищева (Челищев о ту пору его уже за пьянство погнал), по своим каким-то заботам. Наддал жене на прощанье, уехала. А только домой не вернулся. Говорят, в драке-пьянке в Волаге-реке утонул, вот тебе и камень-рубин заграничный!

Осталась с двумя: старшая дочка Варвара да Генка, а в доме — шаром пока-

ти. Ей бы согнуться, в несчастье своим покориться. Так нет! На улицу выйдет, голову кверху, хотя волос лет в тридцать седой уже стал. И походка попрежнему гордая, и к соседям своим неприязненная, а Дарью Кузьминишну, ту даже выгнала!

Выгнал бы кто другой, Анфиса Никитишна, признаться, и посмеялась бы — не больно любит золовку Дарью Кузьминишну. Ну, а тут, известно, старое дело, крепко корни пустило. Поругались Анфиса Никитишна с Кланькой, посрамили друг друга, отвернулись пуще прежнего.

Кроме того, надо вам доложить, сын кланькин Генка в точности мать! Рыжий, глаза зеленые, пересмешник, танцор, балагур. И поговорка та же противная: «С дороги, короткие ноги!».

## 10.

Зима в этом году нелегкая выдалась — воробьи на лету замерзали. Снег не скрипит под ногами — звенит. И дома, и пароходы в затоне, вроде все хрупкое стало, дотронься — рассыпятся. Вечерами луна поднимается красная, в дыме висит. Дрова, чисто стеклянные, под топором разлетаются. Как в эдакой стуже на фронте? Как там сынам-соколам, голубчикам?

Ты тут на печке сидишь с внучатами, старик самовар поставит, а Сашенька с Лешенькой, может, в лесу пробираются? Может, по полю бегут? Немца проклятого гонят. Потому что в эдаком холоде, в этой страшнейшей стуже, слава богу, погнали мы немца!

Сидишь на печи, рукавички в мыслях сынам надеваешь, тулупчик на них застегиваешь, а самой тебе на сердце так зябко станет, что не удержишься, кликнешь Петра Кузьмича.

— Живем мы, старик, с тобой никудышные. Ничем мы Сашеньке с Лешей помочь не можем!

И старик тоже задумается, невесело и ему. В эту лютую зиму Клавде Сорокиной черная новость с фронта пришла: угнали немцы ее Варвару! В свою сторону угнали, на работу, на каторжную!

Сашенька с Генкой про то узнали. В город Калугу пошла, детей варваринных освободили — Людку да Светку, племянниц рыжего Генки. Старшая — Людка — от страха дурная сделалась: как увидит кого, так и затрясется, заплачет, дядю своего, рыжего Генку, и то сначала боялась!

Висит пелена — марево зимнее. К колдунье пойдешь, вода в ведрах стынет; птица-ворон и та притаилась. Клавдии в силах ли одной про дочку Варвару правду узнать?.. Раздумалась Анфиса Никитишна, да голос золовки Дарьи Кузьминишны мысли те и спугнул.



— Клянет, клянет все Кланька Сорокина! Клянет, проклинает. Сынов твоих, Сашку да Лешку клянет!

Это за что же клянет?

— Клянет, клянет, проклинает! Не ходи к ней, невестушка Фиса. Смотри, заколдует и Сашку, и Лешку.

Теперь, конечно, стыдно признаться, а тогда не пошла: за детей испугалась. И от Лешки, от Саши утаила, и от Тали — дочки родимой, и от Грани, дочки названной, и Петру Кузьмичу не сказала. А старому сердцу, когда утаишь, невесело. Зимнее марево, вроде, на сердце ложится...

В скорости и Людка со Светкой приехали. Тихие, немцем запуганные. Рыжий Генка распорядился домой их послать, к бабке, значит, к Кланьке Сорокиной.

Не утерпела Анфиса Никитишна, распросить хотела про город Калугу, про то, как мы город Калугу взяли. Про танкиста, про Александра Петровича Белкина. — Ты Расскажи мне, Люданька, матушка...

— Людка! — окликнула Клавдия Сорокина, двери прихлопнула, не захотела. Такая гордычка! От нее только хуже на сердце ложится марево; ложится, тоску нагоняет...

## 11.

Потом и весна подошла.

Весна в Прикамье у нас хитрая — нет того, чтобы сразу: нате, любуйтесь.

Сперва потихонечку ветром повеет: чуйте, люди, земля просыпается! Сосулькой большущей повиснет, небом высоким вдруг развернется. Или, словно пастушка гусей, облака погонит. А там и ручьи побегут, сначала под снегом, конечно. Ледяная кромка вокруг, чисто кружево тонкое.

— И у нас, маманя, весна! И у нас, маманя, весна, — бегут ручьи, голосами детскими кличут, сашиным, лешиним.

— И у нас, маманя, грачи! И у нас скоро почка-листок развернется!..

Лешенька! Саша!.. Полетела бы я тем граченком, зашумела бы той водой весенней, чтобы вы знали, мои сыночки, как по вас я тоскую, помочь вам желаю!

Убежал снег ручьями, земля зачернела, травой запахла. В Каме вода прибывала, леса стоят легкие — ждут, дожидаются. Тут тебе самое время и огород распахать. Огород же, к слову сказать, у Анфисы Никитишны добрый — и под картошку, и под капусту, и даже цветную для Саши садила! Одно плохо: бок-о-бок огород соседки Сорокиной.

— Ты погляди, старик, что за диво! Весна уже в полной своей силе, а люди нашла — землю лопатой не ковырнули! — это Анфиса Никитишна про Кланьку Сорокину, значит.

— Да, с опозданием нынче, — ответил

Петр Кузьмич. Неохотно ответил: и он любит соседки.

Вспахали, проборонили. Денечка длежит земля-матушка, потом и картошку садить. Кланька ж Сорокина — и что только с ней приключилось? — на смелочок не выходит. Анфисе Никитишны дела, конечно, нету до Кланьки Сорокиной, а все же любопытно — почему выходит?

Ну, с Петром Кузьмичем говорить в этом неловко: с самой со свадьбы фамилию, имя Сорокиных не поминает. Внучка же Галя — дитяtko малое, что знает и выложит,

— Галенька, сколько я тебя ни дрила, а все ты со Светкой Сорокиной бегаешь. Скажи мне, голубушка, почему огорода копать не выходят?

— Больны они, бабушка, и бабушка Кланя, и Людка.

Вот оно что. Больны. Видит бог правды отливается слезка ее горемычная!.. Да внучке Гале ватрушку, пошла с Петром Кузьмичем на своем огороде садить.

Земля лежит черная, сытая — сне протаяли дружно, красиво. Повернуть и с другой стороны, на кланькин кусочек взглянуть — разве порядок, чтобы земля пустовала?

— Бог шельму метит: больны. А что огород виноватый?

Ничего не ответил Петр Кузьмич, гла опустил, потупил. И будто не по себе илучилось, будто не то сказала Анфиса Никитишна. И на улице солнце играет и небо высокое, а на Петра Кузьмича взглянуть не хочется. Так и сидит молча, и домой повернули, молчали.

Только дня через три — словно нарочно эти три дня Анфиса Никитишна и огород не ходила — через три дня глядят: огород Сорокиных вспахан, отдела заборожен лежит.

— Галенька, внучка, или они поправились?

— Хуже им, бабонька, бабушке Кланя и Людке.

— То-есть как это хуже? Что же так выходит? Кто здесь насмешку творит? Отвечай мне, Петр Кузьмич. Отвечай, что человек бездушный!

— Сама ты велела.

— Я? — Задыхнулась Анфиса Никитишна, глотнула воздуха. А воздух весенний чистый.

— Или ты что? одурел? Прожила свой век за холщевый за мех...

Ухватила она за деревцо вишенки а почка на вишенке на той весела словно сашенькин карий глазок. И птицы стрекочут, щебечут, как стрекотали в детстве Саша да Леша. А разве может сердиться, когда голоса дитячь услышит?

Махнула рукой, оперлась на плетень посмотрела.

— Чем засаживать будут? Картошки

них ни меры, я знаю.—И опять не ответил Петр Кузьмич. Такой старикашка ехидный! Даже там, где не просят, намеки дает!

Ночью поднялись звезды, луна. Луна точь в точь заколка серебряная — Леша из Крыма привез. Может, и правда, сыны на луну ту, на звезды глядят, стариков вспоминают?

— Петр Кузьмич, почему ты не спишь, воруешься?

— Не хочется, мать, не дремается.

— А как ты думаешь, Петр Кузьмич, что бы сыны сказали?

— Сказали бы: ты хозяйка!

Вот как ответи, судите сами. Ну, не старик ли отчаянный?

Заглянула луна в окошко. Раз, когда Саша горлом болел, луна так же светила.

— Тяжело, маманя, больному, лежать. Одному больному, без помощи! — Сашенька ли промолвил, или пригрезилось? Не разберет Анфиса Никитишна.

Часы идут, тикают.

— Тик-так, тик-так... Не упускайте время, маманя, — говорил часто Лешенька.

— А как вдруг увидят, Алеша?

— Тик-так, тик-так... Ночью все спят, маманя. А коли увидят, свою, чай, картошку садите.

— А не темно, Лешенька?

— Тик-так, тик-так... Картошка, небось, в кладовке стоит, приготовлена. Тик-так, тик-так... Месяц — фонарь небесный — посветит.

Фу ты, беда! Никак она задремала? Разве могут часы говорить алешиным голосом?

— Петр Кузьмич, а Петр Кузьмич! Даром землю вспахивать грех. Как ты находишь?

— Тебе, мать, виднее.

И снова, будто, сашенькин голос:

— Тяжело больному, маманя...

И снова часы затикали:

— Тик-так, тик-так... Картошка в кладовке, маманя. Тик-так, тик-так... Луна — небесный фонарь — посветит.

— Петр Кузьмич, а Петр Кузьмич! Не дивися, отец, что я скажу...

— Стар я мать, чтобы дивиться.

Так и сажали во тьме, словно тати-разбойники, словно не свой картофель с кладовки.

Обидно, конечно, сами поймете. До того обидно, что слезы того и гляди из глаз покаются.

Да, видно, в ту ночь содеялось что-то — нету слез, не бегут. Провалиться б тебе со стыда, что на старости лет одурела... А деревья веткой тебе помогают, стыд отгоняют. А на ветке листок зеленый, веселый, клейкий. И река кругом разлилась, луга затопила: вода стоит полая.

— Люблю, маманя, поую воду, — скажет, бывало Лешенька. Одобряет, вроде, сыночек. Вроде, не сердится...

И только через неделю заплакала, ког-

да из Казани Граня письмо прислала.

«В этом году не смогу к вам приехать, маманя, — пишет Гранечка. — Не обижайтесь за это: летом в колхозе работать буду».

За что ж обижаться? Будь молода Анфиса Никитишна, сама бы в колхоз поехала. За дело Анфиса Никитишна не обижается, хоть, может, и ожидала тебя, моя доченька. А вот несуряцицу ты написала, это уж стыдно! «Поздравляю, маманя, с командой Тимура. Вы — основатель команды, ее голова».

Какой такой основатель?! Или в Казани дурманом тебя опоили, Гранечка, что посмела старуху, названную мать, так обидеть? И кто тебе рассказал такие глупости?

— Витя, иди сюда, внучек. Кто про команду Тимура Гране в Казань отписал?

— Я писал, бабонька. — И глазом широким глядит и не стесняется.

— Что ж за ребенок ты неумный? Да как же посмел ты, негодник? Какой я тебе Тимур?! Какой основатель? Говори, как было дело?

— Прочли мы, бабонька, книгу «Команда Тимура». Понравилась нам. А вы рядом сидите и говорите: — Отсталый тот человек, кто фронту сейчас не поможет. — Мы и надумали: разве не помощь фронту, если другим помогать? Воды принесешь, картошку посадишь...

Закружилась все в голове у Анфисы Никитишны.

— Ах, ты неладный! Не внук ты мне больше и видеть тебя не желаю! Бабке твоей шестьдесят первый год на плечи садится, а ты себе позволяешь?! Да как ты посмел про картошку? Ты сперва проживи в нашу долю, потом и суди, и намеки делай.

Теперь, небось, весь город знает, что ночью, как тать-разбойник, картошку садила. И Кланька знает и, верно, смеется надо мною.

— Галечка, внучка, нишкни!.. Что говорила соседка?

— Сказала, бабонька: век за того молиться буду.

— Погоди, погоди, внучка глупая. Нехорошо ты омолодилась. Чтобы Кланька Сорокина, та, что навеки обидела? Вспоминать начала Анфиса Никитишна, в прошлое кинулась.

Только, видно, эта картошка, этот Тимур их несчастный, память совсем закружили.

Потускнел будто лак-козырек на фуражке Коськи Сорокина, не стучат каблучки Кланьки по сердцу: туманом, будто, покрылось прошлое, туманом весенним...

А туман этот сильный, потому что весна из девчонки красавицу выростила.

Убралась весна в сережки черемуки-деревя, надушилась сиренью-ландышем, в траву-бархат густой нарядилась.

— О такую пору нельзя сердиться, маманя, — говаривал Лешенька.

Верно, Алеша, нельзя...

«Оттого, так и быть, прощаю тебя, Гранныша. Прощаю, письмо тебе посылаю. А с письмом шиповника розовый цвет. Начала вода на Каме спадать, поехала я, набрала для тебя, засушила. Вернешься в колхозе с работы, умоешься — будет личико бело, румяно. О траве же нынче не беспокойся, Гранечка, — в лугах трава выше колен. Подорожник-лист шире ладони!».

Пока же еще не время косить. Пока полынек собираем горький, траву-череду, звербой, — говорят, бойцам помогает в болезни. Может, Сашеньке с Лешей — господь их храни, будет нужно...»

Закаеила, марку нашла.

— Риточка, сбегай скорее к докторше. Уезжает сегодня в Казань, отвезет письмо то.

А только зря торопилась. В этот вечер событие было, событие это порадует Гранныю.

## 12.

Приходит, значит, под вечер Таленька-дочка домой. Листок в конверте приносит.

— Приглашение вам, маманя, в наш детский сад.

Ишь ты, придумала — приглашение старухе! А кто квашенку поставит, кто внуков спать уложит?

— Деда попросим остаться по хозяйству. Вам же быть непременно.

Ишь ты как — непременно! А все-таки, знаете, лестно. Когда стариками будете, тогда только поймете, что значит — «быть непременно!»

Полушалок надела шелковый, черный в лиловую крапку, жакеточку синюю — дети завидно одеты, ей чумичкой ходить, их срамить, не приходится. В зале же детского сада народа полно.

И все с приветом: «Товарищ Белкина!» В первый ряд привели, посадили! Это вы тоже поймете полностью только к старости — что значит в первый ряд «товарища Белкину!»...

Ну, толкуют, конечно, все о понятном — о работе, о детском саде. Известно, у каждого сердце болит, чтобы детям бойцов фронтовых как можно лучше помочь.

— И особое наше спасибо товарищам, — тем, кто не работает в детском саду, а, все же, о наших детях заботится, — говорит завдомом.

Ну, захлопали все. И Анфиса Никитишина хлопает — хоть и старуха, а, чай, не какая отсталая.

— Спасибо товарищу Белкиной, Анфисе Никитишне!

Испугалась. Руки на месте застыли, сердце вот как пошло! Или смеются?.. Может, кофточка грязная? Снимала квашенку с печи, со слепу сажи и подхватила.

— Просим товарища Белкину к нам в президиум.

Нет, не смеются. Улыбаются, правда, а не смеются. И Таленька дочка довольная.

— Идите, маманя, когда вас просят.

— Да за что же это, господи, боже ты мой? Да разве я?..

— А платица детские штопали?

— Да, ведь, то вечером, когда делать нечего.

— Носочки для третьей группы вязали? Когда заболела няня Степановна, воду для кухни носили?

— Да ведь то... А слезы бегут и бегут. Из-за них, из-за слез, и угоститься, как следует, не угостились! Мясо с картошкой было, пряники были, конфеты-подушки!

— Уж вы, как хотите, мои дорогие, а старику и внучатам конфет захвачу. Пусть едят, знают, ишь: куда залетела Анфиса Никитишна!

И не зря говорила — воротилась домой с двумя кулечками. Отворяя, старик, ворота пошире: идет активистка детского сада номер седьмой. Поглядела бы Кланька Сорокина!.. Впрочем, не надо. Сейчас на душе легко, приятно, ну, его, старое! Да и смотреть Сорокина Клавдия не может — на той неделе в больницу свезли. Ее и Людку в больницу, младшую Светку пока в детский дом. А по старой пословице так говорится: лежачего ты не бей, малого не обижай.

— Натя гостинца, ребята-зверята. Подушка-конфет отличный. И ты ешь, Петр Кузьмич. Бери, тестомес, че стесняйся. Вот получил какое прозвание за то, что квашенку ставил!

— Смейся, мать, смейся. Сашка не даром учил: со смехом ляжешь, со смехом встанешь.

— А ты что думал, старик? Умнее наших сынов на свете не сыщешь!

И поверите, нет ли, а встали на утро веселые. Солнце еще не всходило, по облакам же заметно: не хуже вчерашнего выпадет день.

— Ты, старик, не буди рано Вилю: сегодня последний экзамен. — к тому это она, что в десятый класс переходит Витенька, — сами картошку окучим, управимся,

А картошка, надо вам доложить... Нету завидней картошки. И на их огороде, и на сорокинском.

Поглядел старик Петр Кузьмич на сорокинский, задумался:

— Коль замахнулся, так и руби.

Анфиса Никитишна цапку отставила:

— Это к чему такой разговор?

— А к тому, что луны дожидаться долго. Пока народится месяц, пока развернется... Всякий же плод во-время любит уход — картошка окучки требует. Да и соседей нету, разве что Витька заметит?

Рассердилась Анфиса Никитишна:

— Вы с вашим Витькой оба хорошие. Старый да малый — одного сукна оную. Побоялась я вашего Витьки! Не хочется только возиться, а то бы я тоже вам рассказала.. Думает — старая бабка слепла, не видит: и воду носил для Сорокинх, и в больницу везти команда их хлопотала. Меня в президиум выбрали: Спасибо товарищу Белкиной!», а вы мне казывать станете? Идем сей момент на огород. Пока тот не окучу, своего не вижу! Плевать я хотела на вашего Витьку!

Вот до чего рассердилась! А старик, известно, какой — кипочем не удержит, шпора не даст. Ну, и пошли на сорокинхый...

— Окучивай, Петр Кузьмич, с того боку, я возьму с этого. Облака, гляди, заудрявились — часов семь, поди, будет.

— Кто его знает? Я радио выключил, пусть паренек поспит перед экзаменом.

— Мне-то какая забота? Спит ли, нет ли... Не жалко, пусть спит. А сама фиалкой мах да мах: чтоб поскорее. С огородом с этим дожили до дела хорошего... Галенка встала:

— Вы, бабонька, здесь?

— Не суй носа, куда не просили. Витька — роса давно высохла. Чай, уже поздно.

— Витя сказал: скоро девять. Попил молока и ушел.

— Ушел? Это на что же похоже? Дедушка, слышишь? Ушел!..

Вот тут-то и зародилась мысль: заглянул в огород, увидал на сорокинском, чтобы покрепче над бабкой властвовать, ушел, не сказавшись.

— Отойди, неумемная внучка, не лезь мне под ноги. Разбаловал вас старик, не ту сладу с детьми. Попил молока и ушел! Разве он чего понимает? Экзамен сдает, а не видит: весна уже кончилась. Летом какая окучка?..

— А когда весна кончилась, бабонька? — Сторонись, я тебе говорю. Отхвачу ноги цапкой. Когда фиалку-цветок принесли, тогда и кончилась. Коли запахнет днем ночная фиалка — тут тебе и весне окончанье. Лето, значит, взошло. Косить, значит, скоро пора, а он тебя на смех, что на сорокинском!..

### 13.

Косить, косить пора, бабонька!

Ну, и чудные ребята! Кричат — косить, сами косы держать не умеют. В Ленинграде где научиться?

— Никого не возьму, с дедом вдвоем подем.

— Бабонька, я перешел в десятый! — попросил Витенька. И до чего на Лешу похож этот Витька!

— Так и быть, беру с собой Виктора.

— А я, бабонька, — в пятый! — вслед за ним Риточка.

— Витю и Риту. Приготовьте для ягод корзинки.

А Лиза на будущий год пойдет в школу... А Галя так разревелась, что деду ночью пришлось пласти для нее корзинку.

— На, получай, не ори. Истомила деда до утра! Бери, Виктор, весла.

— А для полного нашего удовольствия возьмем с нами, бабонька, Степку, Танюшку, да Гришку, да Зойку Ползухи-ну. Мы с Гришкой будем грести.

Никакого сладу с ребятами, поналезли в лодку, как мураши.

— Ничего, не далеко, бабонька.

Далеко оно не далеко — рекой версты, поди, три. А только дед во всем виноватый — разбаловал, теперь не отмашешься.

— Чего ж не отмашешься? Догребли быстрее моего. — Это дедушка, значит, заступник. — Вытаскивай лодку, ребята, в ивняк.

Луга ж развернулись!.. Чисто ковры изумрудные. Желтун-трава выше пояса, стебель сочный, густой. Зонтик душистый с тарелку, ирис степной синее. Ромашка, пырей, златоцвет... И все это пахнет, все это медом налило! На краю озера цветы забудка, а и та уродилась крупнее ногтя! А повыше на гриве — клубника. В кустах земляника-ягода; ветер подует, сразу почувешь, куда идти, где искать... А поверх лугов небо синее, да ярко, да — чтобы не было скучно в облачках, чисто в перышках! Лето оно богатое, на дары-красоту тароватое.

— С корзинками, детки, ступайте прямо. Ежевика ползучья-колючая в кустах, черника любит посуше, земляника-ягода возле пеньков, на полянке.

Нет, не уходят. Стоят, с ноги на ногу переминаются.

— Что с вами, детки? Риточка, что с тобой, милая?

— Я, бабонька только.. Коза...

Удивилась Анфиса Никитишна. Какая такая коза?

— Что ты городишь, глупая? Да говори, когда тебя бабка спросила.

— Не могу без команды открыться, бабонька.

Ага, опять он, значит, этот Тимур? Хорошо, поглядим, увидим! Кто у вас главный в вашей команде? Ага, значит, Витя? Хорошо, поглядим, посмотрим...

— Витя, иди-ка сюда. Что за коза? Говори.

— Работали мы в совхозе, бабонька... Помните?

— Ну, помню. Весной садили овощи.

— Заработали мы тогда, вся команда наша, козу. Теперь нам дали участок, видите вон, за кустами? И мы просим вас, вся команда просит — Гришка, и

Таня, и Степка — чтоб научили вы нас косить. Для козы нужно сено.

— Что-то мне невдомек. Зачем вам коза?

— Этого, бабонька, я не скажу. Могу сказать только члену команды.

— Вот оно как? Ну, спасибо тебе, милый внучек. Уважил старуху! Дедушка, Петр Кузьмич, собирайся на наш участок. Теперь молодежь стариков ни во что не ставит.

— Бабонька! Бабушка! — И все разом глядят, и каждый чем-то похож на Лешу. То ли смотрел так же Лешенька, когда просить приходилось?..

— Мальчик ты глупый, Витя! Говори, зачем вам коза? И научу вас, и накошу вам сена. Не хочешь, значит, команда тебе милее? Идем, дед, Петр Кузьмич!

— Вы не уйдете, бабонька!

Подумайте только — в точности Сашка! Раз приехали с Сашкой в луга... И недавно отписывал Сашенька: небось, цветут они, заливные?.. А горько-то как, когда вспомнишь, что отказала в чем сыновьям!..

— Поди сюда, Витя, в сторонку. Скажешь мне или нет?

И губу, чисто Саша, поджал. А в мае пошел семнадцатый, может, тоже придется расстаться?!

— Ну, ты, недивный мальчик.. Ну, ведь ты сам говорил... Сам написал тете Гране, что я голова..

— Ура! Ура нашей бабоньке!

Это ль не глупые дети?.. А козу они заработали для той же Сорокиной. От команды Тимура подарок.

— Вернутся они из больницы, бабонька, будут пить молоко.

Что вы на это скажете? Не пойти? Не показывать, как косить надо? Значит, вы плохо знаете старуху Анфису Никитишну. Она сроду словом своим не бросалась!

Жих, жих... — трава под косой ровной грядой ложится. Вот как надо работать, ребяташки! Жих, жих... Козе много ли надо?

— Отвезем их долю, старик, отвяжемся. Завтра за свой участок примемся. Все равно потеряли время.

— Мы вам завтра поможем, бабонька.

Набили лодку!.. Вот, вот борта зачерпнут. На корме Анфиса Никитишна, дедушка с веслами. Ребята берегом пешие.

— Осторожнее, Петр Кузьмич, как бы нам не свалиться.

— Ничего, мать, доедем.

Все ему ничего, лишь бы внукам своим угодить. Хорошо еще нынче река, как зеркало. Облака в воде отражаются, на том берегу камыши. В заводях лилия-кувшинка белеет.

— Старик, а старик! Что-то сегодня мне все о сынах говорит? Помню — срезал Алеша из камыша, из того, себе дудку-свирель. «Как сыграю на ней, маманя,

так вы на все уступки пойдете», — слыся, бывало, Алеша.

— Эка что вспомнила, мать! К чему такое?

К чему — ни к чему. Однако, когда камыши проезжали, подумала: «Сын мой Леша! Разве я не пошла на утку? Не накосила им сена? Лодку полненькую лодку большую...»

## 14.

А потом и совсем закружилась. Застыла на две головы — на коровушку телкой — не то, что козу прокормить. Обещала, конечно, команда помочь, всех по колхозам послала, — осталась опять вдвоем с дедом, с Петром Кузьмичем.

Накосить, насушить, домой отвезти в скирдах хорошо, а все дома лучше. Овощ тоже ухода требует. Помидоры этого году громадная; огурец... — не счи сейчас, завтра — не тот огурец.

А, может, сыны вернутся, покушаю! «Начали бить мы немца. Бьем под дяще, крепко», — отписал в последний раз Леша.

Может, и правда, побьют и приедут. Уважает черемуху Сашенька, кисель черники — Алеша. Заготовить надо. Там и малина пошла лесная.

«Малина, ягодка сладкая! Кто тебя съест, повеселеет» — это и в песне поется. Разве упустить такую ягоду?

Завертелась Анфиса Никитишна и заметила: грядь, гриб шикарный, по полю пошел. Осень, значит, настала. Еда такие, кто и скачет осенью — холода, значит, близкие, пора скоро зимняя. Только Анфисе Никитишне осень нравится.

Вы посмотрите, воздух какой особенный, чистый! Скирды золотые на нем на небе, рябина-ягода словно меди вылита. Леса стоят, шелестят... Далеко листья желтым, коричневым, красным, Шиповник созрел — чисто алые гроздья на ветках, крики птиц перелетных слышатся... Красивое время!

Спора нету, оно красивое, да не все да красу ту заметишь: и грибов посуши, и груздей насоли; тоже дождь, поди, пять набрали шиповника бойцам, говорят, помогает. И картошечка пора собирать... Не знаю, как бы с дедом одни уладились, если бы команда их вернулась с колхозов.

— Коли я вам голова, то быть здесь завтра всем по утру. Один раз другой собирать, третий мешки увозить. Отнесете сначала с того огорода...

— А бабушка Кланя вчера из больницы вернулась, бабонька.

— А это меня не касается.

Без злости сказала, потому что, ни чудно, а злости на Кланьку Сорокиной...

И больше нету. А когда злости нет, на душе веселее.

И утро веселое выдалось. Дым столбом лет кверху — ветра нет. На крыше сачка — тыквы разложены. Одно замеченье: янтарные да налитые, одному шпичком не поднять. Красный перец на плетне сушится... Красный да желтый — цвета приятные. А вокруг тебя эти малые собрались, чисто маки мне, — ходко работа заспорилась.

— Заходи, команда, вперед.

— Один мешок... три...

— Смотрите, картошка какая крупная! Десять мешков на сорокинском огороде собрали!

— Тащите, ребята, тележку. Ты что смотришь, Риточка?

— Почтальон идет, бабонька.

— Стойте! Когда почтальон...

— Может, сыны с фронта пишут? Пишут, дают матери выговор; и так вы, аманя, нас ничем не потешили, а теперь и писать забываете?!

— Комсомольская, сто четыре, Анфисе Никитишне Белкиной». Рука незнакомая, ткого бы такое?

— Что-то мне, старик, боязно.

— А ты, мать, открой поскорее. Увидишь подпись, узнаешь.

Подпись: «танкисты энской части, товарищи ващего сына Александра Петровича Белкина».

Задрожало внутри, опустело. Сашенька ой голубчик!..

— Погоди, мать, зря плакать. Прочти поскорее, узнаешь.

«Шлем мы вам братский, красноармейский привет, мамаша Анфиса Никитишна», — это, значит, танкисты энской части, товарищи Сашеньки пишут. — «И ш сын Александр Петрович Белкин лет вам привет, и сосед его, то-есть танкист Геннадий Сорокин. И спешим мы уведомить вас, мамаша Анфиса Никитишна»... — пишут танкисты энской части, товарищи Сашин... — «Спешим мы уведомить, что продвигаемся мы с успехом и бьем врага беспощадно.

И вчера в наступление забрали много орудий и пленных.» — Трофеев, значит, много они забрали, танкисты, товарищи Сашеньки, — «И в том, что мы хорошо наступаем, и ваша доля, мамаша, имеется» — это пишут они, товарищи Сашин. — «Потому что Геннадий Сорокин, нам все рассказал о поведении о нашем, мамаша. И о гражданочке Гране Семеновой (Граня Семенова с ним знакома и все ему отписала), и о детях в детском саду, и о том, как картошку садили. И когда мы узнали об этом, мамаша, так веселее нам стало, и погнали мы немца еще, крепче, потому что такие матери нам на фронте — большая помога. А Сорокин, когда в бой пошел, тот даже крикнул: за родину нашу, за матерей дорогих!»...

Вот что в письме написано было. Написали, конечно, танкисты энской части складнее — Анфиса Никитишна, если желаете, письмо вам потом покажет — но суть, сердцевина письма такая.

— Старик, а старик! Что-то не можется мне. Придвинь мешок, посижу.

А слезы, чисто ручьи в половодье. Оттого, должно быть, когда поглядела — и тыквы на крыше за пять солнц золотых показались; и перец тот красный вроде цветка распустился...

— Погоди плакать, мать. Посмотри, кто пришел!

А возле калитки стоит с письмом соседка, Сорокина, Клавдия Максимовна. Видать, тоже с фронта письмо получила, может, от сына, а может, и от танкистов, из энской части.

— Фисушка! Матушка!..

О чем говорили, догадаетесь сами. Только теперь Анфиса Никитишна знает: и старый, и малый, каждый может фронту помочь, когда пожелает.

— Лишь бы охота, — говорила покойница, бабушка. А уж покойнице бабушке — да будет земля ей пухом! — можно поверить: во всем селе первой хозяйкой была.

# ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ

Исторический роман\*

С. СЕ РГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

★

3

Когда Надя вернулась от Сыромолотова домой, то первое, что она сказала сестре Нюре, было:

— Вот что, Нюрочка, нам с тобой надо ехать в Петербург.

— Так рано? — удивилась Нюра.

— Ну, не так и рано, положим, а главное надо не опоздать.

Что Нюра поступит тоже на Бестужевские курсы и будет жить в одной комнате с Надей, это уж было решено, конечно, гораздо раньше, но ехать думали в конце июля, а теперь не было еще и половины месяца.

— Как так опоздать? Куда опоздать? Почему опоздать? — зачистила вопросами Нюра.

Но Надя была настроена так, что благодушно ответить на них не смогла, — она возмутилась даже, что сестра ее так легкомысленна.

— Ты что в самом деле, Нюрка, — пяти лет, что ли? Должна уж понимать, в какое время живешь, гимназию кончила!

— А в какое такое особенное? — удивилась Нюра.

— Здравствуйте, хорошо ли вам спалось!... В Петербурге забастовки, ульти-

матум Сербии объявлен, а она говорит «в какое»?!

— Что же я, не знаю, что ли? — почти обиделась Нюра. — Какая же тут новость?

— Вот такая, что надо ехать, пока не поздно... Соберемся и поедем.

— Подумаешь, долго как собираться надо!

От братьев Коли и Пети давно уже не было писем, и в семье Невредимовых не знали, что это значит. Даже и старик беспокоился и, подрагивая головой, ворчал за обедом, ни к кому не обращаясь.

— Молодость-молодость!... Куда ветер дует, туда и она гнется... Костяка-то этого самого нет еще, а без него что же? — Та же трава... Надо послать телеграмму, что с ними.

Дарья Семеновна, конечно, беспокоилась тоже, но она подходила ближе к возможной опасности и спрашивала своих студентов:

— Вот бастуют себе рабочие, — хорошо, — а как же инженеру тогда быть? С кем же Коля быть должен: с ними или, я так думаю, хозяйскую руку он должен держать, иначе как же? Иначе его должны непременно уволить с завода.

На этот деловой вопрос один из студентов, — высокий Саша, — отвечал без малейшего затруднения, как об очевидном хорошо ему известном:

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1—2, 4—5, 1944 г.

— Инженеры, мама, по самой сути своей — офицеры производственной армии, поэтому, конечно, ни бастовать, ни бунтовать им не полагается по уставу... Однако мало ли чего не полагается делать, однако делается.

А другой студент — невысокий Геня, — добавил к этому, чтобы успокоить мать:

— Наш Коля, мама, не из таких, чтобы не понимать, что ему надо делать.

— А Петя? — тут же спросила Дарья Семеновна, но на это ответили сразу и Саша, и Геня:

— Что ты, мама! Пете разве есть время?... Ему некогда, — ему дипломную работу сдавать надо.

Четверо молодых, пятая — старая, а шестой — совсем уже древний, с головой белой и дрожащей, как шапка одуванчика под легким ветерком, готовая облететь, — они каждый по-своему переживали внятное уже прикосновение чего-то большого и зловещего, что надвигалось. Молодым хотелось поднять головы выше, чтобы разглядеть лучше; старой — втянуть голову в плечи, а древнему зачем-то понадобилось тут же после обеда подойти к сараю, остановиться в его полукрытых широких дверях и начать приглядываться к тому, что в нем было наставлено. К тому, что в нем было наставлено.

Обычно после обеда Петр Афанасьевич спал часа полтора, иногда и два и потом поднимался бодрый, умывался, шел в сад и там говорил самому себе, однако вслух:

— Вдруг вот так возьму да и доживу до ста лет, а?... Все может быть... Ведь доживают же другие... Еще и побольше ста лет живут, но это уж, это уж я на кожу излишним, а до ста лет отчего же нет? Вполне по-моему возможно... Никаких так называемых кахектических болезней у меня нет, стало быть... стало быть, вполне могу...

И в такие бодрые минуты он подходил к каждому дереву в саду своим, как к старинному другу или как отец к детям: ведь каждое сажал он сам, и каждое помнил, каким оно было, когда его ставили в ямку и засыпали землей, причем он каждое старательно притаптывал, чтобы не раскочало его ветром. Он о каждом своем дереве знал, чем оно болело, если болело, какое было особенно плодоносным, какое не очень, какое росло буйно, а какое с оглядкой, какое с каким вело долгую борьбу там, в земле, где захватывало как можно больше земли корнями, и здесь, где раскидывало как можно шире крону, чтобы впитать в себя побольше солнца, творящего ткань растений.

Вдоль ограды сада стояли у него тополи и вязы — деревья-завоеватели: они летом сбрасывали с себя так неисчислимо много летучек, что те, подхваченные ветром, засыпали всю землю далеко кру-

гом. Если бы от каждой такой летучки пошло новое дерево, то за сорок лет, когда начали они впервые цвести, они покорили бы и весь город, и все окрестности его верст на тридцать кругом: везде были бы только тополи и вязы с их зеленой мощью, с их чудеснейшим переплетом ветвей, у каждого из всех тополей и у каждого из всех вязов совершенно особенным, неповторимым!

Но в этот день после обеда, уйдя к сараю, Петр Афанасьевич не посмотрел ни на тополи, ни на могучие вязы, ни на яблони и груши, и вишни в своем саду. Его мысли заняты были теперь другим, тем же самым, чем были заняты они лет семнадцать назад: присматриваясь к разному хламу в сарае, он искал глазами тот дубовый, когда-то отлакированный, прочный гроб, который сам для себя приготовил в ожидании близкой смерти.

Это был приступ не то что тоски, шемящей сердце, а вполне отчетливого желанья уйти в тень, посторониться от чего-то уже громящего, как отдаленный гул грома.

Не найдя глазами гроба, он испугался, как будто потерял самое необходимое, и как же без него теперь? Он уже от сарая начал кричать, повернувшись к отворенным окнам дома:

— Дарья Семеновна! Да-арья Се-ме-нов-на-а!...

Та выскочила в испуге:

— Господи-Сусе! Что с вами?

— Где же он? Куда вы его дели? — накинулся на нее древний.

— Кто это? Кого дела? — не сразу поняла Дарья Семеновна.

— Как «кто это»? Гроб, конечно! А что же еще?

— Гро-об?... Что это вы о нем вздумали?

— Где он? Вы что же это? Продали его? А?

— Да, батюшки, — где стоял, там и стоит, — что вы! Стану я его продавать! И кому, — в самом деле так рассудить, — он нужен, — гро-об?... Подумаешь, зависть на него у людей, что ли?

— А что же я его не вижу совсем, а?

— Заставили кое чем всяким, — вот и не видите... Теперь уж сушки вишневой в нем держу, — он и без надобности.

И, немного отойдя от сильной оторопи, добавила, крестясь:

— Вот до чего же вы меня напугали, Петр Афанасьевич! Разве же так можно? Я, ведь тоже года уж не маленькие имею... У меня сердце уж стало, небось, все, равно, как тряпочка, а вы меня так разволновали своим криком, что и не знаю как!

Успокоившись несколько, оттого что гроб оказался на месте и даже разгля-



дев, наконец, из-под каких-то ящиков его бронзовую или медную ручку, Петр Афанасьевич ничего не нашел больше сказать ей по поводу ее волнения, как только это:

— Как же можно было на гроб ящики какие-то ставить?... Гроб, это последнее жилище, а ящики что же такое, зачем? В печку их, на кухню, и все... Поколоть топором, и на кухню.

Так увлекся, что в забывчивости еще несколько раз повторил: «Поколоть и на кухню», когда пошел уже от сарая в дом. Лег было по долголетней привычке у себя в кабинете на «самосоне», но и самосон не помог, — не заснул.

А четверо молодых, разойдясь после обеда по своим комнатам, — так как братья обычно редко когда говорили с сестрами, считая их интересы гораздо более мелкими, чем свои, занялись тем же, на чем застал их час обеда, и Надя продолжала убеждать Нюру, что медлить с отъездом в Петербург теперь уж нельзя.

— Может быть очень большой наплыв на курсы, — говорила она, — и ты рискуешь остаться за флагом, если поздно поедешь.

— Ну, вот, глупости какие, — остаться за флагом! — упорствовала Нюра.

— Не понимаю, чего ты здесь, наконец, так прилипла! — начинала уж раздражаться Надя. — Что ты здесь такого не знаешь? Все знаешь, и все уж тебе должно надоесть, а там теперь одни белые ночи чего стоят!... В Эрмитаж сходим, в музей Александра III пойдем, — сколько картин ты увидишь! Люди из-за одного этого туда нарочно бог знает откуда, из Сибири туда едут, а ты уперлась, как все равно ослица какая, а чего уперлась — неизвестно!

— Да я совсем не уперлась, что ты! — слабо уже защищалась Нюра. — Откуда ты взяла?

— Ну, прилипла, как муха к меду! Там, ты пойми, вся жизнь, — вся, какая только быть может. А здесь что? Буквально, муха прилипшая!

— Я и не прилипла, — не выдумывай, пожалуйста, — а дней десять еще бы можно ведь погодить.

— Ну, если ты так, я и одна могу поехать, — внезапно решила Надя, — а ты уж сама потом приезжай.

— Выдумала тоже!

— А что же ты думаешь, это шуточки, что от Коли с Петей вот уж две недели нет писем?

— Подумаешь! Люди и по месяцу не пишут... О чем и писать, когда не о чем?

— А если они арестованы оба, — в тюрьме сидят? — шопотом проговорила Надя.

— Ну, да, еще чего — «арестованы», — также шопотом пыталась отрицать воз-

можность этого Нюра, пытаясь в то же время взглянуть в глаза сестры.

— Ничего невозможного нет, раз там такие везде демонстрации... И вот они где-нибудь там одни, бедные, в камере сидят и написают, конечно, оттуда ничего нам не могут.

— А Ксения, может быть, уже приехала из-за границы, — последнее что могла, высказала Нюра.

Ксению, как старшую, обе сестры младшие называли почтительно полным именем. Она еще в начале каникул уехала из Петербурга в заграничную экскурсию вместе с несколькими десятками еще учителей и учителей из разных концов России. Она служила в одной из женских гимназий Смоленска, но возвращаться из-за границы ей нужно было через Петербург. В последней своей открытке из Берна она писала, что экскурсия уже на подъеме домой, так как и каникулы на исходе и все издержались.

Наде, конечно, никакого труда не стоило доказать Нюре, что Ксения, если даже успела уже с экскурсией вернуться в Петербург, едва ли одна что-нибудь может сделать в пользу братьев, если они действительно сидят оба, а вторым они, конечно, могли бы добиться, чтобы их освободили.

К вечеру Нюра начала уж укладывать в корзину свои книги и в чемодан белье и платья. А на другой день, — кстати, это был тот день, когда в городе известно стало, что Россия выразила намерение притти на помощь Сербии, если она подвергнется нападению Австрии, — обе сестры уже сядили в поезд, который должен был донести их до Петербурга.

Петр Афанасьевич только благословил обоих и всплакнул при этом, расставаясь с Нюрой, но на вокзал не поехал, хотя поезд отходил днем, а Дарья Семеновна расплакалась на вокзале, прощаясь с дочерьми так, как будто отчаялась уже когда-нибудь их увидеть.

#### 4.

Володя Худoley тоже готовился в это время ехать в Харьков: несколько десятков рублей для этой цели дали его отцу из «офицерского заемного капитала» в штабе полка.

Однако командир полка Черепанов, распорядившись выдать ему деньги, сказал:

— Придется и нам с вами готовиться к отправке.

— К отправке? Куда именно? — спросил Иван Васильевич, надеясь услышать от своего начальника точный ответ, так как насчет отправки вообще были разговоры в полку, но все какие-то смутные.

Однако и Черепанов, — высокий человек, с глухариными бровями и слишком

Длинной, черной с проседью бородой, — казал только:

— Куда прикажут, туда нас и поведут... А мы все должны быть готовы, — вот и все.

— Но ведь может и так быть, господин полковник, что никуда не отправят, потому что незачем будет, — попытался уяснить свое будущее Худолей.

Черепанов задумчиво побарабанил длинными пальцами по столу, за которым сидел, и ответил:

— Хорошо бы, разумеется, только едали бы.

Потом добавил:

— Ваше дело пока маленькое, — вы в обзоре лазаретными линейками... А в лучае военных действий — на вас большая ответственность ляжет, имейте это в виду. Опыта же у вас в этом нет: вы — врач мирного времени, а к вам на перевязочный пункт будут везти и нести тяжело раненных... Легко раненные не в счет, — этим только перевязка, — а тем операции придется, пожааау, делать, а? Вы же ведь совсем не хирург.

И Черепанов, который сколько уже лет относился к нему хорошо, никогда не вспоминая о том, что он не хирург, теперь смотрел на него недовольно, сдвигая к переносью дюжего носа густые брови.

— На перевязочном пункте операций делать не придется ведь, господин полковник, — коротко отозвался на это Худолей, но Черепанов заметил еще недовольнее, как будто Худолей виноват в этом:

— И младший врач тоже не хирург, — так нельзя! Остается войти с ходатайством, чтобы дали хирурга.

Худолей знал, что Черепанов, обеспокоенный трахомой в своем полку, сам часто заворачивал верхние веки солдатам в роты, но не было такого случая, чтобы хоть два слова он сказал ему когда-нибудь насчет хирургии. Из этого он сделал вывод, что какие-то секретные приказы по поводу войны уже получены в штабе полка, и поэтому думать над вопросом, будет или нет война, теперь уже лишнее будет.

И не только сам Черепанов, но и полковой адъютант поручик Мирный, у которого был такой же янтарный мундштук, как у командира, вдруг из самоуверенно-благодарного стал раздражительным и крикливым.

Прежде он говорил со всеми просто поучительным тоном, только иногда вставляя в свою речь:

— Приказ по полку, господа, надо читать, а не «думать» и в облаках не парить.

Теперь же он, когда к нему обращались с расспросами, отвечал раздражительно:

— Готовиться надо, и все... И не о чем больше думать!

Длинный и с длинным бритым лицом, с высокомерным жестким рыжеватым ежом на узкой голове, поручик Мирный всем своим видом теперь как будто даже стремился показать, что вот-вот полк ринется куда-то в бой.

Не удивился поэтому Худолей, когда подошел к нему потом, в лагере, поручик Середа-Сорокин, охотник, обладатель двух борзых собак пегой масти и двух гончаков. Вытянув гусачью шею, искалеченным тоном сказал ему Середа-Сорокин:

— Доктор, — у вас ведь дом есть, хозяйство, — вам, наверное, нужна собака, а?

— Как вам сказать, право, не знаю, — боясь его обидеть отказом, отвечал Иван Васильевич.

— Что же тут не знать? Понятно, нужна... Я вам приведу одну борзую, а? Привести?

— Не знаю, как жена, вот что я хотел сказать. Она собак никаких не любит... И до сего времени обходились ведь без собаки, — ничего.

— Ну, как же можно, послушайте: иметь свой дом и не иметь собаки! Я могу и гончую вам дать на время войны, разумеется, а потом возьму обратно.

— Да нет, знаете ли, лучше не надо. — и пытался уйти от поручика Худолей, но тот был неотступен.

— Двух уж пристроил к месту, — говорил он, — только две осталось: борзая и гончак. Прекрасный гончак, вы убедитесь, — а если хотите борзую, то отчего же: приведу борзую.

Так как Худолей хорошо знал свою Зинаиду Ефимовну, то, несмотря на весь свой талант жалости, не решился все-таки пожалеть Середу-Сорокина и постарался спастись от него, нырнув в дверь околотка, где совсем не было больных в этот день, и только класный фельдшер Грабовский сидел на табуретке и читал газету по старому привычке своей интересоваться политикой.

Проверив опытными пальцами, так ли, как надо, лежат его усы, Грабовский, губернский секретарь по чину, имевший поэтому две звездочки на погонах, сказал значительным тоном:

— Двое суток, — срок ультиматума, — прошло уж Иван Васильевич! Теперь думайте, что хотите. Может быть, там уж началось, только-что мы не знаем.

— Нет, это не может быть так скоро, — решительно отверг опасность Худолей. — Ультиматум — одно, а военные действия — совсем другое... Я убежден, что договорятся в конце-концов.

Грабовский улыбнулся снисходительно: в вопросах политики старший врач полка казался ему сущим младенцем; и Худолей признавал его над собой превосходство в этих вопросах, однако те-

перь ему не хотелось уступать своему классному фельдшеру, и он добавил:

— Сколько на свете мирных людей и сколько воинственных, — попробуйте-ка прикинуть на счетах.

— Ваша правда, Иван Васильич, мирных, может быть, в двести раз больше, только власть-то не в их руках, — вот в чем заковычка! — победоносно возразил Грабовский. — Потому-то у нас и начинают уж проявлять энергию... Даже вот Акинфиев идет сюда! — и кивнул на открытое полотнище палатки.

Акинфиев, младший врач, ежедневно заходил в полк, и совсем не нужно было вставлять «даже», но несколько насмешливое отношение сорокадвухлетнего уже фельдшера к молодому врачу, с одной стороны, и необычайность момента — с другой, подсказало ему именно это словечко.

Высокий, но узкий и сутулый, в дымчатых очках, так как глаза его боялись слишком яркого здесь летнего солнца, Акинфиев имел вид больного, желавшего, чтобы его уверили в скором выздоровлении.

— Что это, Иван Васильич, суета такая в полку, будто тревога объявлена? — спросил он, войдя поспешно и улыбаясь робко.

— Неужели суета? Я что-то не заметил, — сказал Худолей.

— Да и мне, пожалуй, так только показалось, — тут же согласился с ним Акинфиев и благодарно посмотрел на Грабовского, который заметил, глядя в газету:

— Сказать, чтобы особая какая-нибудь суета, этого нельзя: идет подготовка, конечно, на всякий случай...

— Я тоже думаю, что это еще суета не то, чтобы настоящая... Именно на всякий случай, — тут же согласился Акинфиев, а Худолей, вспоминая, что услышал от полковника Черепанова, но не желая говорить об этом, вставил будто бы между прочим:

— Хирурга нам должны бы прислать, а то ведь ни я, ни вы, не сильны в хирургии.

— Мало того, — запасных должны пригнать тысячи две, чтобы полк был по военному составу, а не по мирному, — сказал Грабовский и выпятил грудь: у него была выправка.

— Запасных? — удивленно повторил Акинфиев. — Ведь это бывает, когда уж мобилизация...

— Вот тебе на! — Удивился и Грабовский. — Конечно же, раз война, то и мобилизация!

Но то, что было ясно для одного, — оказалось и темно и непостижимо для другого.

— Однако же в японскую войну так же было, — это я отлично помню, —

сказал Акинфиев. — Война уж шла, мобилизацию потом объявили.

— Кажется, именно так и было, — подержал его, впрочем, весьма неуверенно Худолей, но Грабовский вскинулся, — фельдшер-политик на двух врачей, не привыкших читать газеты:

— Как же это вы судите, не понимая? Ту войну японцы начали как? Как вы кто ее не начинал никогда, — вот как! Пока наши только еще ворон ловили, а уж армию свою высадили, — получайте! — Да-а, — протянул весьма неопределенно Худолей. — Что-то в этом роде, действительно, было... Но в общем, если в полку суета, то, значит, надо суетиться и нам... Пойти хоть свои лазаретные аптечки посмотреть.

— А что же их смотреть? — сказал на это Грабовский и потом снова сел на табурет и уткнулся в газету, когда Худолей, взяв под руку Акинфиева, вышел из околотка.

— Вот беда, Иван Васильич, если я в самом деле война начнется, — доверительно и вполголоса обратился Акинфиев к Худолею, шапаяляясь с ним в сторону обоза. — Расстроится тогда моя свадьба!

Худолей ни разу не слышал от него раньше, что у него есть невеста, поэтому удивился, но не успел спросить, кто же именно: очень зычно заорал дневальный десятой роты, ходивший со штыком на поясе по передней линейке:

— Кап-те-нармусов ротных выслать на середину полка-а-а!

Крик этот тут же был подхвачен дневальным одиннадцатой роты, потом двенадцатой, потом перекинулся в четвертый батальон. Дневальные вели обычную передачу, и были похожи на утренних петухов, но в этот день все почему-то казалось очень значительным.

— Каптенармусов на середину полка вызывают, — зачем же это? — спросил Худолей вместо того, чтобы спросить своего младшего врача о его невесте.

— Получать что-нибудь из полкового цейхгауза, — подумав, ответил Акинфиев.

— То-то и дело, что получать, а что именно? Не для запасных ли что-нибудь такое, а?

И как-раз в это время, так как недалеко было до обоза, раздался оттуда начальственно-хриповатый голос капитана Золотухи 1-го, командира нестроевой роты:

— Отчего колеса у аптечных ливуколов не подмазаны, а?

Худолей и Акинфиев переглянулись, и первый сказал второму:

— Слыхали? Колеса уж подмазывать требуют!

— Вот в том-то и дело, — улавшим голосом отозвался второй.

— Говорится: не подмажешь — не поедешь.

— Понятно: собираются ехать.

Но на пути к Золотухе 1-му попался командир шестнадцатой роты Золотуха 2-й, тоже капитан и брат 1-го, такой же бородатый и черный, с таким же хриповатым рыком.

— Что, уже колеса подмазывают? — гайнственным голосом спросил его Худолей, кивнув в сторону обоза, но Золотуха 2-й или не понял, или не захотел понять намека. Его рота была выстроена перед палатками и делала ружейные приемы под команду фельдфебеля Фурса.

Низенький, но очень плотно сбитый, Фурса скомандовал:

— Начальник слева! — Слуша-ай, на кра-ул!

И на Худолея, звякнув винтовками, выкатили глаза вся рота, так как именно он, в сопровождении Акинфиева, пошел в это время слева.

Фурса должно быть просто хотел воспользоваться случаем, чтобы солдаты его роты действительно видели кого-то, подошедшего слева, но, видимо, это не понравилось Золотухе 2-му, почему он и неприязненно встретил Худолея.

— Какие колеса? — спросил он хмуро.

— Обозные, — пояснил Худолей.

— Так что? Подмазывают?.. Колеса они на то и существуют, чтобы их подмазывали, — что же тут такого?

— Однако же, если их не подмазывали раньше, значит, не нужно было, — постарался еще ближе к делу подойти Худолей, но Золотуха 2-й вдруг закричал неистово своему фельдфебелю:

— Вся середина первой шеренги штыки завалила, а ты куда смотришь! — и ринулся в роте.

Канцелярия полка и летом продолжала оставаться в городе, там же, где была и зимою, но из этого не вытекало никаких неудобств: дом стоял на окраине, среди других домов казарменного квартала, а лагерь начинался недалеко от казарм.

Худолей давно уже помнил этот лагерь, однако в первый год его службы в полку, тополи, со всех четырех сторон замкнувшие лагерь, были только-что посажены, теперь же они встали четырьмя высокими стенами, отрезавшими этот мирок от остального мира. Если в остальном мире кругом было множество интересов, разнообразно переплетающихся между собою, то здесь плохо ли, хорошо ли делали только одно: готовили полторы тысячи людей к сражениям. Была даже одна команда: «К бою готовься!», по которой штык грозно оборачивался в сторону возможного врага, великого лобовую атаку.

Здесь кололи соломенные тучела с разбегу, занимались самокапыванием, пуская в ход свои саперные лопатки, брали

на ура земляные валы и деревянные заборы — укрепления противника...

Главное, здесь было поле кругом, гораздо более похожее на поле сражения, чем зимняя казарма. Поэтому Худолею всегда казалось странным видеть и в лагере те же ружейные приемы, как и на дворе казарм, но теперь эту заботу Золотухи 2-го о чистоте приема «Слушай, на кра-ул!» он принял за упорное нежелание знать, чем взволнован весь мир.

Впрочем, из шестнадцати ротных командиров полка, Золотуха 2-й казался всегда ему едва ли не самым отсталым, недалеким, наименее склонным к какой-бы то ни было новизне, к какой-нибудь, хотя бы самой небойкой игре мысли.

Однако и другие пятнадцать командиров рот были капитаны, как капитаны, — довольно прочно сработанные люди.

Один, впрочем, капитан Диков любил вырезать лобзиком рамки для фотографий, но Худолей затруднялся решить, — очень лучше это, чем игра в преферанс, или не очень; во всяком случае, это не увеличивало его чисто военных знаний.

Как врач, он больше знал офицеров полка и их семейства со стороны здоровья, но отойдя от шестнадцатой роты настолько, что его не могли бы услышать ни Золотуха 2-й, ни двое его полуротных, ни Фурса, он неожиданно для себя сказал Акинфиеву:

— Ведь это вот, что мы с вами видим. и есть именно будущее России!

— То-есть, как будущее? — не понял Акинфиев.

— Ну, в общем, я хотел сказать: то, от чего зависит наше будущее, — и все, и всех ста семидесяти или восьмидесяти миллионов, сколько их там считается граждан России, — уточнил Худолей.

Эта простая мысль осенила его внезапно и удивила его: никогда раньше не приходилось ему задумываться над этим; и некогда было, и как-то не было подходящего случая. Но Акинфиев все-таки смотрел на него с недоумением, почему он и продолжал, воодушевляясь:

— Представьте хоть на одну минуту такую картину... При Николае I говорили: «Сорок тысяч столоначальников, — то-есть, разных там титулярных советников, мелких чинушек, — управляет Россией...» Вообразите же сорок тысяч ротных командиров, и скажите, пожалуйста, не в их ли руки будет отдана судьба России, если начнется война?

— Отчасти, конечно, в их руки... — начал было возражать Акинфиев, но Худолей перебил:

— Как же так «отчасти»? Не отчасти, а вполне! Без капитанов нет полков, без полков не будет дивизий... Капитан это — альфа и «омега» армии, все равно, что Николаевский столоначальник?

— А командиры полков, бригад и прочие?

— Приказывать будут, а выполнять их приказы — на это имеется капитан Золотуха... Он не боится золотухой, но, может быть, лучше бы было, если бы болел и не служил поэтому в армии, а на его месте был бы кто-нибудь другой — и помоложе, и поумнее.

— Вот как вы уж теперь рассуждать стали, Иван Васильич, — удивленно сказал на это Акинфиев, остановившись: ему никогда прежде не приходилось слышать подобное от своего прямого начальника, который был чрезвычайно снисходителен к людям. — Может быть, вас чем-нибудь обидел Золотуха?

— Чем же он мог бы меня обидеть? — удивился в свою очередь Худoley. — Нет, ничем... Разве что самым фактом своего существования...

— Насколько мне известно, он существует в полку лет двадцать, однако же...

— В обстановке мирного времени, — перебил Худoley. — Но ведь в обстановке мирного времени все вообще военные только исключение. В Англии нет воинской повинности, и там, говорят, встречаются на улицах военные совсем не так часто, как у нас... Но вот, пожалуйста, война, и у нас их, может быть, в десять раз будет больше... В чьих же руках будущее России? — Вот только это я и хотел сказать...

Он двинулся с места, чтобы на ходу закруглить свою мысль, но из деревянной палатки, в которых поселялись на лагерное время батальонные командиры, вышел подполковник Швачка, ведавший четвертым батальоном, и сказал как бы расслабленно:

— Вот говорится: на ловца и зверь бежит... Это правильно, господа медики. Зайдите-ка на минуточку.

Медики переглянулись и зашли в маленький барак Швачки, в котором помещались только стол, стул и койка, и очень трудно было бы поместить что-нибудь еще. Два окошечка прорезаны были по сторонам двери, а пол был выкрашен красной охрой. Несколько кустов розовой мальвы росло около барака, и это было все украшение подполковничьей летней здесь жизни.

Швачка был тучный оплывший старик, однако Худoley не помнил, чтобы он жаловался ему на болезни; теперь же он, впустив обоих врачей и заботливо прикрыв за ними дверь, сказал вдруг вполголоса:

— Плох я стал, господа медики... Откровенно говоря, — ни-ку-да!.. Послушали бы вы в свои... как они называются?

— Стетоскопы, — подсказал Акинфиев. — У меня, к сожалению, нет.

— И я не захватил. Но это, в сущности, ничего не значит, — решил Худoley. — У каждого из нас есть уши.

— Что же, снимите рубаху, посаушаем.

До предельного возраста для подполковников Швачке оставалось всего два-три месяца, — это знал Худoley, как знал и то, что вообще подполковники, так же, как и капитаны, «предельного возраста» не любят: с ним связана ставка и пенсия, на которую трудно прожить.

Однако в эти тревожные дни мог быть спасителем и «предельный возраст» и могли быть желательны часто связанные с ним болезни. Расспрашивать о чем-нибудь Худoley счел излишним. Перед ним стоял покорно снявший рубаху, жирнотелый, с волосатой выпуклой грудью человек, — весьма поживший, лысый, с тусклыми глазами, с сединой в бороде и усах, по строевой привычке старавшийся держаться прямо, но чуть только память подсказывала ему, зачем он пригласил врачей, вдруг начинавший сутулить спину и шею.

Худoley стучал пальцами в его грудь, прикладывая к ней ухо и говорил то «Дышите!», то «Не дышите!», то «Вздыхайте глубже!»... Наконец, отошел на шаг и уступил свое место Акинфиеву, который тоже стучал пальцами и слушал.

— Приляжьте-ка, — обратился потом к пивали: «Больно?», на что подполковностью, которой требовал от него этот важный в его жизни осмотр, грузно улегся на заскрипевшую койку.

Поочередно мjali ему живот и спрашивали: «Больно?», на что подполковник предпочитал отвечать, что больно вообще и везде больно.

— Явная эмфизема легких, — сказал после всех своих действий Акинфиев, — а также и гипертрофия сердца.

— Кроме того, цирроз печени, — добавил Худoley. — Можете надеть рубашку. — И как же все это, господа — серьезно? — спросил Швачка, поднявшись и натягивая рубашку.

— Еще бы не серьезно, — утешил его Акинфиев.

— Разумеется, — окончательно ободрил его Худoley. — Притом же это ведь поверхностный осмотр, а если более детальный, то к трем основным дефектам может ведь присовокупиться и еще...

— А разве трех этих, как вы их называли, не будет довольно? — на всякий случай спросил Швачка.

— Вполне довольно, — успокоил его сомнение Худoley; Акинфиев же пояснил:

— Важна ведь степень запущенности болезней... Может быть и одна болезнь, да зато в такой сильной степени, что... А тем более если три.

Когда благодарно пожимал руки врачей Швачка и отворял перед ними дверь своего барака, оживленным стало его

широкое лицо и помолодел голос. Когда же на его вопрос:

— Как же думаете, Иван Васильич, могут меня оставить здесь командиром запасного батальона?

— Какого запасного батальона? — не сразу понял Худолей.

— Нашего полка, конечно: полк уйдет, — а маршевые команды к нему на фронт откуда же посылаться будут? — Из запасного ведь батальона.

— Ах, да, — как в Японскую кампанию было... Отчего же не могут! Вполне могут. Вы скажите об этом командиру полка.

— Да я уж говорил, и даже почти обнадеежен, — решил теперь улыбнуться Швачка.

— Сегодня мне попенял командир полка, что мы с вами оба — не хирурги, — сказал Худолей Акинфиеву, направляясь к обозу, — а между тем, конечно, война, это — сплошное увечье человеческих тел... Не хирурги, да, но мелкие операции можем все-таки делать, а вот один командир батальона счел за благо остаться в тылу...

— Иван Васильич! — вдруг просительным тоном отозвался на это Акинфиев. — В самом деле ведь, запасной батальон как же может обойтись без врача? Не могу ли я остаться здесь врачом в запасном батальоне, а?

Так непосредственно это было сказано, с такою верой в только-что явившуюся мысль глядел младший врач на старшего, что Иван Васильич даже отвернулся сконфуженно.

— Запасному батальону никакого врача особенно не полагается, — ответил он и добавил: — А нам с вами еще рано отлынивать... Швачке все равно подходит уж предельный возраст, а вам что такое?... Ах, да, — жениться захотели?... Стоит ли перед войной жениться, — подумайте-ка. По-моему, подождать бы до конца войны.

— Да ведь войны, может быть, и не будет, — сказал на это Акинфиев, чтобы сказать что-нибудь.

— Может быть, и не будет, — счел нужным согласиться Худолей, чтобы загладить неловкость. А в обозе тем временем уже шла война: там развоевался Золотуха 1-й, и хрипучий голос его тяжело реял над линейками и двуколками, выкрашенными в прочный зеленый цвет и с толстыми железными шинами новых дебелых колес.

## 5.

Не потому только, что здесь стояло два полка, — пехотный и кавалерийский, — успело докатиться сюда слово «мобилизация», дня за три до того прозвучавшее в Красносельском дворце: слишком многих касалась эта военная мера, чтобы ее соблюдали, как строгую

тайну, пока она не была бы объявлена всем.

— Вот штука-то! Будто бы не один только запас, а даже и ополченцев первого разряда брать будут! — войдя в свою квартиру, сказал Макухин Наталье Львовне, сидевшей на балконе с Дивеевым.

Бывают такие новости, которые высказывают только затем, чтобы начали яростно опровергать их, — иначе они слишком пугают. Макухин не то, чтобы надеялся на это со стороны жены или Алексея Ивановича, которые знали по части запаса и ополчения гораздо меньше, чем он, но даже услышать энергично сказанное кем-нибудь из них слово «чепуха» для него было бы как вода во время жажды.

И Наталья Львовна первая сказала: — Чепуха, должно быть! Болтают лишь бы побольше наболатать.

— Это о чем? — осведомился Дивеев.

— Будто бы и ополченцев брать будут, — повторил Макухин.

— Ополченцев? — Дивеев задумался на секунду и спросил: — Когда же их? В конце войны?

— В том-то и дело, что будто бы не в конце, а в самом начале: запас и ополчение в один день.

— Никогда этого не было! Никогда не слыхал я, чтобы... Нет, это — явная, действительно, чепуха, Федор Петрович!.. Ополченцы, ведь это что же такое? Это — бороды по поясу и топоры за поясом... На какой-то картине я видел, — в двенадцатом году такие были, — сто лет назад... Как же можно, — даже и подумать смешно! Нет, ты не верь!

Алексей Иванович даже и руки поднял вровень с лицом, чтобы защитить себя от чепухи явной и недвусмысленной и оберечь от нее Макухина.

— Я и сам тоже думаю, — какая же такая крайность, чтобы тут тебе сразу и запас, и ополчение, — решительно чтобы всех? — начал рассуждать, перейдя с балкона в комнату, Макухин. — Кормить ополченцев нужно? — А как же не кормить? — Это денег будет стоить? — Еще бы нет! — Раз!.. Помещение для них надо заготовить? — Полагать надо, что не на свежем воздухе будут они жить. Это тоже кладти на счеты... Да если все как есть, что для них, для ополченцев, требуется, на счеты положить, — в казне и денег нехватит! Не считая того, что от дела их оторвут, — прямо сказать, миллионы людей, а толку от них никакого: молодых обучать еще строю там, стрельбе и прочему надо, а стариков переобучивать... По всем видимостям выходит, — кто-то зрящий слух об этом пустил, а людям разве втолкуешь? Прямо, как перед светопреставлением каким все головы потеряли!.. Полезна сейчас видал, — говорил с ним, и тот туда же: — «А что, говорит, если и мои года брать

будут?» — А ему уж пятьдесят, — и то страшится: «Детишки, говорит, только еще ползать начали, а ходить еще не ходят, — вдруг прикажут: «Надевай шинелю!»... Конечно, об деле нашем он теперь вовсе молчок. — «Слава богу, говорит, что не начал!»

Дивеев вскопчил и начал ходить из угла в угол, спугая очень быстро, что было у него признаком охватившего его волнения.

— Я был в тюрьме, — заговорил он, — а потом в каком-то маленьком сумасшедшем доме, — помню, помню... Однако, позвольте, чем же отличается это? Там — маленький, а здесь — большой, — только, только. Дело в размерах, и, кроме того, там, в общем, безвредно было... Пользы, разумеется, никому никакой, зато хоть явного вреда не было. А что же такое теперь собирается начаться, а?... Австрия, Германия, Сербия, Франция, — все, все, — вся Европа! А потом еще какая-нибудь комета явится посмотреть, как Земля с ума сходит!.. Комета с двумя хвостами... А хотя бы и с одним, все равно... Войны нет пока, однако почему же это, почему же допускают так много разговоров всяких о ней, а? В газетах умные люди или нет сидят? В дипломатах, в министрах умные люди? С генеральскими эполетами, со звездами налево направо от лент: через плечо, а?... Нет!.. Тогда почему же такой начинается всеевропейский погром здравого рассудка?.. Федор Петров! Быть этого не может, чтобы началась война! Не верь!..

— Да ведь кому же хочется верить? И я не верю, — упираюсь, конечно, изо всех сил, а как ежели по запылку стукнет, тут уж не в веру будет значение, а в силу, — проговорил Макухин, все-таки несколько ободренный беспорядочными словами бывшего архитектора.

— В мире чего больше, скажи: ума или глупости? — схватив его за плечи, спросил горячо Дивеев.

— Да ведь глупости, конечно, тоже хватит, — понимая, к чему этот вопрос, уклончиво ответил Макухин.

— Нет-с ума! Все-таки ума, иначе не было бы совсем жизни! — выкрикнул Дивеев. — В двести раз больше ума, чем глупости, откуда же, скажи, может взяться война?

— Смотря, что перетянет, — хотел сдать, но намеренно тормозил себя Макухин. — Пудовая гиря, — она ведь невидная, или камень-дикарь возьми, а половы, скажем, овсяной, ее на пуд сколько пойдет? Мешок половы на спину вскинь, — тебя за этим мешком и видно не будет... Знаешь, как Адам в раю пару волов своих обманул, на которых там землю пахал?

— Нет, не знаю, — опешил несколько Дивеев.

— Это мне татарин один рассказы-вал... Волы, конечно, трудились, — при-

шел им черед хлеб молотить своими ногами, — обмолотили... Вот какая кучка того хлеба лежит, вон какой омет соломы наворочен. Ну, Адам, конечно, и спрашивает: «Чем хотите кормиться, — выбирайте... Что себе выберете, то и будете от меня получать каждый день». Волы смотрят на хлеб, — так себе кучечка незавидная; смотрят на солому, — прямо целый дом стоит, и запах от этой соломы вкусный. Пошли мычать впервой: — Вот это нам давай! — и рогами в солому уперлись. Адам, конечно, тому и рад: «Это и будете от меня получать, — я своему слову верный»... Кинулись волы к той соломе — вот хрумчат и вполне довольны, Адам же тот хлеб свой поскорее с ихних глаз долой, натолок зерна в ступе да лавашу себе напек... Так точно и это, что ты говоришь.

— Что же тут такого «так точно»? Я тебе об уме и о глупости, а ты мне какую-то сказку про белых бычков! — почти рассердился Алексей Иванович.

Не знаю уж, белые они были или же серые, а только ежели счесть Адама за умного, а волов его, конечно, за дураков, то посчитай, на сколько в Адаме весу, да сколько в паре тех волов, хотя бы и райских.

— К чему же ты клонишь, не понимаю? — недовольно спросил Дивеев.

— Да к чему же мне больше клонить, как не к уму да глупости? Ведь я твои же слова повторяю, — отозвался Макухин.

— Хорошо «повторяю!» Разве так повторяют? — вмешалась Наталья Львовна.

— Я ведь неученый, что же с меня взять, — угрюмо улыбнулся Макухин.

— Как умею, так и повторяю... А как если ополченцев брать будут, значит, придется тогда итти.

— Как это так «придется итти»? Ты что это глупости говоришь? — возмутилась. Наталья Львовна, докурившая к тому времени папиросу и бросившая в угол окурочек.

— От нескольких человек слышала.

— От таких, каким нужна война? — резко спросила Наталья Львовна.

— Кому же она тут нужна?

— Ну, да, конечно, кому же она тут нужна? — поддержал Макухина Алексей Иванович. — Тут пушечных королей нет.

— Илье Лепетову нужна, — вот кому! У него, как известно, большие планы, — сказала Наталья Львовна.

— Кроме того... Кроме Ильи... тут еще кое-какие заводилки есть, — пробормотал Дивеев не совсем внятно.

— Вот видишь, — заводилки, — подхватил, обращаясь к нему, Макухин.

— А они что же, как по твоему, — ум или глупость?

— Однако старая рана в сердце Алексея Ивановича была уже вновь разбережена

криком Натальи Львовны, и он ответил не на вопрос Макухина, а на свой: — Илье, конечно, бесспорно, ему война, да, ему... Он в ней разберется, как собственном доме... Она — для него... для таких, как он, я хочу сказать... Однако разве Илья Лепетов это — ум? Но только подлость с открытой харей, совсем не ум!... Он подойдет, да, он обернется из любых тисков, и он достигнет... Несмотря ни на что, или... Или благодаря всему... Даже и войне тоже. Он приспособит к себе войну, — вот в чем его ум: в том, чтобы приспособить перзость, тюрьму, сумасшедший дом!..

Это был вечерний уже час, когда следящая спала после обеда, а полковник Добычин выходил на прогулку. Если не с кем было гулять, он уходил один, и вот теперь в прихожей раздалось шлепанье туфель спешившей на его звонок прилуги, потом стало слышно, как он превратно бодро почему-то крикнул... Таким бодрым и кричащим он и вошел в комнату, где говорили трое, волнуясь.

— Вот какую новость подхватил я прямо, можно сказать, на улице! — начал он сразу, как только вошел. — Австрия-то якова? — объявила уж, говорят, войну Сербии!

— Как так объявила? — почти шопотом прошелестела Наталья Львовна.

— Очень просто: взяла и объявила! Ведь срок ультиматума прошла, а как же!... Значит, Сербия чем-то не угодила, — вот и начали.

— Да от кого же это вы? — изумился Макухин. — Отчего же я не слышал? Я ведь только-что сам пришел, — другое слышал, а этого нет.

— А что такое ты слышал? — полюбопытствовал Добычин.

— А вы от кого слышали про войну? — захотел сначала удостовериться Макухин.

— Грек один говорил в табачной лавке, что уж будто австрийцы стрельбу через Дунай по Белграду открыли, — вот откуда.

— А грек этот откуда же мог узнать? — усомнился Алексей Иванович.

— Как же так откуда? Греки чтобы не знали! — не сдавался полковник. — Да они всю подноготную знают.

— Однако же никаких телеграмм...

— А, может быть, у них свой телеграф, — кабель какой-нибудь в Черном море!.. Вообще, греки, это я вам скажу... А что ты слышал? — обратился полковник к Макухину.

— Я — плохое... Будто ополченцев первый разряд призывать вместе с запасными будут...

Макухин думал, конечно, что его тесть возмутится этим так же, как жена и Алексей Иванович, но увидел, что полковник как-то выткнулся вдруг и посмотрел почему-то молодцевато.

— Ополченцев? — раздельно спросил он.

— В том-то и дело.

— Составлять, значит, дружины ополченские думают? По регламенту Александра Первого? Тысяча девяносто шесть человек в дружине?.. Вот это, это, действительно, новость! От кого же ты это слышал?

С каждым своим восклицанием полковник выпрямлялся и, наконец, даже как будто попробовал выпятив грудь.

— Несколько людей говорило, — не от одного слышал.

— Но ведь в таком случае, — знаешь ли ты, что я состою в списке штаб-офицеров, пред-назначенных к занятию должностей командиров дружин?

— Папа! Вот как? — удивилась Наталья Львовна. — Отчего же я об этом не знала?

— Неужели я не говорил? Говорил, должно быть, да ты недостаточно вслушалась в мои слова, почему и забыла... Да-с, вот, именно так: могу быть командиром дружины. А ты, значит, будешь у меня под командой, если тебя возьмут.

И полковник покровительственно положил руку на спину зятя и добавил:

— Неловко, конечно, нижний чин ты, — ну, что делать, — как-нибудь тебя устрою...

— Выходит, Лев Анисимович, что вы как будто бы даже... ничего не имете против войны? — спросил Дивеев.

— При чем же тут война, братец? — прогудел начальственно Добычин. — Война и дружина! Дружина будет себе в тылу, хотя бы здесь, нести гарнизонную службу, и все... И никто с нее ничего больше не спросит.

## Глава восьмая

### ИСПУГАВШИСЬ ДОЖДЯ, ПРЫГНУЛА В ВОДУ

#### 1.

Надя и Нюра, отправляясь в Петербург, сели не на курьерский, а на почтовый поезд, однако вместо двух с половиной они пробыли в дороге почти четыре дня: почему-то очень долго стоял на узловых станциях их поезд, пропуская вперед какие-то другие, большей частью товарные поезда — красные вагоны и платформы. Надя строила сначала догадки, что простои на узловых станциях от забастовок, так что эти задержки на пути в бастующую столицу только поднимали ее настроение. Но, проехав Харьков и Курск, она, как и другие пассажиры, убедилась в том, что мешают движению их поездов военные поезда, которые идут не в целях подавления забастовки.

Выходя кое-где на станциях с чайником за кипятком, Надя очень вниматель-



но смотрела по сторонам и вслушивалась в разговоры, однако пока все еще оставалось прежним — и станции с их суетой, и разговоры.

В Понырях, здесь на перроне толпилось много солдат, Надя спросила одного, веселого с виду:

— Далеко едете?

— Куда везут, туда и едем, — ответил веселый.

— Куда же вас везут?

— Про это начальство знает, — сказал веселый; но приглядевшись к ней другой, с тяжелым взглядом, с серебряным кольцом на указательном пальце и с одним лычком на погоне, и спросил ее сам:

— А вам, барышня, зачем же это требуется знать?

— Так себе, — сказала простосердечно Надя.

— А «так себе», значит, это вам ни к чему, — загадочно решил ефрейтор, но смотрел на нее при этом так неприязненно, что она только вздернула плечом и отошла.

В отношении Нюры она вела себя подлинной старшей сестрой. В дороге это было тем более к месту, что Нюра в первый раз выехала из Крыма, а Наде было уже знакомо много станций и, хотя из окна вагона, но она уже видела раньше и не один раз многие города по магистрали Петербург — Севастополь, и с каждым у нее уже было связано кое-что.

Так, когда подъехали к Павлограду, она говорила Нюре:

— Там возле станции шпал очень много лежит, — шпалопротиточный завод рядом, а города не видно совсем: он где-то там за дубовым лесом...

Когда подъезжали к Харькову, предупредила:

— Тут такой запутанный вокзал, — столько платформ в разные стороны, что тебе одной нельзя там и выходить!

— Ну, вот «нельзя!» — обижалась Нюра. — Почему это нельзя?

— Потому и нельзя. Заблудишься там и попадешь как-раз не в свой поезд... Тем более, что там поезд передвигают почему-то с одной платформы на другую — то туда, то сюда.

— А город видно?

— Еще бы не видно, когда там университет!

— Когда после Харькова поезд миновал Казачью и Веселую Лопань, Надя говорила:

— Сейчас Белгород. Обрати внимание: церковней в нем, — и сосчитать нельзя!

— А почему он Белгород?

— Как же так «почему»? Он же весь на меловых горах стоит... Конечно, это не то, что наши Крымские горы, а так себе, ну, все-таки весь мел, каким ты на доске в классах писала, не иначе как оттуда шел.

Курск очень понравился Нюре.

— Вот это красивый город, — говорила

она. — Этот, действительно, на год стоит.

— А река, мне говорили, там маленькая, вроде нашего Салгира.

— Какая? Как название?

— Название... Я сейчас вспомню... Кое-то очень чудное...

И Надя долго силилась вспомнить щелкала пальцами, делала досадавшие гримасы, наконец, — выкрикнула:

— Тускарь, Тускарь! Речка Тускарь! Дальше будет Орел, — там Ока, а Курске — Тускарь.

И добавила с большим оживлением.

— А гусей белых ты увидишь, когда мы между Курском и Орлом будем ехать прямо миллионы! Как в Белгороде гор все белые, так там прямо лугов из гусей не видать: все решительно, как молоком залиты, — везде гуси!

Надя не просто показывала младшей сестре страну, в которой они жили, она не была беспристрастным путешественником, она сама упивалась просторами, красотой богатством земли, расстилавшейся вправо и влево от железной дороги, перерывавшей с севера на юг русскую равнину.

Больше того: Надя чувствовала себя совсем по-хозяйски, и так начала чувствовать только теперь, когда взяла Петербург, столицу России, Нюру, и когда до того не видавшую просторы России.

Она как будто сама росла и очень стремительно, переживая вновь то, что уже было ей известно, но впитывая в себя гораздо глубже. Она следила при этом и за сестрой, и ей чуть ли не при ступлением казалось, когда замечала ее рассеянный, полусонный взгляд Нюры стоявшей у окна в коридоре вагона, окна, за которым — море чудес.

Она понимала, конечно, что обилие впечатлений могло утомить сестру, в самой ей все хотелось в кажущемся однообразии картин отыскать новое новое.

Она везла новое в себе самой; она одаряла этим своим новым сестру, но готова была одарить и всех кругом, и все кругом. Она оказалась самой словоохотливой своим купе и во всем вагоне.

Спала она мало, тем более, что июльские ночи, чем дальше к северу, становятся все короче; вскакивала чем свет выходила на площадку вагона и шпиривала кондуктора:

— Это мы на какой станции стоим?

По ночам поезд больше стоял, чем шел. Что-то совершалось под прикрытием ночей, — Надя ощущала это, хотя и не могла осмыслить. Совершалось что-то большое, творилось чья-то воля, перевертывалась страница истории поезда еще с легким шелестом.

В Москве пришлось спать: поезд пришел туда поздно вечером и простоял там всю ночь. Так как вагон, в котором ехали Надя с Нюрой, был прямого сообще-

ия до Петербурга, то его вместе с другими подобными прицепами к паровозу перевезли по окружной дороге в состав петербургского поезда. Однако тронулся этот поезд не так рано, — часов девять, так-что по вагонам уже проехали мальчуганы с только-что вышедшими московскими газетами.

Надя успела уже заметить за свою короткую пока жизнь, что в поездах у людей появляется почему-то чудовищный аппетит и непреодолимая тяга ко лу; газеты же, если и покупались, то исключительно в хозяйственных целях, как оберточная бумага; едва брали их в руки люди, расположившиеся на верхних полках, как тут же засыпали, не успев прочитать и десяти строк.

К удивлению своему, она наблюдала то и теперь, несмотря на то, что день только еще начался, а в газетах, хотя и между строк, можно было найти объяснение тому, что их почтовый поезд не спешил, спешили же, напротив, товарные поезда, которые везли на платформах что-то очень тщательно прикрытое брезентами и охраняемое солдатами. Та московская газета, которую купила Надя у разносчика мальчишки, наполовину состояла из объявлений. В них же заглядывала она, но зато прочитала все остальное, и это была первая газета, которую Надя прочитала с передовой статьи до объявлений.

Она думала, что прежде всего ей бросится в глаза со столбцов газеты знакомый уже заголовок: «Забастовка в Петербурге»; однако о забастовках на всех восьми страницах не было ни слова. Зато сверху одной из страниц была «шапка», набранная очень крупными буквами: «Угроза европейскому миру», и вся эта страница переполнена была чрезвычайно важным.

Прежде всего сообщалось о расколе в тройственном союзе. Крупным шрифтом было напечатано извещение «по телефону из Петербурга»:

«Римский кабинет в определенной и ясной форме заявил, что если Австрия начнет войну против Сербии, то Италия не окажет Австрии никакой военной помощи, так как это не входит в круг обязанностей Италии, обусловленных союзным договором между нею и Австрией».

И еще тем же шрифтом:

«Германия, как это точно установлено, была отлично осведомлена о тоне и сущности требований австрийского ультиматума, и выступление Австрии состоялось с ведома и согласия берлинского кабинета. Момент вручения ноты был выбран Германией и Австрией по общему соглашению».

И несколько ниже, но в том же столбце:

«Англия через своего посла в Берлине только-что сделала германскому пра-

вительству заявление, что в случае европейской войны Англия станет на сторону России».

— Нюра, слушай! — то-и-дело обрадовалась Надя к сестре, читая ей новость за новостью, одна важнее другой.

Сообщалось, что в Мюнхене немцы разгромили кафе, где обычными посетителями были сербы: перебили посуду, мебель, зеркала, люстры, окна, а сербов избили. В Берлине отмечались демонстрации перед русским посольством: огромные толпы целый день собирались там и кричали: «Долой Россию! Долой сербов!»

Главное же были помещены на этой емкой странице ответы: сербского правительства на ультиматум и австрийского — на сербский ответ.

Надя напряженно вчитывалась в тот и другой.

Дважды перечитывала она сербскую ответную ноту и возмущенно сказала Нюре:

→ Ну, это я даже не знаю, что это такое! По-моему, сербы себя страшно унизили. Я их считала храбрыми, а это уж называется извиняться во всем, в чем даже не виноват!

— На что же они согласились? — спросила Нюра.

— На всё, — понимаешь, — на всё решительно! И чтобы в газетах сербских против Австрии ничего не писали, и чтобы офицеры и чиновники сербские против Австрии ничего не говорили, а иначе против них приняты будут суровые меры; и если кто уличен будет, что так или иначе в Сараевском убийстве участвовал, то предан будет суду... Ну, одним словом, на всё соглашаются, прямо досадно!.. Только вот разве это одно: «Что же касается расследования агентов австро-венгерских властей, которые были бы откомандированы с этой целью... то королевское правительство не может на это согласиться, так как это было бы нарушением конституции и законов об уголовном судопроизводстве». И, понимаешь, за это-то именно и ухватились австрийцы! «Под ничтожным предлогом, — они пишут, — совершенно отклонено наше требование об участии австро-венгерских органов в розыске находящихся на сербской территории участников заговора»... И конечно! Значит, ответная нота найдена австрийцами неподходящей!.. А сами они что сделали? Вот смотри: — «За несколько часов до истечения срока ультиматума в Будапеште был арестован начальник штаба сербской армии генерал Путник, находившийся в целях лечения на одном из австро-венгерских курортов». Вот тебе и ожидали ответа на ультиматум! Очень он им был нужен, этот ответ! А ты знаешь, что это за шишка такая начальник штаба армии? Это все равно, что армии голову отсечь!

— Ну-у, поло-ожим! — недоверчиво про-  
снула Нюра.

— Вот тебе и «положим»!. Его, правда, потом все-таки освободили, но это уж по требованию русского правительства, — сами бы они законопатили его куда-нибудь подалее... А сербское правительство предлагает австрийскому пойти на третейский суд, если оно того хочет.

— А, может быть, все-таки пойдут на грегейский суд, хотя... Вот тут австрийцы пишут в ответе на сербскую ноту, будто за три часа до передачи ноты сербы уж мобилизацию объявили...

Надя не рещалась прямо ответить сестре, что война стоит уже на пороге и может войти в любой момент. Как-раз в это время читала она «правительственное сообщение», которым запрещалось говорить в газетах, обо всем, что касалось числа и состава воинских частей, их передвижения, вооружения и прочего, и вспоминала свой вопрос, заданный в Понырях веселому солдатику. Поэтому она сказала Нюре:

— Ты только смотри где-нибудь на станции не задавай никаких вопросов солдатам, а то тебя еще за австрийскую шпионку примут и арестуют.

## 2.

Пуанкаре успел побывать только в Стокгольме: Для Норвегии и Дании не оставалось уже времени, — события развивались слишком быстро и настоятельно требовали возвращения президента Франции в Париж.

Вернувшись из уютных фиордов Норвегии в Берлин и Вильгельм. Наступали решающие дни, так как дипломатические ходы Бетман — Гольвега не удались.

Всю свою логику пустил в дело Бетман, чтобы отколоть Францию от России, но Франция ко всем увещаниям его отнеслась совершенно спокойно. Он получил не одно уверение из Лондона в том, что Англия ни за что не ввяжется в средневропейский конфликт, но она тем не менее привела весь свой флот в полную боевую готовность, а лондонские газеты начали уже писать, что «Сербия — не остров где-нибудь в Тихом океане, а европейское государство, и Англия не имеет права безучастно относиться к ее судьбе».

Лишь только появился в Берлине Вильгельм, появилась у некоторых надежда, что он, человек неограниченного самолюбия, может и не позволить военной партии Вены распоряжаться Германией, как своею шпагой. Однако так могли рассуждать только те, кто не то чтобы мало знали Вильгельма, а старались в меру своих желаний урезать его личность, обкарнать ее, приспособить к своим взглядам.

Если готовилась Франция к реваншу, то Германия готовилась к тому, чтобы проглотить Францию, и если во Франции за долгие годы подготовки частями менялись люди, стоявшие у власти, то Вильгельм жил бессменной идеей мирового господства десятки лет, а главное так верил в себя, что доходил до самообожествления.

Однажды в Потсдаме он обратился к рекрутам, только-что принявшим присягу:

— Дети моей гвардии! Вы теперь мои солдаты, вы принадлежите мне телом и душой. Вы принесли клятву повиноваться мне во всем. Вы должны исполнять приказания мои без малейшего ропота. С этого дня у вас только один враг — это — мой враг. И если когда-нибудь прикажу вам стрелять в вашу собственную семью, в ваших сестер, в ваших братьев, вспомните тогда вашу клятву, данную мне!

Эта речь его была тогда же напечатана во всех газетах Германии.

Еще в 1897 году в Кобленце Вильгельм произнес знаменитую проповедь о заповедях божьих, в которой называл себя «наместником бога». Тогда кое-кто в Берлине дал ему кличку «вице-король господ — бога», однако это не оскорбило Вильгельма, говорить же проповедь было его страстью, так как с церковных кафедр и, прибегая к библейским метафорам, он действовал непосредственно на своих подданных, своих «детей», внушая им те же мысли, какими безраздельно охвачен был сам.

— Всемогущий бог был неизменно союзником Пруссии и передвигал для нее тучи на небе! — так восклицал он одной из подобных проповедей.

Будучи протестантом по религии, также считал себя и представителем всех католиков Германии, то-есть, государем и протестантским и католическим в одно и то же время. Но при посещении мусульманских стран он вел себя так, как будто получил особые полномочия от самого Магомета или даже Аллаха.

Можно ли было удивляться тому, что вернувшись из Норвегии в Берлин Вильгельм приказал подать себе несколько десятков экземпляров дешевой библии и начал каждую из них ушивать однообразной надписью: «Я пою среди вас, и я буду вашим богом, и будете моим народом».

Эти книги предназначались им для раздачи солдатам в начале войны.

Однако, несмотря на всю свою «божественность», на всю уверенность в том, что бог снова, как и раньше, начал «передвигать тучи на небе», действуя пользу Пруссии, Вильгельм все-таки не представлял опасности для Германии одновременной войны на два фронта, если Бетману не удалось отколоти Францию от России, то со всей она

авшей его энергией Вильгельм пустился воздействовать на Николая, стремясь внушить ему, что он должен предоставить Сербию своей участи, иначе начнется европейский пожар.

«С глубоким сожалением я узнал о печатлении, произведенном в твоей стране, — писал он в телеграмме Николаю, — выступлением Австрии против Сербии. Недобросовестная агитация, которая велась в Сербии в продолжение многих лет, завершилась гнусным преступлением, жертвой которого пал эрцгерцог Франц-Фердинанд. Состояние умов, приведшее сербов к убийству их собственного короля и его жены, все господствует в стране. Без сомнения ты согласишься со мною, что наши общие интересы, твои и мои, как и интересы других правителей, заставляют нас настаивать на том, чтобы все лица, морально ответственные за это жестокое убийство, понесли бы заслуженное наказание. В этом случае политика не играет никакой роли. С другой стороны, я вполне понимаю, как трудно тебе и моему правительству противостоят сие общественного мнения. Поэтому, принимая во внимание сердечную и нежную дружбу, связывающую нас крепкими узами в продолжение многих лет, я употребляю все свое влияние для того, чтобы заставить австрийцев действовать открыто, чтобы была возможность притти к удовлетворяющему обе стороны соглашению с тобой. Я искренно надеюсь, что ты придешь мне на помощь в моих усилиях сгладить затруднения, которые все еще могут возникнуть.

Твой искренний и преданный друг и кузен Вилли».

Пока Николай еще обдумывал ответ на эту телеграмму своего «преданного друга», Австрия, внимая совету Вильгельма «действовать открыто», объявила Сербии войну.

Казалось бы, все в сербской ответной ноте было сказано так, чтобы не возбудить гнева сильного противника; австрийским дипломатам не за что было ухватиться, кроме разве одного только недоумения сербов, по поводу желанья Вены лично и своими силами и средствами произвести следствие в Сербии. Вена за это и ухватилась: поставив знак равенства между началом следствия и началом военных действий, она открыла артиллерийский обстрел Белграда.

Это сделалось известным в Петербурге после полудня 15 (28) июля, и Николай немедленно ответил Вильгельму:

«Рад твоему возвращению. В этот особенно серьезный момент я прибегаю к твоей помощи. Позорная война была объявлена слабой стране. Возмущение в России, вполне разделяемое мною, безмерно. Предвижу, что очень скоро, уступая производящемуся на меня давлению, я буду вынужден принять крайние

меры, которые поведут к войне. Стремясь предотвратить такое бедствие, как Европейская война, я умоляю тебя во имя нашей старой дружбы, сделать все возможное в целях недопущения твоих союзников зайти слишком далеко».

Война началась так, как ее задумали в Вене и Берлине, то-есть, в целях приобщить Сербию к землям короны Габсбургов, и в этом направлении сделан был первый «открытый» шаг. Этот шаг был подказан вернувшимся в Берлин Вильгельмом, а Николай «умолял» его воздействовать на Франца-Иосифа, чтобы тот не делал второго шага.

Вильгельм считался конституционным монархом, однако на борьбу с рейхстагом он заглядывал много своей изворотливости. «Негодяи из рейхстага не дадут мне достаточно денег», — написал он однажды в телеграмме к своему брату Генриху, и был доволен, когда эта телеграмма проникла в газеты и вызвала бурю негодования во всей Германии.

— Der Hieb hat Cetraffen! (Удар попал!) — повторял он тогда вполне удовлетворенно. «Удар попал!» — мог бы так же точно сказать он и теперь, когда увидел «умоляю» в телеграмме своего кузена и друга Ники.

Он довольно потирал своей деятельной правой рукой почти неподвижную левую и поучал Бетмана:

— Вся русская политика строилась только на том, что в Вене испугаются петербургских угроз, пошипят-пошипят и притихнут. Однако вот теперь Николай просит меня остановить то, что началось на Дунае.

— Русский император упоминает о том, что «вынужден будет принять крайние меры», как я слышала от вас же ваше величество, — встревоженно заметил Бетман, но много презрения вложил Вильгельм в свой ответ канцлеру:

— Кое-какие громкие фразы, — ведь это все, что ему осталось!.. Россия не готова к войне. Может быть, в семнадцатом, в крайнем случае, в шестнадцатом году, но не теперь, когда забастовки охватывают там так много промышленных центров. Россия, быть может, стоит на пороге революции, как в 1905 году.

— Возможно, вы правы, ваше величество, — сказал на это Бетман. — Во всяком случае, одним из аргументов Сазонова в разговоре с ним графа Пурталеса была такой: нужно пощадить Сербию, иначе там может возникнуть революционный режим, гораздо более опасный, чем нынешний.

— Вот видите! — подхватила Вильгельм. — Что у кого болит, тот о том и говорит.

— Однако, ваше величество, по всем сведениям, Россия спешно и очень энергично вооружается...

— Она всегда вооружалась, — на это

нечего обращать внимание, — досадливо перебил Вильгельм, — а ответную телеграмму Николаю надо составить так, чтобы она не возбуждала в нем никаких подозрений.

Телеграмма именно в таких выражениях и была составлена и послана в тот же день. Но кроме переговоров, которые взялся вести сам русский император с императором германским, велось в то же самое время переговоры между Сазоновым и графом Пурталесом.

Переговоры эти зашли в тупик, как только в Петербурге узнали о том, что Австрия объявила войну Сербии. Действительно, о чем еще можно было говорить дипломатам, когда совершилось уже то, что они тщетно пытались задержать, если не предотвратить? Сазонов не задавался уж больше целью сдерживаться и дал волю своему темпераменту, обвиняя во всем двуличную политику Берлина; Пурталес вспылал в свою очередь и вышел из кабинета Сазонова, не простившись с министром. Об этом стало известно царю, и он в ответной телеграмме Вильгельму писал:

«Благодарю за примирительную и дружественную телеграмму. Официальное заявление, сделанное сегодня твоим послом моему министру, носит совершенно иной характер. Прошу тебя разъяснить это разногласие. Было бы правильно австро-сербский вопрос передать Гаагской конференции, чтобы избежать кровопролития. Доверяюсь твоей мудрости и дружбе».

О том, чтобы австро-сербский вопрос обсудить если не на Гаагской конференции, то на съезде представителей четырех держав: Великобритании, Германии, Франции и Италии, высказался и английский министр иностранных дел Эдуард Грей. Казалось, что спасательный круг тонущему в Европе миру был брошен, но это были слишком напряженные, угарные дни, когда мир в Европе, а значит и всюду, куда проник европейский прогресс, был похож на самоубийцу, спасать которого совершенно напрасный труд.

## 3.

Стоял ясный, почти безоблачный день, когда поезд, везший Надю и Нюру, подходил к Твери, так что лето казалось как лето в Крыму, и здесь, где так часты дожди, и Нюра, попавшая сюда в первый раз, готова была не видеть разницы между очень уже далеким теперешним ее Крымом и Тверской землей..

Она смотрела в окошко вагона с ненасытным любопытством, отмечая про себя, что крыши деревенских изб пошли здесь не только деревянные, но и очень крутые, что чернолесье остается уж позади, а на смену ему все больше и гуще выдвигаются сосны и елки.

— Что я, собственно, знала о Тверской губернии? — говорила Нюра сестре. — Что здесь было когда-то Тверское княжество удельное, что князь какой-то кричал: «Тверичи, не выдавайте!» и что Волга вытекает отсюда из озера Селiger... Больше я что-то решительно не помню.

— Вот видишь! А теперь по Тверской губернии едешь и можешь все видеть своими глазами, — покровительственно замечала Надя, — а потом по Новгородской поедешь, по Петербургской...

— Огромная все-таки какая шапа земля!

— Это что!... А вот у нас есть одна курсистка из Благовещенска, так той две недели приходится до Петербурга ехать.

— Куда же, в таком случае, суются против нас итти немцы?

— Не сунутся, небось! Немцы не дураки ведь, — знают, куда им нечего соваться...

Надя оставалась упорной в своем убеждении, что, несмотря ни на что, войны все-таки не будет. Объяснить ни кому, ни себе самой она не могла бы, откуда у нее такое упорство, но каким «угрозам европейской войны», о которых писали газеты, все-таки не хотела верить.

— В Твери долго будем стоять? — спросила она у кондуктора, когда оказалась уже вдали город.

— Ну, а то не долго, — буркнул, хотя, кондуктор-старик. — Везде чтобы долго, а в Твери чтобы пять минут, — новости какие!

— Что он сказал? — спросила сестру Нюру.

— Говорит, что всю Тверь пешком исходить можно, пока поезд тронется, — ответила Надя.

— Ну, что же, — и в самом деле, мы там походим — посмотрим, а чемоданы авось не сопрут, — комунибудь их поручим, правда?

Возможность походить вволю по старинному городу, о котором говорилось в отделе «Удельная Русь» гимназического учебника Иловайского, очень радовала Нюру, и Надя тоже склонялась к мысли: отчего бы и в самом деле, если не походить, то взять за другивенный извозчика и проехаться по главным улицам!

Однако в дело вмешалась неожиданность и повернула по своему.

Когда остановился у перрона тверского вокзала поезд, сестры уже договорились с усидчивой раскидистой мамашей двух небольших детей, что она никуда не будет выходить из купе и присмотрит за их двумя чемоданами и корзинкой. Они считали себя совершенно свободными от всяких докучностей по крайней мере на целый час и, взявшись за руки, ринулись было через вокзал туда, где около всех вообще порядочных вокзалов стоя-

обыкновенно извозчики, как вдруг остановил их громкий и радостный окрик из густой толпы:

— Надя! Нюрка!

Они остановились на месте с открытыми ртами и увидели, — протискиваясь к ним брат Петя. Он был в своей старой студенческой тужурке и в форменной, тоже старой фуражке, и первое, что он спросил, когда дотискался до сестер, было удивленное:

— Как же вы меня не узнали?

— Да мы ведь по сторонам не смотрим, а только вперед, — сказала Надя.

— Мы хотели Тверь посмотреть, — сказала Нюра.

Поездовавшись, отошли к сторонке, и начались расспросы:

— Ты как здесь?

— Еду же в Москву.

— В Москву? Зачем?

— За песнями, — зачем же еще! Конечно, по делу. На завод. Товарищ один вызвал телеграммой.

— А домой почему телеграммы не послал?

— Послал же! Вчера послал. Как только Колю освободили.

— Вот видишь! Значит, сидел?

— Еще бы не сидел! Спасибо, что только неделю продержали.

— Где же он теперь? Дома?

— Конечно, дома.

— А ты не врешь?

— Зачем же мне врать? — Приедете, — увидите.

— Мы так и думали, что посадили... Только мы думали, что обоих.

— Ну, вот, обоих! Жирно будет по целому таракану, — хватит и по лапке.. Я дипломную работу сдавал, мне некогда было.

— Сдал все-таки?

— Ну, еще бы нет! Теперь конечно, — инженер, с чем можете и поздравить.

— Поздравляем! Поздравляем!

— Да что же толку-то, когда война подоспела!

— Неужели будет?

— Прикажи, чтобы не было... А тебя, Надюха, кто же надоумил теперь Нюрку в Питер везти?

— Сама надоумилась. А что?

— Ничего, неплохо... Позже, пожалуй, труднее было бы.

— Труднее? Я тоже так думала. А почему труднее?

— Вот тебе на, — «почему!» Завируха же, конечно, начнется... А мама как?

— Ничего, и мама, и бабушка... О вас беспокоились.

— Ну, понимаешь, нельзя же было писать: арестован, и так далее... Обошлось все-таки, и ладно. А Саша с Геней когда едут?

— Даже при самом беглом взгляде, какими обычно обмениваются друг с другом люди в тесной вокзальной толпе, всякий мог бы безошибочно решить, что разго-

варивают так оживленно брат и сестры: Петя был очень похож на Надю и Нюру и ростом только немного повыше их; круглое румяное лицо, круглые серые глаза, — этим все трое они вышли в мать.

— Где же твой поезд? — спросила Надя.

— А там, на четвертой платформе, — неопределенно мотнула куда-то головой Петя. — Больше часа стоим, и никто не знает, сколько еще стоять будем... Вы тоже тут застрянете надолго... Так что я, пожалуй, вполне успел бы взять билет обратно поехать с вами.

— Поедем, Петя, в Петербург! — радостно вскрикнула Нюра, но Надя оказалась строже сестры.

— Как же так, Петя, — ведь тебе же надо в Москву? — спросила она, сделав ударение на «надо».

— Надо-то надо, да признаться, это я больше на радостях, что Колю отпустили с подпиской о невыезде. Ему, дескать, нельзя никуда уехать, а мне можно, — вот и поеду... А то, в сущности, едва ли стоит ехать.

— А что? Почему не стоишь?

— Да ведь завод-то немецкий, — то есть, хозяева немцы, а вот-вот война с немцами... Получается дыня с квасом... Говорят люди, что завод этот тогда неминуемо прикроют... Или, может быть, в лучшем случае, отберут.

— Ну, что же, — это хорошо будет, если отберут, — пылко сказала Нюра.

— Хорошо-то хорошо, да ведь и меня тоже отобрать могут.

— Куда, Петя, отобрать?

— Как куда? В армию, конечно...

— Неужели? Ведь ты уж инженер теперь, Петя!

— Что из того, что инженер... У нас, в Крыму, тоже инженеры были из немец-колонистов, — Кун, например, электрик, Тольберг, тоже электрик, и другие, — их уже вызвали в Германию служить в армии.

— Как так в Германию вызвали? Почему в Германию? — удивилась Надя и добавила: — И откуда ты это знаешь, что их в Германию вызвали?

— Знаю. Писали мне. Теперь уж их нет в Симферополе. Они ведь отбывали воинскую повинность в Германии и лейтенанты запаса, а там так: запасным посылается карточка, где бы они ни жили, и — пожалуйста на цугундер. Двадцать пять корпусов Германия имеет кадровых войск, а двадцать пять корпусов еще у нее будет без объявления мобилизации из этих вот самых, запасных, какие по карточкам явятся. Вот тебе и два миллиона войска налицо!... Это ведь не зря говорится у нас: немец и обезьянку выдумал!... Я такие источники раскопал, когда дипломную работу готовил, что прямо малина! Как-раз мне к теме это пришлось, только что писать об этом тогда нельзя еще было, тем более,

что из профессоров трое — немцы, — неудобно было... Такие открылись горизонты, что как же и не быть войне!.. В Петербурге это понимают, конечно: придет, — увидите, что там творится.

— А что, Петя, а что именно? — zvolновалась Надя.

— Манифестации! Даже дамы, и те зонтиками машут и тоже кричат: «Долой немцев!» — И, признаться, пора, если только не поздно. Немцы-то ведь считают, что мы уж у них в кармане, остается только этот карман застегнуть аккуратно на пуговицу, и вся недолга.

— Мы? Огромная страна такая? — запыльчиво вскрикнула Нюра.

— Вот тебе и огромная!.. Два с лишком миллиона у нас немцев колонистов. Это — немцы германские считают — передовая их армия, — авангард, и он уже сидит крепко в своих траншеях. Я несколько книг и брошюр прочитал на эту тему; у меня теперь от этого голова — во, — как котла стала! У нас мужики в Сибирь переселяются, а русские старинные земли немцы захватили. На Волыни — немцы, в Подолии — немцы, на Волге — немцы, на Кубани — немцы, в Крыму — немцы, по дороге на Киев — немцы, по дороге на Москву — немцы, о Петербурге и говорить нечего — кругом расселись немцы и только знака ждуть, когда им действовать, а как именно действовать, это они отлично все знают. Не зря немецкие газеты теперь пишут: «Мы в России найдем земляков, на которых вполне можем опереться»... Немцы имеют крупнейшие колонии в Африке и в других частях света, однако там их живет всего только двадцать тысяч человек, а у нас — два с лишком миллиона. — это считая одних только колонистов, — вот и отгадай, моя родная, почему это!.. Для них Россия — главная колония, — там они открыто и пишут. Остается только сделать последний шаг, — и вот мы отброшены за Волгу, даже и за Урал. Возле всех наших крепостей против Германии, — а возле Брест-Литовска и Ковно особенно, — сидят себе, как миленькие, немецкие помещики, а на чьи же деньги земли они там купили? — Германская казна дала: — покупай, дескать, и пока что разводи там свою немецкую антимонию, а потом мы придем, — армия, — и на тебя обопремся!.. А заводов сколько немецких! А чиновников сколько немцев, а генералов и офицеров в нашей армии!

Очень большая толча была на вокзале оттого, что два поезда стояли здесь в ожидании отправки; однако, кроме пассажирских, тут была еще и воинский поезд и два поезда товарных, но с возным грузом. На такое обилие людей тверской вокзал не был рассчитан, поэтому, кое-как вырвавшись из давки на двор со стороны города, именно туда, куда

устремилась было Надя и Нюра, все трое вздохнули гораздо свободнее.

— Еще войны нет, а уж такая бестолочь, — сказал Петя, — а что будет, если война начнется! Наши немцы постараются так нам нагадить, что трудно нам будет. Изнутри нас могут взорвать.

— Как это изнутри взорвать? — не поняла Нюра.

— Как? Во исполнение приказа из своего фатерланда, а приказ этот таков, — я его запомнил в точности: «Россия должна сделаться достоянием немцев, миссия которых — властвовать в этой стране и просвещать ее. Слова эти принадлежат не кому другому, как родившемуся в России и достигшему в ней генеральского чина действительного статского советника — господину Гену, который, видишь ли, имел ученую степень доктора философии! Если уж доктор философии таким языком говорят, то что же можно услышать от наших заводчиков-немцев, от наших помещиков-немцев, от генералов-немцев?... Волынскую губернию и теперь уж немцы называют «Wolyn land»: там больше восьмисот немецких колоний и имеют они свыше миллиона десятин земли...

— Да ты прямо лекции публичные можешь читать об этом, Петя! — вдрю восхитилась братом Нюра.

— Лекций мне читать не придется конечно, а призвать меня в армию, думаю так, на этих же днях могут, — отозвался Петя не то, чтобы очень радостно, но, гораздо более оживленно продолжал: — Ну, одним словом, немцы знают, что они хотят сделать. Россия дескать, велика, и пришло уж время ее разделить между Германией и Австрией, но это временно, конечно, пока существует Австрия, пока она тоже не отойдет к Германии. Дальше уж будет просто одна Германия — мировое государство. Россия будет отброшена за Урал в Сибирь, — ссыльная будет со всеми своими потрохами, а русских крестьян переселить думают немцы из наших западных и южных губерний к себе в качестве батраков. И вот тогда-то начнется полное раздолье у нас для немцев-колонистов: бери себе, Куны и Тольберга земли сколько вам угодно, плодитесь и размножайтесь, и Вильгельм II, потом Вильгельм III, четвертый, пятый, двенадцатый — будут владеть вами до скончания света, аминь!

— Это, может быть, у нас там в Петербурге только пропаганду такую разводят, а? — осторожно спросила Надя пытайно вглядываясь в брата.

— Какая там пропаганда! — возмутился Петя. — Разве публично позволят так говорить, что ты! Сейчас же полиция тебя схватит, начинка ты так говоришь на митинге. Пока только ходят с портретами царя да сербских офицеров на фронт в Сербию провожают с добрым

щими речами. Кровожадной Австрии еще можно кое-что всыпать словесно и вообще там в защиту славян, а что касается немцев германских, а тем более, боже сохрани, наших немцев, об этих — молчок! Это я говорю только вам, а не попадись мне этих материалов, я бы и сам оставался овца-овцой. Но все-таки что же мне делать в самом деле? Ехать ли в Москву, или с вами назад?

— Бери билет, Петя — голубчик, поезжай с нами! — тут же отозвалась на это Нюра, но Надя, сделав строгое лицо, заметила:

— А если там, в Москве, ты место потеряешь?

— Да теперь ведь, кажется, все места потеряют, — вздохнул Петя.

— Ну, это ведь только твое личное мнение такое.

— Ничего-ничего, приедешь в Петербург, и твое личное мнение станет такое же!

Петя похлопал слегка по плечу Надю, раздумывая, а в это время на вокзале завязал колокольчик швейцара, и раздался тягучий басовый голос:

— По-езду на Москву перь-вый зво-нок!

— Ого! Вот так штука! — встрепенулся Петя. — Наш поезд желает двигаться!... В таком случае, так и быть уж, поеду!

— Неужели поедешь? — удивилась больше, чем печалилась Нюра, а Надя сказала:

— Поезжай, конечно! В случае чего, приехать в Петербург всегда успеешь.

— Резон, — одобрил ее Петя и, взяв подруки тестер, снова втиснулся с ними в гущину вокзала.

#### 4.

Как ни медленно шел почтовый поезд на Петербург, как ни долго стоял он на станциях, все же в десятом часу утра он дотащился до Николаевского вокзала, и первое, чем встретил Надю этот вокзал, на нем почему-то было непривычно мало носильщиков. Пришлось самим взять чемоданы и корзину и медленно вслед за другими, тоже отягощенными своим багажом пассажирами, двигаться от поезда к выходу на Знаменскую площадь.

Зато тут, около входных дверей на вокзал с площади, Надя и Нюра увидели первую петербургскую толпу, внимательно читающую какое-то длинное, видимо, свежее-наклеенное объявление.

— Что это? — спросила Надя, кивнув на эту толпу какому-то железнодорожнику.

— Мобилизация, — строго ответил железнодорожник.

— Мобилизация? Нюра, слышишь? — Мобилизация! — Пойдем читать!

И обе как были, с чемоданами, вместе с тем, чтобы идти к длинному ряду извозчиков и ехать тут же на Пески, на

квартиру Коли и Пети, сестры подошли к толпе и подняли головы к белому листу, помещенному достаточно высоко, чтобы передние ряды читающих не могли помешать задним; очень крупны и четки были и буквы, так что легко читались слова, сколь бы ни был тяжел и зловещ их смысл.

«Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату.

Признав необходимым привести на военное положение часть армии и флота для выполнения сего, согласно с указом, данным нами сего числа Военному и Морскому Министрам, повелеваем:

1. Призвать на действительную службу, согласно действующему мобилизационному расписанию 1910 года нижних чинов запасов и поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения:

а) во всех уездах губерний: Костромской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Астраханской.

— А Петербургской? — спросила вслух Надя.

— Петербургская дальше, — ответил ей кто-то, — тут только во флот призы вают.

Действительно, дальше Надя нашла в восемь уездов Петербургской губернии которые должны были дать пополнение флоту.

В общем же Указ был длинный, на четырех столбцах, и касался он если не всех уездов в губерниях, то все-таки всех почти губерний. Значительность этого указа Надя и Нюра видели по всем лицам толпы: они были сосредоточенно хмуры.

Хмурой была и погода.

Еще на ночь в вагоне пришлось им достать и надеть теплые кофточки, но здесь было холодновато и в них. Сеялся мелкий дождик; дул порывистый ветер.

— Ну, вот видишь, — это тебе не Крым, — говорила Надя, отходя с Нюрой к извозчикам.

— Еще бы не Крым, когда теперь уж ясно, что война, — сказала Нюра.

Это стало ясно и Наде, что Крым в ее душе. Крым, как солнечность, нежность живая легенда, почти сказка, чарующая музыка, красота. «Майское утро» на стене в мастерской художника Сыромолотова, «Демонстрация», в центре которой молодая смелая девушка — она, Надя, — идет отдавать свое все, свою жизнь за дело народной свободы, — это конечно теперь, вошло в непрощенное в дом и начинает уже бить посуду.

Извозчики знали, что объявлена мобилизация, поэтому начали запрашивать вдвое дороже обычного, и напрасно Надя сбывалась на таксу, — пришлось на-



бавить. Зато сестер ожидала удача: Коля, который мог ведь и уйти куда-нибудь, оказался дома и был заметно рад их приезду.

В глазах Нади он был героем: он сделал то, что мечтала сделать она; он мог вполне попасть на новую картину Сыромолотова, — заслужил это, в то время, как она только еще собиралась заслужить и похоронила уж сегодня утром эту надежду.

Благодаря тому, что потолки комнаты в квартире Коли были низковаты, он показался очень высоким не выдавшей его больше года Нюре, и раза три повторила она:

— Какой, ты огромный, Коля!

Даже и Надя, приглядываясь к нему, решила, что он все-таки выше и Саши, и Васи, и плотнее их.

— Плотность — дело наживное, — шуточно отозвался на это Коля. — Студентам, разумеется, полагается быть поджарыми, а инженеру можно уж и мясо наживать.

Легко, как книги, переставил он с места на место их чемоданы и корзину, которые казались им такими увесистыми, почти неодолимыми, когда тащили они их с поезда на вокзал.

— Коля, а тебя как арестовали, расскажи, — обратилась к старшему брату Надя, когда он усадил уже обеих сестер за чай.

— Что же тут рассказывать, — усмехнулся Коля. — Арестовали, как обыкновенно, на улице, вместе с другими, каких загнали в тупичок, вот и все. Деваться там было некуда, пришлось совершить прогулку в участок.

— А тебя там не били? — не удержалась, чтобы не спросить, Надя.

— Нет, со мной обошлись без физического воздействия, — улыбнулся ей Коля и добавил: — Все-таки я — инженер, телесным наказаниям не подлежу.

— Значит меня бы били, если бы я им попалась? — с живейшим любопытством спросила снова Надя.

— Поскольку ты — курсистка, девица образованная, то едва ли бы начали бить, — подумав, сказал Коля, — а вот рабочих били, я это слышал, хотя и не видел, — криков было много.

— Что же ты? Как же ты на это?

— Протестовал, разумеется, как мог.

— А они что на это?

— Что? Разумеется, сказали, чтобы я их не учил, что они сами знают, что делают.

— А тебя что же все-таки судить будут? — допытывалась Надя.

— Кто их знает. Если война, то, я думаю, подождут с этим занятием, — а впрочем, не знаю как.

— А место твое на заводе?

— Занято, конечно, кем-то другим, более благонадежным.

— Послушай, Коля, как же так, — раз-

волновалась вдруг Надя, — в таком случае, если ты не на заводе, тебя ведь могут взять по мобилизации?

— Пока еще только берут запасных во флот, но в общем что же тут такого!

5.

Конечно, указ царя о мобилизации был объявлен в этот день, 17 июля, во всех газетах, но в этот же день газеты поместили и манифест императора Франца-Иосифа о войне с Сербией, хотя австрийские пушки уже целые сутки громили Белград, нанеся ему множество разрушений.

Из трех императоров первым выступил на мировую арену бесчисленных убийств, увечий, уничтожений самый старый, наполовину уничтоженный уже сам, придавленный к земле тяжким бременем восьмидесяти четырех лет.

Это вышло зловеще для человечества. Будто сама ее величество Смерть подписала смертный приговор целому государству, дав этим сигнал для начала такого истребления людей в Европе, которого не видал еще мир со времени всемирного потопа.

День 17 (30) июля принес людям целую метель достоверных, самых достоверных и наидостовернейших слухов попеременно с тем, что уж не подлежало ни малейшему сомнению — с указами, приказами и сообщениями правительств крупнейших европейских стран.

Прежде всего провалялось предложение сэра Эдуарда Грея о конференции четырех держав по австро-сербскому вопросу: не до конференций уж было, когда военные действия начались, а Германия отказалась от участия в конференции еще до начала бомбардировки Белграда. Наивными оказались надежды кое-каких подернутых плесенью политиков, что вот приедет из Норвегии Вильгельм в Берлин, и он, «известный своим миролюбием», сразу переложит руль с войны на мир. Вильгельм приехал не для того, чтобы отдалить, а чтобы ускорить войну.

Все, чем жил он долгие годы, совершилось: Германия имела могучую армию, она имела военно-морской флот второй по силе после английского, но могущий уже соперничать с английским; она имела тяжелую промышленность, превосходившую по своим размерам промышленность Англии, не говоря о других европейских странах, и она имела еще своего прусского бога, который «предвигал для нее тучи на небе»... Ее готовность к войне достигла предела, и Вильгельм, второй по старшинству лет император Европы, зорко следил только за действиями третьего императора — Николая, чтобы тому не вздумалось как-нибудь предупредить его, воина, гения, героя!

Что германская армия, Готовая стать

действующей, уже удваивалась, благодаря тайной мобилизации, это считалось Вильгельмом в порядке вещей; что Николай предлагал ему обратиться для решения австро-сербской распри к Гаагской конференции, это ожидалось Вильгельмом; разные мелкие распоряжения русского правительства, вроде погашения маячных огней в районе Севастополя или введения военной охраны на железных дорогах, его не обеспокоили.

Он только усмехнулся, когда Бетман ему поднес при докладе о положении в России только что опубликованное в Петербурге «правительственное сообщение» от 15 (28) июля такого содержания:

«Многочисленные патристические манифестации, происходившие за последние дни в столицах и в других местах империи, показывают, что твердая и спокойная политика правительства нашла сочувственный отклик в широких кругах населения. Правительство надеется, однако, что эти выражения народных чувств отнюдь не примут оттенка недоброжелательства по отношению к державам, с коими Россия находится и неизменно желает находиться в мире. Черпая силу в подьеме народного духа и призывая русских людей к сдержанности и спокойствию, императорское правительство стоит на страже достоинства и интересов России».

Еще бы не желало «императорское правительство» России находиться в мире с Германией! Было бы напротив, полным безумием стремиться к войне с ней.

И вдруг мобилизация в России, — не тайная, а явная, объявленная с высоты престола!

Было отчего притти в крайнюю степень негодования Вильгельму...

Весь план войны на два фронта — против Франции и России — строился только на том, что Россия при жалкой сети железных дорог на своих огромных пространствах, при неспособности и продажности чиновников, непременно запоздает с мобилизацией настолько, что позволит разбить Францию, взять Париж, заключить мир с побежденными и бросить все свои силы на Вислу, чтобы покончить на русской равнине всё «до осеннего листопада». Мобилизация в России пугала все эти расчеты.

Телеграммы, которыми обменивались Вильгельм с Николаем, были немногословны, переговоры же, которые вел Пурталес с Сазоновым, длились часами. Как все споры между людьми ведутся обычно из-за разного понимания слов, так и тут Пурталес и Сазонов неодинаково понимали слово «мобилизация». По Пурталесу выходило, что мобилизация в России означает уже начало войны, так как должна вызвать и вызовет непременно мобилизацию в Германии, а Сазонов силился доказать ему, что раз мо-

билизация была проведена в Австрии, то это, конечно, должно было вызвать и вызвало мобилизацию в России, но «мобилизованная русская армия может, в случае нужды, хоть целые недели стоять с ружьем у ноги, так как в России мобилизация еще далеко не означает войны».

В то же время Сазонов выставлял и такой довод в пользу мобилизации: венский кабинет «категорически отклонил непосредственный обмен мнений с Петербургом».

Таким образом получалось, что «разговор вчетвером», предложенный Лондоном, отклонил Берлин, разговор с Венной, предложенный Петербургом, отклонила Вена, а Белград тем временем разрушался разговором австрийских пушек.

Но на Пурталеса, на его несговорчивость жаловался в своей телеграмме Вильгельму Николай, поэтому Вильгельм, уже издав указ о военном положении в своей стране, телеграфировал Николаю:

«Не может быть и речи о том, чтобы слова моего посла были в противоречии с содержанием моей телеграммы. Графу Пурталесу было предписано обратить внимание твоего правительства на опасность и серьезные последствия, которые может повлечь за собою мобилизация. То же самое я говорил в моей телеграмме к тебе. Австрия мобилизовала только часть своей армии и только против Сербии. Если, как видно из сообщения твоего и твоего правительства, Россия мобилизуется против Австрии, то моя деятельность в роли посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на себя по твоей усиленной просьбе, будет затруднена, если не станет совершенно невозможной. Вопрос о принятии того или другого решения ложится теперь всей своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несешь ответственность за войну или мир».

Последние слова этой телеграммы имели целью запугать Николая. Почтено «нести ответственность» за мир, но совсем другое дело быть виновником всевропейской войны. Предостережение «преданного друга и кузена Вилли» должно было прозвучать библейски-грозно.

Но император Николай был прекрасно воспитан. Никто бы не мог не признать за ним выдержки и полного умения владеть собой.

Вместо того, чтобы как-нибудь отозваться на угрозу в конце телеграммы императора Германии, он сделал вид, что совсем не заметил ее. Он ответил утром 18 (31) июля:

«Сердечно благодарен тебе за посредничество, которое начинает подавать надежды на мирный исход кризиса. По техническим условиям невозможно приостановить наши военные приготовления, которые явились неизбежным по-

следствием мобилизации Австрии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будет длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий. Даю тебе в этом мое слово. Я верю в божье милосердие и надеюсь на успешность твоего посредничества в Вене на пользу наших государств и европейского мира.

Преданный тебе Н.

Мир уже дрогнул во всех своих финансовых операциях в предчувствии войны, которая встала во весь рост у всех на глазах и заполняла собой горизонты.

Ввиду полного хаоса и банкротства крупных банков, лондонская биржа закрылась. Закрытие биржи вызвало всеобщую панику. Публика штурмовала банки, требуя размена кредиток на золото.

В магазинах, ресторанах, кафе, даже в кассах железных дорог Парижа были уже выставлены плакаты: «Платите звонкой монетой, — бумажек не принимаем!»

Даже в финансовых кругах очень далекого от Европы Нью-Йорка началась паника.

Вследствие небывалого падения ценностей многие крупные фирмы прекратили платежи. С часу на час ожидалось банкротство целого ряда банков.

Наконец, и в Берлине, где так методично, с немецким педантизмом все готовились к войне, публика неистовствовала, требуя полностью свои вклады из сберегательных касс, а известный в Берлине банкир Бибер, разоренный биржевой паникой, покончил самоубийством, отравившись вместе с женой...

Главный двигательный нерв войны — деньги, чувствовали, что война вот-вот разразится, что до начала ее оставались, может быть, не дни уже, а только часы. В самой России отдавались одно за другим приказание то о полной отмене дачных поездов, то о сокращении пассажирского движения, чтобы беспрепятственно гнать и гнать военные поезда к западной границе... 18 июля было объявлено первым днем мобилизации не только запасных, но даже и ратников ополчения первого разряда...

Спешили в России, потому что спешили в Австрии и в Германии, спешили во Франции и Англии, потому что спешили в Германии... Спешили везде, спешили все, потому что всеми владела острейшая боязнь опоздать, но опоздать к чему же именно? — К началу европейской войны...

## 6.

Петербург нельзя узнать! — изумленно говорила Надя сестре, выйдя с чужаками на улицы.

Она привыкла к Петербургу чужаком

сухому, подтянутому, с чопорно сжатыми губами. Публика в трамваях была вежлива, но безмолвна; публика на тротуарах ходила стремительно, глядела бегло, безучастно. Провинциалов из теплосердечных, неторопливо-солнечных губерний обдавало здесь в первые дни совершенно непривычным холодом, точно попали они не в свою столицу, а в огромный город какой-то чужой страны. Таким строго холодным он и остался в представлении Нади, проведеншей в нем почти год на курсах.

Для Нюры она уже заготовила про себя кучу всяких объяснений, почему Петербург такой какой-то с первого взгляда совсем нерусский город и почему все-таки это совсем не так плохо, как может показаться какому-нибудь растапе из Тетюшей или Царевкошайска, или даже, чтобы недалеко ходить, — Москвы.

И вдруг Петербург точно потеплел, неожиданно преобразился, разжал строгие губы, обрусел, как не могла бы и вообразить Надя раньше, когда она ехала сюда.

По улицам шли огромные толпы народа, и полицейские не только не разгоняли их, но, стоя на своих постах, то и дело прикладывали руки к козырькам фуражек.

Всюду плескались трехцветные русские флаги, — бело-красно-синие, — которые обычно появлялись на домах по высокочоружественным дням, но не в толпе в будни; и, кроме флагов, совершенно невиданные плакаты пестрели над толпами людей: «Да здравствует Сербия, Франция, Россия!», «Да здравствует русская армия!», «Долой Австрию!», «Да здравствует Сербия, Англия, Франция!», «Да здравствует славянство!»...

Разве могли удержаться Надя и Нюра, чтобы с тротуара не броситься в одну из толп?

Вот почему-то остановилось шествие. Кому там впереди кричат «ура»?... Оказалось, что навстречу шла рота солдат при офицерах, поэтому загремело ура, и снова летят вверх фуражки и шляпы... Допели до конца гимна, однако толпа не движется, и не движется рота... Там, впереди — братание, — там целуются, как на Пасху, с офицерами и солдатами, там у людей влажные глаза, — у петербуржцев!

Вот кто-то средних лет, русобородый с откинутыми назад волосами, каким-то образом поднявшись над толпой, так что видны и плечи его и даже спина почти до пояса, выкрикивает, поворачивая голову вправо и влево:

— ...«Нападение австрийцев на Сербию это — давно задуманный план тевтонским козлом сдвинуть славянство! Исторический момент этот — важности переступающей! Сплотись все славяне

от болгар до поляков, от словенцев до русских, сплотись перед натиском тевтонов, иначе будете раздавлены поодиноким! Помните клич Александра Невского: «Не в силах бог, а в правде!» «Дадим немцам такой же отпор, какой дали им доблестный русский князь!»..

— Ты слышишь? Ты хорошо слышишь? — спрашивала Надя Нюру сквозь слезы.

— Да слышу же, — сквозь слезы отговаривалась Нюра.

А впереди опять загрело «ура» и скакалось к задним рядам..

Часов в 6 вечера толпа подошла к дому военного министерства на Мойке.

— Да здравствует русская армия! — беспорядочно, но внушительно кричала толпа.

Около часа спустя толпа была вблизи дома австрийского посольства, где уже стояло много народа и то-и-дело гремели выкрики: «Долой Австрию!»

— Почему мы остановились? — спросила Нюра.

— Почему?... Наверное, полиция, — отгадалась Надя.

— Что там? Полиция? — спросила Нюра у своего соседа.

— А вы что бы думали? Разумеется, полиция охраняет, — устранил все сомнения сосед. — Иначе бы весь дом развалили к чертям... А дом все же так и сидит наш, русский.

Когда часам к восьми вечера Надя и Нюра добрались домой, их встретил Коля, добродушно улыбаясь:

— Что, нашлайся?... А я, пока вы шались, призывную карточку получил.

— Какую карточку призывную? — не поняла Надя.

— Такую самую. Призываюсь в полк, — криподнятым тоном объявил Коля, не переставая улыбаться.

7.

Не только с графом Курталесом, но и с графом Сапари, послом Австро-Венгрии, ежедневно вел деятельные переговоры Сазонов.

Мобилизация русская касалась в первую голову его, графа Сапари, так как предназначалась для защиты Сербии от Австрии, и в то же время Сазонов уверял его, что к приказу о мобилизации будет добавлено объяснение, что Россия не намерена вести войну, а желает только изменить положение вооруженного нейтралитета. Сазонов предложил послать Австрии и Германии согласиться с таким его предложением:

«Если Австрия, признавая, что ее конфликт с Сербией принял характер общевосточного интереса, заявит о своей готовности исключить из своего ультиматума пункты, посвященные на суверени-

тет Сербии, Россия обязуется прекратить всякого рода военные приготовления».

Казалось бы, чего лучше? — Австрия заявляет о своей готовности, занесенный над головой Сербии меч вкладывается в ножны, мобилизация в России отменяется.

Но Австрия наотрез отказалась сложить меч в ножны, и Германия в лице своих дипломатов вполне согласилась с нею. И с какой бы стороны ни подошли к заколдованному кругу, он оказывался непреодолим, и дипломаты отчаянно пожимали плечами, что топчутся на месте, но в силу обстоятельств ревностно продолжали топтаться.

Война созрела и, как спелый плод чудовищной формы, готова уж была свалиться на человечество, но для этого нужен был последний толчок.

Дипломаты и политики всех стран, витающие в сфере строгих силлогизмов миллиардеры и миллионеры, признающие только одно, что война — деньги, деньги и деньги; моралисты, число которых в те годы было еще достаточно велико; рабочие и крестьяне, которым суждено было на своих плечах вынести всю страшную тяжесть наступающей войны, — все ждали с большим или меньшим волнением, который из венценосцев решится сказать: «Я начинаю!»

18 (31) июля Вильгельм из своего Нового дворца послал в Петербург Николаю такое предупреждение: «Вследствие твоего обращения к моей дружбе и твоей просьбы о помощи, я выступал в роли посредника между твоим и Австро-Венгерским правительством. В то время, когда еще шли переговоры, твои войска были мобилизованы против Австро-Венгрии, моей союзницы, благодаря чему, как я уже тебе указал, мое посредничество стало почти призрачным. Тем не менее я продолжал действовать, а теперь получил достоверные известия о серьезных приготовлениях к войне на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять предварительные меры защиты. В моих усилиях сохранить всеобщий мир, я дошел до возможных пределов, и ответственность за бедствие, угрожающее всему человечеству, падет не на меня. В настоящий момент все еще в твоей власти предотвратить его. Никто не угрожает могуществу и чести России, и она свободно может выждать результатов моего посредничества. Моя дружба к тебе и твоему государству, завещанная мне делом на старом ордере, всегда была для меня священна, и я не раз честно поддерживал Россию в моменты серьезных затруднений, в особенности во время последней войны. Европейский мир все еще может быть сохранен тобой, если только Россия согласится приостановить военные приготовления, угрожающие Германии и Австро-Венгрии».

Мобилизация Австрии родила мобилизацию России, мобилизация России вызвала мобилизацию Германии, — так хотелось представить для суда истории это дело Вильгельму.

«На меня готовятся напасть, — я обязан защищать свою границу», — и правая, деятельная рука хитреца торжествующе потирает левую, сухую, руку, а прищуренные, стального цвета глаза над желтыми, вскинутыми кверху усами удовлетворенно подмигивают в сторону Петербурга.

Сделав вид, что забыта, совершенно выскочила из памяти мобилизация промышленных и военных сил страны, длившаяся десятки лет и приведшая, наконец, в ужас всю Европу, Вильгельм пытался еще убедить Николая, что он, Николай, вынуждает его «принять предварительные меры защиты»; сделал вид, что дружба его не только к Николаю, но и к России остается непоколебимой, как и была (!), он призвал для доказательства этого даже тень Вильгельма I, своего деда, действительно завещавшего на смертном своем одре ему, Вильгельму II, — тогда еще только принцу, но уже готовящемуся стать и кронпринцем, и императором ввиду безнадежной болезни отца, — не нарушать мира с Россией.

Это было давно, — тридцать лет назад, — и тогда было явное превосходство сил на стороне России.

Телеграмма Вильгельма получена была в Петергофе вечером, а утром 19 июля (1 августа) Николай послал своему «другу» такой ответ:

«Я получил твою телеграмму. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска, но желаю иметь с твоей стороны такие же гарантии, какие я дал тебе, то-есть, что эти военные приготовления не означают войны, и что мы будем продолжать переговоры ради благополучия наших государств и всеобщего мира, дорогого для всех нас. Наша долго испытанная дружба должна, с божьей помощью, предотвратить кровопролитие. С нетерпением и надеждой жду твоего ответа.

Ники».

Слова потеряли уж свою полновесность, стали шелухой, мякиной, ненужным сором, оттяжкой действий грозных и сокрушительных.

А между тем накануне Николай дал аудиенцию послу Пурталесу, с которым говорил, как с представителем Вильгельма, о мобилизации в России.

Пурталес не поспешил на выражения, чтобы запугать царя, он не остановился даже и перед тем, чтобы сделать последний вывод: русская мобилизация не больше не меньше, как личное оскорбление, нанесенное германскому императору.

— В самом деле вы так думаете? — совершенно спокойно, точно речь шла о прошлогоднем снеге, спросил Николай.

Даже выдавший виды Пурталес был изумлен таким тоном царя и не зналъ, чему приписать это: исключительному самообладанию или полному непониманию того, что происходит.

— Только отмена приказа вашего величества о мобилизации может быть еще будет в состоянии предотвратить войну, — вот что я думаю, ваше величество, — ответил на это Пурталес.

— Вы — бывший офицер, — заметил на это Николай, — как же можете вы говорить, что легко это сделать: сначала дать приказ о мобилизации, потом вдруг отменить этот приказ. Даже просто по техническим причинам это совершенно невозможно.

Это было сказано без малейшего повышения голоса так же, как и то, что затем добавил:

— Вот я написал телеграмму императору Вильгельму с объяснениями настоящего положения вещей.

При этом он положил руку на черновик телеграммы, лежавшей перед ним на столе, и придвинул ее к послу Вильгельма.

— По глубокому убеждению моему, ваше величество, — горячо возразил Пурталес, пробежав глазами телеграмму, — всякие вообще телеграфные объяснения настоящего положения вещей совершенно запоздали!

— Вы так думаете? — прежним бесстрастным тоном отозвался на это Николай.

— Я думаю также, ваше величество, что европейская война, если она только начнется, неизбежно явится сильнейшей угрозой монархическому началу, — с нажимом сказал Пурталес.

— Может быть, вы правы, — сказал царь, — но я думаю все-таки, что все устроится лучше, чем полагаете вы.

— Лучше? Но каким же образом это возможно? — совершенно озадачился Пурталес. — Никакой поворот к лучшему невозможен, если не будет приостановлена русская мобилизация!

Николай чуть заметно, в усы, улыбнулся такой горячности посла Вильгельма и сказал, указав пальцем вверх:

— Ну, если так, то помочь может только один бог.

И протянул ему руку для прощанья. Аудиенция кончилась ничем.

Послав телеграмму 19 июля утром, Николай ждал от Вильгельма ответа весь день, но вместо того германский статс-секретарь по иностранным делам фон-Ягов прислал Пурталесу такую телеграмму, пришедшую в Петербург около 6 часов вечера:

«Императорское правительство стара-

ось с начала кризиса привести его к ирному разрешению. Идя навстречу ожеланию, высказанному его величеством императором всероссийским, его еличество император германский, в согасии с Англией, прилагал старания к существенно роли посредника между енскими и петербургским кабинетами, ода Россия, не дожидаясь их результата, приступила к мобилизации всей овокупности своих сухопутных и морских сил. Вследствие этой угрожающей иеры, не вызванной никакими военными риготовлениями Германии, Германская мперия оказалась перед серьезной и непосредственной опасностью. Если бы императорское правительство не приняо мер к предотвращению этой опасности, оно подорвало бы безопасность самое существование Германии. Германское правительство поэтому нашло себя вынужденным обратиться к правительству его величества императора сроссийского, настаивая на прекращении помянутых мер. Ввиду того, что Россия отказалась удовлетворить это поелание и выказала этим отказом, что е выступление направлено против Германии, я имею честь, по приказанию оего правительства сообщить вашему правительству нижеследующее: его величество император, мой августейший ювелитель, от имени империи, принимая ыззов, считает себя в состоянии войны с Россией».

Содержание этой телеграммы было стно передано Пурталесом Сазонову в часов 10 минут вечера. Таким образом, Германия объявила войну России.

И только в 10 часов 55 минут вечера обрался Вильгельм ответить на последнюю телеграмму Николая, и только во втором часу этот ответ был получен в Петергофе.

Несмотря на то, что война Германией была уже объявлена, Вильгельм сделал вид, что это ему совершенно пока неизвестно и писал так:

«Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный путь, которым можно избежать войны. Несмотря на то, что я требовал ответа сегодня к полудню, я еще до сих пор не получил от моего посла телеграммы, содержащей ответ твоего правительства. Ввиду этого я был принужден мобилизовать свою армию. Немедленный, утвердительный, ясный и точный ответ от твоего правительства — единственный путь избежать неисчислимы бедствия. До получения этого ответа я не могу обсуждать вопроса, поставленного твоей телеграммой. Во всяком случае я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам ни в каком случае не переходить нашей границы.

Вилли».

Николаю, получившему такую телеграмму со словами «я требовал» и особенно с этим великолепным заключением: «Я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам ни в каком случае не переходить нашей границы», — ничего не осталось больше, как написать на телеграфном бланке карандашом: «Получена после объявления войны».

Что же касалось просьбы русским войскам не переходить границы с Германией, то Николаю очень хорошо было известно, как несколько дней уже полным ходом шло сосредоточение немецких войск, в избытке снабженных всем необходимым для начала военных действий в любой момент.

Николай знал, что его «преданный друг и кузен» успел уже закончить мобилизацию своей армии в то время, когда только начал угрожать ей, если не будет отставлена мобилизация в России.

## 8.

Прошло всего только три дня со времени объявления Германией войны России, но за это короткое время совершилось много, так как германский генеральный штаб бурно принялся выполнять свой давно взлеянный план молниеносной войны на два фронта.

Германия так спешила разбить Францию и Россию до осеннего листопада, что, во-первых, «рыцарски заступаясь» за своего союзника Австрию, она объявила войну России: во-вторых, почти все свои силы направляя прежде всего против Франции, чтобы через две недели занять уже Париж, она только через сутки после объявления войны России вспомнила, что не объявила еще войны французам и постаралась исправить эту оплошность.

Вышло все-таки так, что Россия и Австрия не были еще в состоянии войны друг с другом, когда Германии напомнил о себе третий член Антанты — Англия, державшаяся несколько в тени после того, как было отвергнуто канцлером Бетман-Гольвергом предложение Грея о «разговоре четырех».

Один совершенно ничем не замечательный французский офицер сказал немецкому врачу в лазарете ядовито-меткую фразу: Vos armées sont terribles, mais votre diplomatie, c'est un éclat de rire». («Ваши армии наводят ужас, но ваша дипломатия вызывает взрыв смеха»). Даже Вильгельм, отличившийся своей прямолинейностью, был поражен теми ошибками, какие, по его мнению, наделал Бетман, пока сам он плавал в норвежских фиордах. Однако и Вильгельм вполне согласился с его убеждением, что Англия в затеваемой европейской войне останется нейтральной.

В этом взгляде особенно укрепило его то, что 16 (29) июля прибыл в Претсдам принц Генрих с извещением от Георга V, что в случае, если разразится война, Англия останется нейтральной. Склонный к театральности выражений Вильгельм воскликнул: «Я имею слово короля, и этого с меня довольно».

Но в Англии, стране старой конституции, насчитывавшей несколько веков существования, кроме короля был парламент, был премьер-министр Асквит, был министр иностранных дел Грей, был Ллойд-Джорж, был морской министр Черчилль, уже успевший привести военно-морской флот в состояние боевой готовности на всякий случай, — было много государственных людей, испытанных во всех тонкостях дипломатии, был, наконец, лондонский квартал Сити, способный финансировать войну гигантских масштабов...

Отклонивший предложение Грея о конференции, Бетман во всем остальном был чрезвычайно предупредителен к Англии. Он выразил даже готовность не выпускать немецкого флота из Балтийского моря, чтобы не возбуждать у англичан никаких подозрений, и Вильгельм распорядился уже, что германский флот будет действовать только против России.

Ослепленные своей «удачей» в отношении Англии, устранив, как они думали, Англию на все время войны, кайзер и канцлер не задумывались даже над тем, что, объявляя первыми войну как России, так и Франции, они сами отбрасывают Италию и Румынию, как союзников, потому что те, если и обязывались выступить по договорам в защиту центральных держав, то в том лишь случае, если им объявят войну, на них нападут.

Однако Англия тоже имела договор с Бельгией, по которому должна была прийти к ней на помощь, если на нее нападет «одна из европейских держав», то-есть, Германия.

Знали об этом кайзер и канцлер? — Конечно, знали. — Знали они о том, что Бельгия спешно мобилизует на случай нападения на нее свою маленькую армию, во главе которой изъявил желание стать сам бельгийский король Альберт? — Конечно, знали. И все-таки громаднейшие, неслыханные до того миллионные вооруженные силы Германии вторглись в Бельгию, чтобы на-

пасть не на нее ведь, — на Францию, так выходило по логике немцев.

Но Бельгия была ведь суверенная, нейтральная страна. Давала ли она согласие на пропуск германских войск для нападения на Францию? — Нет, и с ней даже не говорили об этом, считая этот разговор совершенно излишним, только ненужно-осложняющим дело.

В самом деле, — смешно было бы думать, чтобы маленькая Бельгия с ее игрушечной армией, состоящей в большинстве из ополченцев, спешно поставленных в строй, могла сопротивляться двух-миллионной лавине немецких солдат, и все-таки, опираясь на свои ничтожные крепостцы, эта армия вздумала сопротивляться! — Почему же? — Потому что за спиной Бельгии стояла Англия, связанная с нею договором.

«Разговор четырех», задуманный Грем, не удался, зато удался разговор английского посла в Берлине Гошена с германским канцлером.

Этот разговор, во время которого Гошен с полнейшим хладнокровием заявил, что нарушение нейтралитета Бельгии вынуждает Англию объявить войну Германии, совершенно вывел из себя Бетмана. В сильнейшем волнении подымая обе руки кверху, Бетман кричал, что поведение Англии неслыханно по своей гнусности, что это удар ножом в спину Германии, что последствия этого шага будут ужасны для обеих стран, живших до сего в мире, что договор с Бельгией, на который ссылается Гошен не больше как ничтожный клочок бумаги...

— Мы в Англии думаем об этом договоре совершенно иначе, — не теряя хладнокровия, заявил в ответ на весь этот поток упреков и угроз Гошен и покинул кабинет Бетмана.

В ночь на 23 июля (4 августа) Англия объявила войну Германии.

Но объявив войну Германии, Англия имела, конечно, в виду и колонии немцев в Африке, в Океании, на берегах Тихого океана. Она рассчитывала в этом на помощь также и своей союзницы Японии, которая не могла, конечно, спокойно смотреть на то, что немцы так прочно укрепились в Цзинь-Тау, арендованном на 99 лет у Китая...

Так едва началась европейская война 1914 года, как она уже переросла в мировую, которой суждено было всего только через четверть века получить название «Первой».

Май—август 1943 г.

Конец.

## КЛЮЧИ

АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО

★

Лежим в засаде. Вековая  
Настала тишина в ночи.  
Позванивают, не смолкая,  
Одни беспутные ключи.

Чем неприметней в чаще леса  
Ключ меж уступов из камней  
Голубоватых и белесых,  
Тем он в звучании сильнее.

Посмотришь, где берет силенки  
Едва протиснулся на свет,  
А вот играет на гребенке  
Никто не скажет сколько лет.

И что ни шаг, то россыпь терции  
А глянешь: лес и пуст, и мглист  
Но песни — те идут от сердца  
И у людей и у земли.

## ЯБЛОКИ

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

★

Ты яблоки привез на самолете  
Из Самарканда лютою зимой.  
Холодными, иззябшими в полете  
Мы принесли их вечером домой.  
Нет, не домой. Наш дом был так далеко,  
Что я в него не верила сама,  
А здесь цвела на стеклах синих окон  
Косматая сибирская зима.  
Как на друзей забытых, я глядела  
На яблоки, склоняясь над столом,  
И трогала упругое их тело,  
Пронизанное светом и теплом.  
И целовала шелковую кожу,  
И свежий запах медленно пила.  
Их желтизна, казалось мне, похожа  
На солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось — я живу у моря  
Над морем зной. На свете нет войны.  
И сад шумит. И шуму сада вторит  
Блаженное мурлыканье волны.  
Я видела осеннюю прогулку,  
Сырой асфальт и листья без числа...  
Я шла родным московским переулком  
И яблоки такие же несла.  
Потом с рассветом ворвались заботы  
В углах синел и колыхался чад...  
Топили печь... и в коридоре кто-то  
Сказал: «По Редюру — пятьдесят».  
Но как порою надо нам немного:  
Среди разлук, тревоги и невзгод  
Мне легче сделал трудную дорогу  
Осколок солнца, заключенный в плод.



# „СУХИЕ ГВОЗДИ“

Рассказ

Н. ЕМЕЛЬНОВА

★

Он сидел в большой четырехугольной палатке перед столиком с перевязочным материалом и инструментами, в смятой задранной вверх рубашке и, большой и широкий, застенчиво смотрел на нас. Могучая его грудь, перевязанная ситцевой полосатой тряпичей, напоминала грудь Лаокоона. На шее под широкой русской бородой запеклась кровь. Глаза были серые, умные, внимательные.

— Пустяковина.. маленько чмокнуло... — говорил он протяжным густым голосом, пока сестра, попробовав развязать розовую его тряпку и не сумев справиться с туго затянутым узлом, разрешила ее ножницами и хотела было снять, как увидела яркую и свежую струйку крови, потянувшуюся по белой здоровой его коже, и прижала повязку рукой.

— Не бойся, — сказал он, — тяни. Я ее, рану-то заткнул.

Доктор подошел, сказал хирургической сестре, что ему могут понадобиться большие салфеточки и, не трогая чисто вымытыми, стерильными руками грязной тряпки, показал сестре, что можно ее снять.. Сестра отняла повязку.. Струйка крови медленно потекла из раны, заткнутой куском тряпки, как пробкой.

— Легкое пробито, — сказал доктор, маленький, худощавый и молодой, но перед этим цветущим телом он вдруг показался нам не очень молодым. — Трудно дышать было, когда ранило?

— Трудно, — согласился раненый, — даже просто захватало дух.

— А говорите пустяковина.

— А то нет? Вот у меня что было, и то обошлось. — Он сдвинул еще пониже на правом боку серые свои холостинковые штаны и показал огромный рубец, похожий на красноватый выпуклый серп.

— Что же это? — спросил врач.

— Бургомистерство принимал, — усмехнулся раненый, — здесь в Смоленской области бургомистером ставили..

— И что же?

— Даж не подошло мне дело-то!.. — улыбнулся он и все увидели, что он человек веселый..

— Так вы смоленский? — спросила сестра.

— Смоленский.. но в это время доктор обратил внимание на кровь, запекающуюся на шее, тронул пинцетом и увидел глубокую борозду, проведенную чиркнувшим осколком. Он занялся обработкой раны и разговор прекратился, только слышалось покряхтывание раненого, когда иод пробирался в рану.

— Живое мясо иода боится, — сказал он.

Ему пришлось сделать операцию: вынуть осколок и подтянуть края легкого, рократившегося под давлением вошедшего в рану воздуха. После операции его отнесли в нашу избу. Предназначенную для раненых, не требующих немедленной эвакуации. На листке с его историей болезни доктор мелко написал, что им произведена операция «открытого пневмоторакса» левого легкого и перевязка поверхностного ранения шеи под правой ключицей. Наверху, где заполняется фамилия и имя, стояло: Коробков, Степан Игнатьевич, 58 лет, русский, уроженец Смоленской области, колхозник, беспартийный.

Вечером глаза его лихорадочно блестя, лицо порозовело: Температура была высокая. Он не хотел или не мог лежать: Все поднимался на кровати, спускал босые, по его росту небольшие ноги и сидел, положив руки на колени. Кисти рук у него, как и широкое его лицо, были как бы темнее и старше тела, и на них обозначались вены

— Нет привычки лежать, — сказал я. — Я не болел сроду. А то, думается, илжешь и не встанешь...

— Но ведь лежали же вы после того, как бургомистерство принимали?

— Полежал маленько, — опять согласился он, — тут уж нельзя было встать.

Этот случай его, кажется, убедил. Он лег на кровать и присмирел, так что нам стало его жалко. Но ему надо было лежать, и, увидев по глазам, что он хочет попросить о чем-то, я подумала, что все равно не разрешу ему встать.

— Сестрица, я так не поправляюсь... Достаньте мне полстаканчика спирта...

— Что вы, разве это можно!

— А можно! Ей-богу, можно: Подумайка! Меня лекарствами не возьмешь ничем.

Мне показалось, что, может быть, и впрямь можно, такой убедительный был у него голос.

— Вот доктор выпишет зам виноградного вина. Это можно.

Он горестно махнул рукой.

— Портвейны эти я не уважаю. Ну, ваше дело. — Он, видимо, начинал убеждать, что тут действительно не его дело и ему придется подчиниться.

— Утром уйду! — пообещал он и забллся.

Всю ночь он беспокоился и бредил. К утру температура стала падать, лоб под густыми, подстриженными по-любительски волосами стал влажным и прохладным. У крыльев широкого крупного носа появились капельки пота. Когда сквозь запотевшие холодные стекла стали видны спокойные недвижно дремлющие деревья с прозрачной лимонно-желтой листвой, он открыл глаза, обвел избу, спящего на лавке санитаря и сказал: «Угодило же меня сюда!»

«Угодил» он очень просто. Недалеко от аэродрома около села шла молотья: Немецкий самолет сбросил бомбы и ушел. Непонятным осталось — нащупали он аэродром, или сбросил бомбы, уходя от города, где его встретил огонь зениток. Степан Игнатьевич заткнул рану тряпочкой, и одна из женщин перевязала ее своим фартуком. Уходить домой он не собирался и еще с полчаса продолжал руководить работой бригады, пока его не «обнесло». Тогда на перевязочный пункт аэродрома прибежал запыхавшийся парнишка и за раненым послал машину с санитаром.

— Ни в кого боле, а только в меня, — самодовольно сказал он — Мишень, конечно, очень видная — Похоже было, он думал, что немец бросал бомбы специально в него. Я ему сказала об этом.

— А и вполне возможно, — ответил он. — Я им урону нанес... Конечно, это

и говорю шутейно, но только за бургомистра я им дал...

За дверь послышались торопливые шаги. Дверь открылась, и женщина лет сорока в распахнутой ватной телогрейке шагнула в избу. Увидев необычайное для избы: женщину в белом халате, столик, покрытый простыней, лежащего на кровати раненого, она остановилась и смущенным голосом спросила:

— Мужик мой тут, у вас? — хотя видела, что он тут, собственной персоной.

Через несколько минут, сняв телогрейку, она уже помогала санитару кипятить чай, подходила к мужу, спрашивала у нас, какая у него рана, рассказывала, как, управившись с молотью; дома все наладила и под утро побежала проведать.

— Мы из Орловской эвакуировались, да тут вот пока и работаем, — говорила она. — Меня с дочерью и внуком вперед отправил, а сам, — говорит, — я с последним эшелонном поеду. Он чудак, муж-то. «Капитану, — говорит, — последнему с мостика указано сходить». Да и досиделся до последнего. Скога отправили, народ кто на конях, кто пеший ушел, а он, видишь, остался, чтобы сено в скирдах поपालить. Как отъехали мы, на станции начали сгонять вагоны под другой поезд, а немецкий самолет, вон как давеча, бомбы бросил на станцию, рельсы разворотил. Эшелону-то никакого хода и нет: Ребятенки на станции, женщины. Мой-то, — вон он какой! — с гордостью показала она в сторону мужа. Он лежал сейчас с расчесанными волосами и бородой, выпростав руки поверх серого красноармейского одеяла, и глядел на нее снисходительно, с легким пренебрежением: — Ну; он ребятишек таскать; матерям помогать, туда-сюда... Ночью ему бы уйти с людьми, а он обратно остался. Ну и...

— Ну и будем толковать больной с подлекарем, а дело стоять будет? — строго сказал Степан Игнатьевич. — Погостила и ступай. Скажи, — бригадир сам завтра будет.

Я вышла проводить женщину, чтобы сказать ей, что ни завтра, ни послезавтра бригадир не будет, а разве что через неделю доктор отпустит его домой.

— Господи, да разве я не понимаю! — сказала женщина. — Поди с ним поговори! Ему только не перечить, а там делай с ним что хочешь. — Хитро и молодоло блеснули серые лукавые глаза. — Он-то ведь упрямый, а на упрямых воду всыят. Да что было-то с ним! Ему живот ножом расплосовали... А он двоих немцев убил да ушел...

Как можно было уйти с такой раной, понять было трудно. Я решила как-нибудь сходить в село и расспросить жен-

шину. Но Степан Игнатьевич сам рассказал мне об этом.

—... Служил я у него в приказчиках. Лавка была, все, что тебе угодно было. Крупа и сахар, и соль, и мыло, и гвозди, и кожа... Хомуты, уздечки, — ну все; что требуется; весь подбор. Прозвал его народ — «Маркел-сухие гвозди». Ну — как приклеили: не было у него того, чтобы не обвесить, не обмерить. Говорили ему люди: «Маркел Назарыч, ты, ведь, не довесил мне муки-то. Полфунта нехватает». — «Это, — говорит усушка произошла»... — «Ладно, — люди говорят, — усушка на муку-пускай, а неужели же и на гвозди усушка?» — Да так и прозвали «Маркел-сухие гвозди». И сам видом он, как гвоздь согнутый был, — бессмертный кашей...

Я, конечно, служу и по хозяину лажу: «Чтобы у тебя этой блажи не было, Степан! Смотри, как я вешаю, и понимай!» Я, конечно, и смолоду понятливый был. Пришлось ему по душе. Хозяин обвесит, и я норовлю. «Ну, — говорит, — будет из тебя толк. Купцом будешь. В компанию возьму»... Иной раз иду по селу, слышу про моего хозяина говорят: «Маркел-сухие гвозди». Правильно, думаю, говорят...

Понравилась мне тут девица одна. Это я нынче остарел, а был я прямо Еруслан Лазаревич. Стал за ней похаживать. Она и лицом взяда, и работница, и танцовать, и смеяться — на все хороша. Помещичишко у нас был, — так у него на скотном дворе работала. Глаз таких я во всю жизнь не увидел более: глядит и греет глазами-то. Как, думаю, ей понравится? Я — медведь-медведем. Выходит — надо мне танцам обучаться. Стал глядеть, как городские приказчики танцуют: мудрено, не могу применить. А у меня в городе, в Рославле-то, брат двоюродный тоже в приказчиках. — «Ты, — говорит; — вот как учишь: полечку хочешь? Повторяй: рупь шесть гривен, два с половиной... рупь шесть гривен, два с половиной; Смекаешь?» И оно правильно: как напеваешь, ноги сами идут. А если валяе, то: рупь двадцать, рупь тридцать, рупь семьдесят пять! — И верно, так тебя и кружит, никакой музыки не надо. Слышишь, как оно различается? — Степан Игнатьевич проговорил скороговоркой, напевая: — Рупь двадцать, рупь тридцать, рупь семьдесят пять!

Выучился! Одеваюсь чисто, а она не смотрит. Что за оказия? Раз вечером я ей стал объяснять: «Я не для баловства, женюсь, мне жену надо». А она смеется. «Не смейся, — говорю, — не гордись. Ты хороша, и я не хуже. Рассмотри, — говорю, — поближе». — «Я уже рассмотрела, — говорит, — в яблоч-

ке-то червоточинка есть». — «Неужели А все-таки пойдешь за меня?» — «Нет не пойду. У тебя клычка очень нехорошая». — «Какая же, — спрашиваю, — клычка? Я не собака, чтоб кликали...» — «Маркел-сухие гвозди». Так тебя по хозяину кличут». И убежала. Меня как буди обухом по голове...

Ты думаешь, я это дело сразу понял? То-то и есть, что не сразу. Поболее да я еще круче с народа золотники хозяину собирал: прежде-то все фунты да золотники были. Озверел. Меня уж в глаза «Сухие гвозди» называют. Не нависть какая-то во мне появилась, — самому хоть удавиться, — совестно. А Маркел в городе хвалится, что приказчик хорош: все дела на меня полагает доверился. Дом он в ту пору себе построил под железной крышей, о двух этажах.

Раз заходит Маринушка в лавку, покупает сахар — песок Я вешаю, а она будто ей совестно, смотрит в сторону «Посмотрите, — говорю, — в аккурат!» Она и взглянула на меня. Я, как вышел из-за прилавка, подошел к ней, говорю: «А коли бедность одолит, не покаешься? Все брошу, гори оно ясным огнем»... А она испугалась. — «Что ты, Степан! Да я ведь месяц замужем. Вот муж за сахаром послал»... — «Значит, — говорю, — сладкая вапа жизнь? А я-то как же?» — Степан Игнатьевич помолчал, вспоминая.

В тот день я Маркела побил, будто он виноват, что я сам дураком был. Много я тут куролесил. И уж жизнь потом сколько ни ломала, и на германской войне был, а как вернулся, народ все клычку помнит. «Сухие гвозди», — говорят, — вернулся». — А уж и на бессмертного Кашея нашлась утица, а в утице яйцо, а в нем Кашеева погиль! Ну, тут я дичать не стал. Стал я себя показывать в работе — идет дело полным ходом. Женился — дети пошли. Одно только: мозолит мне глаза Маркелов дом, да и только. Шел с войны домой, думал — спалить его, да и шабаш! Нет, нельзя. Мы же сами под школу его определили... Ну, ладно, думаю, стой, пока не сгинешь Клычку-то я реже слышу, да реже. Скоро забудут, думаю. Хотя нет-нет, да и скажут. «Это — пускай «Сухие гвозди», — то, бишь, извините, — Степан Игнатов, пусть провернет»...

Как стали немцы к селу подходить, я свою семью с нашими колхозниками вперед отправил, сам пошел скирды зажигать: богатое сено было. Прямо рука не поднималась, но пришлось. Подпалили все до одного и пошел задворками мимо села к станции.

Подошел к Маркеловскому дому так в сумерках. «А что, — думаю, — теперь его

вообще возможно спалить: немцам такое помещение оставлять нечего. Не удешь ты, проклятый, стоять на земле». Да и шагнул во двор.

Гляжу перед домом машина стоит на паша, немецкая. Неужели немцы? Они есть! Ихний солдат с крыльца спускается. «Хальт!» кричит и ружье на меня повернул.

«Эге, — думаю, — этого случая пропустить нельзя. Иду во двор, будто я там пришел и вовсе его не боюсь. Не стреляет, глядит на меня. А ружье все на меня направляет. Тут из дома выходит тощий, худой, вроде — офицер. Солдат ему докладывает. Офицер что-то сказал ему. Солдат подошел ко мне, по гарманам похлопал, обыскал — не нашел ничего. Офицер и говорит мне русским языком: «Иди сюда».

Зашел в избу. Сидит немец, важный, толстый, похоже, чином повыше, чем тот, тощий. А на лавке... мать честная, сидит один человечиска городской. — Эге! — думаю, — вот ты кто оказался! Изменник родине!» Да какая ему может быть родина, подлому человеку?

Главный немец показывает на меня и спрашивает городского, а офицер переводит.

— Что вы про него скажете? Может, он бургомистером быть?

— Вполне ручаюсь, — отвечает: — В этом самом доме уважаемый купец жил, Марсел Назарович, а этот человек у него приказчиком был. Хозяин его правой рукой своей считал.

«Ах ты, — думаю, — когда же мне бог грехи простит?» Чую, во мне злоба закипела...

— Ну, вот что, — говорит офицер, — ты будешь бургомистером у нас в селе. Будешь следить, чтобы правильно исполнялись приказы немецкого командования, а во всех случаях неповиновения дол-

жен сообщать немецкому командованию, то-есть мне. — И, слышу, говорит городскому этому: «У него вид представительный». От меня, видишь, представления ожидали! Ну я и показал им представление. И начал крушить. Не помню уж, чего и было. Пришиб я обоих немцев. Опомнился, — у меня револьвер в руке: я их, значит, рукояткой и бил. Стреляли они, да в суматохе мимо пришлось. Стою, ощупываю себя: все цело, чуть только корягнуло по плечу. А тут из-под стола человечиска тот городской меня и полоснул кинжалом.

Надо уходить; а дело мое дрянное... Я над окошком шильце усмотрел, и там же дратва висит. Зашил себе рану двумя швами, затянул полотенцем и пошел. Со ступеней пришлось на карачках. Поднялся все-таки; а ходу нет. Гляжу — солдат убитый у крыльца — Семен, мужик наш; стоит. Весь белый даже стал:

— Пойдем, — говорит, — Степан Игнатьевич, — опирайся на меня. Жалко я к последнему действию угодила...

— Видел, — говорю, — как я их разделал?..

— Видел, — отвечает, — маленько застал. Ну, — говорит, — в жизнь не забуду, как тебе брюхо располосовали. Я думал, ты кончился. А не заходил в избу, — оглядывался, не бежит ли кто. Выстрелы были. Нет, никого пока не видать.

Доплелись мы с ним до станции — паровоз под парами. Они с машинистом меня и посадили. Дом зажечь не пришлось, да я как немцев увидал, у меня на них сердце зашло...

Степан Игнатьевич откинулся на подушку и удовлетворенно сказал:

— Ну зато после никто более «Сухих гвоздей» и не поминает.

# ГОРНАЯ НЕВЕСТА

К. МУРЗИДИ

*Посвящается П. Бажову — автору сказов о хозяйке Медной горы.*

## I.

Земные — что! Она волшебней...  
Пройдя породю пустой,  
Следы оставила на щель,  
И поманила высотой.

Земные — что! Она упрямей...  
Она задумала пройти  
Сквозь эти горы, словно впрямь ей  
Иного не было пути.

Ей — высота. Земным — равнина...  
И торопясь, на гром ружья,  
К огням разведчиков ревнива,  
Нас повела ворожея.

Наворожила, в самом деле,  
Наобещала, а сама  
Вошла в зеленые метели,  
Листвой засыпала с холма.

Темнеют медью на безводьи  
Березы в щель, искривясь;  
Она берет их, вместе сводит,  
В одну запутывает связь  
И вяжет желтые листы их  
Узлом со стеблями травы...

Но есть царяпины простые  
На медной зелени листы,  
Но есть в руках стальные клинья.  
Чтоб шли разведчики черней,  
Чтоб среди каменного ливня,  
Среди кипения кремней,  
Вперед пробилась мы, как песня.  
И, в скалы белые лоясь,  
Не для девического перстня,  
А для резца нашли алмаз.

## II.

Она забыла об отряде,  
Склонила голову к плечу,  
Щекой касаясь русой пряди,  
Такой густой (молчу... молчу...).  
Она скромнее самых скромных,  
И даже грусть затаена  
В ее глазах больших и темных,  
Хотя ресницами она  
Их влажный блеск не затенила  
И вслед вечернему лучу  
Приподняла и удлинила  
Такую бровь (молчу... молчу...).  
И этой бровью полукруглой,  
Едва ль не видной вдалеке,  
И этим пятнышком на смуглой

Не зацелованной щеке,  
И этим влажным ровным светом  
Зовет к алмазному ключу.  
И так зовет она, что в этом  
Изгибе губ (молчу... молчу...),  
Еще не тронутых улыбкой,  
Но еле сомкнутых, видна,  
Как и во всей фигуре гибкой,  
Ее любовь — она одна.  
И потеряв тропу лесную,  
Бреду, расстраивая ряд;  
Ее люблю я как земную,  
А мне ребята говорят:  
— Ты вспомнил милую... Но дай нам  
Пройти хоть раз путем иным;  
Мы приобщимся к новым тайнам,  
Но не изменим тем, земным.

## III.

И гул долин в предгорьях громок,  
Но горы громче тех долин,  
А их призыв neodolim...  
Опять заветрело до кромок,  
Заледенило все кусты...  
Хотя бы знать — не первый ты,  
Хотя бы след, пускай не броско,  
Едва-едва... И вдруг — бороздка  
В снегу на гребне высоты.  
Так, значит, этот дальний адрес,  
Так этот ход в гнездо камней  
Уже однажды знала храбрость,  
И я теперь иду за ней!  
Иду, и пригоршнями снега  
Меня забрасывает с неба,  
Я отбиваюсь, пью слезу.  
Но — ниже острые сугробы  
И горы вдруг не так суровы,  
Как это кажется внизу.

## IV.

Мне тридцать лет. Я знал войну  
И плохо верю в тишину.  
Какой бы ни была она —  
За ней тревога иль война.  
И ты, прокладывая путь,  
Ведя тропинкою лесной,  
Меня не сможешь обмануть  
Высокогорной тишиной.  
Вот мы взойдем на перевал,  
Где я не раз уже бывал,  
И, убегая, сдвинешь ты  
Шиханов гулкие щиты.

И это знаю, но иду,  
 Обвал и тот не страшен мне.  
 Довя следы твои, я жду  
 Своих признаний в тишине.  
 Но если сердцем не со мной,  
 Тогда не мучай тишиной,  
 Тогда камнями загреми —  
 Я сам найду тебя, пойми!  
 Я верю в то, что ты моя,  
 Что на пути, пускай в конце,  
 Улыбку вдруг увижу я  
 На запрокинутом лице.

V.

Прости мне... Ты все-таки женщина  
 И, может быть, тоже изменчива...  
 Не смейся. Я верная спутница,  
 Не знаю — плохая ль, хорошая,  
 Но все, что случайно забудется,  
 Под ноги разведчику брошу я.  
 Спроси у любого разведчика:  
 Как только терялась их линия,  
 Лесная светила им свечечка,  
 Венела хрустальная лилия.  
 Она замолчала, и сели мы  
 У самого края расселины.  
 Тут я с улыбкой спросил ее:  
 Быть может, отсюда не видно ей,  
 Какою становятся силою  
 Ее огоньки безобидные?  
 Ответа хотелось мне скорого,  
 И вот она, краткая речь ее:  
 - Еще бомбардиры Суворова  
 Вытиль поджигали той свечкою.

VI.

Пока вполголоса в душе  
 Люю, взволнованный весною,  
 О ней, о той, что надо мною  
 Кивет на сотом этаже.  
 Рабой — на первом... Знаю сам,  
 Это слишком труден путь к высотам,  
 Это мы — внизу, а там — на сотом  
 Земного ближе к небесам.  
 Нам дано ломать руду  
 И, глыбы складывая к месту,  
 Взглядеть на горную невесту,  
 Как на далекую звезду.  
 Нам на первом полутьма  
 И вечный шум забоев гесных,  
 Но почему с высот небесных  
 Она сбегает к нам сама?  
 Не потому ли, что всегда,  
 Устав от ясности холодной,  
 От жизни тягостно-свободной,  
 На землю падает звезда?  
 Не потому ли, что она  
 Решила нам в любви признаться,  
 Сказать, что внукам рудознатцев  
 Она попрежнему верна?  
 Не потому ли, что дея  
 С ветрами каменное ложе,  
 Она уверена, что все же  
 Основа радости — земля?!

VII.

Я только с ней могу оттаивать.  
 И старый друг ворчит, сутулясь:  
 «Смотрите, кажется, лета его,  
 Давно миновавшие, вернулись.  
 Как видно, мастер знает снадобье —  
 Не постарел, а стал моложе».  
 Они завидуют, а надо бы  
 И им — сутулым — сделать то же.  
 К чему терзаться мыслью вздорною?  
 Не годы вновь ко мне вернулись,  
 А я влюблен в невесту горную,  
 Влюблен в мечту горняцких улиц.  
 Другие в ней давно изверились  
 И отворачивают лица.  
 Она немножечко из ветренниц,  
 Но не настолько, чтобы злиться.  
 Она одна подруга храбрости:  
 Пройдет дорожку ночью  
 И в гости к вам заглянет запросто.  
 Как вот теперь зашла за мною.  
 Вглядитесь в милую, запомните...  
 Уже давно темно и поздно;  
 Так пусть же будет в каждой комнате,  
 Как в этой, радостно и звездно.  
 Пройдем за нею тропкой горною,  
 А станет ветренно и снежно,  
 Опять окликнет дева горная:  
 — Ты любишь все еще? — Конечно...

VIII.

Рыхлый снег. Угловатые синие крыши,  
 Словно подступы, словно ступени к тебе,  
 К дальней башне твоей, что воздвигну<sup>т</sup>  
 выше  
 Этих низких домов... Я иду по тропе.  
 Говорят, что земными грехами  
 навьючась,  
 Я напрасно пытаюсь достичь высоты,  
 И что стану потом проклинать свою  
 участь  
 И ребячью улыбку последней мечты.  
 Говорят, что земля не отпустит далеко  
 И в дорогу не даст ни огня, ни луны;  
 Чтобы я не ушел, крепко держит за  
 локоть  
 И, влюбленная, смотрит глазами жены;  
 Желтой звездочкой лампы домой меня  
 манит,  
 Ну а если решусь я уйти навсегда,  
 То земля ко мне детские руки протянет,  
 Залепечет, и я не уйду никуда.  
 Но, как видно, боясь, что и этого мало,  
 На прощанье они уверяют меня,  
 Будто ты за другого меня принимала  
 И всегда избегаешь земного огня.  
 Разве ты оттолкнешь меня? Нет, ты не  
 в силах  
 Отказать мне в любви, упрекнуть за  
 жену,  
 Потому что, узнав и веселых и милых,  
 Выше всех я поставил тебя лишь одну,

Чтоб всю жизнь проходить по высокой  
 дороге,  
 Чтобы желтую звездочку лампы ночной  
 Занести в твою башню, присесть на  
 пороге  
 Отдохнуть, закурить по привычке  
 земной;  
 Сквозь табачный дымок поглядеть на  
 равнину  
 И еще раз глазами измерить подъем,  
 А потом, оглядевшись, позвать свою  
 Нину,  
 Познакомить с тобой и оставить вдвоем.  
 И она, я уверен, украдкой спросит,  
 Чем могла ты увлечь меня так за собой.  
 Ты откроешь ей тайну, и пусть она  
 бросит  
 Ревновать и пойдет этой новой тропой.  
 И мы станем втроем подниматься все  
 выше,  
 Чтобы жизнь провести в постоянной  
 борьбе.  
 Рыхлый снег. Угловатые синие крыши —  
 Эти подступы, эти ступени к тебе.

## IX.

Ты, летом памятным, когда-то  
 Меня любила молодого.  
 Ответь мне: примешь ли солдата  
 И поцелуешь ли — седого?  
 Не за себя прошу — за многих,  
 Чьи годы днями пролетели,  
 Кто на заснеженных дорогах  
 Входил когда-нибудь в метели.  
 А нас немало. Если нужно,  
 Мы встанем, словно в карауле.  
 Не думай, нет — в полях не вьюжно. —  
 То мы шинели распахнули.  
 Теперь ты видишь нас, конечно;  
 Мы строй недаром подравняли.  
 Не думай, нет — в полях не снежно. —  
 То мы фуражки приподняли,  
 И ты поймешь; огнем палимы,  
 Забыв сердечные тревоги,  
 Всегда в сраженьи — не могли мы  
 На полпути свернуть с дороги.  
 Верны суровому приказу,  
 Мы знали долгие походы,  
 Но ни один тебе ни разу  
 Не изменил за эти годы.  
 И все, что с горечью томилось  
 К твоей щеке припасть готово.  
 Так неужели же как милосты  
 Ты бросишь ласковое слово?  
 Взгляни на нас: мы молодые.  
 Взгляни еще раз и доверься  
 За наши головы седые,  
 За нерастраченное сердце!

## X.

Мне говорят, что я, любя  
 Одну причудницу земную,  
 С досады выдумал тебя,

Во всем не здешнюю, иную,  
 И сделал это для того,  
 Чтобы меня не позабыли  
 И после все до одного  
 Страдали, мучились, любили,  
 Терялись в поисках мечты...  
 А между тем, ты и не Ольга  
 И не Татьяна... Кто же ты?  
 Всего лишь выдумка, и только.  
 Выходит так, что я солгал  
 Во имя почестей поэта,  
 Неуловимую создал  
 Из ветра, облачка и света.  
 Но можно ль выдумать тебя,  
 Обожествить на горе людям?  
 Неправда. Нет. Одну любя,  
 Об остальных мы позабудем.  
 И вот из ревности они  
 В живом живого не заметят.  
 А мне смешно. А ну взгляни  
 В лицо им — пусть они ответят:  
 Возможно ль выдумать тебя?  
 Был, дескать, скульптор и, рубя  
 Для статуи мраморные глыбы,  
 Бродя в тени прибрежных скал,  
 Еще не знал, что будет после,  
 Потом, увлекшись, высекал,  
 Смотрел и думал: удалось ли?  
 Опять настойчиво рубил,  
 Ваял Венеру иль Данаю  
 И глянул вдруг и полюбил  
 Точеный мрамор... Помню. Знаю.  
 Так неужели же и мы  
 Влюбились в стройность мертвых линий?  
 И потянулись на холмы,  
 Забыв о тех, кто там в долине?  
 Или с досадой, может быть,  
 Идем туда, где горя меньше —  
 Подальше в горы, чтоб забыть  
 Измены жен, причуды женщин,  
 Насмешки девушек чужих,  
 Которым мы уж тем не милы,  
 Что, как на грех, в таких больших,  
 В нас больше нежности, чем силы.  
 Не верю. Агут. Выходишь ты,  
 Когда рассвет еще не брезжит.  
 А там, на гребне высоты,  
 Нас, беспокойных, что нас нежит?  
 Мы снова в горы за тобой  
 Уходим, руды открывая,  
 Чтобы гремел в долинах бой, —  
 И мы — сильные, и ты — живая.  
 А тем — земным — скажи им ты,  
 Скажи, что любим их не меньше,  
 Коль придаем тебе черты  
 Своих причудниц — милых женщин.  
 И научи их быть сильней,  
 Но не затем, чтоб хлопать дверью:  
 Одну — особенно. За ней  
 (Ты не ревнуешь? Верю, верю) —  
 За ней тянусь я вновь и вновь —  
 По сердцу ведомой причине.  
 Нужна высокая любовь  
 Солдату, мастеру, мужчине.

# ЗАПИСКИ ПАРТИЗАНА\*

П. К. ИГНАТОВ

★

1942 год

16.X.

В лагере на поляне повзводно выстроен отряд. Комиссар открывает траурный митинг. Выступления кратки. Но скупые слова идут от сердца.

Превозмозя боль, говорит Елена Ивановна:

— Все наше счастье было в детях. Они погибли. Если потребуется, мы с отцом отдадим и свои жизни за родину. Но мы отомстим, — жестоко отомстим врагу за поруганную Кубань, за смерть наших ребят. Клянусь...

Елена Ивановна пошатнулась. Ее бережно поддержали...

Командование объявляет в приказе благодарность ряду партизан и представление к правительственной награде погибших братьев Игнатовых, командира первого взвода Янукевича, минировавшего профиль, старшего минера Кириченко, вместе с Евгением закладывавшего первую мину на железной дороге, и Павлика Сахатского, спасшего командира отряда.

На открытом собрании после митинга принимается решение просить командование куста партизанских отрядов присвоить отряду название «Отряд имени братьев Игнатовых», зимний лагерь на горе Стрепет, организованный Евгением, назвать его именем и представить к правительственной награде командира отряда, лично руководившего первой на Кубани крупной минно-диверсионной операцией...

17.X.

Как ни крепилась Елена Ивановна, но смерть ребят дала себя знать: у нее отялась левая половина тела, она поте-

рела сон. От нее не отходят Сафронов и Слащев.

Дакс понимает, что Женя больше не вернется, — и всю свою преданную собачью любовь перенес на Елену Ивановну. Он ходит за ней по пятам. Он лежит около нее и смотрит умными, понимающими глазами.

Чужому теперь невозможно подойти к Елене Ивановне: шерсть у Дакса поднимается дыбом, он показывает свои клыки и грозно рычит...

18.X.)

Елене Ивановне попрежнему плохо. Ей надо переменить обстановку: здесь, в лагере, каждый кустик, каждый камень напоминает ребят.

Мы решили отправить ее на стоянку в Крепостную. Благо начальником ее — Сафронов.

.....  
Ветлугин, Янукевич, Еременко, Кириченко, Литвинов — все друзья Евгения — буквально осаждают меня:

— Батя, когда же?

Создается впечатление, будто я сознательно задерживаю следующую операцию. Но если бы знали они, как я мечтаю о мести!

Спешить нельзя. Пусть пройдет несколько лишних дней, но удар должен быть нанесен неожиданно и точно, без суеты, без торопливости, без жертв, — на смерть, как говорил Евгений...

Наши разведчики уже вышли на работу.

19.X.

В лагерь пришла тяжелая весть: погиб Григорий Дмитриевич Конотопченко, старожил станицы Имеретинской и председатель колхоза.

Конотопченко — человек громадного роста, косая сажень в плечах, тяжелый, медлительный степной великан. При взгляде на него невольно бросаются в глаза большие мускулистые руки, быст-

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4-5, 1944 г.



рые и гибкие, как-то особенно ловко берущие вещи, и резкие складки у рта. Эти складки появились, когда в зарево пожара была занята немцами родная станица, когда он ушел в лес и стал командиром партизанского отряда имеретинцев.

Не раз отряды немецких автоматчиков и полицейских шли в леса и плотным кольцом окружали его группу. Но всякий раз вырывался на волю Конотопченко, громил немцев, гнал их обратно в станицу, — и опять бесследно исчезали германские заставы, и в придорожных канавах лежали разбитые машины.

Не сумев взять в бою, фашисты с помощью одного предателя заманили Конотопченко в засаду.

Вечером в густом орешнике у плетня хаты, на Конотопченко с двумя бойцами набросились двадцать рыжих немецких автоматчиков и полицейских.

Ночью немцы торжественно вводят пленных в станицу. Сзади санитары на носилках несут семь трупов германских солдат, — партизаны дорого продали свою свободу.

Три дня пытаются партизан в охранке — жгут каленым железом, вбивают иглы под ногти.

На станичной площади стучат топоры: немцы готовят виселицы.

Завтра — казнь.

Ночью на станичных улицах неожиданно разгорается бой: это имеретинцы ворвались в родную станицу спасать своего командира.

Хату за хатой, квартал за кварталом захватывают партизаны. Уже близок сарай, где заперт Конотопченко. Но из соседних хуторов к станице подходят десятки машин. Кольцом окружают враги Имеретинскую. Они уже перерезали дорогу в лес.

Захватив раненых, партизаны им одним знакомыми лазами, уходят из станицы.

На утро Имеретинская наводнена немецкими войсками, занимающими круговую оборону: здесь даже минометы и легкая артиллерия.

Поднимается солнце.

По широкой пустынной улице, под конвоем идет Конотопченко с двумя товарищами. Спутались, запеклись в крохи его густые светлые волосы. Лицо — сплошной кровоподтек. Страшно, неестественно висят перебитые руки вдоль израненного, исполосованного тела. На шее — доска с надписью: «Я партизан, убивал немецких солдат». Но голова горло поднята. И кажется, это не фашисты ведут на казнь партизана, а он, — непокоренный, несгибаемый, уверенный в победе — ведет их к суровой, неизбежной расплате.

На площади, у виселицы, усиленный караул. Чуть поодаль, сбившись в кучу, стоят старики, женщины, дети: их на-

сильно пригнали к месту казни. Лица суровы и сумрачны.

К Георгию Дмитриевичу подходит полицейский — сейчас он набросит петлю на эту непокорную партизанскую голову.

Собрав последние силы, Конотопченко резким ударом ноги бьет полицейского в живот. С диким криком предатель катится по земле.

Германский офицер нетерпеливо дает знак палачам.

Выбита табуретка. Громадное тело качается в петле. Кажется, перекаладина не выдержит этой тяжести.

В толпе раздается резкий крик. Мелькают сжатые кулаки. Трещит плетень — кто-то выламывает кол. Толпа, — будто это не десятки разных, непохожих друг на друга людей, а одна напряженная, сжатая, как пружина, человеческая воля, — бросается к виселице.

Немцы стреляют в воздух. Это не залп — это беспорядочная стрельба перепуганных на-смерть палачей.

Фашистские пулеметчики, лежащие на окраине станицы, слышат выстрелы на площади.

— Партизаны! — проносится по цепи. — В станице партизаны!

Охранение открывает беглый огонь. Пулеметчики стреляют по кустам, по далекому лесу, по белым хатам.

В станице — паника. Караул у виселицы бежит к околице. В упор по нему бьют пулеметы охранения.

Через полчаса все выясняется. Офицер спешит на площадь.

Площадь пуста. Веревки на виселице срезаны. Это односельчане, воспользовавшись паникой, рискуя жизнью, пытались спасти повешенных. Друзья опоздали на несколько секунд...

Офицер не решается подойти к трупам и приказать снова вздернуть их на виселицу. И три дня лежат мертвые партизаны на оцепленной немцами пустынной станичной площади. Шурша, падают на них золотые листья с родных тополей, и ветер предгорий приносит к ним запах далекого леса.

В ночь на четвертые сутки трупы казненных бесследно исчезают..:

## 20.X.

Приехал в Крепостную — проведать Елену Ивановну. Она чувствует себя плохо: ее попрежнему мучает бессонница. Чтобы как-нибудь забыться, она работает, не покладая рук шьет и возится с ранеными.

Наша Крепостная превратилась в своеобразный районный госпиталь: сюда, к Елене Ивановне, обращаются за медицинской помощью партизаны соседних отрядов, и Елена Ивановна раскинула здесь настоящий лазарет.

Командант Крепостной, Владимир Ни-

колаевич Сафронов, показывал мне сегодня свое хозяйство.

Прежде всего, он организовал выработку кожи из шкур нашего стада на сапоги, полушубки и шапки. Начал валять валенки. Заготавливает на зиму овощи и дичок. У него на Крепостной хранятся наши основные запасы сена и зерна для лошадей. И только ему одному мы обязаны тем, что можем совершать длительные походы верхами и имеем свой обозный транспорт.

Мы долго говорили с Владимиром Николаевичем о делах его «фактории».

Это название прочно прижилось к нашим стоянкам — на хуторе Красном под Крепостной, на Планческой.

Немцы проводили про них и оказывают им особое внимание.

Вот и сегодня, пролетая над Крепостной, немецкий бомбардировщик сбросил две бомбы — они упали в лощины недалеко от хуторка.

Это далеко не первый налет: Владимир Николаевич уже потерял счет бомбежкам. Немцы посылают сюда своих диверсантов. И нередко на подступах к хутору разгораются горячие схватки.

Жизнь в наших факториях хлопотливая и беспокойная. Но я не могу отказаться от них. Они нужны нам, как воздух. Здесь мы проводим окончателную подготовку к диверсиям, довооружаемся взрывчаткой и патронами, запасаемся продуктами и отсиживаемся, ожидая, когда легче можно прискочить мимо населенных пунктов, занятых немцами. Здесь же, возвращаясь с операций, мы отдыхаем, здесь нас как следует перевязывают раны и лечат наши недуги.

Нет, до тех пор, пока нас силой не вышибут из наших факторий, мы будем хранить их, как зеницу ока.

## II. X.

Весть о расправе в Имеретинской быстро разносится по предгорьям. О ней узнают смольчане, северчане, моряки Ейска.

Первыми выходят мстить ейчане с группой партизан станицы Смоленской.

Во главе ейчан матрос-комиссар.

У шоссе, недалеко от станицы Смоленской, партизаны ложатся в кустах у обочины: смольчане — ближе к станице, моряки — чуть дальше, за крутым поворотом.

Партизаны ждут двое суток.

По шоссе проходят немецкие армейские части. Пронесются машины с автоматами, боеприпасами, продовольствием. Пылят мотоциклисты.

Нет, все это не то.

Отряд ждет.

На рассвете третьего дня, когда за дальними синими горами поднималось солнце и расплавленным золотом загора-

лись на тополях последние листья, со стороны Смоленской в облаке пыли выросла колонна.

Шли штрафники-офицеры. Их прислали сюда, в штрафной батальон, из-под Туапсе и Новороссийска, из-под Ростова и Воронежа. Только особым — редким даже в звериной фашистской армии — зверством по отношению к мирным станичникам, к пленным и раненым красноармейцам, только безоговорочным, слепым выполнением любого приказа могут они добиться прощания. И нет такой изощренной нечеловеческой пытки, которой бы не шеголяли друг перед другом штрафники-офицеры.

Их-то и поджидают смольчане и матросы Ейска. Особенно их ждет моряк-комиссар — у него со штрафниками особый разговор.

Под барабан, четко отбивая шаг, высоко вскидывая ноги и задрав голову кверху, широко размахивая левой рукой, идут штрафники мимо смольчан.

Вот сейчас бы рвануться на шоссе! Но смольчане ждут: первыми должны ударить моряки.

Колонна скрывается за поворотом.

Матросы тоже ждут. Ближе всех к обочине дороги лежит комиссар, крепко сжимая в руке гранату.

Колонна идет мимо него. В центре — толстый офицер с нафабранными рыжими усами.

Вот такой же рыжий обер-лейтенант был комендантом Ейска. Он изнасиловал молодую рыбачку, отрубил ей пальцы на руках и, опозоренную, истерзанную, вздернул на виселицу...

Комиссар швыряет гранату. Потом, рванув с плеч бушлат, в одной полосатой матросской тельняшке — чтобы знал враг, с кем имеет дело, — с ножом бросается на шоссе. За ним поднимаются из кустов и все остальные моряки.

Толстый офицер жив. Он чудом спасся от гранаты. Прямо на него, чуть пригнувшись к земле, бежит комиссар.

Откуда здесь, вдали от моря, среди широких полей перезревшей пшеницы, «черная матросская смерть»?

Офицер вскидывает автомат. Очередь захлебывается: как внезапно отпущенная пружина, матрос прыгает на офицера.

Они падают вместе. Комиссар поднимается. Тельняшка задита кровью.

Мгновение матрос смотрит в окостеневшие мертвые глаза офицера и бросается в гущу схватки.

Страшен этот молчаливый стремительный натиск. Офицеры бегут к станице, бегут без оглядки, хотя и знают — за бегство с поля боя их, штрафников, ждет неизбежный расстрел.

За поворотом из кустов поднимаются

смольчане. Среди бегущих штрафников рвутся гранаты.

Из кольца вырываются только несколько десятков офицеров. Их настаивают моряки. Прыжок, короткий удар ножа — и новые группы падают на шоссе.

Уже видна станица — белые хаты, фруктовые сады, золотые тополя.

Из заставы у околицы грохает одиночный выстрел, и тотчас же вслед за ним длинная пулеметная очередь: фашисты бьют в упор по страшному человеческому клубку, что в облаке пыли несется прямо на них.

Резко повернув вправо, матросы исчезают в кустах...

.....  
Утром Крепостную опять жестоко бомбили.

Сегодня мы решили с Еленой Ивановной усыновить Валерия: он не раз спасал мою жизнь и чем-то напоминает нам Геню...

## 22.X.

Сегодня отдал приказ о второй минной диверсии. Операция предстоит большая и сложная: взорвать поезд и машины на железной дороге между Ильской и Северной и на шоссе, идущем параллельно дороге.

Старшим минером и руководителем минных операций назначен Ветлугин. Для взрыва поезда выделен Еременко. Минирование шоссе поручено лично Ветлугину вместе с Литвиновым и Малышевым. «Практикантом» идет Власов.

На операцию выходим вместе с партизанским отрядом «Игл» из жителей района станицы Ильской.

Решено применить те же мины, что и на четвертом километре — с предохранителями.

— Не беспокойтесь, Батя, — сказал мне сегодня утром Геронтий Ветлугин. — Все будет сделано так, как будто Женя с нами.

Сегодня со мной говорили Ветлугин, Еременко, Кириченко. Они настоятельно просили разрешения открыть при нашем отряде «минно-диверсионный вуз».

— Об этом, Батенька, мечтал Евгений перед смертью, — горячо говорил Геронтий Николаевич. — Но тогда еще было рано. А сейчас пора: у нас есть и наша новая автоматическая мина, и опыт первых крупных диверсий. И кому же, как не нам, инженерам, начать это дело?..

Затяж серьезная: надо посоветоваться с командованием куста.

## 25.X.

Группа инженера Ельникова вышла на ответственную минно-диверсионную операцию. Группа должна пройти через Крымскую Поляну, обогнуть Сибербаш, пройти Убинку и за Дербенкой про-

браться через расположения немцев к железной дороге. Три дня назад ушла группа дальней разведки.

Тяжелый, трудный путь предстоит Ельникову...

Это будет нашей первой мезью ребят.

## 26.X.

Три дня подряд Крепостную бомбили с воздуха. Бедный Владимир Николаевич долго не знал, куда ему спрятать наш тол, и в конце-концов нашел ему «самое безопасное место» в подвале под домом фактории.

— Это место заговоренное, — уверенно заявил он. — В него никакая бомба не попадет. А уж если и случится такой пассаж, то взлетим на воздух вместе с толком. Все же это будет легче, чем доложить Бате, что сам жив, а толк уберег...

## 28.X.

Дорога между Смоленской и Григорьевской проходит пустым лесом. В обеих станицах крупные части немцев. На дороге — оживленное движение автомашин.

Приказал группе минеров во главе с Николаем Ефимовичем Кириченко взорвать мост на Афицсе со стороны Григорьевской и заодно в нескольких местах заминировать шоссе.

Сегодня группа вышла на операцию

## 29.X.

В тенистом саду, на окраине станицы Ново-Дмитриевская, стоит большой старый дом, занятый штабом германской литерной дивизии. Со стороны улицы он защищен колючей проволокой. В саду, окруженном забором, круглые сутки ходят часовые.

В бурьяне у забора недвижно лежат четверо наших партизан. Лежат и слушают.

Веселые пьяные голоса доносятся из дома. Снуют ординарцы. Вводят под колючую проволоку молодого парня. Через несколько минут раздается страшный нечеловеческий крик, возня, грубый смех. И снова тихо...

Уже перевалило далеко за полночь. Сяют звезды в темном высоком небе. Спит старый дом. Спит станица. Только часовые попрежнему ходят по дорожкам. И попрежнему лежат партизаны в бурьяне.

Скучно часовым. Шесть часов надо ходить по этому проклятому саду и охранять покой пьяных штабных офицеров. Ни поболтать, ни покурить...

Но что, если отойти в дальний конец сада, где буйно растет малина, присесть в кустах и быстро выкурить папироску? Офицеры спят. Начальник караула только что прошел с обходом. Никто не замечит...

Часовые входят в малинник. Вспыхивает огонек зажигалки.

На заборе появляются две тени. Они камнем падают вниз. Сдавленный хрип. И снова все тихо. Сияют звезды в высоком небе. Спит старый дом. Спит станица.

Партизаны в саду. Они лежат уже в кустах у крыльца. Лежат и ждут.

Скоро рассвет. Еще час — и придется уходить.

Щелкает ключ в замке, скрипит дверь. На крыльцо выходит немецкий офицер. Он в одном белье. Потгивается, зевает, ежится от утреннего холода и быстро идет по дорожке к уборной.

Из кустов у крыльца бесшумно поднимаются три фигуры и быстро исчезают за дверью. Четвертая ползет за офицером.

В доме глухая возня — там орудут только ножами. Что-то мягкое тяжело падает на пол. Трещат вскрываемые ящики. Шуршит бумага.

С мешками в руках партизаны выходят на крыльцо. Пригнувшись, бегут по саду. Быстро перелезают через забор и, прижимаясь к изгородям палисадников, крадутся по широкой пустынной улице.

Вдруг сзади, в саду штаба, раздается шум. Кто-то колотит в дверь уборной и вопит истошным голосом:

— Hilfe! Hilfe!\*

Один из партизан останавливается.

— Забыл проклятого. Я сейчас...

Он бросается назад.

— Стой! Поздно. Бегом!

Они бегут по улице, прижимаясь к домам.

У штаба грохает выстрел. За ним второй, третий. В небе взмывает ракета. Она висит над станицей и заливает ярким светом белые казачьи хаты, высокие тополя и четверку бегущих людей.

Сзади уже слышен шум погони.

У старого тополя партизаны бросаются в калитку. На огороде их ждут кони. Наметом они выносят партизан к спасительному лесу.

— Ума не приложу, как это получилось, — уже в лагере смущенно оправдывается партизан. — Не успел догнать его до уборной и решил подождать, когда выйдет. А он засел и не выходит. Слышу, в доме возня идет. Я тихонько подпер дверь колом и бросился помогать: думаю, на обратном пути рассчитаюсь. А когда вышли — забыл. Первый раз со мной такая промашка...

... Мешки с документами сегодня переправлены за линию фронта.

30.X.

Два дня назад мы получили вызов от командования куста на совещание командиров отрядов и руководителей штабов.

В лагере отряда «Грозный» разместился прибывший сюда штаб куста.

На поляне группами лежали командиры партизанских отрядов, разговаривали, курили, играли в домино.

Нас встретили очень радушно. Многие хорошо знали Евгения. Все подходило к нам, выражали соболезнование, поздравляли с операцией, предлагали на следующие диверсии идти вместе.

К нам подошел человек в кубанке. Изпод распахнутой шинели на гимнастерке виднелся орден Красного Знамени. Это был командующий нашего «куста» — соединений наших партизанских отрядов, секретарь краевого комитета ВКП(б) товарищ Поздняк.

Он оговал меня в сторону, и мы долго говорили с ним о работе нашего отряда, о планах на будущее и о предложении Ветлугина, Еременко и Кириченко осуществить мечту Евгения — организовать минный партизанский взв.

Совещание состоялось на той же полянке. Товарищ Поздняк говорил о будущей работе отрядов, о возможностях лесной горной войны партизан, отрезанных от частей Красной Армии, и о нашей минной школе. Эта школа, по мнению Поздняка, в первую очередь должна охватить партизан Краснодарского куста. Для начала каждый отряд выделит по меньшей мере двух лучших партизан для учебы в нашем взв.

После обеда мы отдыхали у костров. Кто-то запел старую кубанскую песню. Ее подхватили десятки голосов...

31.X.

Сегодня группа Ельниковы наконец вернулась из операции.

... К концу вторых суток наши добрались до Дербенки. Ильцы встретили радушно.

— Даже как-то неудобно было, — рассказывал Ветлугин. — Будто героев встречают. Это всё — четвертый километр. Батенька. Но когда зашла речь о новой диверсии, ильцы приуныли. У них миллион опасений и страхов: и подобраться-то нельзя к этому 6-километровому участку между Ильской и Северной — немцы так дзоты построили, и шоссе-то отстоит от железной дороги на расстоянии двух с лишним километров, — уйти, дескать, не успеем, перехватят, и не знают они, чем рвать и как рвать, и полнолуние наступило. Одним словом, хоть обратно уходи. Вижу, дело дрянь. Собрал совещание минеров и командиров взвода. И представьте, Батенька, через какой-нибудь час все утряслось: ильцы прямо рвутся в бой...

На следующий день вышла разведка обоих отрядов на поиски лучших подходов к шоссе и железной дороге. От нашего отряда разведкой руководил инженер Ельников. Первое, что он сделал, — просил ильцев предупредить о движении

\* На помощь! На помощь!

разведки все соседние партизанские отряды. Ильцы заверили, что все будет выполнено.

Весь вечер прошел в наблюдениях. Из глубины гор и с переднего края наши наблюдатели уже трое суток внимательно изучали в бинокли расположение немцев, следили за движением постов и караулов, пытаясь уяснить себе законсервованность в этих передвижениях.

Ночью отправились искать проходов. Но лишь только вошли в кусты, как справа заговорили тяжелые пулеметы. Это были заставы соседнего партизанского отряда, так и не предупрежденного ильцами о движении нашей разведки.

Партизанские пулеметы всполошили немцев — фашисты открыли убийственный заградительный огонь. Стонали и выли мины. Взошла луна. Лунный свет скользил по кустам, по прогалинам, по купам деревьев.

Ельников, искусно маневрируя, без потерь вывел разведку из-под перекрестного огня.

На следующий день Ветлугин лично проверил, действительно ли предупреждены соседи о нашей операции, и в сумерки Ельников опять вышел со своими разведчиками.

Тихо, — так тихо, что партизанские заставы даже не услышали шороха, — разведчики подползли к кустам у дороги.

Ночь. Холодное небо в редких крупных звездах. Луна окружена белыми легкими облаками.

В лунном свете Ельников отчетливо увидел мощную линию дзотов. Ильцы были правы — на этом участке не подползти к полотну железной дороги.

Но Ельников упрям и настойчив. Два часа ведет он наблюдения за дзотами и вдруг, неожиданно для самого себя, обнаруживает, что добрая половина их — фальшивки: вместо пушек, грозно смотрящих из амбразур, стоят искусно замаскированные стволы деревьев, вместо часовых — соломенные чучела.

И все-таки, получив подробные обстоятельные донесения Ельникова, Геронтий Николаевич еще не решается выступить на операцию. Свято блюдя традиции Евгения, он высылает последнюю минную разведку, чтобы наметить места взрывов. И опять беззвучно подползают партизаны к железной дороге, опять лежат они в ольшанике у шоссе Залитые лунным светом, стоят перед ними настоящие и фальшивые дзоты, сменяются немецкие караулы, проходят патрули.

Теперь, наконец, картина абсолютно ясна.

Движение по шоссе и железной дороге проходит только днем. Каждые сутки шоссе пропускает несколько сот машин; по железной дороге поезда идут строго по расписанию — утром и вечером.

Подходы точно намечены. Роли распределены. Время непосредственного мини-

рования и отхода установлено между семью и девятью часами вечера — от начала темноты до восхода луны.

— Одним словом, Батенька, — говорил мне сегодня Ветлугин, — если бы нашу карту разведки увидел Евгений, даю вам честное слово, он бы остался доволен.

Точно в назначенное время наши проползли линию немецких дзотов и разделились на две группы.

Минеры Еременко направились к железной дороге. Минеры Ветлугина остались у шоссе.

Ветлугина охраняли три группы прикрытия: группа Ельникова залегла с правой стороны дзотов, Мусьяченко отошел со своими влево, а в тылу лежала группа Причины.

Геронтий Николаевич заметил нервничал: это была его первая самостоятельная крупная операция. Но Литвинев, Малышев, Власов работали безкоризненно. Мины были заложены во-время. Ветлугин сам заложил две мины, тщательно проверил маскировку остальных мин и дал сигнал отхода.

Вокруг было тихо и темно — луна еще не поднималась.

Минеры ждут. Проходит двадцать минут. Скоро взойдет луна, а Еременко нет. Люди волнуются. Ветлугин приказывает залечь и, в случае чего, огнем прикрыть отход наших от железной дороги.

А в это время группа Еременко подползает к железной дороге, дожидается, когда пройдут часовые, и начинает минировать.

Все идет нормально.

— Патруль, — неожиданно шепчет дозорный.

Еременко подает сигнал. Все скатывается в кювет.

Лежат, дышать бояться.

— И вдруг снова толчок в плечо, — рассказывает Еременко. — Поднимаю голову и вижу...

Нет, Батя, этого не расскажешь — это надо видеть самому. Представляете себе: на полотне стоит наш часовой. Опустился на одно колено — и стоит. Ну, просто хоть картину пиши... До сих пор не понимаю, почему он окаменел: то ли сигнала не услышал, то ли растерялся. Ну, думаю, коней!..

Румынский патруль подходит все ближе. Идут, как полагаεται, по-гусиному, и оживленно разговаривают. И — я знаю, этому трудно поверить — проходят мимо нашего часового по другой стороне полотна, не замечая его.

Должен признаться вам, Батя; подползая к нему и так обругал, что он даже заморгал от удивления... Снова начал укладывать тол Спешу, нервничая. Грунт тяжелый, каменистый. А этот самый часовой стоит около меня и шепчет:

— Кончай, Еременко, — сейчас луна выйдет. Кончай...

Раз сказал, два сказал, а на третий я

так обозлился, что поднял гранату, размахнулся и отпалил ему:

— Еще слово — и на части разорву!

Кончилась я, когда уже всходила луна. Мы поползли обратно. Было светло, как днем... Добрались до первых взгорий. На небе уже гасли последние звезды. Все бросились в траву. Тело нило. Мучительно хотелось спать. Наступила реакция...

— В 6.10 я проснулся, — рассказывал Ветлугин. — До прохода поезда осталось двадцать минут. Устроился поудобнее, вооружился биноклем и стал ждать. Двадцать минут оказались ужасно длинными. Степан Сергеевич сидел рядом. На часы смотрел через каждые три минуты. И на пятнадцатой минуте твердо решил, что часы испортились. Наконец, справа, над деревьями, показалась струйка дыма. Грешен, — мне показалось, что поезд благополучно прошел то место, где работал Еременко. Я взглянул на него: он сидел бледный, как полотно. Мне его стало жалко — я хорошо понимал, что было на сердце Степана. И пока я жалел Степу, раздался глухой взрыв. В бинокль было отчетливо видно, как паровоз упал на бок, разломавшись пополам. Вагоны лежали друг на друга. Над местом взрыва стояло в воздухе серое облако дыма и пыли. Я подсчитал: из тридцати трех вагонов уцелело только четыре хвостовых. Остальные — вдребезги.

— И пока я подсчитывал вагоны, я прозевал момент второго взрыва. Мне удалось увидеть только облачко дыма над шоссе и оторванный передок грузовика, лежащий на дороге. Пока все шло по программе. Мы комфортабельно сидели на горке и любовались. Минут через тридцать показалась вторая машина. Она была нагружена ящиками. На ящиках сидели немецкие автоматчики. Надо думать, в ящиках были снаряды, — взрыв был грандиозный. Маленькие фигурки солдат отлетели очень далеко. От машины ровно ничего не осталось. Мы продолжали сидеть и ждать. Еще одна мина досталась многоместной легковой штабной машине. Движение окончательно остановилось. Больше ждать было нечего. И тут случилось самое неприятное: нас с Еременко схватили и начали качать. Я кричал благим матом, болтал руками и ногами, и мне казалось, что все кишки в животе переболтались. До сих пор живот ноет. А Еременко — такой хитрючий! — вытянул руки по швам, и, как кукла, перевертывался в воздухе в разные стороны. И утверждал потом, что никаких болей не чувствовал. Имейте это в виду, Батенька: когда вас будут качать, ведите себя, как Еременко.

— Скоро к нам на горку прибежали начальники соседних отрядов. Узнали, в чем дело, и хотели нас снова качать. Но я категорически воспротивился. Вот, Ба-

тенька, и все. Мне кажется, операция прошла не плохо.

31.X.

Из партизанского лагеря северчан на закате солнца выходят три подростка, три комсомольца.

С высокого холма видны у самого горизонта в туманной дымке полосы тополей — двумя рядами они вытянулись вдоль железнодорожной линии.

Перед полотною дороги, чуть ближе к горам, среди фруктовых садов стоит их родная станция Северская.

Комсомольцы идут туда, чтобы взорвать поезд, — как эстафету подхватить опыт братьев Игнатовых и отомстить за казнь имеретинцев.

Ребята идут налегке: в карманах только гранаты и у пояса под одеждой револьверы. Но они непременно взорвут поезд: у немцев много тола, а у ребят в станице остались друзья. Значит, — будет тол, будут мины. К тому же, у одного из ребят — у сероглазого вихрастого Андрейки — отец в станице.

Андрей сам не понимает, почему так крепко надеется он на отцовскую помощь.

Они никогда не были друзьями. Суровый, вечно всем недовольный, суровый отец не замечал сына. Мальчик никогда не видел его ласки, не знал, что думает, чем дышит, чем живет отец.

И все-таки он любил отца. Его суровая грубость, холодная замкнутость казалась Андрею проявлением большой мужской силы, собранности, воли. И сейчас он думал о том, как рука об руку со смелым и сильным отцом они выйдут на полотно, взорвут поезд и вместе уйдут в горы.

Был Андрей мечтателем и до сих пор любил и помнил сказки, которые так хорошо рассказывала ему мать в детстве. Забитая, молчаливая, тихая, с морщинками вокруг потускневших раньше времени глаз, она казалась такой безответной, беспомощной, слабой, способной только рассказывать свои всегда чуть грустные чудесные сказки.

Андрей любил свою мать. Но она ничем не сможет помочь в его трудном и опасном деле. Андрей мечтает только о встрече с отцом.

...Немцы захватили Северскую неожиданно. В тот страшный день Андрей не видел отца и не сумел сказать ему, что уходит в горы. Только мать знала об этом.

— Значит, судьба, — сказала она ему на прощанье, обняла и перекрестила...

В глухую темень ребята пробираются в станицу.

Андрей тихо стучит в окно родной хаты.

На крыльцо выходит мать в темном платке.

— Андрейка! Живой! Родной мой!.. Нет, нет, не ходи в хату. Не надо.

Она закрывает его платком и, обняв, уводит в дальний конец густого, запущенного сада. И здесь Андрейка узнает страшную новость.

Никогда вместе с отцом он не выйдет на полотно, чтобы взорвать поезд. Никогда не почувствует на своем плече ласковую отцовскую руку. Отец изменил тому, что для Андрея дороже жизни. За корову он продал свою честь: отец — полицейский..

— Уходи, Андрейка, уходи, мой хороший..

— Нет, мама, я не уйду.

И Андрей откровенно рассказывает матери, зачем он пришел в станицу и как мечтал он вместе с отцом бить немцев.

Мать снова крестит Андрейку.

— Старая я, темная. Но если нужна тебе моя бабья помощь, — шепни, сынок..

В эту ночь Андрей не смыкает глаз. Он думает об отце, которого еще вчера он любил доверчивой детской любовью и который за корову продал свою честь и вместо недавней любви пробудил в сердце сына холодную злую ненависть. И подумал Андрей, что только сегодня он впервые по-настоящему понял мать.

За эту ночь потемнели серые глаза Андрейки, он перестал быть юнцом, — стал мужчиной..

Станица попрежнему живет своей обычной жизнью. А по вечерам, когда с далеких гор ползут сумерки, к дому полицейского подходят ребятишки, еще несколько месяцев назад носившие на шее красный пионерский галстук. Их встречает тетя Катя. Она все такая же молчаливая, тихая, неразговорчивая, закутанная в темный старушечий платок. Она берет у ребятишек корзины — в них лежат яблоки, иногда яйца или просто свежее душистое сено.

Тетя Катя несет корзины в сарай. На дне корзин она находит желтоватые брусочки, похожие на мыло, тщательно свернутый шнур, какие-то капсулы. Все это она осторожно складывает в дальний угол сарая, где лежат старые хомуты, ржавые ободья для колес, поломанные лопаты, тряпье..

— Завтра еще принесем, тетя Катя, — шепчут ребятишки..

Глухой ночью на маленьком мостике у самой станицы взлетает на воздух поезд с немецкими автоматчиками.

Два дня фашисты прочесывают лес и кусты у станицы, проводят повальные обыски, расстреливают тридцать человек своей железнодорожной охраны, не сумевших уберечь важный воинский эшелон. Но никому из немцев не приходит в голову, что босоногие ребятишки, у которых одна забота — голуби, лапта, удочки, рискуя жизнью, выкрали у них же тол, взрыватели, капсулы, снесли все это

тете Кате и что в сарае у полицейского еще и сейчас лежит добрый запас взрывчатки.

Через несколько дней новый взрыв гремит над Северской: все на том же мостике взлетает на воздух состав с боеприпасами.

Зарев полыхает над станицей. А в тенистом саду у забора стоит тетя Катя. Широким крестным знаменем осеняет она далекие темные горы.

— Храни тебя господь, Андрейка мой.

## 2. XI.

Вечером вернулась группа Кириченко. Вернулась ни с чем. Минируя шоссе, они напоролись на румын. Завязалась перестрелка. Работу пришлось прекратить. Но все же на единственной мине, которую удалось заложить, подорвался автомобиль с автоматчиками. Кириченко ушел искать профилированную дорогу и пропал. Группа вернулась без него.

Короче говоря, получилось безобразно. Разберусь потом, кто прав и кто виноват. А сейчас приказал Янукевичу отобрать лучших людей в отряде: завтра пойду с ними искать Кириченко.

## 3. XI.

Николай Ефимович вернулся живым и невредимым. Вернулся как раз в тот момент, когда мы собирались уходить на поиски.

Оказалось, все было не совсем так, как коротко доложили мне вчера.

Пришли они к шоссе и, как обычно, начали наблюдение. На рассвете подобрались к намеченным местам, подтянули к шоссе мины из леса. Кириченко с Поддубным начали готовить сюрпризы на крутом спуске, что у самой Григорьевской.

На взгорье, охраняя их, лежал парный дозор. Старшим — Сергей Мартыненко.

Трудно понять, что это произошло — то ли замечтался Сергей, то ли загляделся на минеров, — но только, оглянувшись, увидел, что у самого его носа прямо на Кириченко идет группа румын.

По нашим правилам Сергей должен был открыть огонь, принять удар на себя и этим предупредить минеров. А он растерялся и пропустил румын.

Незадолго до этого Поддубный ушел в лес за второй миной. Кириченко сидел на корточках и преспокойно маскировал бульжником заложенную мину.

Поднял глаза и видит: румыны стоят рядом и направили на него винтовки.

— Савай!\*

Это было так неожиданно, что Кириченко не нашел ничего лучшего, как продолжать работать, и ужасно глупо ответил:

— Угу

Румыны снова:

— \* Стой! — По-румынски — савай!

— Савай!

А он им:

— Ага.

На его счастье вышел из леса Поддубный и вскинул карабин. Двое упали, а двое других спрятались в кусты и открыли огонь по Поддубному. Теперь уже Кириченко пришлось снять их.

Вдруг снова выстрел. Оказывается, раненый румын поднялся из кювета и взял Кириченко на мушку. Но Поддубный, почти не целясь, заставил его лечь навсегда.

С румынами было покончено. Но и мирование надо было кончать: уже мчались немецкие автомашины. К счастью первая же машина с автоматчиками нажочила на единственную заложенную мину и взлетела на воздух.

Было обидно тащить обратно мины, и Кириченко решил отыскать проселочную дорогу (по его расчетам она должна была быть где-то рядом) и заминировать на ней хоть какой-нибудь мостик.

Пошел искать дорогу, закружился в лесу, спутал направление и вышел под самую Григорьевскую.

Подожел к холмику и слышит — румыны разговаривают. Свернул влево — опять румыны. Повернул вправо — и снова в кустах румынский говор.

Дело дрянь. Отыскал дупло, залез в него и всю ночь просидел в нем, как белка.

На рассвете выполз из дупла, забрался на высокое дерево и видит: прямо перед ним гора Папай, а слева — Саб. Родными показались ему эти горы.

— Дальше рассказывать, Батя, нечего: добрался, как видите, благополучно.

Я приказал выстроить всю группу, ходившую на диверсию, и перед строем объявил строгий выговор Сергею Мартыченко.

Откровенно говоря, до сих пор не понимаю, как все это произошло: Сергей — храбрый опытный охотник, спокойный, выдержанный: Ну, прямо «бес попутал»...

## IXI

Вернулся Павлик из контрольной разведки. Группа Ельников хорошо поработала: убито 647, тяжело ранено свыше 400.

— Но это не все, Батя, — и глаза Павлика сияют. — Приплюсуйте к ним еще шестьдесят пять. И при том не только рядовых, но офицеров и важных чиновников.

Оказывается, Павлик после разведки увидел: от Георгие-Афипской движется целая процессия — под конвоем эсэсовцы ведут солдат, офицеров, чиновников. Руки связаны веревками.

Процессия подходит ко рву на опушке леса. Приговоренных ставят у края.

После третьего залпа все кончено. Офицер обходит тех, кто не свалился в

ров, и добывает раненых из пистолета. Потом прибегают полицейские и забрасывают ров землей.

Павлик, конечно, не удержался и отправился к своим друзьям, в Георгие-Афипскую.

Оказывается, расстреляны те, кто, по мнению немецкого командования, прозевал и допустил взрывы на железной дороге и шоссе. Попали не только охранники, но и чиновники из Краснодара.

.....  
Учебный план нашего минного вуза готов.

Весь курс рассчитан на шестьдесят лекционных часов. После этого — учебная практика на минодроме и выходы на боевые операции.

К боевой практике допускаются только те из наших «студентов», кто сдал экзамены по теоретическому курсу.

Теорию будет читать Ветлугин. Руководители практики — Еременко и Кириченко. Председатель экзаменационной комиссии — я.

Минный вуз будет размещен в нашей фактории на Планческой.

Здесь, на горной поляне, до войны работал небольшой лесозавод.

В одном из рабочих барачков и разместится минная школа.

«Учебный корпус» будет в то же время и общежитием наших студентов: вдоль северной стены оборудованы сплошные нары на тридцать человек, вдоль окон стоит большой длинный стол, за которым будет проходить теоретические занятия. В нашем вузе есть даже классная доска — ее раздобыла Елена Ивановна.

Дня через два к нам приедут первые «студенты».

## 5.XI.

Жизнь — всюду жизнь...

Когда в Краснодаре мы с Евгением подбирали людей в отряд, мы обращали особое внимание на то, чтобы в нашей будущей глухомани не было неурядицы из-за женщин. Все семь женщин нашего отряда были семейные, и пять из них пошли партизанить со своими мужьями. И все-таки без романа не обошлось...

Уже несколько дней я замечаю, что Ельников ходит сам не свой: все забывает, путает, то мрачнеет, как туча, то необыкновенно весел без всякой видимой причины.

Вот и сейчас он проходит мимо нас с Ветлугиным и улыбается своим мыслям.

— Геронтий Николаевич, что это с нашим Георгием Ивановичем?

— Болен, Батенька; сердце у него пошаливает, — серьезно отвечает Ветлугин.

— Так чего же он, чудак, к Елене Ивановне не обратится?

— Тут, Батенька, Елена Ивановна бесстрашна. Болезнь слишком серьезна.

— Не загадывайте загадок, Георгий Николаевич...

— А вот полюбуйте, Батенька.



Навстречу Ельникову идет Мария Ивановна Петряева, медсестра второго взвода, — инженер Гидрозавода. Они оглядываются по сторонам и, никого не заметив, целуются.

— Перед самым выступлением из Краснодара Мария Ивановна овдовела, — шепчет мне Ветлугин. — То же самое произошло и с Георгием Ивановичем. Короче, — оба они свободны, как ветер степной. А так как каждому бычку рано или поздно быть на веревочке, то они и решили пожениться тут же, в отряде...

— Что ж они мне ничего не сказали?  
— Конфузятся, Батенька, ужасно конфузятся... Вы позволите мне быть их сватом?

Минут через пять Ветлугин подводит смущенную чету и торжественно говорит: — Благословите, Батенька...

Сегодня к ужину Ефросинья Михайловна преподнесла молодым сладкий пирог.

## 6.XI.

Наши соседи — марьянцы прислали связного: у них на хуторе Азовка появилась какая-то неведомая болезнь. Они зовут к себе Елену Ивановну: слава о ее врачебальном искусстве гремит по предгорьям.

Сегодня рано утром, взгромоздившись на свою рыженькую лошадку и захватив трех санитаров-помощников, Елена Ивановна отправилась в Азовку.

А наш лагерь похож на потревоженный муравейник: мы готовимся к празднованию 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Главные распорядители — Мусьяченко и Суглобов.

В столовой уже сооружен помост для президиума. Сцена и стены украшены лозунгами и гирляндами из хвои. В центре — портреты Ленина и Сталина. Около них самодельные канделябры для свечей.

Стол сервируется на шестьдесят персон — и на кухне второй день пекут, варят, жарят. Командует парадом раскрасневшаяся, как маков цвет, Ефросинья Михайловна.

Во взводных казармах бреются, чистятся и моются наши стрелки, минеры, разведчики.

В помещении дальней разведки идут репетиции струнного оркестра и певцов. Дорожки в лагере посыпаны чистым песком — его специально принесли на гору с речки.

— Ну, точь-в-точь, как в Красноларе, на комбинате, — смеется Геронтий Николаевич.

В шесть часов вечера помещение второго взвода, где установлен радиоприемник, набито доотказа.

В репродукторе раздается знакомый, родной голос:

## «Товарищи!

Сегодня мы празднуем 25-летие победы советской революции в нашей стране! Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования Советского строя...

Где-то далеко, в ущелье, грохнул выстрел, эхо тревожно повторило его в горах, но никто не шевелился: говорил Москва, говорил Сталин...

Сталин кончил свою речь.

Будто река прорвала плотину — загремели аплодисменты. Первые аплодисменты здесь, в горной глуши, в партизанском гнезде.

Ко мне подошел взволнованный Ветлугин:

— Вы слышали, Батенька, что сказал Сталин? «Нашим партизанам и партизанкам — слава!» Эту славу надо заслужить.

У меня к вам есть разговор, Батенька. Но говорить с Геронтием Николаевичем мне не удалось — начался доклад, а после доклада — художественная часть.

Концерт открыл хозяин лагеря, наш командант и эконом Леонид Антонович Кузнецов, принявший на себя обязанность конференсье. И я впервые узнал, какие таланты скрывались до сих пор в нашем отряде.

Мусьяченко, Лагунов и Федосов оказались певцами. А Леонид Федорович Луцка отбил такую четку, что ему пришлось бисировать.

«Гвоздем» второго отделения концерта было выступление Суглобова с чтением юмористических рассказов и «стрепак» Сафронова. Почтенный полный Владимир Николаевич, несмотря на большое сердце, как молодой парубок носился по сцене, и благодарная публика наградила его бурными аплодисментами.

Концерт кончился далеко за полночь. У командного пункта меня поджидал Ветлугин и Янукевич.

— Мы хотели с вами поговорить, Батенька, — сказал Геронтий Николаевич, — но Виктор Иванович полагает, что сегодня уже поздно. Он, пожалуй, прав: разговор будет долгий. Вы позволите, — мы к вам завтра утром нагрянем. Можно?

## 7.XI

Передо мной лежит знакомая карта кавказских предгорий: зеленые пятна лесов, коричневые горы, голубые реки, желтые пашни, черные кружочки станиц, и через все это — зигзагами, петлями, острыми углами — прочерчена резкая красная линия.

Линия начинается на южном склоне горы Стрепет. Отсюда она идет на юго-восток. Ее длина — сто километров.

Сто километров по тылам врага, по кручам, болотам, колючему терну, через бурные горные реки, через укрепленные полосы врага, мимо дзотов и скрытых за

яд. Только по дерзости смелый горный котник, с детства знающий предгорья Кавказа, может решиться на этот путь. Его выбрали для себя два интеллигента, два мирных горожанина, всю жизнь вою прожившие в городе и только сейчас, четыре месяца назад, по-настоящему знавшие, что такое горы, предательские роды горных рек, взрыв мины на каньей тропе, сухая автоматная очередь ражеской засады. У одного из них легле поражены туберкулезом. Другой кается таким шуплым, что неизвестно, в ем душа у него держится.

Они явились ко мне сегодня рано тром.

— Мы пришли за справедливостью, Батенька.

Ветлугин серьезен, строг, официален. Он по-военному вытянулся передо мной, и это так не вяжется с его суугобо штатской фигурой. Но в его глазах вспыхивают веселые искорки и чуть дрожат края губ. Ясно — Героша придумал что-то новое.

— Мы несправедливы, Батенька, — продолжает Ветлугин. — Судите сами: мы проявляем такую редкую заботливость к нашим ближайшим соседям, а о бедных фрицах, которых судьба забросила далеко на юг, мы забыли, не правда ли, Виктор Иванович?

— Ну, конечно, — улыбается Янукевич. — Но давайте говорить серьезно. Геронтий, Николаевич Дело вот в чем, Батенька. Мы, действительно, увлеклись диверсиями в непосредственной близости от лагеря. Естественно, фашисты заволновались. Вы сами знаете. Батя, как охраняют они теперь каждый километр дороги. Проводить операции становится трудно. Так вот мы и думаем с Геронтием Николаевичем, что было бы разумно временно оставить в покое ближайшие районы и ударить там, где пока отбсительнo спокойно и фашисты нас не ждут.

— Одним словом, мы предлагаем далеко путешествие, Батенька. Ветлугин раскрывает передо мной карту.

Мы сидим за картой до глубокого вечера. Несколько раз меняем углы и петли красной линии. Намечаем места дневок. Спорим о каждом килограмме багажа. Ветлугин заучивает наизусть адреса, имена фамилии наших друзей в станицах. Еще и еще раз меняем на карте направление красной линии.

## 8.XI.

Разведка принесла тревожное известие: в ночь на седьмое крупная немецкая часть, поддержанная артиллерией и танками, обручилась на Азовку. Всю ночь шел бой. К рассвету марьяиншы отошли з горы. Хутор горит.

Что с Еленой Ивановной? Удалось ли ей уйти?

.....  
Занятия в минной школе идут полным ходом.

Сегодня я был в «учебном корпусе». Наши студенты чинно сидели за столом, разложив перед собой тетради, и внимательно слушали Геронтия Николаевича. Когда он задавал им вопросы, они вставали по старой школьной привычке: большинство наших «студентов» — молодежь школьного возраста. Правда, среди них есть и пожилые инженеры, но они подчиняются общим правилам и так же почтительно встают, отвечая Ветлугину.

Геронтий Николаевич читает блестяще. Его способы расчета образны, просты и легко запоминаются.

К концу лекции на Планческую налетел немецкий самолет и сбросил две бомбы. Жалобно дребезжали окна. Дрожали стены нашего «учебного корпуса». Но Геронтий Николаевич продолжал спокойно чертить на доске схему минирования моста, занятия не прерывались...

## 9.XI

Недалеко от разъезда Энем, на территории бывшей МТС, стоит крупный немецкий склад. В нем хранятся боеприпасы. Здания складов огорожены колючей проволокой. На угловых башенках стоят тяжелые пулеметы. Вокруг — голая ровная степь.

Подобраться к складам невозможно. Павлик Худоерко несколько дней бродит вокруг, как кот около сливок, и ломает голову, как бы проникнуть за колючую изгородь.

В одну из разведок Павлик знакомится с молодой казачкой Зиной. Сердце не камень, а у молодого, горячего Павлика — особенно. И он добивается у Зины свидания: оно назначено вечером у старого платана, что растет за околицей хутора.

Зина на свидание не приходит.

Павлик — чернее тучи.

На третий день, рано утром, он случайно встречает девушку у колодца. Объясниться им не удается — вокруг чужие, посторонние люди. — и Зина успевает только шепнуть Павлику, что будет ждать его вечером все у того же платана.

На этот раз молодая казачка приходит первой. Зина просит простить ее: она не хотела обманывать Павлика, она не пришла в этот вечер потому, что немцы погнажи ее убирать склады — выметать какую-то вонючую промасленную бумагу. И она не знает, когда они увидятся еще раз: проклятые фрицы затеяли генеральную уборку, и теперь каждый день ей с девушками придется ходить на склад.

— И еще веники заставляют приносить с собой окаянные!

Павлик приходит в дикий восторг.

— Вы ходите на склад со своими ве-

никами Зинуша? Так ведь это же великоленно! Лучше не надо!

Девушка ничего не понимает.

— Зина, дорогая, не сердись. Завтра.. нет, послезавтра я прибегу к тебе И может быть, принесу подарок. Жди!

И Павлик убегает. Девушка думает — не сошел ли ее милый с ума.

А на следующий день на Планческой уже идет совещание: собрались Литвинов, Ветлугин, Еременко.

Геронтий Николаевич торжественно объявляет:

— Товарищи! Научную конференцию считаю открытой. На повестке доклад нашего уважаемого химика, Михаила Денисовича Литвинова.

Всю ночь рассчитывают и мастерят друзья новую портативную кислородную мину, которая легко могла бы разместиться в ручке веника: кислоту мы прихватили с собой еще в Краснодаре.

Поздно вечером Павлик вызывает Зину к околице и торжественно, как величайшую драгоценность, преподносит любимой.. связку веников.

Утром, как обычно, молодые казачки приходят убирать склад. Они приносят с собой веники — прекрасные новые веники с необычно тяжелыми ручками.

В этот день девушки работают не за страх, а за совесть: они залезают в самые отдаленные уголки склада, они выметают сор из узких щелей и, уходя, оставляют несколько веников между ящиками.

Спускаются сумерки. В кустах у хутора лежат Павлик, Ветлугин, Литвинов.

Геронтий Николаевич смотрит на часы.

— Ваш расчет неверен, Михаил Денисович, сейчас 22 00. Опоздание 30 минут. Литвинов молчит.

Проходит еще час, томительный, долгий час.

— Веники отказали, Михаил Денисович..

Оглушительно грохочет взрыв. К небу над складом взвивается огненный столб. Он ярко освещает поле, кустарник, строения на разъезде.

Гремят новые взрывы — это рвутся в огне боеприпасы.

На разъезде и на хуторах переполох. В небо взмывают ракеты, гудят машины, раздается суматошная стрельба, голубоватый луч прожектора мечется по полю..

— Веники не могли отказаться, Геронтий Николаевич, — говорит Литвинов. — Мне не была известна концентрация кислотного раствора, и я не мог точно рассчитать, как скоро кислота разест стенки металлических трубочек. Да эта скрупулезная точность в конце-концов и не была нужна. Мне важно было другое: мины должны были взорваться после того, как девушки уйдут из склада, и до того, как завтра они вернуться на склад.

Мне это удалось: веники сработали во время.

— Я уверен, Михаил Денисович, что после войны за работу над вениками вам присудят большую золотую медаль имени Менделеева, — смеется Ветлугин.

10.XI

На новую диверсию выходит цвет нашего отряда: Ветлугин, Янукевич, Литвинов, Сафронов, Слащев, Понжайло. С ними вместе идет Мария Алексеевна Янукевич.

Задача группы: выйти к железной дороге Белореченская—Туапсе и к шоссе Майкоп—Новосибирск и взорвать поезда и автомобильные колонны немцев.

В последний момент в группу включен Дмитрий Дмитриевич Конотопченко, родной брат Григория Конотопченко, повешенного в Имеретинской: ему хорошо знакомы места будущих диверсий — много лет он работал там секретарем райкома..

11.XI

Вернулась Елена Ивановна — возбужденная, переполненная впечатлениями недавнего боя..

Они ехали спокойно, не спеша. Пересекли лес, обогнули два хутора, занятые немцами. Смеркалось. Когда въехали в густой орешник, услышали со стороны Азовки частую стрельбу очередями.

У опушки встретили двух дозорных. Они только что были в Азовке и коротко рассказали: немцы, решив, очевидно, что маршинцы будут заняты празднованием Октябрьской годовщины, повели наступление. Пока бои идут на подступах к хутору. Схватка жестокая. В Азовке уже есть раненые.

В Азовку прискакали, когда из-за гор только что показалась луна. Справа от хутора, на взгорье, что подковой окружает Азовку, шел бой: били тяжелые пулеметы, визжали мины.

В штабе Елена Ивановна застала командира маршинцев. Он сказал, что положение тяжелое: силы слишком неравны — из соседней станицы вышли немецкие танки.

В хату внесли раненого. Рана была тяжелой — надо немедленно оперировать.

Операция оказалась сложной. Елена Ивановна вынула, наконец, осколок, промыла, перевязала рану и только тогда поняла, что бой идет уже в самом хуторе. Вышла. Светло, как днем. Сияет луна. Горят хаты. Где-то совсем рядом бьет пулемет. По улице несется тяжелый танк.

Елена Ивановна видит, как рядом с ней, словно из-под земли, вырастает один из маршинцев. Он поднимает гранату. Но, очевидно, из танка его заметили. Короткая пулеметная очередь — и партизан падает прямо под гусеницы танка.

Жена бросается к нему, схватывает за ногу, тянет на себя. Танк проносится в метре от них.

Марынец ранен в голову. Надо немедленно наложить перевязку. А рядом уже грохочет второй танк, за ним третий, четвертый.

Подбегают санитары, уносят раненого. Медников хватает жену за руку и тащит обратно в штаб.

Мимо мелькает какая-то фигура. Взрыв. Елена Ивановна оборачивается: танк пылает, гусеницы перебиты гранатой.

Наши грузят раненых на подводы, увозят трупы убитых, подбирают все оружие — жена захватывает даже охотничью двустволку и финский нож, оставленный кем-то в штабе — и уходят в горы, куда немцам не пройти...

Азовка пылает. Немцам достается только пожарище, подбитый танк и трупы своих солдат.

В лесу жена организывает по всем правилам походный госпиталь. Даже с вливанием противостолбнячной сыворотки...

— Сейчас переоденусь, чуть-чуть отдохну, — и снова к ним: работы по горло, — говорит Елена Ивановна.

## 12.XI

Немцы, очевидно, засекали координаты нашей фактории под Крепостной и сейчас регулярно ведут обстрел хуторка из дальнобойных орудий

И все-таки наша фактория живет и будет жить!

## 13.XI

Степан Сергеевич Еременко сегодня «начудил», как говаривал когда-то Геня...

Дело было так.

Идут обычные практические занятия в нашей минной школе. Степан Сергеевич принес с собой гранату РДГ и объясняет ее устройство. Курсанты сидят за столом и внимательно слушают. Все идет нормально.

И вдруг, увлекшись, Степан Сергеевич нечаянно спускает ударник. Он растерянно смотрит на курсантов. Сейчас будет взрыв — он может уничтожить всех, кто сидит в этой комнате.

Курсанты бросаются к дверям. В дверях — пробка. И только один Павлик Сахотский спокойно берет гранату и швыряет в окно.

Слышится звон разбиваемого стекла и взрыв капсуля.

— Занять места. Принести гранату, — приказывает Еременко

Сконфуженные курсанты садятся за стол.

— Я хотел проверить вашу выдержку, товарищи, — сухо говорит Степан Сергеевич, — ту самую выдержку и хладнокровие, без которых не может быть настоящего минера-диверсанта. Этой выдер-

жки у вас нет. Только один Сахотский оказался достаточно хладнокровным и не растерялся. Плохо, товарищи...

Еременко отвертывает доньшко у гранаты: из нижней части на стол высыпается песок.

— Граната учебная. Взорвался только капсюль, и если бы это даже случилось здесь, в комнате, ничего страшного бы не произошло. Хотя, конечно, вы не знали об этом...

Потом после паузы уже другим, грустным тоном Степан Сергеевич говорит:

— А за это мне от Бати попадет. Здорово попадет.

Еременко не ошибся: ему действительно попало. И здорово попало.

## 16.XI

Я на минодроме в Планческой — специально оборудованной площадке у реки.

Здесь есть все, с чем придется встретиться будущему минеру-диверсанту на операциях: и участки железной дороги, и шоссе, и профиль, и река с камнями, и нависшие скалы, и большой мост через реку.

Еременко вел занятия интересно.

Разделив курсантов на группы, он этой ночью дал каждой особое задание: первая группа минировала железную дорогу, вторая — шоссе, третья — профиль, четвертая привязывала толстые шашки к стальному тросу на мосту, пятая должна была завалить дорогу и сделать огромную воронку в реке, чтобы закрыть проезд через брод автомашинам и танкам.

Сейчас, днем, другая партия курсантов ищет места ночного минирования. После этого начнутся взрывы.

Вот уже третий день, как мне следовало бы отправиться в лагерь. Но под всякими предлогами я продолжаю сидеть на Планческой.

Мне тяжело бывать на горе Стрелет — там каждый камень напоминает ребят.

В лагере я не могу спать. Мне все чудится Генин голос. И, когда я слышу шаг, мне кажется, это идет Евгений. Вот сейчас он откроет дверь, улыбнется, ласково положит мне руку на плечо и расскажет о том, как прошла разведка. А потом заговорит со мной о Маше и дочурке, оставшихся в Краснодаре...

Это, конечно, нервы. Это надо перебороть. Но и сегодня все-таки я не пойду в лагерь. Я пошла вместо себя Мусьяченко...

## 18.XI

На восьмом километре, между Георгие-Афипской и Северной, у поворота к шоссе, через неглубокую балочку, где лежит высохшее болотце, заросшее ивняком, перекинут мост: опоры на бетонных основаниях, двутавровые балки и арочка метров четырнадцати длиной.

Мостик обыкновенный и ничем не при-

мечательный. Но почему-то именно его решили взорвать наши соседи.

В их отряде был выученник нашего Еременко. Но начальник минной группы оказался наредкость упрямым человеком. Он решил применить аматол — штуку капризную и ненадежную в дождливую погоду и давно уже забракованную нами. Отверг наши мгновенные взрыватели автоматических мин и заменил их бикфордовым шнуром. И, наконец, вопреки здравому смыслу, элементарному расчету и нашей практике, приказал закладывать мины не ближе к середине моста, а у самого края.

Вначале все шло гладко.

Ночью шел дождь. Под утро охрана моста ушла покурить и пообсохнуть в караулку. Минеры заложили мины, протянули шнур, подожгли его и быстро отскочили в кусты.

Прошло несколько мучительных минут. Наконец раздался взрыв. Он был еле слышен...

Часовые у моста подняли тревогу.

Сегодня агентурная разведка выяснила, что взорвалась только одна из четырех мин. Остальные отказали. И это было естественно: подвел мокрый аматол.

Результат жалок: слегка повреждена только одна из четырех двутавровых балок. Первый поезд прошел по мостику через два часа после взрыва.

## 19.XI

На Планческой праздник: наша школа выпустила первую группу минеров. Каждому из них выдано удостоверение, что он может самостоятельно проводить минные диверсии. Тем, кто показал особые успехи, разрешено быть преподавателями минного дела.

Как был бы рад Евгений, если бы он дождал до этого!

## 19.XI.

Слащев вне себя от ярости.

Вчера был очередной налет на Планческую. Один из «Фокке-Вульфов» спустился к самым крышам, бросил бомбы, выпустил несколько пулеметных лент. Убито три женщины и двое ребятшек.

Этот «Фокке-Вульф» — наш старый знакомый. Вот уже несколько дней подряд он навещает Планческую. Всякий раз летчик спускается очень низко и не брезгует никакими целями: недавно он выпустил пулеметную очередь по несчастной козе, привязанной к плетню.

Слащев долго крепился, но сегодня терпение лопнуло, и он решил во что бы то ни стало расправиться с разбойником.

Я пришел на Планческую в разгар подготовки к месту.

Слащев мобилизовал всех — даже сапожников, минеров, плотников, шорников. Боицы тщательно выверяли свои караби-

ны. Кузнецов, — он болен и пока отскачивается в Планческой, — возился с ручным пулеметом Дегтярева. Даже автоматчики, и те решили принять участие в охоте, хотя поразить самолет из автомата — дело сугубо случайное.

На рассвете мы заняли огненные позиции на горушке — над ней обычно пролетал «Фокке-Вульф».

Мы сидели весь день — самолета не было.

Слащев еще больше разъярился:

— Месяц пролежу на этой горке, а самолет доконаю!

Утром на следующий день мы снова на горке.

Около десяти часов появляется «Фокке-Вульф». Как всегда, он идет излюбленным курсом, почти скользя брюхом по верхушкам деревьев. Мы даем залп. «Фокке-Вульф» заваливается на правое крыло. Из левого мотора вырывается черный дым. Самолет, круто развернувшись, ложится на обратный курс.

— Ушел, проклятый! Ушел! — негодует Николай Николаевич.

Но «Фокке-Вульф» снова разворачивается — он идет прямо на горушку.

Мы еле успеваем сменить огневые позиции, как на вершине горки грохочут взрывы: летчик сбросил весь свой бомбовый груз.

Снова разворот. «Фокке-Вульф» спешит теперь на свой аэродром: левый мотор пылает.

Второй залп. Вспыхивает правый мотор. Резко идя на снижение, самолет горящим факелом падает в кусты у излучины Афиписа, недалеко от Крымской Поляны.

.....  
Фашистам не удалось перевалить через Кавказ: сегодня радио сообщило об ударе по группе немецких войск в районе Орджоникидзе. Уничтожено 140 танков. Враг оставил на поле боя пять тысяч трупов...

## 21.XI.

Железнодорожный мостик у поворота к шоссе не дает покоя нашим соседям: теперь уже другой отряд решил взорвать его.

Их минеры, прошедшие нашу школу, настояли на применении только тола и наших взрывателей.

Темной ночью подползли к мосту, но неожиданно на них напоролся немецкий патруль.

Уцелели чудом: воспользовавшись растерянностью немцев, они скрылись в кустах. Но мины, — наши готовые мины! — оставили на полотне.

Будь на то моя воля, я бы как следует отчитал этих ротозеев: до сих пор не могут понять, это минеры должны работать под зоркой охраной своих часовых.

Мостик над болотом попрежнему цел и невредим.

## 22.XI.

Наши минеры, наконец, вернулись...

Пять суток длился тяжелый путь.

К вечеру на пятые сутки минеры подходят к полотну дороги и ложатся в кустах.

Непроглядная осенняя ночь. Моросит дождь. Люди спят — завтра тяжелый ответственный день. Бесшумно сменяются часовые. Тишина. Будто вымерло полотно — ни огонька, ни патрулей, ни поездов.

Надо думать, движение идет только днем. Тем лучше: ночь свободна. Но почему нет часовых?

На рассвете к полотну ползут Янукевич и Понжайло: надо наметить места наблюдений, провести первую, предварительную разведку.

Они возвращаются неожиданно быстро.

— Ржавые рельсы, — коротко бросает Янукевич. — По этой дороге давным-давно не было и нет никакого движения. Дорога мертва. Ясно?

И снова карабкается группа на кручи, цепочкой идет по лощинам, выслая вперед дозоры.

— Пустяки, на шоссе вдвойне отыгрался, — не унывает Ветлугин.

К шоссе подходят на рассвете. Вперед тотчас же высланы две пары разведчиков: хочется скорее приняться за работу.

В сумерки возвращается первая пара — все те же Янукевич и Понжайло.

Виктор Иванович молча садится на камень.

— Ну, Виктор, рассказывай, — торопит жена.

— Надо возвращаться домой — опоздали. Взорвано все, что можно взорвать — мосты, мостики, даже само полотно дороги. Очевидно, — нас опередили армейские саперы при отступлении. Шоссе травой поросло. И мы, друзья, — безработные...

Утром попрежнему моросит мелкий надоедливый дождь. Рваные тучи ползут по небу. Резкие порывы ветра гонят по безлюдному шоссе желтую листву.

Все встают хмурые, неразговорчивые.

На сердце тоскливо. Обидно: пройти сто километров, — и каких сто километров! — потерять столько времени и, ровно ничего не сделав, вернуться в лагерь. Обратный путь кажется бесконечно длинным, тяжелым, опасным.

— Хотя бы одну паршивенькую машину исковеркать, одного бы фрица укокошить, — ворчит Литвинов.

— Вот что, друзья, — говорит Конотопченко — Вы здесь отлохните, а я пойду приятелей навещу, работу пошукаю. Вечером вернусь.

С ним вместе уходят Янукевич и Понжайло.

Вечером они не возвращаются.

— Этого еще нехватает. Что мы Бате

скажем? — нервничает Геронтий Николаевич.

Ночью, неожиданно являются все трое.

— Прошу прощения, мы кажется слегка опоздали, — галантно извиняется Конотопченко.

— И на том спасибо, что живы, — ворчит Слащев.

— Вы лучше, Николай Николаевич, спасибо за то скажите, что мы вам работу нашли.

— Только мне?

— Нет, всем безработным. Но вам, товарищ технорука ТЭЦ, — по специальности. Вы ведь, кажется, теплотехник?..

Всю ночь группа идет еле заметной тропой. Скользят ноги на мокрых камнях, моросит дождь, резкий порывистый ветер пронизывает до костей. Не видно ни зги. Но люди не чувствуют усталости: завтра ждет боевая работа. Какая — Конотопченко не говорит.

— Все пригодится: и гранаты, и мины, и бикфордов шнур, — загадочно улыбается Дмитрий Дмитриевич.

Ранним утром, когда на востоке чуть брезжит заря, впереди вырастает одинокая избушка Окна наглухо закрыты ставнями Вокруг — ни души.

Конотопченко осторожно подходит к условным стуком стучит в дверь. Гремит тяжелый засов. Тихий разговор — и Конотопченко широким жестом приглашает товарищей:

— Прошу.

В избе четверо вооруженных.

— Знакомьтесь: партизаны — хозяйева дешенных мест

Через час вся картина ясна. Красная Армия при отступлении основательно вывела из строя нефтяные промыслы. Немцы пытаются их восстановить, но это им не удается: партизаны рвут вышки и механическое оборудование. Однако у них нет сил для крупной диверсии. И они рады гостям — они проведут всю черновую работу и дадут возможность нашей группе показать свое искусство. А работы — непочатый край: электрическая станция, водокачка, дающая воду промыслам, и трехарочный мост через глубокое ущелье.

Люди истосковались по работе — они готовы сегодня же вечером выйти на диверсию. Но в нашем отряде стали непреложным законом старые традиции, возвращенные Евгением. И еще сутки уходят на неторопливую, обстоятельную подготовку.

В ночь, назначенную для удара, все так же моросит дождь. Вост ветер в ущелье. Кромешная тьма.

Начинают местные партизаны. Быстро, бесшумно снята немецкая охрана моста и порвана связь.

Слащев, Ветлугин, Сафронов, под охраной партизан, ползут к электростанции и водокачке. Остальные минируют мост

Конотопченко с местными партизанами устраивают громадный завал на дороге по эту сторону моста: недавняя буря повалила высокие сосны на краю ущелья. Первой заканчивает работу группа на мосту. Мура Янукевич ползет к электростанции.

— Героша, у нас все готово.

— Нашего фейерверка, Мура, не ждите. Слащев священнодействует — дорвался, наконец, до своих генераторов, — шепчет Ветлугин.

— Зато, Геронтий Николаевич, немцам придется строить электростанцию заново — или я никогда не был техноруком ТЭЦ...

— Иди, Мура, и отводи своих.

Через полчаса у электростанции три раза квакает лягушка. Ей отвечает лягушка у водокачки — и охрана бесшумно ползет к соседнему леску.

Минут через десять новое кваканье. На мгновение вспыхивают два огонька: это Слащев и Сафронов поджигают бикфордовы шнуры. И три тени бегут к лесу.

Взрыв настигает их у опушки. Становится светло, как днем. В воздух летят камни, бревна, куски металла. Трекратным эхом повторяют взрыв соседние горы.

В поселке, по ту сторону ущелья — возбужденные голоса, мелькающие огни, шум моторов.

Первая машина с автоматчиками, полным ходом пройдя мост, натывается на завал.

Не так легко оттащить в сторону эти громадные сосны, связанные колючей проволокой. Разборка затягивается на добрые полчаса. А машины все подходят и подходят к ущелью. На мосту толчея: десятков автомобилей, и среди них два танка — тяжелый и средний.

Остается последняя сосна завала. Фашисты тащат ее в сторону, натягивая проволоку, которую так внимательно проверял перед отходом Янукевич, — и со страшным грохотом рушится трехарочный мост. В ущелье падают искореженные машины, танки, автоматчики...

В темном дождливом небе над нефтепромыслами взвивается красная ракета.

— Тревога. Надо уходить, — прощается со своими друзьями Конотопченко. — И запомните, товарищи: у нас это называется «принципом максимального эффекта» — одним ударом уничтожены электростанция, водокачка, мост, машины и танки.

Большого как будто сделать было нельзя. Желаем удачи, друзья.

Обратный стокилометровый путь кажется коротким и легким.

23.XI

Я просил Павлика Худоерко при случае узнать у старожилов, что они думают о зиме.

Все старики в один голос уверяют: ожи-

дается затяжная осень с большими дождями и «гнилая» зима.

Надо готовиться к зимнему сезону.

Верхняя одежда была заготовлена еще Евгением в Краснодаре. У нас есть полушубки, стеганки, ватные брюки, шерстяные носки, теплые шапки.

Пока мы ходим в пастолях, сшитых из конской кожи. Они напоминают чукчи и шьются ворсом наверх и назад, чтобы ноги не скользили на подъемах и спусках с гор.

Но в дождь и снег в пастолях не походишь. Нужны русские сапоги. К тому же, и наша одежда основательно поистрепалась.

Я приказал Слащеву наладить на Планческой сапожную мастерскую. Портновская мастерская уже работает: Елена Ивановна отыскала швейные машины, мобилизовала женщин и шьет нам зимнее обмундирование из фильтроткани и белье из простыней.

Жена чувствует себя лучше, хотя по ночам попрежнему не спит...

Сафронов заботится о ней, как сын.

Сегодня радио принесло радостную весть: Совинформбюро сообщило, что под Сталинградом прорвана немецкая оборонительная линия, разгромлены шесть пехотных и одна танковая дивизии фашистов, взято 13 тысяч пленных и 360 орудий.

24.XI

Позавчера наши соседи третий раз пытались рвать мост у поворота к шоссе.

Я не знаю точно, как подбирались мины к мосту, как закладывали мины, как рвали их, но мне известен результат: частично выбито бетонное основание, балки целы и сегодня утром по мосту уже прошел немецкий поезд.

Мост поистине заколдован!.

25.XI

— Бзенька, пожалейте меня, — говорит Геронтий Николаевич, и физиономия у него, действительно, страдальческая. Но в глазах — обычные веселые искорки. — Сон пропал. Что ни день, то один и тот же кошмар. Вижу этот проклятый мост через болотце у поворота к шоссе. Идут по нему поезда, а из-под арки выглядывает этакая богомерзкая рожа, подмигивает мне и дразнит:

— Ich bin nicht kaputt! Ich bin nicht kaputt!\*

— Понимаю: рвать хотите?

— Непременно. Бзенька Вель, какой позор: три неудачи подряд! Где это видано? Немцы, небось, потешаются.

— Да стоит ли рисковать, Геронтий Николаевич? Мостик крохотный, а риск большой. Сколо моста полувзвод охраны — берегут его так, что ящерица, пожалуй, не подползет.

\* А я еще цел! А я еще цел!

— За кого вы меня принимаете! Неужели вы думаете, что я, как какое-то пресмыкающееся, буду ползти на животе в эту слякоть и дождь?

— Значит, с боем будете рвать?

— Нет, Батенька, с разговорами. С самыми вежливыми, салонными разговорами. У нас с Янукевичем уже все разработано до последней детали.

План Ветлугина, как всегда, очень дерзок и необычен...

Сегодня к мосту отправляю группу наших разведчиков.

## 26.XI

Перед станцией Дербенкой гряды тянутся невысокие горки. Здесь, на очищенных от кустов полянах, ровными рядами растет кукуруза. За ней тянутся пустые виноградники. А за виноградниками — остатки деревянных вышек Калужских нефтяных промыслов.

Промыслы не работают. Но громадный бак и земляные амбары, замаскированные зеленью, полны нефтью.

С боем прорваться к промыслам невозможно: передовые немецкие караулы выдвинуты далеко к горам, нефтяные хранилища огорожены проволокой, в дзотах тяжелые пулеметы и легкая полевая артиллерия.

Самое простое: сообщить координаты амбаров и бака нашей авиации. Но на ближайшем участке фронта идут горячие бои, и пройти через передовую линию опасно и трудно.

Надо действовать самостоятельно. И на промыслы идет Мура Янукевич.

Она прекрасно говорит по-немецки. К тому же, здесь у нее нашлись «родственники». Недавно Мура познакомилась с Анной Васильевной, женой партизана из отряда «Игла», работавшей на промыслах. У Анны Васильевны была падчерица; последние годы она почти безвыездно жила в Краснодаре, лишь изредка да и то на короткое время приезжая проводить отца в Дербентку. Мура чем-то напомнила эту девушку, — овалом лица, голосом, фигурой, — и теперь в Дербентке она легко сошла за падчерицу Анны Васильевны.

Мура устроилась переводчицей в группе женщин, работавших на очистке земляных амбаров, и быстро вошла в доверие к немцам: она была исполнительницей и аккуратной, ласково улыбалась господину лейтенанту и почти каждое утро приносила на промыслы корзины сочного винограда и угощала немецких автоматчиков.

Так продолжалось несколько дней.

Недавно Мура узнает, что со дня на день немцы начнут вывозить нефть из амбаров.

Пора.

Литвинов и Ветлугин срочно изготовляют кислотные мины — они так хорошо

поработали на складе у разъезда Энем Павлик приносит маленькие ящички на квартиру Анны Васильевны. А Мура горячо уговаривает немецкого лейтенанта, что следовало бы завтра же организовать сбор винограда: ее мачеха научит солдат готовить вкусное молодое вино.

На следующий день к вечеру лейтенант отправляет к виноградникам группу румынских солдат. Они несут большие корзины. Их сопровождают немецкие автоматчики во главе с толстым обер-ефрейтором.

Сборщики, передав оружие автоматчикам, наполняют корзины. Автоматчики складывают оружие в кучу и, оставив около нее двух часовых, отправляются лакомиться виноградом.

К часовым подползают двое наших партизан. Рывок, резкий удар ножом под ложечку — и часовые беззвучно падают на землю.

Наши незаметно окружают румын и немцев. Треск цикады — с на безоружных солдат из-за виноградных лоз смотрят дула винтовок.

— Halt! Hände hoch!\*

Румыны слушаются мгновенно. У обер-ефрейтора в поднятой правой руке крепко зажата тяжелая виноградная гроздь.

Наши уводят румын и немцев в горы. А Мура уже на промыслах. Она только что принесла от Анны Васильевны две большие корзины с виноградом и удивленно спрашивает у лейтенанта, где же сборщики винограда: уже темнеет, а их все еще нет.

Лейтенант и сам не на шутку встревожен. Он посылает на виноградники новую группу автоматчиков.

Теперь на промыслах почти безлюдно.

Мура идет потчевать караул у вышек. Она здесь свой человек. К тому же на этот раз виноград у нее поистине отменный. И Мура весело болтает с часовыми.

У нефтяных амбаров и бака Мура особенно приветлива и щедра.

— Bitte, essen Sie! Schmeckt gut!\*\* — угощает она.

И пока немцы лакомятся виноградом, она вынимает со дна корзины маленькие ящички и незаметно сует их в отверстия земляных амбаров. У нефтяного бака она оставляет большой сверток.

Спустилась ночь. На небе зажглись первые звезды.

Мура с Анной Васильевной уходят с промыслов. Отойдя полкилометра, они бегут.

Сзади грохочут взрывы. Громадный огненный столб взмывает к небу...

\* Стой! Руки вверх!

\*\* Пожалуйста, кушайте! Вкусно!



Вот уже три дня, как горят нефтяные промыслы, подожженные Мурой, и над Дербенткой стоит огненное зарево...

29.XI.

Заколдованный мост через болотце на восьмом километре все-таки взорван!

Дело было так...

К вечеру Ветлугин, Янукевич и двое минеров подходят к мосту. Начальник группы нашей разведки докладывает ему о поведении караула и сообщает подслушанный сегодняшний пароль.

В сумерки наши минеры выходят на полотно и спокойно идут к мосту.

Вид их несколько необычен. Впереди с немецким автоматом вышагивает Ветлугин. Он одет как-то странно: помесь этакого немецкого шпика и богатенького кубанского казака. Вид независимый и наглый. За ним со связанными назад руками понору бредут два наших минера. Их стеганки грязны и порваны; они явно сопротивлялись при аресте. Процессию замыкает Янукевич: у него тоже автомат и одет он примерно так же, как Ветлугин, но выглядит сортом похуже.

Их останавливает часовой.

— Halt! Parol?\*

— Berg!\*\* — уверенно отвечает Геронтий Николаевич и молча протягивает ему сургучом запечатанный конверт. На нем четко выведено:

„Geheimreichssache. Dem Chef der Polizei;  
Leitnant Kurt Biller“,\*\*

Часовой вызывает начальника караула.

Является фельдфебель и при свете карманного фонарика долго — подозрительно долго — читает надпись на конверте.

— Tausend Teufel! Sie sind blind?\*\*\*\* — нетерпеливо и властно бросает Ветлугин.

От резкого оклика обер-фельдфебель вздрагивает. Кто знает, что это за человек, принесший секретный пакет лейтенанту Курту Биллеру? Надо думать, он важный агент гестапо, что так кричит на обер-фельдфебеля. А эти оборванцы со скрученными руками — вероятно, пойманные партизаны. Надо провести их в караулку и оттуда позвонить господину лейтенанту в полицию.

Начальник караула жестом приглашает следовать за ним.

Стусились сумерки. Накапывает дождь: Серый туман ползет над болотцем, полотном, мостом:

Наши подходят к часовым. Им только это и нужно. По сигналу Ветлугина они бросаются на немцев и привычным уда-

\* Стой! Пароль?

\*\* Гора!

\*\*\* Секретно. Шефу полиции лейтенанту Курту Биллеру.

\*\*\*\* Тысяча чертей! Вы слепы?

ром ножа под ложечку валят на землю. Рядом падает начальник караула.

Все проделано так стремительно, что никто из немцев даже не успевает вскрикнуть.

Моросит дождь. Тишина...

Начинается минирование. Работа привычная — и через пятнадцать минут все закончено: четыре мины заложены и замаскированы по всем правилам искусства. А пятая мина (на нее пошел забракованный нами аматол) будто второпях уложена у противоположного конца моста и рядом с ней группы убитых часовых.

Наши быстро отходят в горы. Но не успевают они пройти и двух километров, как на мосту поднимается тревога и беспорядочная стрельба: надо думать, немцы обнаружили группы своих часовых и мину из аматола.

По тревоге из Северной несутся автомашины и, обгоняя их, поезд с автоматчиками.

Взрыв. Поезд вместе с мостом взлетает на воздух...

— Конеч, Батенька, моей бессоннице, улыбается Ветлугин. — А главное — престиж партизанский восстановлен. Это тоже кое-что значит!

Только что получил письмо товарища Поздняка, командующего партизанскими соединениями. Это — ответ на посланный ему план операций нашего отряда.

В письме между прочим сказано:

«...Еще раз подтверждаю совершенно правильное Ваше предложение, что Ваш отряд должен действовать группами в 4—5 человек, придаваясь к другим нашим отрядам; тогда Вы сможете действовать совместно 6—8—10-ю отрядами, и плоды работы Вашего отряда будут удешевлены...»

30.XI

— Пора отпочковаться, Батенька, — говорил мне сегодня Ветлугин. — Пора завести филиалы. Когда-то мы мечтали с Евгением, что у нас будут «дочерние отряды». Тогда это было рановато. А сейчас следует об этом серьезно подумать. У нас и опыт кое-какой накопился, да и школа есть. Как вы полагаете на этот счет, Батенька?

Геронтий Николаевич опоздал. Я уже наметил целую сеть таких отрядов. Они будут работать в глубоком немецком тылу, куда нам сложно и долго добираться. Они должны кольцом охватить Краснодар, взять под наблюдение переправы через Кубань, проникнуть в самый город и обрушиться на немцев, когда наша армия начнет гнать фашистов из Краснодара.

Мне кажется, основу дочернего отряда должны составлять местные жители. Мы дадим им только своего командира или главного минера. В дочернем отряде

никто не должен знать о нашем существовании. Только командир будет связан с нами, будет получать наши распоряжения, доносить нам о диверсиях. Эта конспирация должна стать непреложным законом.

Я мечтаю о добром десятке таких отрядов. Их действия будут координироваться из одного центра.

## 1. XII.

Старики оказались правы: осень затягивается, идут бесконечные дожди, грязь невылазная. А тут еще немцы, перепуганные нашими диверсиями, зорко берегут свои дороги.

Все это создает неприятное, пониженное настроение. Я уже слышал разговоры о том, что, дескать, сейчас надо отказаться от крупных диверсий и следовало бы прикрыть нашу минную школу: какой-де смысл готовить минеров, которые обречены на безработицу?

Надо переломить это настроение. Я убежден: никакая грязь, никакая бдительность немцев не спасет их, если на диверсию выйдут опытные подрывники, отважные бойцы.

Вчера я вызвал к себе Янукевича, Ветлугина, Мусьяченко, Сафронова, Литвинова, Слащева — наших гвардейцев, тех, кто вместе с Евгением сколачивал отряд.

Я говорил с ними откровенно. Я рассказал им свой план: маленькая группа, не больше восьми человек, выходит на сложную операцию, предусматривающую несколько последовательных комбинированных диверсий на линиях Ильская—Крымская, Крымская — Тимашенка, Крымская—Тамань.

Чтобы сейчас, в грязь и распутицу, добраться до места операции, придется затратить не одну неделю. Если как следует заблаговременно продумать всю операцию, постараться учесть все неожиданности, свято соблюдать наши заповеди тщательной предварительной разведки, — задача выполнима.

Мои гвардейцы загорелись. Я дал им три дня, чтобы как следует продумать операцию.

## 2. XII.

Несколько дней назад у нас на Планческой вспыхнул «бунт сапожников». Бибииков и его «подмастерья» потребовали отправки их на боевые операции.

— Мы пришли сюда, Батя, не сапоги шить.

«Усмирить» «бунтовщиков» было не так-то легко. В конце-концов мы порешили на том, что они будут продолжать шить сапоги, а в свободное от работы время ходить на занятия в минную школу и что в ближайшее время я пошлю их для опыта на небольшую диверсию.

Сапожники добросовестно шили сапоги и так же добросовестно посещали заня-

тия. А сегодня они вернулись, блестяще выполнив порученную им операцию.

Операция была простая и легкая. Но сапожники пришли после нее на Планческую, измотанные до-нельзя: сказалась сидячая жизнь и отсутствие тренировки.

Я думал, что после такой прогулки они утихомятятся. Ничуть не бывало: «бунт» вспыхнул с новой силой.

Решено отправить сапожников в Краснодар: это будет наш второй городской филиал (первую группу мы оставили в городе, когда в августе уходили из Краснодара).

В группу Якова Ильича Бибиикова входят Иван Федорович Суглобов, Николай Андреевич Федосов и переданный в наш отряд бывший начальник политотдела Ново-Титаровской МТС, Брызгунов.

Группа должна прежде всего провести ряд диверсий на железной дороге между Краснодаром и Усть-Лабой, соединяющей город с основной магистралью Ростов—Армавир. Затем подготовить взрыв восстановленного немцами моста на дороге, ведущей от Краснодара к Горькому Ключу. И, наконец, связавшись с группой Лагунова, помочь ей в момент будущих боев за город.

## 4. XII

Сегодня ко мне пришли мои гвардейцы. — Батенька, пишите приказ, мы идем, — коротко заявил Ветлугин.

Приказ написан: командиром всей группы назначен Мусьяченко (мой заместитель по снабжению), техническим руководителем — Янукевич, руководителем минных операций — Ветлугин.

С ними идут Иван Дмитриевич Понжайло и Мура Янукевич.

## 5. XII.

Вчера я назначил Георгия Ивановича Ельниковца руководителем целого куста наших «дочерних отрядов».

Прежде всего к Тамани — на Пронопокровские хутора, он забрасывает Карпова, тамошнего уроженца. Карповский отряд, составленный из жителей этих хуторов, надо думать, обоснуется в камышах лиманов. Его задача — держать под контролем Львовское шоссе. Я спокоен за этот отряд: Карпов еще в 1918 году дрался с белыми в партизанских отрядах, прекрасно знает кубанские лиманы, в камышах чувствует себя, как дома. Полагаю, что его группа первой из наших филиалов начнет боевую работу.

Вторая группа, подведомственная Ельниковцу, должна обосноваться в Стефановке — небольшом хуторке на левом берегу Кубани, против станции Ново-Марьинской.

Марьинцы, уходя в леса и горы, оставили в Стефановке большую, хорошо замаскированную группу партизан. Надо связаться с ними и на базе марьин-

цев организовать наш «Стефановский филиал». Я придаю ему большое значение. Стефановка связывает Львовское шоссе с Краснодаром, и против Стефановки через Кубань немцы перебросили мост на плату.

Ельников должен взять под свое наблюдение и наши городские отряды.

И, наконец, непосредственно Георгию Ивановичу поручено разгадать тайну понтонных мостов.

Пока сведения об этих мостах путанные и разноречивые. Ельников сам подберется к ним и выяснит, что это за штука.

## 9.XII.

Вот уже две недели, как на Планческой идет подготовка к выходу группы Демьяна Пантелеевича Лагунова, которая должна составить ядро нашего третьего краснодарского филиала.

Демьян Пантелеевич, начальник цеха комбината и в прошлом железнодорожный машинист, прекрасно знает Краснодар.

В его группу входят Николай Григорьевич Гладких, кочегар комбината и председатель его местного комитета, Ефим Федорович Луговой, газовый мастер, спокойный, уравновешенный человек, старейший по годам в нашем отряде, Дмитрий Григорьевич Литовченко, заведующий военным отделом Сталинского райкома партии в Краснодаре, и Таисия Сухороброва, секретарь Сталинского райкома ВЛКСМ.

Задачи у нашего будущего городского филиала многообразны.

Лагунов должен непосредственно перед отходом немцев из Краснодара уничтожить все перевозочные средства через Кубань: лодки, катера, пароходики, взорвать мост на плаву, ведущий из города к Георгие-Афипской, помочь нашему Яблонскому филиалу, если немцы все-таки восстановят солидный мост через реку, организовать взрывы шоссежных мостов на подходах к город, спасти от разрушения оборудование основных промышленных предприятий Краснодара.

Одной нашей группе справиться со всем этим явно не удастся. Поэтому она должна сейчас же по приходе в город связаться с подпольными организациями и сколотить ряд дополнительных групп. Эта последняя задача, очевидно, ляжет главным образом на плечи Сухоробровой — у нее большие связи с краснодарской молодежью.

Группа Лагунова усиленно готовится.

Еременко проходит с ними митно-подпольное дело. Они тренируются в метании гранат, подробно изучают пулемет, Я тщательно прорабатываю с ними явки, пароли, связи. Они зазубривают адреса, фамилии, имена: никаких записей, конечно, им взять с собой нельзя.

Полагаю, через неделю — полтора Лагунов сможет выйти.

## 10.XII.

Станица Ново-Дмитриевская раскинулась на высоком пригорке, омываемом двумя водными потоками — рекой Афипс и Плавстроевским каналом. В станице стоит немецкая дивизия, наблюдающая за окрестными хуторами, куда выдвинуты более мелкие подразделения. Через станицу непрерывным потоком, одна за другой, проходят к фронту немецкие части, подтягиваются боеприпасы, вооружение, продовольствие: под Новороссийском попрежнему идут горячие бои.

Надо остановить этот поток.

Решено рвать трехарочный мост через канал, так называемую Плавстроевскую перемычку.

На операцию выделены наши минеры во главе с Георгием Фефановичем Мельниковым. С ним его постоянный спутник, Поддубный.

## 11.XII.

Вчера нам с Еленой Ивановной здорово досталось от Афипса.

...С группой партизан мы вышли из Планческой в наш зимний лагерь: надо было сменить белье, захватить что-нибудь потеплее и отправить на операции две группы.

Через Афипс перебрались благополучно: вода низкая и такая светлая, что отчетливо видны разноцветные камушки на дне.

Когда подходили к лагерю, на небе повисли большие кучевые облака.

В лагере провозились весь день до глубокого вечера: я готовила к выходу наши группы, Елена Ивановна отбила белье и вдоволь наплакалась, разбирая вещи ребят.

Когда я вышел из командного пункта, все небо было закрыто тучами. Они шли в два яруса: первый ярус был ниже нашего лагеря, второй, задевая вершину горы Стрепет, скрывал плешь старика Афипса.

Что было внизу, я не знал, но из верхнего яруса шел дождь.

Я вызвал к телефону заставу. Мне доложили, что вода в Афипсе не прибывает.

Утром, еще до рассвета, мы тронулись в обратный путь. Хлестал дождь. Ити было трудно. Ноги скользили. Даже перила и каменные ступени нашей лестницы мало помогали.

Первый раз мы благополучно перешли Афипс вброд, даже не набрав воды за голенища сапог.

После второй переправы через Афипс Елене Ивановне пришлось разуваться и выжимать шерстяные чулки. После третьей переправы мы были мокры до пояса.

Около Малых Волчьих Ворот предстояла самая тяжелая переправа.

Афипс был неузнаваем: бешено крутится, перед нами неслась большая река.

Вода покрыла не только камни на перекатах, но и прибрежные выступы скал — наши привычные ориентиры.

Павлик вырубил длинный шест. Мы встали по обе стороны шеста (высокие — лицом к течению, низкие — спиной к нему) и, обеими руками держась за палку, медленно вошли в воду.

На середине Афипса вода доходила до шеи. Было холодно. Коченели руки. Ревела река. Но мы шли благополучно.

Неожиданно Елена Ивановна с головой провалилась в яму. К счастью она обеими руками продолжала держаться за шест.

Правой рукой я подхватил жену и вытащил ее из ямы. Но левая сорвалась с шеста. Афипс сбил меня с ног, и я очутился под водой.

У нас существует строгое правило при переходе с шестом через реку: что бы ни случилось, никому шеста не отпускать и медленно двигаться дальше. И наши шли вперед, наблюдая, как Афипс кружил в водоворотах их командира.

Река несла меня на второй перекат. Там торчали из воды острые скалы. На перекате ждала неминуемая смерть.

У первой гряды я почувствовал резкий удар в плечо: подо мной лежала коряга. Я ухватился за нее обеими руками.

Афипс ревел, стараясь бросить меня на стремнину переката. Я напряг последние силы, чтобы удержаться на коряге.

Наши перебрались на противоположный берег. Павлик протянул мне шест и благополучно вытащил из воды.

Впереди нас ждали еще добрых двадцать переходов через Афипс и «афипсики». Но все они были менее тяжелые, чем брод у Волчьих Ворот.

На одном из последних бродов мы шли вместе с Еленой Ивановной. У противоположного берега было сравнительно мелко. Я отпустил руку... и провалился в омут с головой.

Меня понесло. Я с трудом всплыл на поверхность. Но что-то тяжелое тянуло меня вниз, и я снова ушел под воду. И тут, под водой, я вспомнил: на поясе висит ведро!

Когда мы выходили из лагеря, оно было частично приторочено к рюкзаку. Но недавно мы пили воду из родника, и я привязал ведро к поясу. Сейчас оно наполнилось водой и тянуло меня вниз.

Я пытался оторвать ведро — веревка не поддавалась...

Как мне удалось избавиться от ведра, я до сих пор не понимаю Обесшмелный, с трудом вылез на песчаную отмель...

В Планчскую мы пришли поздним вечером — усталые, продрогшие, мокрые.

Немцы наседают. Чувствуют, проклятые, что близится наступление Красной Армии, и стараются выбить нас из пред-

горий, чтобы развязать себе руки для решающих боев.

Нажим нарастает с каждым днем. Расход боеприпасов небывалый. Приходится экономить даже винтовочные патроны. И если бы не Кириченко, не знаю как сумели бы мы до сих пор удерживать наши позиции.

Громадный, медлительный, угрюмый, он каждую свободную минуту в лагере молча возится с какими-то замысловатыми минами. В сумерки уходит в лес — и на кабаньих тропах, у бродов через «афипсики», на полянках, на склонах ериков закладывает свои «сюрпризы».

Куда только ни прячет мины Николай Ефимович: то выдалбливает для них отверстия в стволе дерева, тщательно маскируя корой, то подвешивает на ветвях деревьев, то укладывает под камень, обросший мхом, каким-то особым чутьем угадывая, что именно здесь, за этим камнем, спрячется немецкий снайпер.

Проволочки, выдергивающие предохранитель, он прячет так ловко, сплошь и рядом используя для этого безобидную веточку, что его помощники, работающие с ним, через пять минут уже не могут найти ее. А Николай Ефимович все зорко примечает и своей медвежьей вразвалку походкой, спокойно возвращается по заминированной тропе.

Каждый день рвутся на его минах немецкие автоматчики. Лучшие саперы не в силах обнаружить его «сюрпризы», тем более, что Кириченко никогда не повторяется — у него всегда что-то новое, оригинальное, неожиданное.

У Николая Ефимовича большой, недюжинный талант изобретателя конструктора, минера, и я берегу нашего «медведя».

## 12.XII.

Агентурная разведка донесла, что в Афипскую еще до распутицы немцы подвезли много техники: танков, пушек, минометов. Отправить их во время не смогли: профиль размяк а шоссе и железная дорога разбиты нашими взрывами.

Грузов скопилось тьма-тьмущая. Уже погружено свыше шестидесяти вагонов. Но на Афипской нет паровозов. Из Краснодара паровозы подойти не могут: мосты через Кубань и Афипс взорваны. Но немцы, конечно, раздобудут паровоз и отправят поезд; под Новороссийском все еще идут тяжелые бои.

Я рассказал об этом моим гвардейцам. — Я — не я, если не взорву этот поезд. — горячо заявил Геронтий Николаевич.

Получил от Ельникова подробное донесение о понтонных мостах.

Тайна, наконец, раскрыта. Несмотря на свои победные реляции, немцы понимают, что положение их на

Северном Кавказе непрочно. Значит, на случай отступления надо обеспечить переправы через Кубань. Стационарных мостов через реку не существует: они взорваны нашими саперами при отступлении. В распоряжении немцев два наплавных моста у Стефановки и Яблоновки. Фашистское командование подзревает, что обе эти переправы находятся под нашим неусыпным наблюдением. В любой момент они могут взлететь на воздух. Значит, надо подготовить на всякий случай солидный резерв — такие переправы, которые; с одной стороны, имели бы большую пропускную способность, а с другой, до последнего момента хранились бы в тайне от нас.

И немцы придумали: между Марьинской и Елизаветинской они сосредоточили понтоны для мостов.

Место они выбрали наредкость удачное — бесчисленные излучины Кубани, покрытые лесом и густым кустарником, прекрасно маскируют и подготовленные понтоны и понтонеров. Наши самолеты, не раз пролетавшие над этим местом, ровно ничего не заметили. Больше того: даже получив агентурные сведения о понтонах, наши разведчики обнаружили их с громадным трудом.

Сейчас тайна немцев полностью разгадана Ельниковым. Он сам пробрался через густой лозняк; прополз по сырому песку отмелей и насчитал понтоны для шестнадцати мостов. Немцы смогли их перебросить через реку буквально за какой-нибудь час.

Хитро придумано!

Только что переслао донесение об этих понтонах через линию фронта командующему нашей армии.

#### 14.XII.

— Должен вам прямо сказать, Батя: если вы спросите меня, как подобрался мы к этой проклятой Плавстроховской перемычке, — я только руками разведу. Не знаю, честное слово, не знаю.

Георгий Феофанович Мельников только что вернулся из операции, переоделся, помылся, плотно поел и сейчас, довольный и спокойный, сидит у меня на командном пункте.

— Представляете себе, Батя: степь, голая степь. Трава высохла, поникла, — остались какие-то коротенькие стебельки. В ней не только нам с Поддубным не спрятаться, а полевая мышь будет видна за километр. И лишь метрах в пятидесяти от моста реленькими островками стоят чахлые кустики. Когда я увидел эту безрадостную обстановку, сердце екнуло. Но, сами понимаете, возвращаться нельзя. Легли и стали наблюдать. Лежали двое суток, и обстановка стала ясной для нас.

— По одну сторону моста полуказарма, — в ней около взвода фашистов. По другую

сторону, откуда нам придется подходить, — будка и около нее пост, в нем шесть-восемь фрицев. У окраинных домиков станицы, примерно, в километре от моста, дежурят автомашины и лежат наготове автоматчики. Короче — ничего утешительного. Но все равно, — уходить невозможно. А подползти тоже немудрено.

— На наше счастье, к вечеру третьих суток дошел дождь. Да такой подходящий дождь — спорый, холодный, с ветром. Лохматые свинцовые тучи ползут над самой землей. Просто прелесть.

— Ночью поползли. Было так темно, что Поддубный несколько раз натыкался носом на каблуки моих сапог, но ни разу так и не увидел их. Подобрались кустиками и замерли. Лежим так близко от немцев, что слышим не только их разговоры, но даже шаги на песчаной дорожке у караулки. Лежим. А дождь идет. Вымокали до последней нитки. А тут еще ветерок холодный подул. Трeza сразу изморозью подернулась. А немцы знают себе беседуют, да скрипят их подошвы о песок...

— Лежу злой: им хорошо, — они ходить могут. А каково нам лежать, боясь не только повернуться, но даже вздохнуть поглубже... Чувствую — замерзаю. Скулы начинают судорогой сводить. Пришлось челюсть рукой придерживать, чтобы зубы не стучали. А немцы все ходят и ходят у караулки...

— Вдруг, слышу — скрипнула дверь в будке. Еще и еще раз Разговор смолк. И шагов не слышно. Значит, и немцев пропало: ушли погреться и покурить. Но все ли ушли? Или оставили одного на страже? Это, конечно, разгадать невозможно: темень такая, что ориентироваться приходится только на слух. Пролетали мы еще минут пять — тишина. Думаю, не может быть, чтобы на таком холоде часовой замер, как монумент.

— Поползли. Все тело одеревенело от холода, и ноги будто чужие. Но все-таки подползли, начали минировать. Двое спустились к самой воде, к устоям моста и начали привязывать пакеты с толовыми шашками. Двое других тянули шнуры от пакетов к настилу моста. Третья пара, найдя у края моста выбирующую доску, осторожно приподняла ее ломиком — фомкой, быстро выкопала ямку, заложила в нее противотанковую мину. Потом все аккуратно замаскировали и поползли обратно. Полагаю; что минирование продолжалось не дольше двадцати минут. Кончили во-время: дождь стал стихать и небо посерело — начинался рассвет. Но было еще так темно, что кле-су шли по компасу.

— Мы прошли не больше двух километров, как сзади грохнул взрыв. Судя по силе взрыва, мост покаржило основательно. Но что взорвалось на мосту — не

наю. Во всяком случае — или танк, или тяжелая грузовая машина: по вашему приказу я поставил мину с ограничителями, рассчитанными на большую нагрузку...

15.XII.

Ночью ушла группа Мусьяченко.

Я проводил их из Планческой...

Погода ужасная: идет мокрый снег с дождем, дороги раскисли.

Наши вышли пешком: их снаряжение и продукты погружены на две пары быков. В дальнейшем Мусьяченко предпринимает перегрузить поклажу с быков на лошадей (я послал с группой четыре верховых лошади), а затем, когда они войдут в совершенно незнакомый район, звалить груз на свои плечи.

На сердце тревожно: я сроднился с ними, и они мне дороги чуть ли не так же, как мои погибшие ребята.

Немцы прижимают нас к горам. Строят на горюшках мощные земляные укрепления и обстреливают нас из орудий и тяжелых пулеметов. Но пока наша основная линия обороны держится нерушимо.

Надо сознаться, — нам приходится не легко: в распоряжении партизанских отрядов лишь несколько легких пушек, и снаряды на исходе.

Пора в помощь к минам Кириченко вспомнить о снайперах: после смерти Евгения их охота на немцев прекратилась.

16.XII.

Пережили страшную ночь в лагере...

Вечером на севере показалась темная туча. Вскоре тяжелые капли ударили в окно. Дождь стучал в стены столовой. Тучи быстро неслись по небу.

С нижней заставы позвонили:

— Уровень воды в Афиписе поднялся на полметра.

Я вышел из столовой.

Шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков.

Сверкнула молния. На мгновение затрепетали сидеи зубцы нависших скал, край провала, пелена седых, быстро бегущих туч.

При свете молний было отчетливо видно, как гнул ураган столетние сосны, как, сорвав последние листья с высокой ольхи, огромными хлопьями кружил их по земле и, подняв мелкие камни, сухие ветки, кем-то оставленную плащ-палатку, расшвырял все это в стороны и, снова собрав в клубок, бросил в пропасть.

Воздух был наполнен гулом. Резел ветер в ущелье, стонали сосны, с глухим грохотом рухнул старый дуб и покатылся в горы, ломая деревья, срывая камни.

Через час была объявлена тревога: в

казарме третьего взвода начала оседать крыша.

Привязав себя веревками друг к другу, мы вышли из столовой.

Вокруг не было ни земли, ни неба, ни воздуха — один обезумевший ливень. Потoki воды били в лицо, мешали дышать. Ноги скользили на оголенных камнях, на мокрой глине. Ураган сбивал с ног, валял наземь.

Мы поднимались, падали и снова поднимались, рубили молодые деревья, ставили подпорки под крышу.

Каким-то чудом прообразившись к продовольственным складам, Кузнецов принес страшную весть: гибнут наши запасы продуктов.

И снова, связанные друг с другом веревками, мы бросились в эту страшную крутящуюся тьму.

А вокруг грохотало, гремело, стонало, и эхо сливалось все в многоголосый несмолкаемый рев..

Утром ливень кончился как-то сразу. Выглянуло солнце. Около столовой стояли измазанные глиной люди, мокрые, грязные, усталые.. Не верилось, что страшная ночь позади, что снова светит солнце и над головой раскинулось высокое голубое небо.

Кузнецов мрачно ходил по лагерю и осматривал разрушения...

17.XII.

Организовали группу снайперов под начальством Петра Платоновича Тарасова, заведующего военным кабинетом Краснодарского горкома. В группу входят наши лучшие пулеметчики во главе с Ломакиным и непревзойденный рекордсмен по минометной стрельбе — наш командант Леонид Антонович Кузнецов.

Наконец, организован филиал в Стефановке. Командиром назначен Дементий Григорьевич Малышев.

Мне помог командир Ново-Марьинского отряда: выделил проводником и для связи молодого партизана, жителя Стефановки. В хуторе у него остался отец-рыбак, тоже партизан. Под началом Малышева будет работать группа наших минометчиков второго взвода. Он получил уже от меня места явок, пароли и подробные указания.

18.XII.

В штабе армии не поверили моему донесению о понтонных мостах: Батя, дескать, фантазирует — авиация ничего не обнаружила.

Второй раз в категорической форме подтвердил первое донесение и просил прислать офицеров-разведчиков.

Только что получил известие от агентурной разведки, что интересующий нас поезд, за которым охотится группа Мусьяченко, скоро выйдет из Афипской. Тот-

час же отправил об этом записку Мусья-ченко.

## 19. XII.

Группа Бибикова благополучно прошла к окрестностям Краснодара.

Старики-горцы сказали Павлику: тако-го урагана, что разыгрался в недавнюю страшную ночь, они не помнят за всю свою жизнь — он бывает, по их словам, раз в сто лет...

## 20. XII.

Позавчера мы торжественно проводили группу Лагунова. А сегодня она верну-лась обратно, не сумев подобраться к Кубани.

Я приказал Павлику Худоерко во что бы то ни стало провести ее в Краснодар. Время не терпит.

Совинформбюро сообщило о новом уда-ре наших войск: началось наше наступ-ление в среднем течении Дона. Немцы оставили на поле боя двадцать тысяч трупов...

Пришло донесение от нашей «дочерней» таманской группы, которой командует Карпов...

...Я много раз бывал на Тамани.

Я видел, как тяжелый плуг, запряжен-ный четырьмя парами круторогих быков, резал целину: стальной, сиющий на солнце лемех отбрасывал такую жир-ную, такую маслянистую землю, что хо-телось намазать ее на хлеб, как черное масло И, сколько ни забирай вглубь, ни-когда не доберешься до мертвой глины: на добрый метр лежит нетронутый дев-ственный чернозем.

Я видел осень на Тамани: белый парус на горизонте, пушистые головки камы-шей в лиманах, в море золотой кубан-ской пшеницы, чуть тронутые позолотой высокие тополя, виноград, арбузы, дыни, помидоры, баклажаны — и все это гро-моздкое, сочное, спелое.

Помню, я стоял на пригорке с седобо-родым таманским казаком. Прикрыв ру-кой глаза от солнца, он долго смотрел в даль. Потом широко раскинул руки. Ка-залось, он хотел обнять и это золото по-лей, и белые хаты хуторов, и серебри-стую водную гладь за камышами.

— Та нэма края найращего, як наш край...

Сейчас Тамань под немцем.

Я вспомнил о Таманской земле, когда несколько дней назад наш радист принес мне пойманные им в эфире строки:

«... Мы отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века

Стояда грудью боевой у русского древка,

За то, что где бы ни дрались, развея-  
чудовье,  
Всегда мечтает о тебе казачество твое  
За этот дом, за этот сад, за море во  
дворе,

За этот парус вдалеке, за чаек  
в ноябре,  
За смех казачек молодых, за эти песни  
их,

За то, что Лермонтов бродил на берегах  
твоих...

И до боли хотелось, чтобы скорее, как можно скорее начал работать наш Карпов. А он молчал. И только кружными путем приходили вести с Тамани о виселицах, о замученных казачках, о таманцах, угнанных куда-то на запад.

И вот, наконец...

Серой лентой перерезает пшеницу Львовское шоссе. Оно начинается у Стефановки, проходит через Мианцеровский хутора, огибает Ильскую и впадает в главную магистраль Краснодар—Ново-русский.

Немцы берегут это шоссе: добрый десяток эскадронов румын-кавалеристов стоит в Прено-Покровских и Мианцеровских хуторах.

Львовское шоссе — спасение для немцев. Основная дорога из Краснодара в Новороссийск стала почти непроезжей — слишком часто взлетают в воздух немецкие машины на партизанских минах. И этот, пока спокойный, обходный путь по Львовскому шоссе — находка для фашистов.

И все же немцы боятся пользоваться им ночью.

Правда, несколько дней назад румыны отважились выслать свои конные патрули на шоссе Но Карпов встретил их по-добающе и, кажется, навсегда отбил охоту к ночным прогулкам. И днем Львовское шоссе — немецкое, ночью — наше.

Группа Карпова сидит в лиманах.

Сам Карпов уроженец Прено-Покровских хуторов У него налажены прекрасные связи Его ближайшие помощники — здешние ребяташки.

Вот и сейчас по меже мчится паренек лет двенадцати. Еще не добежав до караульного, он кричит:

— На хутор пришли тяжелые машины Скажите командиру...

— Не мотосьись. Командир рядом.

Карпов хорошо знает мальчонку — это сын его старого друга. На него можно положиться.

— Ну, Андрюша, что приключилось?

— Машин нагнали к нам немцы — не пересчитать. И все тяжелые. Мы посмотрели: под брезентом ящики. Надо думать, снаряды. Вот ребята и послали меня к вам — боимся, как бы немцы сегодня по шоссе не проскочили.

Солнце клонится к горизонту.

— Сегодня, Андрюша, все машины у вас останутся: сам знаешь, не любят

немцы по ночам гулять. Ну, а за ночь мы что-нибудь придумаем.

Ночью минеры выходят из камышей. Карпов ведет их извилистым путем: то свернет вправо, то влево, то заставит проделать замысловатую петлю.

Минеры ворчат: трудно нести на себе винтовки, гранаты, тяжелые мины. Но, кто знает, быть может, какой-нибудь полудивный — предатель, которому так же, как Карпову, известны эти лиманы, эти бескрайние пшеничные поля, неотступно крадется по их следу. Надо сбить его с толку, оторваться от него, запутать следы.

Наконец, Карпов дает сигнал остановки.

Слева вплотную к дороге подходят камыши. Справа, на крутом повороте, по краю шоссе торчат каменные столбики, — ограждают шоссе от трясин болота.

Минеры закладывают мину в колес, на мосту, и в трубе, что лежит метрах в двухстах от моста, соединяя оба болота.

По нашему старому, еще Евгением заведенному, порядку Карпов тщательно проверяет работу и отводит своих в пещину.

Светает. Розовеют облака на востоке. Над далекими хуторами поднимаются дымки над трубами хат. Минеры ждут.

Раздается еле слышный шум машин.

— Приготовиться.

Покачиваясь с боку на бок на выбоинах шоссе, появляется тяжелая семитонная машина, закрытая брезентом, за ней вторая, третья, четвертая — целый караван.

Головная машина благополучно переезжает через мост и спокойно идет дальше. За ней, так же кренясь по-утиному, идут остальные.

Первая машина над трубой, последняя — на мосту.

Одновременно грохочут пять взрывов — глухих, низких, будто идущих из-под земли. И звенящим, высоким, многоголосьем эхом отвечают им сотни разрывов: это рвутся снаряды головной машины.

Замолкли взрывы. Тишина. И вдруг сбоку от шоссе раздается звериный крик:

— А-а-а-а-а.

Это воеет фашист, взрывной волной брошенный в трясину. Он опускается все ниже и ниже. Он болтает руками, он цепляется за кочки, за эту мирную, такую приветливую зеленую траву. Но болото всасывает его все глубже и глубже.

Немец опустился уже до плеч. Уже вязкая, темнокоричневая жижа вползает в рот. И он задирает голову к высокому синему таманскому небу и в последний раз, захлебываясь, кричит:

— А-а-а...

Маленькая группа чудом уцелевших солдат в панике прячется среди горящих машин. Но наши уже подползли к шоссе — и снова гремят взрывы: это рвутся

гранаты, и минеры из карабинов на выбор бьют немецких автоматчиков.

Трое фашистов бросаются в сторону. Они бегут в камыши. Там, в густых зарослях, они спрячутся от этого ужаса. Они бегут напрямик и проваливаются в предательские «окна».

А наши, вытянувшись цепочкой, быстро идут по тропинке к лиманам. Сзади на шоссе черным едким дымом чалят догорающие обломки машин и предсмертным криком кричат немцы в трясине. Их незачем добивать — они все равно погибнут.

## 22.XII.

Получена первая весточка от Мусьяченко: приехал Иван Дмитриевич Понжайло и подробно рассказал об охоте за особым поездом...

До Сорочинских хуторов шли пять суток в дождь, снег, грязь, холод.

Для удара по особому поезду Мусьяченко заметил участок дороги между Ильской и Холмской, у разъезда Хабль.

Наблюдали целую неделю.

Результаты оказались безрадостные. Немцы зорко охраняли этот участок. Прежде всего — усиленная охрана на разъезде Хабль. Затем около моста, — он в полутора километрах от разъезда, — большой пост в составе шести, а то и восьми часовых. Кроме этого, обычные посты на железной дороге через каждые сто метров. И, наконец, группа обходчиков.

Все же однажды ночью Ветлугин подполз под самый мост, чтобы знать все досконально.

Получили мою записку, что выход поезда ожидается со дня на день. Мусьяченко послал Понжайло в Ильскую. Особый поезд стоял на путях.

В эту же ночь вышли на диверсию.

Мусьяченко и Маруся Янукевич добрались к постам немцев со стороны Ильской, чтобы прикрыть отход минеров в случае провала. Понжайло с Сафроновым вышли влево к разъезду Хабль, — ко второму посту. Ветлугин с Литвиновым подползли к насыпи, чтобы рывком выскочить к верхней части моста. Янукевич и Слащев спустились в балку, поближе к устоям.

Подход прошел блестяще. Но дальше было хуже.

Небо затянули тучи. Лил дождь. Поднялся холодный ветер.

Только в четвертом часу немцы на посту у моста пошли погреться.

Ветлугин с Литвиновым выскочили к мосту. Литвинов снял с себя мокрую стеганку, разостлал ее около шпалы и, быстро работая финским ножом, выгреб яму. Ветлугин положил в ямку свою мину, выверил расстояние между нею и башмаком рельса (эти самые обязательные три миллиметра), осторожно засыпал



землей и тщательно замаскировал. А в это время Янукевич и Слащев привязали пакеты с толом к устоям моста, соединили их с миной Ветлугина детонирующими шнурами и запрятали их в баалках, под самым настилом.

Все было закончено в пятнадцать минут.

Отходя от моста, Ветлугин и Литвинов разделились. Они взяли с собой прикрытия по два человека и пробрались один выше, другой ниже моста на четыреста метров. Здесь они заложили дополнительные мины с расчетом на замедление с повторным взрывом.

Наконец, когда совсем рассвело, со стороны Ильской показался поезд: это был тот самый особый эшелон, за которым шла охота.

Он шел быстро, притормаживая на крутом уклоне. Въехал на мост. Раздался глухой взрыв. В воздух полетели обломки моста и паровоза. Вагоны валились с кручи вниз. Они образовали бесформенную гору, заполнившую обрыв, через который переброшен мост. Гора из вагонов горела.

В пламени и дыму поднялась палья: это рвались снаряды в вагонах, казалось, весь поезд был начинен снарядами.

Наши продолжали ждать. Около моста суматошно бегали какие-то перепуганные немцы караула: они знали — их ждет расстрел, и бессмысленно били по кустам.

Через полчаса, сначала из Ильской, а затем из Холмской выскочили вспомогательные поезда. Почти одновременно они взорвались на минах Ветлугина и Литвинова.

## 23.XII.

Старший минер третьего взвода Георгий Карпович Власов руководит нашим филиалом на хуторе Яблоновский. В его распоряжении три наших бойца и два партизана отряда «Грозный», уроженцы хутора, — братья Иван и Петр.

На попечении Власова мост через Кубань у Яблоновки.

Мост взорван. Немцы против хутора перебросили через Кубань временный мост на плаву: баржи на якорях, скрепленные стальными канатами.

Я строго-настрого приказал Власову терпеливо ждать и готовиться: мост должен быть взорван, когда наша армия начнет наступление и когда вывод из строя моста даже на сутки будет равносильным для немцев катастрофой.

## 24.XII.

Получил подробное донесение от командира нашего филиала в Стефановке.

Через Кубань против хутора переброшен немцами мост такой же, как у Яблоновки, только сортом похуже: и баржи поменьше, и движение по нему идет

только в одну сторону. Но немцы его охраняют, пожалуй, еще зорче, чем у Яблоновки. Прежде всего, со стороны Ново-Марьинской построены земляные укрепления с тяжелыми пулеметами. Затем кусты между Стефановкой и мостом начисто вырублены с немецкой аккуратностью. Словом, над этим мостиком придется повозиться.

Рыбаки хутора встретили наших минеров очень радушно — они уже вместе ездят на рыбную ловлю. Налаживаются и другие связи: наши выпивают с немецким старостой. Одним словом, полностью легализовались.

У «степановцев» задача та же, что и у «яблонцев»: тщательно подготовить диверсию и ждать сигнала.

## 25.XII.

Обычная охота надоела снайперам.

Мы с Кириченко вчера придумали более крупную операцию. Николай Ефимович уже давно носит с идеей блокады дзотов...

Ночью Кириченко со своими минерами незаметно проскальзывает мимо немецких секретов, пробирается в тыл дзотов и «колдует» там почти до рассвета.

Наши снайперы занимают позиции.

Начинается трафаретно: мы снимаем двух офицеров, немцы постреливают из минометов.

Но нам надо обязательно вывести фрицев из себя.

Мы разбиваемся на две группы. Первая группа снайперов одного за другим снимает немецких наблюдателей на переднем крае, вторая бьет по амбразурам дзотов.

Немцы начинают нервничать. Они не видят, что делается на переднем крае — их наблюдатели сняты, — и они решают отнести минометы за дзоты и оттуда навесным огнем бить по кустам, по деревьям, по камням, где сидят наши стрелки.

С превеликой осторожностью они вытаскивают свои минометы из дзотов, в тыл своих укреплений и под защитой тяжелых пулеметов выбирают новые позиции.

Но тут начинают действовать сюрпризы Николая Ефимовича. Гремят взрывы: это взлетают на воздух немецкие минометчики в тылу своих дзотов.

Немцы растерялись. На переднем крае нет их наблюдателей. Наши подползают к дзотам и швыряют в них гранаты.

Фашисты в панике выскакивают наружу и рвутся на новых минах Кириченко.

Но тут неожиданно начинают бить немецкие фланговые пулеметы. Их не достанешь винтовкой, к ним и не подползешь — они слишком далеко.

Грачатометчики прижаты к земле. Дзоты оживают. Наши попали в ловушку.

Спасти может только миномет Кузнецова. Но Леонид Антонович исчез.

А фашистские пулеметы продолжают бить длинными очередями. Особенно неистовствует тот, что спрятан от нас острым выступом скалы: его-то нам уж никак не достать.

Вырваться из западни не удастся...

Вдруг, сверху, из густых кустов можжевельника, с воем вылетает мина. И тутчас же смолкает немецкий пулемет за скалой.

Снова воев мина — и замолкает второй пулемет.

Минометчик без промаха бьет из можжевельных кустов.

Пулеметы молчат. Наши вырываются из огненного кольца.

Немцы пришли в себя. Уже заговорили шестиствольные минометы. В бой вступает тяжелая артиллерия.

Против этого мы бессильны. Скрываясь в кустах, прячась в глубоких ериках, мы уходим в горы.

— Вы на меня не сердитесь, Батя, — говорит догнавший меня Леонид Антонович, — но только с моей старой позиции я бы не достал пулемета за скалой. А из можжевельника он у меня как на ладошке стоял. Я его через скалы и накрыл миной.

Рыжая чепура стоит у воды. Солнце освещает ее черный хохол, серовато-белую шею с розовым налетом. Бурные перья на крыльях отдают зеленоватым блеском. Вытянув вперед длинный желто-восковой клюв, подняв красно-желтую ногу, она замерла, зорко высматривая добычу. А вокруг стоят камыши, кивают пушистыми головками и живут своей жизнью.

Плеснула рыба у самого берега. Еще и еще. Это щука преследует стаю рыбешек. Неслышно ползет светлооливковый желтопуз. Вспорхнула какая-то птичка с яркокрасным брюшком. Снова плеснула рыба. И опять тишина.

Рыжая чепура поднимает голову. Блещат на солнце ее оранжево-желтые глаза.

В камышах раздается шорох. Он все ближе, ближе. Уже слышно прерывистое дыхание. Чепура взмахивает своими черными крыльями и улетает.

К воде подходят двое ребятишек — Андрей и двенадцатилетняя девчушка в голубом выцветшем на солнце платье, с красными монистами на загорелой шее.

Ребята нерешительно останавливаются. Вокруг стеной, выше человеческого роста, стоят камыши. Здесь можно заблудиться, в этих лиманах.

— Что нового, Андрейка?

Из камышей неожиданно появляется Карпов.

— Беда дядя. Беда! В хутора нагнали

полицейских видимо-невидимо. Приехали на машинах немецкие автоматчики. Их главный позвал к себе дядю Максима. Долго говорили. Потом вышли из хутора и смотрели сюда, на лиманы. И опять говорили. А что говорили — не разобрали мы. Чуть подойдем — сейчас же гонят. Немец даже револьвер показал... Беда...

— Ну, какая же беда, Андрейка?

— Да как же не беда. Дядя Максим здесь каждую камышинку знает. Приведет он проклятых, и теребьют они вас..

— Значит, в гости к нам собрались, — медленно говорит Карпов. — Что же, будем принимать дорогих гостей... Стол им накроем...

На рассвете, когда над степью уже плыли розовые облака, залитые солнцем, а над водой еще висели клочки утреннего тумана, в камыши широкой дугой вошли немцы и полицейские.

Впереди шагал Максим — рыжий мужик с черной окладистой бородой.

Никто толком не знал, что гнетет его сердце, — он недавно приехал в эти края, ни с кем не дружил, ходил насупленный, молчаливый, злой. Был хорошим кузнецом и страстным охотником. Облазил с ружьем все окрестные лиманы, знал здесь каждую тростинку. Но даже после удачной охоты возвращался домой таким же сумрачным, хмурым, молчаливым, и ни разу не видели станичники улыбки на лице у этого нелюдима.

Когда немцы заняли хутора, все поняли: лютой, звериной ненавистью ненавидит Максим советскую власть. И первый раз увидели, как улыбнулся Максим, когда стоял он перед виселицей и смотрел, как качается на перекладине тело молодой казачки-комсомолки. Вскоре все в станице узнали, что в прошлом Максим был крупным кулаком.

Сейчас Максим ведет немцев к тому заветному островку, где укрепились партизаны. Ведет так, чтобы отрезать партизанам все тропинки отступления.

Немцы идут по камышам, таща за собой легкие лодки. Хлопают вода под ногами. Шуршит сухой камыш. И лиманы оживают.

Один за другим поднимаются гуси. Летят белые цапли, рыжие чепуры, кряквы. Последней поднимается выпь.

Заслышав людей, она присела и, вытянув вверх туловище, шею, голову и клюв в одну линию, стала похожей на отмерший пучок камыша. Но люди подходили все ближе и ближе — и выпь поднялась. Она летела мягким бесшумным полетом, все время взмахивая крыльями. Отлетев далеко в сторону; опустила до самых верхушек камышей, внезапно сложила крылья, камнем упала вниз. И над камышами пронесся ее встревоженный крик, похожий на карканье.

Немцы подходят к острову — их отбегает от него лишь узкая полоска воды.

Берега густо заросли камышом. Только в одном месте желтеет песчаная отмель. Максим советует разделиться на две группы: первая высадится на отмели, вторая обогнет остров.

Немцы спускают на воду лодки. Первая группа осторожно, держа автоматы на-готове, выходит на песок.

Остров молчит.

Страшно итти в глубь острова: немцев пугает тишина и тревожные крики выпы в камышах. Но надо итти. И группа автоматчиков, низко пригибаясь к земле, крадется дальше. С ними идет Максим.

За бугорком вырастает шалаш. Немцы ложатся и ждут. Они лежат десять, пятнадцать, двадцать минут — никого. Только выпы все кричит и кричит в камышах.

Первым поднимается ефрейтор — здоровый детина с «Железным крестом» на груди.

Осторожно отодвинув сплетенную из камыша дверь, он входит в шалаш.

Шалаш пуст. Но совсем недавно здесь были люди: на столе лежат неразрезанные помидоры, куски сала, хлеб, и стоит бутылка из-под водки — она наполовину пуста.

Ефрейтор берет бутылку, нюхает, весело ухмыляется и, задрвав голову, пьет прямо из горлышка.

В шалаш входят Максим с автоматчиком. Немец с грустью смотрит на ефрейтора: этот детина может выложить бочку и ничего не оставить товарищу.

И вдруг под лавкой он видит плетеную корзину. Из корзины заманчиво торчат красные сургучные головки водочных бутылок.

Автоматчик нагибается.

— Брось! — кричит Максим.

Поздно. Немец вытаскивает корзину — и страшный взрыв гремит над лиманом. Он сметает шалаш, рвет на части ефрейтора, Максима, автоматчика.

Одновременно взлетает на воздух песчаная отмель, где пристали немецкие лодки. И, как эхо, гремят взрывы на другом конце острова: это взорвалась на минах вторая группа немцев и полицейских.

Уцелевшие немцы мечутся на берегу. Они бросаются к лодкам. Но камыши ожили. Оттуда летят гранаты и бьют сухие выстрелы карабинов.

Ни один немец и полицай не уходит живым с острова.

И снова тишина стоит над лиманом. Даже выпы не кричит: испугалась грохота мин. Только у самого берега серебрится поверхность воды: это всплыла оглушенная взрывами рыба.

26.XII.

От штаба куста получен приказ снова подорвать железную дорогу. У меня в

лагере буквально ни одного минера — все на операциях.

Зову к себе Кириченко.

— Николай Ефимович, выберите двух минеров, пусть слабеньких, дайте им в помощь трех человек из другого взвода, быстренько их понатакайте, объясните, что к чему, и отправьте на диверсию. Это — в разрез всем нашим законам, но ничего не поделаешь.

Явился нарочный от Ветлугина и принес интересные вести.

Мусяченко передвинул свою группу к Абинской и решил провести вторую диверсию на той же ветке, как только немцы откроют по ней движение. Это дерзко, но правильно.

Опять началось наблюдение.

Агентурная разведка сообщила Мусяченко, что на станцию Холмская по восстановленному пути прибыл первый поезд. Судя по всему, немцы придумали какой-то новый способ охраны поездов. Что это за способ, разведке установить не удалось.

К полотну подползли Янукевич, Ветлугин, Мусяченко. Они пролежали под дождем сутки — поезда не было. Но зато они обнаружили много нового и неожиданного.

Прежде всего, кроме обычных постов через каждые сто метров и групп обходчиков, немцы оголили стыки рельс, чтобы нельзя было замаскировать мины. Затем, время от времени по дороге пускали бронедрезину, проверяя посты, обходчиков и железнодорожный путь. И, наконец, в том месте, где полотно близко подходило к шоссе, все подходы к дороге были густо заминированы и ограждены колючей проволокой. Немецкие часовые без предварительного оклика стреляли в каждого, кто приближался к проволоке.

Но самое интересное разведчики увидели позже.

Неожиданно со стороны Холмской взвились дымовые ракеты и послышались автоматные очереди.

Немцы на дороге заволновались, забегали.

Прогремела в оба конца бронедрезина. На шоссе показались автомашины. Они привезли автоматчиков. Сплошной цепью, по два на каждые тридцать метров, они встали по обе стороны железнодорожного пути.

Только тогда из Холмской тронулся поезд. Он шел медленно, делая не больше трех-пяти километров в час.

Вид поезда был необычен: впереди три платформы, до верха груженые камнем, за ними два пульмана, бронированные и вооруженные не только тяжелыми пулеметами, но даже пушкой, и только после этого — паровоз и обычные вагоны.

Но и этого мало.

По обеим сторонам паровоза, по бровке полотна, ехали мотоциклисты с пулеметами, а на подножках вагонов висели автоматчики, облепив поезд, как мухи мед.

Вначале наши приуныли.

При такой охране невероятно трудно подобраться к полотну. А затем — наши обычные мины мгновенного действия при таком составе поезда непригодны: они взорвут лишь первые платформы с камнем (надо думать, их вес был равен весу паровоза, на который рассчитывались наши мины). При той скорости, с которой идет поезд, пожалуй, даже паровоз не сойдет с рельс. Вагоны же наверняка останутся целы.

Словом, дело было дрянн: немцы как будто нас перехитрили.

Когда наши ползли обратно, Ветлугин неожиданно громко расхохотался. Мусьяченко решил, было, что Геронтий Николаевич «тронулся» с горя. Но Ветлугин оставался пребывать в здравом уме и твердой памяти: просто он придумал новую каверзу и не мог скрыть восторга.

Геронтий Николаевич тотчас же засел за расчеты. Ругался, что мало бумаги и что «обстановка для научной работы недостаточно подходяща»: он сидел под кустом, шел дождь, было холодно, бумага подмокла, руки коченели.

Часа через три расчеты были закончены. Ветлугину помогали Литвинов и Янукевич.

С нарочным Геронтий Николаевич прислал чертежи и расчет, адресованные Еременко. В прилагаемой записке сказано:

«Степан Сергеевич, проверьте мои выкладки. Если ошибок нет, введите изучение новой мины в учебный план нашей минной школы. Уверен, что мы возьмем эту штуку на вооружение. Надеюсь, что мне удастся весь поезд поднять на воздух. Не задержите ответом.

Ваш Ветлугин».

Мы с Еременко внимательно проверили расчет Ветлугина. Это был остроумный проект новой мины, замедленного действия, причем степень замедления регулировалась чрезвычайно просто.

Еременко в восторге: он обещал сегодня же познакомить наших студентов с новым изобретением.

Я еще раз перечел короткую записку Геронтия Николаевича, присланную на мое имя. В конце размашистым почерком стояло:

«Честное слово, Батенька, хорошо быть инженером».

Офицеры-разведчики, присланные из штаба армии, собственными глазами увидели понтонные мосты.

Приказал Ельникову в тайне вести подготовку удара по этим мостам.

## 27. XII.

В нашем Яблоновском филиале появились «племянницы» — две девушки-рыбачки. Они в прекрасных отношениях с немецкой охраной.

Обычно около полудня они подходят к мосту с корзинами, полными фруктов и яиц, и дешево распродают свой товар фашистским часовым.

Девушки веселы и милостивы. Они знают несколько немецких слов и флиртуют направо и налево.

Племянницы так акклиматизировались, что сидят около стальных тростов моста, будто у себя в клубе.

Это очень противно — улыбаться немцам. Но молодые рыбачки получили заверения, что они сами непосредственно будут в нужный момент рубить троссы. И девушки каждый день ходят к немцам и улыбаются. А по вечерам Власов обучает их минному делу.

Вернулась контрольная разведка от разъезда Хабль.

Группа Мусьяченко потрудились на совесть: взорваны три поезда, мост и четыре машины на шоссе.

В особом эшелоне было свыше шестидесяти вагонов. Четырнадцать из них были гружены снарядами, остальные танками, танкетками и артиллерией. Движение на этом участке прервано на добрую неделю.

Немецкое командование расстреляло около тридцати охранников.

Первая операция Мусьяченко прошла блестяще.

Но, больше от него пока нет никаких вестей.

Сегодня наша минная школа на Планческой выпустила шестидесятого воспитанника.

Слащев отметил этот своеобразный юбилей и закатил пир.

## 28. XII.

Карпов опять отличился.

Все началось с того, что, заскучав, Карпов поздно вечером пробрался в свой родной хутор.

Его встретила взволнованная дочь.

— Папка, а я к тебе бежать собралась. На хутора пришли немецкие машины и привезли ящики. Я пошла посмотреть и слышала, как полицейский говорил: «Это вареники для партизан».

Карпов решил проверить. Ночью он подобрался к машинам. Яркое светила луна. На машинах лежали мины.

— Вот что, дочурка. Беги сейчас к нашим пионерам и зови в кату. Если кого не успеешь позвать — не беда. Но только, чтобы все пастушата были.

Задами, огородами, бесшумно переле-

зая через плетни, ребяташки собрались в хате Карпова.

— Дело, ребята, серьезное. Немцы привезли мины. Надо полагать, хотят заминировать все тропинки, что идут через камыши к нам, в лиман. Они думают запереть нас в мышеловку. Конечно, мы можем сегодня уйти. Но партизанам не пристало отступать. И я прошу вашей помощи, ребята. Предупреждаю, это не легко будет сделать. Если догадываются немцы, если поймают, вас — убьют. Но надо сделать так, чтобы не поймали. И это можно сделать. Вся надежда на пастухов. Но одним пастухам не справиться — вы все должны помочь им.

И Карпов рассказал свой план.

Ребята не подвели. Вечером, кружной тропинкой, известной только Карпову и его дочурке, пастушата пригнали в лиман бычков и яловых коров, принадлежащих немцам и полицейским.

Ночь прошла спокойно.

На утро развели скот по дорожкам и отпустили с привязи. Коровы и бычки постояли, подумали и побрели домой.

Через несколько минут начались взрывы. Вверх взлетали столбы дыма, грязь, камыша.

Вечером по разминированным коровами тропкам вышла группа Карпова. Она заложила мины на мосту, что был переброшен через болото на дороге из Краснодара к Мианцеровским хуторам, заминировала высокую греблю и противоположный берег болота; Карпов ждал карательной экспедиции из Краснодара.

Он не ошибся: утром вереница машин с немецкими автоматчиками показалась на шоссе.

Головные машины взорвались на гребле. Хвост колонны устремился на мост — и взлетел на воздух.

После обеда подошли новые машины из Краснодара. Автоматчики по доскам перебрались через болото. Но лишь только они начали взбираться на высокий противоположный берег, как снова загремели взрывы.

Немцы отступили. Карпов победил.

Из штаба куста получен приказ снова прервать железнодорожное движение на участке Ильская — разъезд Хабль и минировать мосты на шоссе.

Как на зло, у меня в лагере почти не осталось опытных минеров — все на операциях. С трудом сколотил группу: командир — Воробей, старший минер — Еременко, минеры — Луста, Малышев, Кузьменко, Коновиченко.

Приказ штаба куста давал очень сжатые сроки. Как следует подготовиться к операции не удалось.

Группа вышла после обеда.

.....

Говорил с группой, подобранной Кириченко. Они не отказываются идти на диверсию. Они постараются сделать так как их учил Николай Ефимович. Но, к сожалению, Кириченко их мало чему успел обучить. У них не было практики. И они боятся провалить серьезную операцию.

Они правы. Завтра на рассвете поведу их сам. А Николай Ефимович должен все-таки остаться.

29. XII.

Сегодня рано утром собрался вести группу и случайно обнаружил, что Кириченко пропал. Обыскал Планческую, Крепостную, запросил заставы — никаких следов.

Отправили на поиски разведчиков. Они облазили весь передний край, обшарил «нейтральную зону», побывали даже у немцев, но нигде ни малейших следов Кириченко.

Завтра буду продолжать поиски.

В голову лезут самые несуразные мысли: уж не выкрали ли немцы Николая Ефимовича, как когда-то украли нашего Лусту.

.....

Ельников сообщил: к реке, чуть выше того места, где спрятаны понтоны шестнадцати немецких мостов, с превеликой осторожностью свозятся толстые бревна. Наши сбивают из них плоты и готовят гнезда для взрывчатки.

План Ельникова прост: когда мосты будут наведены, он спустит вниз по реке свои плоты со взрывчаткой, они ударятся о мосты и взорвут их.

План не плохой. Но надо иметь запас еще хотя бы одну возможность взрыва на случай провала. Но чем дублировать плоты Ельникова — ума не приложу.

.....

Только что прибыл новый нарочный от Мусьяченко. Он принес две коротких записки.

Первая адресована мне:

«Операция № 2 прошла удачно: весь поезд целиком поднят на воздух. Пусто, маловеры не пищат: рвать можно в любых условиях. Подробности расскажу нарочный.

Мусьяченко».

Вторая записка от Геронтия Николаевича к Еременко.

«Степан Сергеевич. Схема и расчеты сегодня проверены: в основном — подходящие. Прошу изменить только детали. Чертеж прилагаю.

Ветлугин».

Группа Мусьяченко ушла на новую операцию.

## 30. XII.

Продолжаем поиски Кириченко.

Немцы насаждают. Каким-то чудом им удалось разминировать дорожку в нашем минном поле, и группа немецких автоматчиков висит сейчас над нашими столбовыми дорогами из лагеря.

Как нехватает нам Кириченко. И куда он запропастился.

Недалеко от хутора Яблоновского расположен железнодорожный разъезд Энем. На Энеме — немецкий концентрационный лагерь, огороженный многоярусными проволочными заграждениями.

Факультативная задача нашего «Яблоновского филиала» — освобождение заключенных по указанию командования.

Вчера из лагеря бежала уже третья группа пленных.

Подробности побега мне неизвестны. Знаю только, что наши действовали через знакомых девушек-казачек, которые спойли спиртом немецкую охрану.

## 31. XII.

Явился, наконец.

Грязный, с головы до пят, Кириченко входит ко мне на командный пункт. Молча снимает рюкзак, ставит в угол автомат и смотрит на меня детскими, виноватыми глазами.

— Товарищ командир отряда, приказ штаба куста мною выполнен: поезд с немцами вчера ночью взорван. Я не мог вернуться в ту же ночь: грязь по колено да к тому же немцы за мной так охотились, что право же, я сам удивляюсь, что живым вырвался... Вы не подумайте, Батя, что самовольство мое от упрямства или от каприза какого-нибудь дурацкого. Я просто решил, что вам самому рисковать незачем. А мне, ведь, это больше с руки...

Николай Ефимович как-то нерешительно переминается с ноги на ногу. На полу лужа.

— Если вы очень сердитесь, Батя, прикажите выдать мне двойную порцию спирта: продрог очень.

Я так обрадовался, что Николай Ефимович жив, что расцеловал его, велел выдать тройную порцию спирта и позабыл поругать.

Сегодня Причина принес, наконец, весть, которую мы давно ждали: Северо-Кавказская армия перешла в наступление — взят Моздок.

1943 год

## 1. I.

Я рассказал Николаю Ефимовичу о немцах на минном поле. Он вначале очень расстроился, а потом неожиданно весело рассмеялся.

— Нет, Батя, это хорошо. Это просто замечательно. Я им такую мышеловку устрою, что не только немец, а полевая мышь из нее живой не выйдет.

Кириченко ушел из лагеря. На всякий случай, я послал с ним группу прикрытия. С ними ушла и Мария Янукевич.

Сейчас 10 часов утра. Николай Ефимович еще не вернулся. На минном поле тишина. Только на рассвете оттуда донесся еле слышный взрыв. И потом снова все тихо.

Только что вернулся Кириченко. Он шел впереди всех, держа на перевязи окровавленную левую руку. Лицо виноватое, как у провинившегося ребенка.

Мария Янукевич, волнуясь, доложила, что при установке последней, особо фокусной мины взорвался новый взрыватель и оторвал три пальца на левой руке у Николая Ефимовича.

Немедленно на линейке отправил его к Елене Ивановне, на медпункт.

Через час выеду туда сам.

Немцы все-таки прорвались на Мианцеровские хутора. Они застали пустые хаты: все, кто мог двигаться, ушли в камыши.

Фашисты подожгли крайние дома и бросили в огонь двух дряхлых стариков.

Сейчас вернулись разведчики с Плавстроевской перемычки, которую рвал Мельников. Мост был искарежен на совесть. Вместе с мостом взорвался танк. С него немцы сняли бронзовые листы, — очевидно, себе на дзоты. Движение на Новороссийск в этом месте прервано.

## 2. I.

Приехали на медпункт, когда Елена Ивановна только что закончила операцию.

Николай Ефимович сидел, курил папиросу, нервно затягивался и попрежнему виновато улыбался: бедняга искренне считал, что виноват в том, что вышел из строя.

Его положили в соседней комнате на госпитальную койку.

Елена Ивановна чуть не плачет.

— Я очень боюсь, что ему придется

ампутировать руку. Но я сама свезу его в тыловой госпиталь, сама буду говорить с хирургом и сделаю все, чтобы спасти руку...

### 3.1.

Кириченко был прав: ни один немец не ушел живым из его мышеловки. Все взорвалось на минах. Только троих пришлось добить из винтовки.

Группе Лагунова положительно не везет: попытка пробраться в Краснодар через хребет Пшеда кончилась неудачей.

Я отправил их в Крепостную. Оттуда они пойдут в город через водоразделы Афиписа и Шебш.

Группа Веребей вернулась.

Степан Игнатьевич молча подошел ко мне. На нем лица не было.

— Разрешите доложить, товарищ командир отряда, Задание выполнено. Поезд взорван. Но старший минер Еременко погиб при взрыве... Нет, Батя, больше Степана Сергеевича...

В сознании никак не укладывается, что не стало нашего Степы, нашего общего любимца, учителя наших минеров, мастера на все руки, веселого запевалы, прекрасного товарища.

Дело было так. Группа тронулась до рассвета. Итти трудно: тучи низко висели над землей, шел дождь, ревел ветер в глубоких ериках, глина липла к сапогам, ноги скользили на мокрых камнях. Только к вечеру подошли к железной дороге, и как всегда, начали наблюдения.

Первая ночь, намеченная для взрыва, прошла впустую: немцы не дали заложить мины.

Наступил канун нового года.

В сумерки немцы открыли стрельбу. Они били из винтовок, из автоматов, из пулеметов. Били бессмысленно, без цели по кустам, по лесу, по темной молчаливой степи. Быть может, они били спящая, праздную новый год. Быть может, ими руководил безотчетный страх. Но они стреляли всю ночь. И всю ночь пролежали наши в кустах, под дождем, на мокрой земле, терпеливо дожидаясь следующей, — третьей ночи...

Начало смеркаться.

Первым вышел командир группы, Веребей. За ним, чутко слушая шорохи, в крошечной тьме шли цепочкой остальные.

Место, назначенное для взрыва, оказалось неудачным. Так же тихо, один за другим, отошли вправо. Взобрались на полотно. Луста начал копать ямку. Кузьменко и Коновиченко легли в дозоре. Группа прикрытия замерла в кустах. Ере-

менко вынул противотанковую гранату...

Удивительный человек — Степан Сергеевич.

Не раз присутствуя на занятиях в минной школе, я слышал, как убежденно, с большим знанием дела, Еременко доказывал своим ученикам все преимущества нашей новой автоматической мины. Не раз при мне он восхищался замедлителями Велугина. Он прекрасно знал нашу мину, он мастерски умел обращаться с нею, умом он высоко ценил ее достоинства, но его сердце не лежало к мине. Для себя лично он предпочитал противотанковую гранату. Ею он рвал поезда, и, надо отдать ему должное: рвал безотказно, на смерть.

На этот раз он тоже вышел на полотно со своей любимой гранатой.

Он снял предохранитель и накладку и, осторожно придерживая инертную массу шпилькой, положил гранату в ямку. Луста начал укладывать вокруг нее толовые шашки.

И вдруг рельсы загудели. Сначала еле слышно, потом все громче, громче.

Шел поезд в неуверенное ночное время, как в ту памятную теплую октябрьскую ночь на четвертом километре, когда погибли мои ребята.

Надо было выхватить гранату и отскочить. Но сказалось нервное напряжение долгого ожидания, заговорил долг солдата безоговорочно выполнить приказ командира, и оба минера, не сговариваясь, продолжали работу.

Поезд был буквально в десяти метрах, когда Еременко и Луста соскочили с полотна.

Взрыв оглушил даже тех, кто в группе прикрытия лежал в кустах. Взрыв разорвал паровоз. Передние вагоны полетели под откос. Остальные, наскочив друг на друга, лежали на полотне, разбитые в щепы.

Первым пришел в себя Веребей и бросился искать минеров.

Он нашел Лусту недалеко от насыпи. Леонид Федорович лежал, широко раскинув руки, без всяких признаков жизни. Приказав Малых и Кузьменко отнести Лусту, Веребей побежал искать Еременко.

Он нашел Степана Сергеевича под обломками разбитого поезда. Еременко был мертв.

Так же, как тогда, на четвертом километре, друзья финскими ножами вырывали неглубокую могилу. Жужжали пули над головой, срезая ветки кустов. Страшно кричали раненные немцы на полотне.

Первым опустили в могилу Еременко.

Малых поднял Лусту и вдруг почувствовал, что под рукой бьется сердце. Он положил Леонида Федоровича на землю





фронтом ведут наступление на предгорья.

Им удалось, наконец, захватить многогорье Ламбина. Сейчас они лихорадочно строят на нем укрепления.

Для нас это тяжелая потеря. Ламбина — ключ к равнине...

Э.1.

Елена Ивановна вернулась.

— Ехать в госпиталь было очень тяжело, — рассказывала жена. — Грязь непролазная, даже в сапоги набиралась вязкая жижа. А тут, как на зло, немцы оседлали дорогу — три раза пришлось пробираться гранатами. Но все-таки добрались.

Хирург осмотрел руку и решил немедленно ампутировать. Тут, сознаюсь, я немного погорячилась. Стала ему доказывать, что отрезать руку просто, а спасти потруднее, что в моей практике было несколько таких случаев, и всякий раз я обходилась без ампутации, что рана в порядке, что я ее, еще свежую, тщательно обработала, что температура у больного нормальная. Одним словом, провела атаку по всем правилам...

— Хирург сдался: дал отсрочку на три дня. Я бесшумно дежурила у Николая. Сама перевязывала рану, сама кормила и ставила градусник. К концу третьих суток температура попрежнему оставалась нормальной. Я победила: хирург дал мне слово, что ампутировать не будет. И ты знаешь, когда я пришла прощаться с Николаем, этот угрюмый бука, этот медведь поцеловал мне руку и сказал:

— Спасибо, мать. Никогда не забуду.

И на глазах слезы.

Я убежала из комнаты и разревелась..

10.1.

Немцы вчера наладили движение по дороге Кавказская — Краснодар. Но первый же поезд, пущенный ими, взлетел на воздух.

Это тоже работа Бибикова.

.....

Сегодня мы похоронили Дакса.

Его все-таки ухитрились отравить. Жена пыталась его спасти — делала промывание желудка. К счастью не помогло: яд был слишком силен.

Дакс умирал, как человек. Он смотрел на Елену Ивановну печальными, грустными глазами. Он понимал, что умирает, и, казалось, чувствовал себя виноватым, причиняя своим хозяевам так много хлопот.

11.1.

Радио сообщило о взятии нашими войсками всей Минераловодческой группы.

.....

С Лагуновым несчастье...

Перед выходом его отряд был разбит на две группы — так легче пробраться через немецкие заставы.

Первую группу — Лагунов и Гладких — вела Орлова. Вторую группу — Литовченко, Сухороброву и Лугового — вела Кузнецова.

Проводники были опытные: они уже не раз проделывали этот тяжелый, опасный путь.

Ночью шел проливной дождь. Утром ударили заморозки.

Вторая группа еще затемно проскочила открытые места и подошла к переправе через Афипис.

Река шумела. По ней плыли маленькие льдинки.

Кузнецова разделась, протерла тело сухим спиртом и вошла в воду. За ней, связанные друг с другом длинной веревкой, пошла остальная.

Закоченев, выскочили на противоположный берег и, протанцевав бурный танец, чтобы согреться, отправились дальше, благополучно добрались до Кубани и на лодке пробрались в город.

Но первой группе не повезло.

Лагунов, Гладких и проводник Орлова задержались в пути: дорога была тяжелой — и только к утру они сумели обогнуть Смоленскую.

Дальше лежала степь, прорезанная густой сетью дорог. Итти было рискованно. Забрались в кусты терна и залегли до вечера.

Все вокруг покрыто белым инеем. Лежать холодно. Мучительно хотелось встать, побегать, размяться. Но кусты низки. И наши, лежа на спине, размахивали руками и ногами. Со стороны, очевидно, это было очень смешно. Но нашим не до смеха: движения быстро утомляли, но отнюдь не согревали.

Кое-как промучились до темноты и тронулись в путь. Орлова быстро пошла к реке. Предстояла переправа по грудь в ледяной воде.

Холодная ночь в терне сказала: Лагунов и Гладких категорически отказались переходить вброд реку — они боялись, что судорога сведет тело.

Они предложили другое: подойти к Георгие-Афипской и, пользуясь своими документами, обмануть охрану и по мосту выбраться на шоссе.

Начался горячий спор. Но Лагунов все же заставил Орлову итти в Афипскую.

Решили заночевать в глубокой балке у реки возле хутора Рашпилев.

Ночью ударил мороз. Балка казалась достаточно глубокой — и Лагунов развел костер. Гладких принес котелок воды. Началось чаепитие.

И как на грех, из хутора перед рассветом вышла на рыбную ловлю полицей-

ский. Он заметил огонек, увидел трех подозрительных людей у костра и бросился обратно.

Полицейские незаметно подползли к костру. Наши не успели даже бросить гранату: их сбили с ног, схватили и погна́ли сначала в Георгие-Афипскую, а оттуда, избитых и окровавленных, отрави́ли в Краснодар, в гестапо.

Освободить их нет никакой надежды...

.....

Немцы штурмуют Крепостную.

Сафонов и Елена Ивановна, погрузив на подводы имущество фактории, отходят в горы.

Я снял с операции минеров. Мы будем драться за нашу факторию до последней возможности. Но силы слишком неравны: сто против одного. Едва ли продержимся более суток...

## 12.I.

Какой день...

Ведем бой на подступах к Крепостной.

Кажется, земля и воздух до отказа полны грохотом разрывов, треском пулеметов, стоном мин.

Наши стрелки едва успевают перезаряжать автоматы. Но из кустов, из-за камней, из-за пригорков появляются новые колонны немцев, врываются в лоб, охватывают полукольцом.

И вдруг с первого фланга раздаются частые автоматные очереди и громкое могучее «ура».

Я бросаюсь туда — и не верю глазам: рассыпавшись цепью, идут в атаку красноармейцы.

Откуда. Как здесь, в нашей глуши, на подступах к Крепостной, в разгар жестокого боя, появились красноармейцы.

Они идут — цепь за цепью, шеренга за шеренгой; серые шинели, звезды на шапках, штыки наперевес.

За громадным камнем, поросшим зеленоватым мхом, боец перевязывает рану.

— Откуда, товарищ.

Там, закрытые серыми рваными тучами стоят снеговые вершины Кавказа.

Нет, оттуда они не могли прийти: там нет прохода.

Боец кончил перевязку. Он берет винтовку и деловито спрашивает:

— Отец, Краснодар близко?

Я не успеваю ответить. Он бежит догонять своих. А могучее «ура» гремит далеко за оврагом.

Откуда бы они ни пришли — в бой. Вместе с ними.

Мы никогда не дрались так, как сегодня. И немцы не выдержали удара. Они бегут к вершине Ламбина, где за тремя рядами дзотов, за пятирусным переплетом колючей проволоки стоят их основные силы.

Немецкие наблюдатели видят свои бегущие части. Они видят красноармейцев, неведомо откуда пришедших сюда, в предгорья.

В панике немцы закрывают проходы в колючей проволоке. Орудия с Ламбина открывают заградительный огонь. Перед отступающими вырастает огненная стена. Немецкое командование жертвует своими солдатами, только бы на их плечах не ворвались на вершину внезапно появившиеся страшные красноармейские цепи.

Немцы в ужасе мечутся в кольце. Мы рвем их боевые порядки. Бойцы орудут штыком, прикладом, саперной лопаткой. Наши выхватили ножи.

Небольшая группа уцелевших фрицев, бросив оружие, поднимает руки.

Вечером я присутствую при допросе пленного офицера, командира немецкой горно-егерской части. Он машинально отвечает на вопросы: его мучает какая-то неотвратимая мысль:

— Скажите, господин лейтенант, — неожиданно спрашивает немец. — Откуда вы пришли?

— Оттуда, — улыбается лейтенант, и, как тот раненый боец у камня, показывает на юг.

— Не может быть. Мне хорошо известно эта часть хребта: по его козым тропам не пройдет даже горная лошадь.

— А мы все-таки прошли.

Батальон шел через горы несколько дней. Пришлось оставить всю артиллерию, обоз, кухни, лазарет, даже тяжелые пулеметы. Бойцы карабкались на кручи, в кровь разбивали ноги. Последние два дня они ничего не ели. Но они все-таки перевалили через горы и с хода бросились в штыки.

## 13.I.

С гор спускается батальон за батальоном. Кажется, двинулись горы и пошли в наступление на врага.

Голодные, оборванные, истомленные страшным переходом через горные кручи, бойцы с хода идут в наступление. И снова я слышу один и тот же вопрос:

— Товарищ, Краснодар близко?

## 14.I.

Группа полковой разведки вырывается далеко вперед, и, не зная наших ериков, хмеречей и течей, попадает в засаду. Приходится отходить с тяжелым боем, теряя убитых, не успевая подбирать раненых.

Немцы прижимают бойцов к обрыву, все туже сжимая кольцо. Выхода из кольца нет. Сзади крутой темный глубокий провал.

Осторожно пробираясь в кустах, идет по краю обрыва небольшая группа наше-

го отряда. Это Елена Ивановна направляется на хутор Красный: здесь жена должна развернуть походный госпиталь для раненых бойцов.

Наши с гранатами ползут в тыл наступающим немецким цепям. Елена Ивановна, Кравченко и Мельников остаются в прикрытии. Они недвижно лежат в кустах. Где-то недалеко, на поляне, стонут раненые красноармейцы.

Наши подползают все ближе и ближе.

У красноармейцев на краю обрыва кончились патроны.

Плечо к плечу, штыки наперевес, храбрцы бросаются в последнюю атаку.

Немцы открывают жестокий огонь. Падают раненые.

Передние ряды смыкаются, начинается рукопашный бой.

Неожиданно оживают кусты: растянувшись широкой цепью, наши швыряют гранаты. Ошарашенные немцы бросаются к единственной тропке, что ведет к станции. Здесь их встречают длинные очереди нашего пулемета...

...В кустах неподвижно лежит Елена Ивановна.

Шорох. На поляну, трусливо озираясь, выходят два немца-мародера: они обшаривают раненых красноармейцев.

У можжевелевого куста, широко раскинув руки, лежит юноша-командир. Высокий, белобрый фриц подходит к нему. Елена Ивановна, переведя автомат на одиночный огонь, берет немца на прицел. Фриц шарит по карманам.

Неожиданно юноша поднимает голову и впивается зубами в руку мародера.

Немец замахивается ножом.

Выстрел. Мародер падает. Второй немец бросается бежать. Мельников укладывает его на месте.

Елена Ивановна подходит к юноше. На гимнастерке, залитый кровью, орден Красной Звезды.

Жена быстро разрезает одежду. Перед ней лежит девушка...

А у обрыва все кончено: только несколькими фрицам удалось юркнуть в кусты.

Дав проводника красноармейцам, наши идут в хутор Красный. Кравченко и Мельников бережно несут на носилках раненую девушку.

15.I.

Наши батальоны, спустившиеся с гор, начали фронтальное наступление на подступы к многогорью Ламбина.

Я послал Сергея Мартыненко с минерами и с группами бойцов в глубокие тылы немцев рвать мосты на путях подхода немецких резервов.

18.I.

Вчера мы провели несколько батальонов гвардейцев в тыл Азовки.

Оставив один батальон в засаде, гвардейцы, как снег на голову, обрушились на немцев. Два фашистских полка, не приняв боя, поспешно отошли, бросив всю технику и склады.

Из Северной выступила румынская литерная дивизия. Она пыталась взять нас в клещи. Но батальон, оставленный в засаде, рванулся в Северскую и разгромил штаб дивизии и десяток складов.

Румыны бросились обратно в станицу. Кабаньими тропами мы вывели гвардейцев в предгорья.

17.I.

Многогорье Ламбина — ключи к равнине: только взяв эту горную крепость, можно прорваться в степь.

На совещании в штабе командующего фронтом решено идти на штурм. Я доложил генералу результаты работы наших разведчиков: им удалось засечь основные огневые точки, расположение дзотов и определить силу гарнизона.

Предстоит тяжелый бой. Немцы успели возвести на горе многоярусную систему обороны. Гарнизон отборный: два дня назад сюда подтянуты штрафные офицерские батальоны.

У наших гвардейцев только ротные минометы и ограниченное количество патронов: техника и обозы застряли в горах.

Я послал Павлика Сахатского с минерами расчищать путь.

18.I.

На рассвете гвардейцы пошли на штурм.

Стремительным броском захвачено предполье. Впереди вырастает огненный вал: немцы открыли ураганный заградительный огонь.

Гвардейцы окапываются.

На востоке раздается гул моторов. Он все ближе, все явственнее.

Наши бомбардировщики делают широкий круг и ложатся на боевой курс. Кажется, все небо закрыто самолетами.

Визг бомб, грохот, столбы взметнувшейся земли.

Второй заход самолетов — и снова разрывы фугасных и осколочных бомб.

И опять рев моторов. Теперь бомбардировщики летят бреющим полетом, поливая из пулеметов.

У немцев растерянность: их зенитные батареи молчат.

Гвардейцы поднимаются. Со штыками наперевес, орудуя гранатами, они рвут передний край и закрепляются.

Дальше идти нет сил: это будет стоить слишком дорого.

Вечером, на совещании в штабе, я предложил свой план: обойти немцев с тыла через хутор Макарет. Мои разведчики знают проход через минные поля.

Пришлось горячо поспорить. Но мой план принят.

Сейчас ночь. Моросит дождь. Воздух стонет от грохота разрывов; это наши эскадрильи волнами штурмуют многогорье.

Сквозь пелену дождя отчетливо видны вспышки разрывов, столбы земли, камней, осколков бетона.

А самолеты все летят и летят, и гул бомбежки не прекращается ни на минуту.

Завтра решительный штурм.

19.I.

Многогорье наше.

Когда гвардейцы с фронта ворвались во вторую линию укреплений, в окопах третьей линии уже гремело ура: это батальоны, обошедшие с тыла, добывали остатки немецкого гарнизона.

На горе все разорочено: валяются обломки орудий, пулеметов, трупы.

В стороне под деревьями, расщепленными бомбами, понуро стоят группы пленных штрафников-офицеров.

Ключ к равнине в наших руках.

20.I.

Госпиталь Елены Ивановны в Красном работает полным ходом: каждый день жена принимает десятки раненых — санитарные части спустившихся с гор батальонов застряли на перевалах.

Сегодня мне удалось мельком повидать Елену Ивановну.

— Раненая девушка поправляется, — рассказала жена. — Ее зовут Галя. Она командир разведки. Москвичка. Сирота. Когда пришла в себя, ее первое слово было «мама». Мы с ней подружились. Она славная, ласковая девочка. И она продолжает называть меня матерью... Я ее выхожу, поставлю на ноги, и она будет моей дочкой.

24.I.

Немцы штурмуют потерянное ими многогорье Ламбина.

Они подняли сюда пять дивизий и не считаются с потерями.

Гвардейцы прочно удерживают позиции. Наши летчики ежедневно жестоко бомбят штурмующие немецкие колонны.

Скоро гвардейцы начнут спускаться с предгорий в степь — к Краснодару.

Вчера взят Армавир.

25.I.

Группа Мусьяченко, наконец, пришла на Планческую, еле волоча ноги. На них лица нет. Последние четверо суток они почти ничего не ели.

Мы их переделали, накормили и уложили спать. Петр Петрович пытался было доложить мне о последней операции,

но я приказал ему сначала отдохнуть, а потом докладывать.

Сейчас они спят.

26.I.

Наши «гвардейцы» спали ровно двадцать восемь часов...

После взрыва поезда, который Ветлугин поднял на воздух, они разбились на три группы.

Первая группа — Слащев и Панжайло, отправились в Заабинские леса. Им предстояло выйти на железнодорожную ветку, Крымская—Тимашевка, продвигаться по ней как можно дальше, выяснить, что на ней происходит, взорвать мост и по крайней мере один немецкий эшелон.

Ити было чрезвычайно трудно. Лошадей пришлось оставить на хуторке и навьючить на себя мины, оружие, продукты.

Только на четвертый день выбрались к железной дороге, километрах в двадцати от Крымской. Забрались в густые кусты и расположились на отдых.

Вокруг было болото. Лил дождь. Легли прямо в воду, подложив под себя словые ветки. Подушками служили гнилые пеньки. Спали по-очереду.

На следующий день, спрятав часть поклажи в густой кроне карагача, друзья отправились вдоль железной дороги по направлению к Тимашевке.

На вторые сутки подошли к Протоке. Железнодорожный мост через нее был взорван, очевидно, еще нашими саперами при отступлении.

Делать здесь было нечего. Двинулись обратно.

Один из участков дороги все же работал: по нему ходил поезд с «кукушкой». Слащев с Панжайло ночью заминировали мостик на дороге и двинулись в сторону Крымской.

День был пасмурный. В низинах, над болотами стоял туман.

Прогремел поезд.

Не дождавшись темноты, наши вышли на полотно и начали его минировать. Они еще не кончили работы, как со стороны заминированного мостика раздался взрыв: надо думать, это взлетела на воздух «кукушка».

Второй взрыв прогремел, когда они едва отошли полкилометра.

Задача была выполнена. Они отправились напрямик к сборному пункту...

Вторая группа — Ветлугин, Литвинов и Мусьяченко — вышла на дорогу Крымская — Тамань.

Дорога была заброшена — поезда не ходили. Но Геронтий Николаевич не удержался и взорвал все-таки один из уцелевших мостов.

Третьей группе — Янукевич и Сафронову — предстояло пройти за Крымскую до Баканской.

Когда под дождем они пробирались по кустам, в тумане неожиданно наткнулись на небольшую группу румын. Произошла короткая схватка. Наши пустили в ход гранаты. Ни одному из румын не удалось скрыться. Но эта перестрелка в кустах переполошила немцев на шоссе и железной дороге. Пришлось отойти в сторону и двое суток пролежать в глухомани.

Когда тревога улеглась, наши подобрались к железной дороге и заминировали мост. Мины закладывали Янукевич и Сафронов. Мура охраняла их работу.

В ту же ночь на мосту взорвался поезд. Горящий состав рухнул в овраг...

На сборном пункте собрались все три группы. Надо было возвращаться обратно: немцы, взбешенные диверсиями, всюду искали партизан. Но у наших осталось еще немного взрывчатки — не нести же ее обратно...

Группа подошла к шоссе. Лишенные железной дороги, фашисты, кое-как подправили шоссе, пустили по нему колонны автомобилей.

Ночью Ветлугин заминировал большой мост на шоссе. На рассвете вместе с мостом взлетело на воздух шесть тяжелых машин.

## 27.I.

Новый взрыв на дороге Кавказская — Краснодар: разрушена труба под железнодорожным полотном. Движение по дороге окончательно прервано.

Молодцы «сапожники».

Мы с Ветлугиным подсчитали: одновременно работают на операциях восемнадцать групп нашего отряда, считая, конечно, и наши филиалы.

— Ну, прямо-таки, концерн, Батенька, — смеется Геронтий Николаевич. — Есть и главное правление и директор-распорядитель, и промышленные предприятия на Планческой, и подсобное хозяйство, и школа для подготовки кадров, и филиалы, и широко раскинутая сеть дочерних обществ. Пройдет еще несколько месяцев, Батя, и вам придется заводить специального управляющего делами и главного бухгалтера для учета прибылей и убытков.: Помню, когда Евгений мечтал о подобном развороте работ, мне его мечты казались фантастикой. А прошли какие-то полгода — и родился партизанский концерн. Хорошо... Только должен вам признаться, Батя, я бы хотел, чтобы как можно скорее директор-распорядитель созвал всех держателей акций в свободном Краснодаре и объявил о роспуске концерна в связи с победой. Как вы полагаете на этот счет, Батенька...

## 29.I.

Сегодня командование вызвало меня на многогорье Ламбина.

С его вершины видно далеко вокруг. Сзади, в тяжелых дождевых тучах, стоит Кавказ. Чуть в стороне отчетливо видна гора Папай — высокая, круглая, как шапка со шльком.

Вперед, круто спускаясь с гор, тянется лес. Дальше он переходит в густой кустарник. Между кустарниками и лесом лежит последняя линия немецких укреплений перед выходом на равнину. Она идет от хутора Шабанова к хутору Консулову, проходит перед Смоленской и левым крылом упирается в Афиис.

На совещании шла речь о прорыве этой линии.

Я предложил демонстрацию на переднем сильно укрепленном крае, обход с тыла и удар во фланг, со стороны хутора Макартет.

Ночью мои разведчики во главе с Павликом Худюерко поведут в тыл немцам два батальона автоматчиков-гвардейцев.

## 30.I.

Ночь выдалась темной. Шел холодный, бесконечный дождь.

Два батальона спустились вниз. Хлупала грязь под ногами. Сапоги скользили на мокрых камнях.

Еще до рассвета первый батальон, снимая по пути немецкие патрули, проник до середины станицы Смоленской.

У здания штаба завязалась короткая жаркая схватка.

Треск автоматов переполошил спящих фрицев. Они выскакивали из хат в одном белье. Их били гвардейцы, рассыпавшись по улицам.

Второй батальон ворвался с другого конца станицы. Он шел широкой цепью, гранатами выбивая немцев из хат.

К рассвету северная часть станицы была наша. У заставы, у дороги на Северскую держался дзот: его три тяжелых пулемета били, не умолкая.

К дзоту поползли гвардеец и наш разведчик. Несколько взрывов противотанковых гранат заставили замолчать пулеметы.

Подбежали гвардейцы. Взорвав двери, они ворвались в дзот и выволокли наружу раненого немецкого офицера — единственного, оставшегося в живых.

Наши сразу же узнали его: шинель из белого сукна, отороченная лакированной кожей, скрещенные кости и череп на рукаве, маленькие рыжие, вздернутые кверху усы, бесцветные белесые глаза. Это — один из командиров штрафных офицерских батальонов, прославленный даже среди эсэсовцев своей изощренной жестокостью.

Мы долго и тщетно охотились за ним. Ему везло: он всякий раз уходил живым.

Сейчас он стоял на дожде, мокрый, жалкий, весь какой-то облезлый. Может быть, от холода, а может быть, от страха, он зябко ежился.

Его увели. Ему придется ответить за все: за изнасилованных казачек, за сожженных стариков, за брошенных в колодез детей...

Услышав стрельбу в станице, основные силы гвардейцев ударили по хутору Шабанову и врезались в передний край вражеской обороны.

Со стороны Северной заговорили дальнебойные немецкие батареи. В воздухе показались наши бомбардировщики.

Начался штурм последней линии немецких укреплений.

За ней лежала степь, широкая полноводная Кубань, Краснодар.

### 31.I.

Немцев крепко бьют на Кубани: вчера взяты Тихорецкая и Майкоп. Теперь очередь за Краснодаром.

### 1.II.

Лагунов и Гладких еще живы. Гестапо вызывает ряд краснодарцев на очные ставки с ними. Фотографии их обезображенных пыткой лиц агенты показывают работникам комбината, стараются установить, кто же попал им в руки. Значит, наши молчат на допросах. Другого и быть не могло...

### 4.II.

Темп нашего наступления замедлился: немцы подтянули тяжелую артиллерию к Северной, а главное нам досаждают немецкий бронепоезд. Несколько раз в сутки он появляется на участке Северская — Георгие-Афипская. Оттуда наши наступающие части видны, как на ладони. И орудия бронепоезда бьют без промаха.

Я приказал Николаю Демьяновичу Причине взять трех минеров и взорвать бронепоезд.

В сумерки я пошел их провожать. Со мной вышли Павлик и Валерий.

Мы долго пробирались через минное поле, ползли в кустах, огибали немецкие заставы.

Где-то недалеко били пулеметы.

Валерий решительно взял меня за руку.

— Батя, за вашу жизнь, я отвечаю головой. Дальше идти нельзя.

Мы вернулись на рассвете.

### 5.II.

Под утро меня разбудил Павлик.

— Батя, фкорей...

Мы выскочили на улицу. Там, где лежала дорога Северская—Георгие-Афипская, высоко взметнувшись в небо, стоял огненный столб. Донесся глухой грохот взрыва.

Было ясно: это — работа Причины.

### 6.II.

Вернулась группа Причины.

— Бронепоезд взорван, — доложил Николай Демьянович. — Начисто. У нас потерь нет...

Крупные танковые и мотомехчасти немцев, откатившись от Туапсе, закрепились у Горячего Ключа.

Приказал группе Бибикова взорвать Горяче-Ключевский мост на Кубани, и отрезать этим группировку немцев от Краснодара.

Лагунов и Гладких расстреляны. Они умерли, не сказав ни слова, никого не выдав...

### 7.II.

Моста через Кубань у Стефановки не существует — его взорвали девушки-рыбачки.

Утром девушки подошли к мосту. Одна из них осталась на этом берегу, а другая перешла через мост.

— Heute feiern Wir unser Namenstag!\* весело заявили девушки и принялись потчевать своих знакомых.

В кошелках оказалась водка, вареные яйца, свежий пшеничный хлеб.

Когда именинный пир был в полном разгаре, молодые рыбачки отошли к мосту: им потребовалось спешно поправить какие-то неполадки в туалете.

Привязать к троссам пакеты с толом и спустить ударники было делом минуты.

Девушки нырнули в воду.

Грохнул взрыв. Как ножом, он обрезал стальные канаты.

Когда немцы пришли в себя, рыбачки плыли уже на середине реки. За ними, кружась, неслись обломки моста.

Немцы бросились к пулеметам.

Наша Яблоновская группа открыла ураганный огонь — и охране так и не удалось сделать ни одного выстрела.

Девушки плыли в ледяной воде. Тело сводило судорогой. Они тонули.

Их подобрал рыбак-партизан. В рыбачьей избушке им дали водки и растерли спиртом.

Вчера Красная Армия взяла Батайск и Ейск. Скоро мы будем в Краснодаре.

\* Сегодня мы празднуем наши именины.

## 8. II.

Мост через Кубань у хутора Яблоновского также взорван. Сегодня получил об этом подробное донесение.

Очевидно, немцы проникли, что подготавливается диверсия, и неожиданно сменили охрану у моста. Вся кропотливая работа наших «племянниц» по налаживанию добрососедских отношений с часовыми и пошла на смарку.

Надо было заводить новое знакомство. Но это требовало времени, а ждать некогда. И наш Яблоновский филиал решил рвать мост с боем.

Попытка силой прорваться к мосту кончилась неудачей.

Тогда на мост снова были посланы «племянницы».

Смелые девушки, спрятав на себе тол с уже взведенными взрывателями, днем вышли на мост. В руках у них были плетеные корзины: они шли на базар.

На середине моста часовых не оказалось — и девушки быстро начали привязывать пакеты с толом к стальным канатам.

Останавливаться на мосту было строго запрещено. Часовые начали кричать. Девушки продолжали работать. Охрана открыла стрельбу. Двое часовых бросились к «племянницам». Но добежать не успели: одновременно грохнули два взрыва.

Мост вздрогнул и развалился. Обломки, крутясь в водоворотах, быстро плыли вниз по течению.

Девушки погибли.

В Краснодаре до последнего времени работала электростанция — от нее питались немецкие прожекторные установки вокруг города.

Сегодня этой станции больше не существует.

Пользуясь суматохой при взрыве мостов, через Кубань, наша городская группа ликвидировала караул у электростанции. Двое минеров проникли в здание. Через десять минут станция вышла из строя. Немецкие прожектора потухли...

Последняя линия укреплений немцев перед равниной прорвана нашими частями.

Елена Ивановна свертывает свой госпиталь в Красном, с гор спустились, наконец, первые санитарные части. За последние дни через ее руки прошло больше трехсот тяжело раненых.

Она еле держится на ногах от усталости, но настроение бодрое.

Галя уже побывала в бою. Сегодня утром на несколько минут она забежала к Елене Ивановне. Славная, ласковая, отчаянно смелая девушка.

Мы с женой решили ее удочерить. Теперь у нас снова двое ребят — Валерий и Галя.

## 2. II.

Краснодарская молодежь, завербованная Сухоробровой, работает на славу: ребята рвут телефонные провода, жгут склады горючего, снимают немецкие посты.

Вчера под вечер немцам удалось поймать группу студентов-диверсантов. Среди них — Николаев, друг Гени.

На рассвете гестаповцы повесили их на телеграфных столбах, прибив дощечки, что, мол, повешенные — евреи.

Несколько раз пытался Бибиков прорваться к мосту у Горячего Ключа — и всякий раз терпел неудачу.

Тогда он решил на дерзкую операцию.

Ночью на две лодки были погружены мины с мгновенными взрывателями. В каждую лодку село по минеру.

В крошечной тьме лодки беззвучно поплыли к мосту. Минеры сидели в воде — лодки были полузатоплены, чтобы быть менее заметными на поверхности реки, — и у минеров судорогой сводило ноги от холода.

Когда впереди показались неясные контуры моста, минеры нырнули в воду.

Через минуту грохнуло два взрыва: последний мост через Кубань взлетел на воздух.

Оба минера спаслись чудом.

От Ельникова получено донесение, что из шестнадцати понтонных мостов осталось на месте только шесть: остальные отправлены немцами к Славянской и Темрюку.

Немцы наводят понтоны: после взрывов мостов у Яблоновского и Стефановки это — последняя надежда для немцев выбраться из города.

Сегодня в ночь Ельникова уничтожили мосты.

## 10. II.

Ночью над Кубанью взвились две белые ракеты Ельникова.

У дебаркадера, что стоял в Краснодаре против улицы Гоголя, раздался приглушенный стон: это наши из городского филиала ударом ножа сняли сторожей. Дебаркадер медленно отчалил от берега.

Почти одновременно оторвались от причалов тяжелые баржи у съезда с улицы Горького и, кружась, поплыли вслед за дебаркадером...

По шести понтонным мостам непрерывным потоком шли отступающие колонны немцев.

Неожиданно из темноты вырос дебаркадер. Своей тяжестью он порвал, два моста. В ледяную воду Кубани рухнули люди, повозки, автомобили, пушки. Закричали немцы, барахтаясь в воде. Вспыхнула беспорядочная стрельба.

Подошли баржи — они сорвали еще мосты. Новые крики, новая стрельба.

Но пятый и шестой мост стояли неурушимо. И вот тогда-то подошли сверху плоты Ельникова, вооруженные взрывчаткой.

Один за другим раздались несколько взрывов. В ночное небо взметнулись столбы воды, обломки мостов, баржей, дебаркадера. Взрывы разметали по реке изуродованных солдат, пушки, автомобили, повозки. Рухнул в воду тяжелый танк.

Немцы били из пулеметов в темноту ночи. Кубань молчала.

На берегу реки, в густом лозняке лежали разведчики Ельникова.

По заданию командования наша основная группа рвет дороги отступления немцев в шестидесяти километрах от города.

С нами Елена Ивановна. Она держится молодцом.

Взятие Краснодара ожидается со дня на день.

## 11. II.

Немцы спешно наводят через Кубань штурмовые мостики: это все, что они могут сделать.

Наша городская группа рвет мостики плотами со взрывчаткой.

## 12. II.

Краснодар наш!..

На рассвете мы подошли к маленькому хутору. На задах, у сарая, стоял седобородый казак. Несколько мгновений мы настороженно оглядывали друг друга. Неожиданно старик решительно шагнул навстречу, крепко обнял Елену Ивановну и трижды истоиво поцеловал.

— Наш Краснодар! Поняла — наш, советский!.. Поняла, мать?

Краснодар наш!..

Как пришла эта весть к старому казачку. Как несется она из хутора в хутор, от станицы к станице, когда вокруг немецкие гарнизоны, когда у перекрестков дорог притаились немецкие засады и на станичных площадях стоят виселицы с телами казненных.

Но разве удержишь эту весть.

О ней кричат белые хаты, о ней кричат тополя, кричит небо, кричит тучная, благословенная кубанская земля.

Столица Кубани — наша!

## 14. II.

Идем в Краснодар.

Грязь невылазная. По разбитому шоссе

бегут немцы, бросая танки, автомобили, артиллерию.

Так хочется скорее попасть в город, что, вопреки обычаю, идем днем.

В станицах праздник. Еще вокруг немцы, а казаки уже вылавливают предателей, нападают на небольшие группы фашистов, сами, по собственной инициативе, разбирают мосты на путях отхода.

Нас встречают, как родных. Провожая, казачки суют в карманы вареные яйца, сало, хлеб.

Боевую разведку ведет Павлик: его высокая фигура с автоматом у пояса и мешком за спиной все время маячит впереди.

Если бы ему дать волю, он бы рысью помчался домой.

Но мы идем медленно. Елена Ивановна еле передвигает ноги.

До сих пор она держалась. А сейчас, когда рядом родной дом, она сдала.

Я знаю, ее страшит возвращение домой, где каждая мелочь настойчиво, неотвязно напоминает ей, что ребят больше нет, что они не вернуться, что никогда она не увидит сияющих гениных глаз, и Женя ласково не поцелует ее руки..

Она рвется домой и боится дома.

Трудно не думать о Краснодаре, не вспомнить его улиц, родного дома, близких, любимых, друзей..

Но наши не говорят об этом, стараясь не коснуться, не разбередить раны Елены Ивановны. И мы болтаем о пустяках, о ненужных мелочах, будто ничего не случилось, будто мы не встречали старого казака у плетня и просто вышли на обычную будничную операцию.

Но разве закажешь сердцу.

Павлик, как горный козел, неожиданно, громадным прыжком прыгает через крошечную лужицу. Не рассчитав прыжка, падает в грязь, и весело, заличато смеется. Валерий смотрит на серые лохматые тучи и широко, по-детски, улыбается. Потом, быстро взглянув на Елену Ивановну, тушит улыбку, сурово морщит брови. Но проходит минута — и снова радостно блестят глаза и сияющая улыбка заликает его еще ребячье лицо. И даже наш Виктор Иванович, всегда такой выдержанный, уравновешенный, спокойный, завидев красные звезды на крыльях самолета, идущего на бомбежку, вдруг срывает фуражку, и машет над головой, забыв, что мы еще не дома, что за каждым кустом, в каждом овражке сторожит смерть.

Елена Ивановна идет молча, прямо смотря перед собой. Слез нет — глаза сухие.

Итти по шоссе нельзя — сплошной пестрой лентой движутся по нему отступающие немецкие колонны. Мы колесим по проселкам, утопая в грязи.



Где-то близко бьют тяжелые гаубицы и гудят в небе наши самолеты.

15.II.

Мы перешли линию фронта у Ново-Дмитриевской.

Шел жестокий бой: наши гвардейцы выбивали немцев из укрепленного рубежа за Георгие-Афипской.

Проскочить было невероятно трудно. Но Павлик все-таки нашел стык в расположении немецких частей и без боя вывел нас к нашим передовым частям.

Нас чуть не перестреляли свои же красноармейцы. Спас красный флаг, заранее заготовленный Мурой Янукевич.

Молодой сержант сурово оглядел нас с ног до головы и внимательно прочел мой документ. Потом ловко закинул автомат за спину, обнял меня, и, как старый седобородый казак, на хуторе, трижды поцеловал.

— Идите, товарищи — путь свободен.

Сейчас мы в шести километрах от Краснодара: его темный силуэт уже виден на горизонте.

Но мы решили отдохнуть: Елена Ивановна выбилась из сил.

Первый раз за последние полгода мы сидим у костра, не выставив дозоров.

18.II.

Первое, что мы увидели, — был мост через Кубань: его строили саперы и сотни красноармейцев. Он почти готов — тот самый мост, который шесть месяцев восстанавливали немцы и так и не смогли восстановить.

Мы шли по улицам. Какими родными казались эти дома, площади, скверы.

В городе масса брошенных немцами танков, танкеток, автомобилей, тягачей, мотоциклов. Они стоят на площадях, в переулках, во дворах. Около них взяты наши трофейные команды.

В том, что эта еще недавно грозная немецкая техника обезврежена и наши бойцы деловито закрашивают знаки свастик на стальных бортах, в том, что красный флаг поднят над Краснодаром, есть доля нашего участия.

За это погибли мои ребята, взорвал себя Степан Еременко и молчали под пытками Лагунов и Глядких. За это утонули смелые девушки у Яблоновки и шли на смерть наши минеры, когда темной холодной ночью плыли по Кубани в полузаполненных лодках, взрывая последние немецкие посты.

Мы шли по улицам. Навстречу выбегали незнакомые люди, жали руки, обнимали, поздравляли с возвращением.

— Мама, а немцы говорили: партизаны страшные.

Эта сказала восьмилетняя черноволо-

дая девочка, глядя на нас восторженными глазами.

Она догнала меня через несколько минут, молча сунула мне в руку маленькую куклу и убежала. Надо думать, — это была ее величайшая драгоценность.

Мы вошли в нашу квартиру: она вся разграблена.

Быть может, это лучше: меньше назойливых тяжелых воспоминаний...

Елена Ивановна молча обошла комнаты, брала в руки случайно уцелевшие вещи и долго смотрела на них.

Потом села и разрыдалась.

18.II.

Сегодня в Краснодар пришла с операцией последняя группа нашего отряда в главе с Конотопченко, моим замполитом. Сейчас все в сборе.

19.II.

Какой сегодня радостный, счастливый сияющий день.

Валентин жив. Он действительно был тяжело ранен у Керченского пролива. Подошедшие немцы сочли его за мертвого. Но его подобрала крымские партизаны, выходили, и вместе с ними он борется сейчас в горах Крыма. В ближайшее время Валентин обещал быть в Краснодаре.

Жива и Маша, жена Евгения, и его маленькая дочурка: немцы так и не сумели узнать, где Евгений и оставили их в покое.

И, наконец, сегодня вечером к нам не ожиданно пришли Валерий и Галя.

Жена была бесконечно рада. Провожая, она обняла их и подвела ко мне.

— Помнишь, — сказала она, — полгода назад мы уходили в горы. У нас было трое ребят. Двое погибли. Валентина считала мертвым. А сегодня у нас снова трое ребятшек... Вы уходите от нас на фронт. Что вам пожелать, дети. Держитесь так, как дрались до сих пор. И — кто знает, — и Елена Ивановна улыбнулась впервые за много дней, — быть может, когда вы будете далеко на западе за Днепром, за Бугом, за Вислой, мы старики, снова придем к вам и вместе добьем врага...

20.II.

Сегодня все лесные, горные, степные городские, речные и болотные партизаны нашего отряда и наших филиалов собрались в Сталинском райкоме партии.

Я смотрел на них и невольно вспомнил, как полгода назад, в погожий августовский день, из Краснодара уходили в горы директоры, инженеры, экономисты, научные работники — кубанские казаки.

Они знали: их ждала новая, неизведан-

дая жизнь. Предстояли горячие схватки, тяжелые испытания, опасные операции.

Они могли бы не ходить в горы. Но они пошли: родная Кубань была под пятой врага. И они с честью выполняли свой долг.

Они с победой вернулись в родной город, и большинство из них снова стало директорами, инженерами, экономистами, научными работниками.

Лишь небольшая группа нашего отряда уходит в истребительный батальон: немцы еще держались на Тамани.

Вечером мы с Геронтием Николаевичем подвели основные итоги работы отряда за полгода.

Пущено под откос сто пятьдесят пять вагонов, из них тридцать вагонов со снарядами, восемьдесят девять с живой силой врага и тридцать шесть вагонов с вражеской техникой (танками, артиллерией и пр.)

Взорвано восемь мостов, шоссеиных и железнодорожных.

Уничтожено десять танков, тринадцать танкеток, тридцать шесть тяжелых орудий, свыше ста мелких пушек и минометов, восемь бронемашин, тридцать грузовых питонных и семитонных машин с боеприпасами и живой силой врага, четыре легковых штабных машины.

Убито 1894 солдат и офицеров противника и 2525 тяжело ранено.

В этот итог включено только то, что, так сказать, официально зафиксировано. По существу же эти цифры следовало бы значительно увеличить.

Потери нашего отряда, не считая филиалов: трое убито, двое казнены немцами, двое тяжело ранены.

## 21.II.

Сегодня в краснодарской газете «Большевик» опубликован приказ Начальника Центрального штаба партизанского движения Верховного Главкомандования:

«Партизанский отряд, состоящий из партийно-советского актива г. Краснодара, в ночь с 10 на 11-е октября 1942 г. вышел на железнодорожные участки Северская — Афипская, Краснодар — Новороссийск, с целью взрыва железных дорог, эшелонов противника, чтобы задержать продвижение неприятельских войск и этим нанести поражение врагу в живой силе и технике.

Непосредственное выполнение по минированию и взрыву было поручено двум братьям ИГНАТОВЫМ — сыновьям командира партизанского отряда. В момент, когда минирование полностью еще не было закончено, с большой скоростью приближался военный эшелон с немецкими солдатами и офицерами. Братья

ИГНАТОВЫ не ушли с полотна железной дороги, произвели взрыв мины у самого паровоза и героически при этом погибли.

Этим взрывом они произвели крушение. Был разбит паровоз и 25 вагонов. На месте крушения погибло более 500 гитлеровских солдат и офицеров. Верные и бесстрашные сыны советской родины, братья ИГНАТОВЫ проявили высшую военную доблесть и самопожертвование во имя освобождения родины от фашистских захватчиков.

Честь, слава и вечная память ГЕРОЯМ БРАТЬЯМ ИГНАТОВЫМ. Слава родителям, воспитавшим героев, — командиру партизанского отряда Петру ИГНАТОВУ и матери ИГНАТОВОЙ, находящейся в том же партизанском отряде.

### Приказываю:

1. Присвоить партизанскому отряду, находящемуся под командованием Петра Карповича ИГНАТОВА, наименование: «ОТРЯД ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ».

2. Представить братьев ИГНАТОВЫХ к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза.

Командира партизанского отряда Петра Карповича ИГНАТОВА — отца героев и партизанку того же отряда ИГНАТОВУ — мать братьев ИГНАТОВЫХ — представить к правительственной награде.

*Начальник Центрального штаба партизанского движения Пономаренко*

## 9.III.

Сегодня моим погибшим ребятам Родина оказала великую честь: им посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.

## 4.V.

Вчера я был на четвертом километре, там, где погибли мои ребята.

Так же, как в ту памятную октябрьскую ночь, стояли тополя вдоль полотна дороги, ветер шумел верхушками кленов и заличато пели птицы в кустах.

Я нашел место взрыва — на земле лежали обгорелые доски вагонов, искоренные железные листы.

Искал могилу ребят и не мог найти. Бродил в густом кустарнике, продирался через заросли колючего терна, снова возвращался к месту взрыва — могилы не было.

Уже в сумерках я наткнулся в кустах на лоскутья — они выцвели на дожде и солнце. Это были обрывки портянок Гени и теплой куртки Евгения. А рядом с ними маленький бугорок земли. Он весь был прикрыт ветками орешника и на ней буйно росла молодая весенняя трава.

5.V.

Решено перенести в Краснодар останки моих ребят и торжественно похоронить их в Свердловском сквере.

Город оказал большую честь моим сыновьям.

Ново-Марьинская улица названа «улица братьев Игнатовых». Собрание студентов и преподавателей Химико-Техно-



Командир партизанского отряда имени братьев Игнатовых П. К. Игнатов (Батя) и его жена Е. И. Игнатова.

логического Института просит присвоить институту имя Евгения. В музее города отведена специальная комната, где собраны личные вещи и оружие Геннадия

и Жени. Ребята школы, где учился Геня добились, что их школа называется теперь «школой имени Гени Игнатова».

— Мы «игнатовцы», — заявил мне недавно пятнадцатилетний паренек. — И мы клянемся, Батя, что будем сражаться так, как сражался наш Геня.

А сегодня я получил письмо. Пишет ученик седьмого класса из далекого Молотовска.

— Прочитал в газете о героях Игнатовых. Хочу вырасти и быть полезным Советскому Союзу — быть таким, как Геня Игнатов».

15.V.

В зале Городского совета — море цветов. Кажется родная Кубань прислала сюда все маки, пионы и розы, все ландыши и сирень своих садов, степей и предгорий.

Утопая в цветах, стоят два гроба с останками моих ребят.

Уже второй день непрерывный людской поток течет через зал. Проходят старики, женщины, рабочие, инженеры, школьники, партизаны, бойцы, офицеры.

16.V.

Сегодня в полдень тысячи людей пришли последний раз проводить моих сыновей.

Два гроба медленно плыли на руках. Коляхались десятки знамен, сотни венков и букетов. Торжественно и печально звучал шопеновский марш.

За гробами двигались нескончаемые людские колонны. В их рядах — соратники Евгения, суровые, молчаливые партизаны, овеванные дымом взрывов в предгорьях Кавказа, и друзья Гени, юные школьники, горячая страстная молодежь, мечтающая о подвигах.

В сквере имени Свердлова был короткий траурный митинг.

Два гроба опустили в могилу. Прогремел трехкратный салют. А в синем высоком кубанском небе кружили боевые самолеты. Отдав воинский долг погибшим, они взяли курс на запад, чтобы там, над болотами и плавнями Тамани, продолжать великое дело борьбы во славу Отчизны, за которое отдали свои жизни мои сыновья.

Конец

# СКАЗЫ П. БАЖОВА

## Л. СКОРИНО

★

1.

Творчество уральского писателя Павла Петровича Бажова, автора сказов «Малытковой шкатулки», представляет собой одно из своеобразнейших явлений советской литературы.

П. Бажов вошел в нашу литературу как создатель советской рабочей сказки, сказки с новой тематикой, новыми образами и качественно новой фантастикой.

Сказы Бажова впитали в себя многие традиции классической русской сказки, а также открыли и ввели в литературу новый для нее молодой горняцкий фольклор, родившийся на Урале. Однако этим не исчерпывается новизна и своеобразие сказов Бажова. Они новы, ибо в их основу легло новое философское мировоззрение советского человека, а это-то и позволило художнику, используя драгоценные заготовки образов и сюжетов, предоставленные ему фольклором, дать им дальнейшее идейное и художественное развитие.

Связь всего творчества П. Бажова с фольклором глубока и органична. Писатель не случайно закрепляет за своими сказками жанровый термин «сказ», он подчеркивает их родство с «тайными сказами» уральских горняков, теми, что, «слышь-ко, и говорить не всякому можно», то-есть родство с вольнолюбивой струей горнорабочей поэзии.

Следует, однако, совершенно точно определить степень этого родства. Произведения Бажова отнюдь не являются записью или обработкой фольклорных образцов, хотя сам писатель и утверждал о первых своих сказах, что они были им слышаны пятьдесят лет тому назад от горняка-сказителя В. А. Хмелинина и «записаны по памяти».

Любопытно, что аналогичное признание делает и такой мастер литературной сказки, как Г. Х. Андерсен, который не скрывал, что многие из своих сказок он слышал в детстве от нищих старух-прях\*. «Я только пе-

ресказал их...» — утверждал Андерсен. Писатель «пересказал» сказки, но при этом наложил на них такой мощный отпечаток своей творческой личности, что произошло чудо — исчезли старые сказки и появились новые — сказки Андерсена. Достаточно напомнить, что именно к «пересказам» принадлежит «Принцесса на горошине». Это убедительно свидетельствует о том, что самый факт обращения к народному творчеству и широкого им пользования отнюдь не превращает писателя в «обработчика» фольклора.

Вся история литературной сказки показывает, что она всегда вырастает из сказки фольклорной, своей естественной почвы. Примером могут служить такие классические произведения, как сказки Пушкина, «Конек-горбунок» Ершова и др. Литературная сказка заимствует у народной и использует в своих собственных целях образы, сюжеты, язык и даже интонацию. Изучая ее, надо ставить вопрос не о том, насколько это еще фольклор, а о том, какое произведение получилось в результате творческой переплавки фольклора в лаборатории писателя.

П. Бажов, как и его предшественники в области литературной сказки, прежде всего, — художник, творец. Его сказы представляют собой самобытное литературное явление, хотя и опирающееся на мощную фольклорную основу. Произведения Бажова впитали в себя разнообразные элементы жизни уральских горнорабочих: и фольклор в собственном смысле слова, то-есть устные рабочие предания, фантастику тайных сказов и реальное богатство, красочность и своеобразие горнозаводского быта, и могучий народный язык уральских горняков, и, наконец, самую философию нового человека, горнорабочего, мастера.

П. Бажов не сторонний наблюдатель; ему дано было видеть жизнь горняков изнутри, так как он сам вышел из коренного рабочего уральского рода. Отец, дед и прадед его были медеплавильщиками, мастерами «огненного труда» на старых уральских заводах.

Язык сказов Бажова — это язык отца и матери писателя. Быт его героев — уральских горнорабочих — это быт семьи самого Бажова.

\* «Сказка моей жизни», Собр. соч., т. IV. изд. СПб., 1895 г.

О «старых людях» ему рассказывала его бабушка Авдотья Петровна, а «тайные сказы» слышал он от заводских стариков-бывальцев, собирательный образ которых дан в «дедушке Слышко». Этого условного литературного рассказчика Бажов выводит в своей книге, заимствуя прием у Гоголя с его Рудым Панько из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Родина П. Бажова, бывший Сысертский горный округ, одновременно и родина «тайных сказов». Здесь, на западном склоне Уральского хребта, у подножья двух гор Думной и Азов-горы, на руднике Гумешки и на заводах Сысерти и Полевского, где провел свое детство писатель, возникали поэтические легенды горняков.

Богатства горных недр Урала неисчерпаемы и фантастичны. Смелые искатели руд, проникшие на «Сибирский хребет» еще в XVII веке, поэтически повествуют о горах Уральских, где были ими открыты узорчатые камни: «хрусталли белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тунпасы желтые». И даже в сухом деловом «Описании уральских и сибирских заводов» де-Геннина, относящемся к 1735 году, рассказывается о поистине сказочной горе Хрустальной, что находится вблизи Екатеринбург: «Видом по натуре она якобы молочна, из которой камни полированы, и в ней является при солнце красное, лазоревое, белое и желтое сияние».

Горщики, рудооб, медеплавильщики — все те люди, что неразрывно были связаны своим трудом с природой Урала, искали «богатств» и создавали легенды, в которых наша воплощенная горделивая любовь русских людей к родной земле.

Фантастика служила горнякам средством поэтического осмысления реальности. Так Азов-гора в сказах неизменно называлась — «самое дорогое место». Позднейшие изыскания показали, что действительно равнина вокруг Азова обладает редким обилием ценных ископаемых: медными рудами, залегающими рудчайшего по качеству белого мрамора и богатыми золотыми россыпями.

Устные легенды, которые бережно передавались в рабочих семьях из поколения в поколение, заставляли помнить о неисчерпаемых сокровищах уральской земли, не только уже открытые, но и главным образом о тех, какие еще не найдены и хранятся в горных недрах. Так возникали кладоискательские и тайные сказы. В них говорилось о кладах, скрытых в горах, какие оберегает «тайная сила»: гигантский змей Полоз, его дочери Эмеевки и девка Азовка, иначе Золотая девка, Каменная девка, Горная матка, что живет в Азов-горе. «Тайная сила» не допускала человека к сокровищам, отпугивала его с помощью фантастических чудовищ: в ход пускались и рогатая лошадь с чугунными копытами, и бык с медвежьими зубами и змеиным хвостом, и другие страшлища.

Наряду с кладоискательскими возникали и другие — вольнолюбивые «разбойничьи» — тайные сказы. Это были сказы о «вольных людях», то-есть о крепостных рабочих, бежав-

ших с заводов от подневольного труда. Они объединялись в ватаги, вольницы, чтобы с оружием в руках отстаивать свою свободу. Эти сказы также связывались с Азов-горой и Гумешками.

Азов-гора и гора Думная служили «вольным людям» наблюдательными вышками. Отсюда они могли следить как за движением обозов с товарами, так и за появлением карательных отрядов. Интересно, что рудник Гумешки был открыт в 1702 году, но уже при открытии оказался старым, заброшенным рудником. В первом же сообщении о нем указывалось, что «промеж реками Полевыми» найдено два гуменца, то-есть очищенных от леса всхламленных места. Кроме рудокопных ям, здесь оказалось «изгаринны многое число, что выметывают кузнецы из кузницы». Очевидно, гуменцы были остатками стана одной из ватаг, долго отсиживавшейся здесь и имевшей в своей среде «плавильщиков» и «ковачей», изготовлявших необходимое оружие.

Сказы о «вольных людях» чаще всего являлись разновидностью кладоискательских. Здесь также шла речь о кладах, скрытых в пещерах Азов-горы. Хранительница кладов — девка Азовка была уже не частью природы — Золотой девкой, Горной маткой, а живой женщиной, полюбовницей или женой атамана ватаги. Нанболее ценным элементом этой разновидности сказов было возникновение образа доброго разбойника. Атаман «вольных людей» выступает, как защитник рабочих. Он мстит за них крепостникам — заводскому начальству. Сказы эти передавались «по-тайно», так как, высоко оценивая их социальную заостренность, заводоладельцы боролись с их распространением энергичными мерами: били плетями и ссылали на каторгу сказителей.

«Тайные сказы» появились на Урале в XVIII веке и связаны с возникновением горнозаводской уральской промышленности. Вначале они еще тесно смыкаются с общим фольклором, и только постепенно в них начинает крепнуть чисто горняцкий элемент. Прежде всего «земельное богатство» перестает трактоваться, как клад, то-есть золото, серебро, — деньги. Оно выступает уже как драгоценная руда или золотые россыпи.

Претерпевает изменения и фантастика сказов. Девка Азовка превращается из сторожа кладов в Хозяйку медной горы, Малахитницу, которая владеет всеми рудами и по существу руководит их разработкой. Дальнейшее усложнение первоначального фантастического образа отмечается самими сказителями, которые называют Азовку в числе слуг Хозяйки горных недр.

Малахитница, сменив Азовку, сохраняет многие ее черты, (она тоже Каменная девка; живущая в горе,) а также и сказочные функции. Но если она и не допускает к своим богатствам человека, то не всякого, как это характерно для Азовки. Людям труда Хозяйка покровительствует, помогает, показывая им руду и залежи дорогого камня. Она «уводит», прячет руду, если видит, что разработка превращается в хищничество. Ее образ получает новую функцию, и это происходит, несомнен-

но, под влиянием «доброего разбойника» из фольклорно-любивых сказов, а именно—Хозяйка горы становится защитницей горнорабочих от крепостного начальства. Образ Малахитницы, являясь воплощением сил природы, вместе с тем обретает общественную заостренность. Он синтезирует мотивы обеих разновидностей «тайных сказов».

Чисто горнорабочим элементом надо считать и появление рассказов об опытных мастерах, о их чудесном искусстве. Ценность этих рассказов в том, что здесь сказитель обращается к изображению самого процесса труда и радостей творчества. Слабость их в том, что они и до наших дней не приняли устойчивой формы, не поднялись до степени обобщений. Обычно это индивидуально-конкретные «случаи из жизни», бытующие в той или иной рабочей семье.

Впрочем, эта черта слабой откристиализованности характерна и для всего уральского фольклора в целом. Он представляет собой фольклор «творимый», а отнюдь не устоявшийся, в отличие от крестьянского фольклора, и существует в виде рабочих семейных преданий, бытовых зарисовок, отдельных фантастических образов, фрагментов и завязей сказов.

Таково то поэтическое наследие, какое получил П. Бажов от своих предков — уральских горняков. Его задачей было отобрать здесь все наиболее ценное и претворить в своем личном творчестве. Эту задачу смог успешно разрешить писатель, взращенный той же средой, что рождала горняцкие легенды. П. Бажову не приходилось «обращаться» к фольклору, он им в полной мере владел. Справедливо отмечалось нашей критикой, что Бажов не обработчик уральского фольклора, а сам творец-выдумщик, что он «принадлежит к талантливой семье уральских народных повтов-сказочников»\*. Действительно, Бажов, бережно приняв наследие сказителей-горняков, продолжил их творческую линию в литературе.

Но не все, что сложилось в уральском фольклоре, взял и использовал П. Бажов. Он об-

\* Д. Заславский. Сказочник Урала, («Огонек», № 14, 1943 г.) Этот же взгляд высказывает и Сергей Бородин («Литература и искусство» от 27 марта 1943 г.). Однако не все критики проявили понимание творчества Бажова. Кое-кто рассматривал его сказки как чистый фольклор, упоминая о писателе лишь как о составителе сборника или в лучшем случае обработчике сказов. Так фольклорист Е. М. Блинова ничтоже сумняшея включила сказки Бажова в сборник «Дореволюционный фольклор на Урале» (Свердлагиз, 1936 г.). Попытку полностью снять авторство Бажова делает К. Рождественская, характеризуя «Малахитовую шкатулку» как «полный цикл хмельянинских рассказов» («Уральский рабочий» от 28 янв. 1939 г.). Еще дальше идет А. Ладейщиков, который в «Литературном альманахе» (Свердлагиз, III, 1937 г.) опубликовал сказы Бажова под фамилией Хмельянина. И только в конце обозначил лишь инициалы писателя: «Записал П. Б.».

ратился к чисто горняцкому, рабочему элементу, который полчас был только в тенденции, развил его и утвердил в своей литературной сказке.

## 2.

«Малахитовая шкатулка» — основное произведение П. Бажова — было задумано и начато в 1936 году. Книга первым изданием вышла в 1939 году. Вслед за «Малахитовой шкатулкой» появились две новые книги: «Ключ-камень, — горные сказки» (1942) и «Сказы о немцах» (1943).

Эти три книги автор рассматривает как единое целое и объединяет их для всех последующих изданий под общим заголовком «Малахитовая шкатулка». Объединение это естественно, органично, оно определяется как характерностью, своеобразием стиля и языка, так и новизной тематики бажовских сказов. Его сказки являют собой единую творческую линию, твердо установленную зрелым художником, нашедшим себя, свою тему, свою форму.

Язык Бажова необычайно живописен и звучен, ибо в своих истоках он питается из родников русской народной речи. Не к застывшим, устоявшимся ее формам обращается писатель; поэтому нет в его произведениях речевой стилизации под старину, близинности, под фольклорную сказку с ее традиционной уставной лексикой. Бажов любит и знает живую русскую речь и берет его в движении, непрестанном развитии. Писатель внимательно изучает, что и как отсеивается или отбирается и накапливается великим художником — народом. Строгий отбор полноценного словесного материала — характерная черта стилистической работы самого уральского сказочника. Бажов не гонится за внешним своеобразием слова, его редкостью или затейливостью, он ищет в слове одного — жизненной правды. «Слово действует», любит повторять Бажов: это значит, что оно должно действительно, то-есть точно и ярко, выражать мысль, определять явление реальности, а не пассивно украшать, не служить мертвым стилевым завитком, орнаментом. В бажовских сказах нет перегрузки диалектизмами, областными словечками и речениями.

Из уральского народного говора Бажов отбирает отнюдь не исключительные, а следовательно обособленные слова, но наиболее выразительные, сочные, могущие стать общезначимыми, общенародными. И хотя писатель в своем творчестве широко использует уральский речевой колорит, своеобразие бажовского стиля отнюдь не в этом. Свообразие сказов Бажова в том, что здесь нашли яркое выражение коренные особенности общерусского народного языка: его богатая напевность, могучая образность и, наконец, жизнерадостная его эмоциональная окраска, основанная на столь свойственном русскому человеку юморе, то лукаво-простодушном, то едком и язвительном; но всегда юморе жизнеутверждающем, какой пронизывает самую ткань народной речи.

А. С. Пушкин писал: «отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться»\*. В этих пушкинских словах — точное определение характерных стилевых особенностей бажовских сказов. В своем творчестве советский писатель возродил сочный и живописный стиль лукавых русских сказочников, воспринятый им от бабушки — Авдотьи Петровны Бажовой — и от горнозаводских сатириков и балагуров — Стакашика-Хмелинина, Макара Драгана, рабочего Мякины, любовно описанных Бажовым в ранней его книге «Уральские были» (1924 г.).

Стиль Бажова имеет в своей основе метафоричность, образность народного языка. Непосредственно из быта уральских горняков в его сказы пришли такие сочные слова и речения, как, например, «изробленый» человек, «изробился» в применении к тому, кто потерял силы на работе, стал к ней непригодным; «приказчиковы подлокотники» — о холуях, прислуживающихся к начальству, «поддувающих» ему; старательское — «отщипал песок», означающее, что исчезло, иссякло золото, и многое другое.

Народная речевая образность делает язык Бажова выразительным, емким. Она пронизывает описания, диалоги, а также и авторские отступления. О супругах-камнерезах Даниле и Катерине Бажов повествует:

«Вот, значит, и подымали семью, за куском в людине ходили». И дальше: «Так у них все гладенько и катилось» («Хрупкая веточка»). Загрустил герой у Бажова — «притуманился» («Ермаковы лебеди»). Хитрит Евлаха Железо в разговоре с придворным французским ювелиром, от него «пустыми словами загородился» («Железково покрываши»). Метафоричны бажовские характеристики. Заводовладелец Меллер, по меткому определению сказа, «умишком небогат был». Влюбился молодой старатель в девушку, да в такую, с какой и «по ненастью солнышко светает» («Змеиний след»).

Речевая образность играет у Бажова и сюжетную роль. Национальный характер своих героев в сказе «Веселухин ложок» он раскрывает через резкое противопоставление немецкому русскому строя языка, а следовательно, и образа мышления. Немцы-мастера пытаются веселого Панкрата, в чем секрет его искусства, кто ему подсказывает расцветку и узоры, какими он славится. Насмешливым лукавством пронизан иносказательный ответ русского мастера, который поясняет дуболобым немцам, что мастерство его всякому доступно, у кого «глаз с крючком да ухо с прихваткой». Изумленные немецкие педанты давай спрашивают, какой это глаз и какое ухо. «Глаз, — отвечает Панкрат, — такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, в снеговом охлопке. А ухо, которое держит, что ему полюби-

лось. Ну, там мало ли что: как сосна шумит, а то и травинка шуршит». Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют. Спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибыток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им втолковать, да видит — на порошинку не понимают, махнул рукой».

Яркая метафорическая речь и породившее ее образное мышление раскрывают в русском мастере поэта, мастера-творца, умеющего слышать и видеть природу во всем многообразии ее проявлений. Панкрату противостоят немцы — ограниченные, тупо прямолинейные, воплощенные обывательского «здравого смысла». В своих суждениях народной речи Бажов видит проявление народного характера. Языковая характеристика позволяет писателю полно обрисовать образ героя.

Живописность языка бажовских сказов не исчерпывается его образностью, метафоричностью. Язык Бажова поразительно красочен. Зрительный образ, цвет играют здесь огромную роль. На зрительном образе строится портрет сказочного героя, сказочный пейзаж.

Есть у Бажова сказы, целиком выдержанные в одной тональности. Таков «Синюшкин колодец»: «На полянке окошко крутлое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенечкой подернулась, и посредине паучок сидит, тоже синий». Над водой — синий туман, из тумана возникает старушонка Синюшка: «Платок на голове синий, и сама вся синехонькая». Бабка эта колдовская — она «всегда старая, всегда молодая» и, глядишь, девушкой обернется: «платишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы малина, руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя».

Но чаще всего в сказках Бажова дается веселое переплетение красок. Вохрянные блики и пламенеющая киноварь, певучий синий рядом с мерцающим золотом, многообразные оттенки и переливы зеленого и, наконец, резкие контрастные сочетания черного и белого — такова здесь гамма красок. Цвет у Бажова совершенно в духе народной живописи, вышивки — всегда цельный, пустой, сияющий.

Цветовое богатство бажовских сказов не случайно, оно порождено красочностью самой природы Урала. В сказочном пейзаже Бажова выражено радостное любованье художника красотой реального уральского пейзажа.

Но характерно — в бажовских сказках нет абстрактной природы, какая бы равнодушно противостояла человеку. Красочная фантастика Бажова позитивизирует природу, вовлекаемую в орбиту людской деятельности и становящуюся для героя-мастера объектом его трудовых усилий.

В фантастической игре красок сказочного пейзажа предстают нам драгоценная руда, богатое золото, узорчатое камень, то есть материал труда. Вот повстречал рудокоп Сте-

\* А. С. Пушкин, О предисловии г-на Лемонта к переводу басен И. А. Крылова.

пан Малахитницу. С нею слуги — ящерницы. Было их «тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь выпадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая...» Но за этой цветистостью, за этими пересветами, из каких рождается сказочный образ ящерниц — слуг хозяйки горы, — скрывается не менее красочная реальность, чудесная в своей истинности. Окружили молодого рудокопа ящерницы. «Он поглядел под ноги, а там земля незнатко. Все ящерки сбились в одно место — как под узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная!».

Краска, — этот существеннейший элемент бажовского стиля — служит писателю средством поэтизации материальной основы человеческого труда. Подобную же функцию несет и такой стилиевой элемент, как звуковой строй сказов Бажова.

Язык уральского сказочника не только живописен, но и звучен. Звучность эта чисто народная, идущая от песни, от певучей русской пословицы и поговорки. Недаром эти последние органически вплетаются в ткань повествования. Каслинского заводчика сказ характеризует: «вырастали дубину на рабочую спину», и о другом иронически говорит: «поездил у теплых морей, поразбросал рублей, домой его потянуло». Пословица или поговорка подчас дает Бажову емкий образ и для выражения целого сюжетного пласта. Приезжает в Тагил немецкий пройдоха, чтобы выведать у тамошних мастеров известный только им секрет хрустального лака. Немец прикидывается простягой, своим парнем, который «попить-погулять в кабаке не чужается, и денег, видать, не жалеет: не столь угощется, сколь сам угощает». Всю сложность возникающих взаимоотношений между ним и мастерами, что крепко берегут «тайность», ведь за нее «у каждого головы позаложены, в случае чего, остальные артелью убить могут», — Бажов образно, а потому и кратко передает с помощью пословицы. «Ну, заводские, понятно, видят, о чем немец хлопочет, меж собой посмеиваются: ходит кошка, воробья не видит, а тот близехонько поскакивает да сам зорко поглядывает» («Хрустальный лак»).

Певучий русский говор пронизывает сказы Бажова: «и речист, и плечист, умом и ухваткой взял» («Ермаковы лебеди»). Фразе Бажова присуще обилие уменьшительных, придающих ей мягкую напевность: «Попробовал ушки и давай нахваливать... из сумы хлебушко мяконецкого достал, ломоточками поручил и перед ребятами грудкой положил» («Змеинный след»). И еще: «Мужичище быкбыком, а рожа у него ровню нарощно придумана. Как свежла краснехонька, а по ней в олосешки белые кустичками» («Травяная замиденка»).

Бажов зачастую прибегает к песенному удвоению слова, но делает это, заимствуя отнюдь не готовые словесные формулы, а самый принцип ритмической организации фразы. Если

привычно фольклорно звучат такие бажовские речения, как в описании тайного ходочка, что ведет в недра горы и ему «к о н ц а - к р а ю» не видно, или подземной реки, какая «ч е р н ы м - ч е р н ё х о н ь к а и не пошевелнется, как окаменела» («Ключ-камень»), или в изображении встречи Ермака с земляками, которые поняли, какого он «р о д у - п л е м е н и», то в подавляющем большинстве случаев фраза Бажова расширяет этот привычный, устоявшийся речевой арсенал. И происходит это на основе введения новых групп понятий и образов, связанных с различными формами труда. Отправился Ермак завоевывать Сибирь, а его невесте Аленушке довелось одной «век вековать. Как обыкновенно рукодельницей стала, — ткальей да прядальей». Героиня сказа «Горный мастер» — Катерина — «по хозяйству бегаёт, — в огороде там, сварить-постряпать и прочта»...

Но не только труд «по домашности», а и горнозаводское производство находят свое отражение в певучей бажовской фразе. Казалось бы, столь сухая материя, как производственная деталь, характерная для бажовских сказов и занимающая в них немалое место, оказывается у Бажова опозтизированной именно благодаря обращению художника к чудесной напевности русского языка. Учат тагильские мастера хрустальный лак варить: «Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза-слезой, коли запоздишься, либо заторопишься — станет сажасажей». А в сказе «Живиника в деле» молодые углежого сетуют: «Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухлак да мертвяк... У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звоном. Ни перегару, ни недогару у них нет и квёлого самая малость».

Таким образом, все поэтические средства Бажова-художника — напевность, живописность, яркая эмоциональная окрашенность — подчинены главной задаче всего творчества писателя — раскрытию поэзии человеческого труда.

### 3.

Основной темой творчества уральского сказочника является тема труда. Взятая она в специфическом разрезе: сказы Бажова воспевают не труд вообще, а труд, превращающийся в творчество.

Главная тема разрешается у Бажова в трехчастных, ей подчиненных: в теме мастерства, теме счастья и теме человеческого достоинства. Первой из них посвящена целая группа сказов — цикл сказов о мастерах, который занимает центральное место в творчестве Бажова. Основной мотив этого цикла — противопоставление труда творческому труду ремесленному.

Истинное мастерство — это творчество, новаторство, а не педантичная ремесленная добросовестность. Настоящий мастер только тот,



кто непрерывно совершенствуется, кто пролагает новые пути в труде.

Герой одного из последних бажовских сказов захотел все ремесла «своей рукой» перепробовать («Живинка в деле»). Посмеивались над ним сначала друзья да родичи, а Тимоха все же на своем поставил: ремеслам обучился и в каждом деле «до точки дошел». Только было это ремесленное знание правил, а не мастерство. Понял это Тимоха, когда попал в выучку к углежogu деду Нефеду. Принял тот его с лукавым уговором: «от меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навывнешь». Простое дело у Нефед — уголь жечь, да победить старото мастера Тимоха не смог. А секрет-то был в том, что дело у Нефед на месте не стояло, все вперед двигалось: совершенствовал свою работу Нефед. И учил он Тимоху не «книзу глядеть — на те, что сделано», а «кверху — как лучше делать надо». Учил искать «живинку» в каждом деле. Она ведь «вперед мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!»

Живая душа любого дела, его «живинка» — это не что иное, как творческая мысль, выдумка мастера. Истинное мастерство определяется именно умением творчески, новаторски мыслить. Об этом поэтически говорит сказ «Иванко-Крылатко», рисующий единорство двух мастеров — немца Фуйко Штофа и русского паренька Иванки из семьи старых златоустовских мастеров.

В сказе противопоставлен стнюдь не плохой мастер хорошему. Состязание на лучшую чеканку сабель идет между двумя умелыми мастерами. Здесь дано столкновение различных принципов труда — ремесленного и творческого.

Немец Фуйко дело свое знал. Он «руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив». Чистая, четкая у него чеканка, и «позолота без пятна», и рисунок по правилам, а вот «живым не пахнет». Мастерство его мертвое, ибо это ремесленничество, не одухотворенное поэтической фантазией.

Иное Иванко, это — «мастер с полетом». Он не боится отступить от затверженных правил, не боится прибегнуть к смелой творческой выдумке. Иванко учится у самой природы и вносит в свое искусство ее неиссякающую и вечную обновляющую поэзию. Нарисовал Иванко на боевой сабле не пустое украшение, условных коньков, а таких коней, какими он знал их в жизни, — стремительных, на полном бегу, крылатых!

Выдумка Иванки — крылатые кони — возмutilа немецких педантов, они прогнали юношу с завода. Но именно она-то и обнаружила подлинного мастера. Иванко мастер-поэт, ибо он подымается до образов, до обобщений. Крылатые кони — поэтическая метафора, дающая образ стремительного движения.

Поиски нового, творческая выдумка — вот что определяет истинного мастера. Эта мысль положена в основу и второго мотива того же цикла сказов о мастерах, а именно мотива борьбы художника с материей в процессе воплощения своего поэтического замысла.

Творчество мастера-поэта выступает в ска-

зах Бажова не как наитие, озарение, а как познание и труд.

От художника требуется не пассивное созерцание и слепое копирование природы, но овладение всеми ее тайнами, проникновение в самую сущность материала, борьба с «вагурой». Об этом говорят сказы Бажова и в первую очередь его программные вещи, такие, как «Каменный цветок», «Горный мастер» и «Железковы покрывки».

Два первых сказа повествуют о творчески муках, исканиях молодого камнереза Данилы. Задумал мастер воплотить в камне красоту простого лесного цветка. Но не дается ему малахитовая чаша, над которой он трудится, и не радуется ее внешней отделанности. Нет в ней жизни, а следовательно, красоты. «То в горе, — жалуется Данила-мастер, — что покаять нечем, гладко да ровно, узор чистый... а красота где? Вон цветок, самый что ни на есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует?» («Каменный цветок»). Это только ловко сделанная вещь, то-есть сделанная ремесленно, а не творчески. Данила же стремится, чтобы глядя на его чашу, люди забывали об искусстве мастера и видели только простой живой цветок. В этом, по мнению молодого камнереза, и заключается истинная сила мастерства.

Данила стремится познать свой материал, «полную силу камня самому поглядеть и людям показать». Но здесь-то молодой мастер и совершает ошибку: он не идет дальше наблюдений, дальше подражания природе. Материал подчиняет его себе. Данило не привнес в работу творческой выдумки, поэтической общающей мысли и поэтому-то терпит неудачу.

Посчастливилось ему было: в поисках материала для своей чаши нашел он подходящую «малахитину». «Большой камень — на руках не унести — и будто отделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все как ему надо: цвет снизу потуже, дрожжики на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть». Но хотя Даниле казалось, что камень «ровно нарочно для его работы» создан, — чаша не вышла. Выточил мастер «чашу, как у дурманцветка, а не то... не живой стал цветок и красоту потерял». Не понимая еще причины своей неудачи, молодой мастер обращается за помощью к Малахитнице. «Не могу больше, — жалуется Данило Хозяйке горы, — измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок». И несмотря на ее уговоры — «может еще попытаешь сам добиться», — настаивает на своем.

Не всякому дано видеть «каменный цветок». Растет он тайно в горе у Малахитницы. Сказочный образ «каменного цветка» символизирует красоту самого материала, ту красоту, что заложена природой и в обломке камня, и в куске дерева, — словом, в любом материале, какой требует усилий мастера, чтобы стать произведением искусства. Кто увидел «каменный цветок», тот «красоту понял» и в силу этого становится «горным мастером».

«Горные мастера» — выученики Малахитницы. Это те, кто познал тайны мастерства

Они живут и трудятся в подземных владениях Хозяйки медной горы. Их труд чудесен, они обладают умением придавать жизнь каменным, казалось бы, мертвому материалу. Работа их «от нашей, от здешней на отличку... У наших змейка, сколь чисто ни выгочат, каменная, а тут как есть живая». Хребтик черненький, глазки... того и гляди — клонет».

Стремясь увидеть «каменный цветок», Дамило тем самым снова ищет подсказа у материала. Исполнилось его желание, проник он в тайную красоту природы, в красоту самой материи. Но этого оказалось мало. Материал не может подсказать всего того, что должен найти сам мастер, опираясь не только на свои наблюдения над природой, но и обязательно на свою чисто человеческую способность к обобщению.

«— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка горы.

— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, а Данилушко на том же камне оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осянь».

Бажов подчеркивает первостепенное значение человеческой поэтической выдумки. Пусть у молодого мастера только родится замысел, и «камень ему будет по его мыслям», — обещает Хозяйка горы. В истинном мастере должна быть «крылатость», он должен обладать смелой творческой фантазией, и тогда материал ему подчинится. Этому учит Данилу-камнереза Малахитница.

В поэтическом образе Хозяйки медной горы у Бажова воплощена сама природа, вдохновляющая своей красотой человека на творчество, открывающая ему свои сокровенные тайны. Фольклорный образ Малахитницы претерпел здесь существенные изменения. Если в горняцких сказах Малахитница — это только хозяйка горных недр, оберегающая свои сокровища, то у Бажова она является хранительницей секретов высокого мастерства. Больше того, она — воплощение вечной творческой неудовлетворенности, творческих исканий.

Данило-камнерезу, человеку тревожных исканий, противопоставлен Бажовым малахитчик Евлаха Железко — мастер, овладевший вершинами своего искусства. Совершенство его мастерства в том, что, глубоко понимая сущность своего материала — малахита, «радостного камня и широкой силы», Евлаха умеет добиться гармонии между этим материалом и собственным поэтическим замыслом.

Фантазией мастера был создан такой узор на малахитовых покрывках, который, подчеркивая и выявляя характерные внешние особенности малахита: его неожиданные причудливые узоры, его меняющуюся окраску,

так определяемую академиком Ферсманом («Цвета минералов») — «то бирюзово-зеленый, камень нежных тонов, то темнозеленый с атласным отливом», — раскрывает этим путем внутреннюю сущность малахита, камня, в котором «радость земли собрана».

Смотришь на малахитовые крышки к альбому, сделанные мастером, и видишь, что узор на камне — «как вешняя вода под солнышком, когда ветерком ее колышет. Так волны по зелени и ходят... Одним словом, мастерство!»

Мастерство Евлахи в том, что созданный им поэтический образ вешней воды в солнечный день, который так полно передает ощущение радости жизни, был найден и раскрыт в самом материале. И произошло это отнюдь не в процессе механического копирования рисунка самого камня, а путем создания образа — обобщения, то-есть путем привнесения творческой выдумки.

Взаимосвязь и взаимопроникновение формы и содержания существуют для камнереза Евлахи, как и для других мастеров Бажова, не отвлеченно, а во всей материальной конкретности. Светлые сказы Бажова утверждают, что воплотить творческую мысль в вешней форме можно только, покорив материю, подчинив ее воле мастера. Человек-мастер должен стать полновластным хозяином материала.

Сказы Бажова рисуют этого мастера-победителя.

#### 4.

С темой творческого труда, мастерства в сказах Бажова тесно переплетается тема человеческого счастья. Ей посвящен особый цикл сказов — старательских, или сказов «о первом добытчике».

Героем этого нового цикла также является человек-мастер, но уже не камнерез, чеканщик или медеплавильщик, а опытный бывалый горщик, тот, кто умеет «видеть нутро земли» и находить «знаки земных сокровищ». Образ этого героя пришел в творчество Бажова не из «тайных сказов», а непосредственно из реального быта горняков. Об удачливом старателе, опытным рудобое поговаривали, что он знается с «тайной силой», дружит с Полозом, Малахитницей — «пособничков имеет, да нам не сказывает», «Словинку знает», «Полозов след видел, потому и находит!»\* Такого человека горняки обычно называют «чертознаем». Этих-то «чертознаев», их таинственную власть над природой и воспевают сказы Бажова. В образах новых героев художник раскрывает мотив дружбы человека с природой, ее «тайными силами», воплощенными в старательских сказах в большой группе сказочных персонажей. В цикле о мастерах действовала Малахитница, ее слуги — ящерки, ее ученики — горные мастера.

\* П. Бажов, Автобиографический очерк «У старого рудника». Альманах «Уральский современник», Свердловск, №3, 1940 г.

В новом цикле появляется гигантский змей Полоз — хранитель золотых руд, его дочери Змеевки, бабка Синюшка, охраняющая бездонный колодез с самоцветами, девчоночка Огневушка-Поскакушка, да козлик Серебряные копытце. Все эти персонажи тесно связаны с горняками, ибо принимают живейшее участие в работе людей на приисках, в рудниках, помогая им читать великую книгу природы.

Хорошо знают повадки «тайной силы» старые горщики, «чертознаи». Рассказывает дедко Ефим молодым старателям, по каким приметам золото находить: «слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото, вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное и в самом верхнем пласту лежит» («Огневушка-Поскакушка»). О сказочном козлике говорит своей приемной дочке Дарёнке старый охотник Кокованя: «Тот козел — особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В коем месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень».

«Чертознаи» — дедко Ефим, Кокованя, Никита Жабрей, Семёныч, бабка Лукерья и другие — объединяют мир реального с миром фантастического. Они являются хранителями реального опыта рабочих, а также тех легенд, какие возникают в недрах гор, в лесах, на приисках и служат средством поэтизации и труда, средством образного эмоционального закрепления этого опыта, что способствует его хранению и передаче новым поколениям. В образах «чертознаев» воплощена поэзия трудового познания природы.

Рядом с этим героем в старательском цикле бажовских сказов встает второй герой — молодой золотоискатель, рудокоп, в котором «чертознаями» и «тайной силой» пробуждена ненасытная жажда исканий. Это и есть тот «первый добытчик», какому посвящен новый цикл сказов. Таков мальчуган Федюлька, что упрямо ищет и находит Огневушку-Поскакушку; паренек Дениско, которому Никита Жабрей показывает заветное место, где водятся золотые самородки, имеющие форму лаптков, и, наконец, приисковый рабочий Ильюха, какого полюбила бабка Синюшка за смелую и веселую сноворку в труде.

Всем этим героям характерна чистота помыслов, отсутствие адного стремления овладеть сокровищами, разбогатеть. Ими руководит не жадность, а желание познать природу, проникнуть в ее тайны. Посулила Ильюхе Синюшка показать свои несметные сокровища, но не позарился на них юноша. Он пришел к волшебному колодезю, потому что слыхал: бабка-то красной девицей оборачивается.

Испытывает его Синюшка. Из колодеза синий столб выметнул. Вышли одна за другой девушки — царевна в сосну ростом, с золотым блюдом, на котором «песок золотой, ка-

менья дорогие, самородки чуть не по коврыге», за нею купеческая дочь с подносом из серебра. Но отказывается от этого богатства Ильюха. И только когда обернулась бабка Синюшка простой девчонкой в синеньком платице и синеньком платочке да подала ему старое решето, полное ягод, и сказала: «Прими-ко, мил друг Ильюшенька, подарочек от чистого сердца», — тогда только, заглядевшись в синие девичьи глаза, принял дар Синюшки Ильюха.

Мотив дружбы горщиков с «тайной силой», а подчас даже любви молодых старателей, рудобоев к Малахитнице, Синюшке поэтически выражает новое отношение человека к природе.

В классической народной сказке фантастические персонажи противопоставят герою-человеку, как таинственная, чаще всего враждебная сила. Народная сказка создает образ бабы-яги. Яга обладает железными зубами, которыми может перегрызть дерево и проложить дорогу в лесу. В ней нет ничего сближающего ее с человеком. Яге даже самый дух человеческий враждебен, она сразу его замечает, как нечто противоположное, чуждое: «Фу! фу! Русским духом пахнет», — традиционно восклицает яга при появлении человека. Еще резче эта нечеловеческая сущность яги подчеркивается таким сказочным ее свойством, как людоедство.

В. Г. Белинский писал о народной сказке: «...чего человек не сознает, все то представляется ему страшным таинством, вот и являются колдуны, волшебники, злые духи, змеи горынычи, русалки, ведьмы», которые служат «олицетворением невидимых, таинственных, большей частью враждебных сил». Непознания, а потому и враждебная природа противостоит здесь человеку.

Иное у Бажова. Его герой активно познает природу, раскрывает ее тайны. Отсюда мотив дружбы и единения человека с «тайной силой». В сказке Бажова именно раскрытие чудесной сущности фантастического персонажа ведет к сближению его с героем-человеком.

Когда перед старателем появляется Великий Полоз в виде человека в кафтане «из золотой, слышь-ко, поповской парчи», в желтой шапке с «красными зазоринами», или рудокоп встречает Хозяйку медной горы, на которой «из шелкового, слышь-ко, малахиту платье», «то оно блеснит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает», то здесь еще нет ничего, кроме внешнего своеобразия. Но им могут обладать не только Полоз и Малахитница, а и вполне реальные люди.

Разве менее необычно выглядит в далекой уральской деревне приехавший сюда французский придворный ювелир: «Одѣжа, конечно, французского покрою, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента

на ней черного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали». Причудливый вид имеет и заводоладелец в сказе «Травяная западёнка»: он «завсегда в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост». И уж совсем дикарской пышностью для глаз рабочего человека выглядят наряды царедворцев: «по-господски одеты, и все в золоте и заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать самое высшее начальство. И бабы ижние тут же. Голоруки, гологруды, камнями увешаны» («Малахитовая шкатулка»).

Ощущение чудесного передается Бажовым не через внешнее своеобразие, а путем раскрытия внутренней сказочной сущности образа. В фантастических персонажах его сказов всегда есть что-то мощное, сильное, заставляющее понимать, что не с простым человеком имеешь дело. Сказочный змей Полоз раскрывается через такую деталь: «Мужик такого же роста, как Семеныч, и не толстый, а видать дружный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась». Змеевка, дочь Полоза, пришедшая на рудник в образе простой рыженкой девочки, смиряет обидчика-старателя: «Уставилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало» («Змеиный след»).

Огромной внутренней мощью, проявляющейся в одном движении, одной детали, отличается от обыкновенного человека «тайная сила». Эта мощь является поэтическим выражением реальной мощи сил природы.

И все же в сказах Бажова человек не преклоняется перед этими силами, не объявляет их непознаваемыми. Он противостоит им, как равный.

Человек равен «тайной силе» своей творческой мощью, своим чудесным трудом.

Светлые сказы П. Бажова раскрывают поэзию и радость этого чудесного человеческого труда. Здесь возникает совершенно новый фантастический образ — образ веселой молодухи Веселухи, в котором неотделимо слиты радость и поэтическая выдумка — неразрывные элементы творческого труда («Веселухин ложок»).

Веселуха — олицетворение весеннего веселья. Сама она яркая, будоражащая. «Сарафан на ней препестрый, — говорится в сказе, — цветастый. На голове платочек тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Мимо такая пройдет — на тоды, небось, ее запомнишь». Хмелит она людей радостью, манит их на вольный воздух, на зеленый луг, к синему озеру. Ремесло у Веселухи особое: «с весны до осени весь народ радуется слышать, а дальше по выбору». Не терпит она слезливых да поскливых. Ей подавай «песни да пляски, смех да веселье». Она «в избу зайдет, табуретки в пляс пойдут». Но этим не исчерпывается содержание

образа Веселухи: она — воплощение не только радости, но и самой фантазии человеческой, яркой причудливой выдумки.

В трудную минуту приходит она на помощь мастеру: покажет ему новый узор, раскроет все неисчерпаемое богатство красок природы, поэзию ее весеннего расцвета. Потому-то не раз и «видели ее въявь» заводские рабочие-рисовщики, те, что расцветкой узора занимаются. Но видит ее только тот, у кого «веселый да смелый глаз».

Труд радостен, когда он одухотворен творческой фантазией, «крылатостью» мастера, — утверждают сказы Бажова. И такой труд, то есть творчество, составляет содержание и смысл человеческой жизни.

В сказе «Две ящерики» Малахитница испытывает молодого медеплавильщика Андрюху. Она спасает его из гнилого забоя, где юношу за бунтарство приковали на цепь и мучили тяжким каторжным трудом. Хозяйка горы берет мастера к себе в подземный дворец. Привольная, беззаботная жизнь предстает Андрюхе; к его услугам богатые одежды, изысканные яства и питья. Не надо задумываться о завтрашнем дне, не надо работать. Но Андрюха не приемлет новой жизни. Отдохнул он в хоромах Хозяйки, набрался сил и, полюбившись на узорчатые палаты, ушел от нее: ведь ему «сидеть без дела непривычно». В молодом мастере говорит непреодолимое стремление к труду.

Образ Андрюхи имеет реальный прототип. В ранней своей очерковой книге «Уральские были» (1924) Бажов, рисуя быт старых заводов, рассказывает о знаменитом заводском «разбойнике» Агапыче. Это был один из зачинщиков тех заводских драк, которые организовывались рабочими с целью дать «выучку» не в меру лютовавшему начальству. Агапыч ударил ножом какого-то надзирателя, пошел на каторгу, затем бежал. Его укрывали на заводах, так как он пострадал за народ. Жил он хоть тайно, но сытно, иногда мог даже «погулять в кабаке».

«У нас, помню, — рассказывает Бажов, — Агапыч бывал не один раз. Мать по этому поводу «гоношила пельмешки». Отец и гость «больше одной бутылки, сколько помню, не пили, а это для двоих «крепких на вино» людей было пустяком. Разговоры велись самые неинтересные для меня, и я даже удивлялся, как это Агапыч — знаменитый заводской разбойник — мог разговаривать о сдаче кусков, о браковке железа, о ценах на зубленые напильники». Агапыч жаловался:

— Не могу я, Данилыч, без дела. Ну, кормят меня, поят, — спасибо. А вот дела никто дать не может. А без дела как? Вот и живешь по-волчьи».

Эта тоска по делу, по радостям труда, тогу труда, который у истинного мастера перерастает в творчество, — характерна для героев Бажова. Они видят счастье только в труде. Поэтому-то художник, идя от реальных жизненных наблюдений, разрешает в сюжете

светлых сказах тему счастья через утверждение радости труда.

В силу этого, несмотря на то, что в основе старательских сказов Бажова лежит такая сюжетная ситуация, как раскрытие «земельных богатств» и овладение ими, здесь нет столь характерного для фольклорной сказки и в частности для горняцких «тайных сказов» — мотива волшебного обогащения.

Герой народной сказки получает волшебное богатство, и оно всегда опромно. Так, например, Иван, купеческий сын, находит целые бочки, что «были крепко заколочены златом, серебром и драгоценными камнями насыпаны»\*. Герой другой сказки сам насыпает «полон корабль серебром да золотом» и отправляется «торг торговать».

У Бажова владение «земельным богатством» никогда не означает наступления полного материального благополучия. Нашла руднишная девушка Васенка дорогой камешек. Продали его, «понятно, не за настоящую цену, а все-таки хорошие деньги взяты. Маленько и вздохнул» («Ключ-камень»). Дети рудокопа Левонтия, получив от Полоза богатимое золото, «не то, чтобы дом заетайливой, а так избушечку справную» поставили. Мать их нарадоваться не могла, «что хоть в старости свет увидела» («Змеиный след»). А старик Кокования, что гонялся за Серебряным копытцем, нашел драгоценные хризолиты и «полашки камней нагреб».

Таковы размеры волшебного богатства в сказах Бажова. Оно дает героям только скромный достаток и, самое главное, не служит средством наживы, дальнейшего обогащения.

В фольклорной сказке зачастую волшебное богатство выступает, как растущее и умножающееся.

Бажов снимает понятие богатства, как материальных ценностей, приносящих доход, наживу. Он вводит чисто горняцкое понятие «земельного богатства», то-есть природных богатств земли, горных недр, какие по праву принадлежат тому, кто их открыл и добыл. В сказке «Ермаковы лебеди» юному Василию Тимофеевичу вещие птицы и «речные дороги показали» и открыли ему «все эдашнее богатство». «Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую, либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да камень. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие версты откроется: где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну как есть все».

Однако, и Бажов отнюдь не игнорирует и другой стороны природных богатств: их способности при известных условиях превращаться в богатство денежное, приносящее доход. И тут в бажовских сказах на смену счастливого волшебного обогащения приходит мотив иллюзорности волшебного

богатства и разрушающей силы алчности. В сказе «Синюшкин колодец» бабка Лукерья предостерегает внука Ильюку против «худых думок про деньги да про богатство».

«—Как же тогда, — спрашивает Ильюка, — про земельное богатство понимать? Неуж и ва что считаешь? Бывает ведь...»

— Бывать-то бывает, только ненадежно дело: мочочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит! — отвечает бабка, имея в виду «счастливые комышки», как зовут старатели золото. Обратившись в деньги, золото уходит из рук человека пылью.

Превращение реальных природных богатств в иллюзорные показано в сказе «Медной горы Хозяйка». Расставаясь с полюбившимся ей рудокопом, подарил Малахитница Степану на прощанье горсть своих слез — зеленые изумруды. Драгоценные камни эти представляют собой огромное богатство. Сама Малахитница говорит Степану: «Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь». А позднее, когда погиб Степан, один знающий человек сказал его жене: «Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось». Но для Степана камни имели иную ценность: это слезы Малахитницы, и хранил их рудокоп, как память о Хозяйке горы, о ее красоте, — забыть он Малахитницу не смог. Поэтому-то «не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял». Чистое поэтическое отношение Степана к богатствам земли лишено всякой тени корысти и алчности. Оно-то и есть единственно правильное, — говорят бажовские сказы. Живая природа в образе «тайной силы» восстает против мертвящего отношения к ее дарам, она жестоко наказывает виновных. Как только кто-либо пыгается превратить в деньги ее чудесные самоцветы, золото, руды, — Малахитница обращает свои богатства в пыль, пустоту, ничто. «Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль».

Счастье, заключающееся в обладании богатством, сказы Бажова отрицают, осмеивают. Здесь имеет место поэтическое изменение сказочной концовки, какая завершает все испытания героев формулой: «стали жить-поживать да добра наживать». Иронически полемизируя с этой концовкой, Бажов говорит о своих героях, что они «жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, у всякого дело было» («Серебряное копытце»).

Бажов ориентируется на ту линию русской народной сказки, которая враждебно относилась к купчески-собственническому прославлению богатства и его могущества. Ведь и в фольклорной сказке подчас звучит пародирование «счастливой концовки». Так, например, сказка «Иван-царевич и Марфа-царевна» заканчивается следующим образом: «А Иван-царевич обвенчался на Марфе-царевне, стал жить да быть и хлеб жовать».

\* А. Н. Афанасьев, Народные русские сказки, т. II, Гослитиздат, 1938 г.

Счастье для героев Бажова не в умножении богатства и приращении добра, а в творческих исканиях, в познании природы, в радостях творческого труда.

## 5.

Сущность мироощущения нового советского человека состоит в том, что он осознал могущество своего труда и безграничность творческих возможностей. Он выдержал проверку своей созидательной силы в годы грандиозного мирного строительства и в испытаниях Великой Отечественной войны.

Вера в себя, гордое сознание своей человеческой ценности рождалось у него из участия в общем, целеустремленном коллективном труде всего советского народа. Новое мироощущение нового человека и нашло поэтическое выражение в сказах П. Бажова, оно воплощено в образах положительных героев.

В противопоставлении и противоборстве положительных и отрицательных героев Бажов раскрывает тему человеческого достоинства. Она не приурочена ни к какому специальному циклу сказов и характерна для бажовского творчества в целом.

В этой теме Бажов обращается к этической стороне труда. Творческий труд создает не только материальные, но и духовные ценности, он формирует и закаляет человеческие характеры.

Положительный герой Бажова — это человек труда, и именно в силу этого он обладает мужеством, стойкостью и моральной чистотой. Гордых, смелых людей рисует Бажов. Его герои видят и глубоко чувствуют красоту и радости труда, но они непривычны услужать, кланяться, гнуть спину. Паренька Данилку взяли в казачки при господском доме: «табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось». Не вышло из Данилы «хорошего слуги», зато вышел чудесный мастер («Каменный цветок»).

Не кланяются герои Бажова ни барам, ни богатству. Недаром заветная их мечта, что настанет время: «отнимут, подика, люди у золота его силу» («Дорогое имячко»).

Подросток сирота Дениско отказывается унижаться перед загулявшим золотискателем Никитой Жабреем, который пригоршнями швыряет в толпу ребят конфеты и серебряные рублики.

Никита пробует сломить «гордыбаку». Выхватил «из-за пазухи пачку крупных денег и хватить ими перед Дениской. А тот, видно, тоже парнишка с норовом, говорит: «Милостыньку не собираю, а с собачьего бросу и подавно». Никита от таких слов себя потерял: стоит — устался на Дениску. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку, — фунтов, сказывают, на пять — и хлоп эту самородку под ноги Дениске, а сам кричит: «Не хвастай через силу! Эту ты у меня подымешь!» Ну, а Дениско... не поднял. Поглядел только да ска-

зал: «Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо». Повернулся и пошел» («Жабреев ходок»).

Дениско потому и «гордыбака», что знает цену человеческому труду и знаниям: золотой самородок с его точки зрения дорог не своей денежной стоимостью, а тем мастерством, каким надо обладать, чтобы найти такой чудесный золотой лапоток.

Эта черта — уважение к труду — характерна и для юноши Дениска, и для старого малахитчика Евлахи Железко, о котором известно было, что «мастер, мужик с пружинкой», такого не купишь, сколько ни сули, потому что «уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит» («Железковы покрышки»).

Чувство собственного достоинства героев Бажова зиждется не только на ощущении ими могущества собственного мастерства, но и на горделивом сознании своего участия в общенародном труде.

Чудесная рукодельница Танюшка («Малахитовая шкатулка») требует, чтобы ей показали самоё царицу. Рабочая девушка ставит себя выше царицы, — та только праздная диковинка, а Танюшка — настоящий человек, ибо труд ее полезен и нужен людям. Попав во дворец, девушка ведет себя хозяйкой, ведь весь дворец создан руками рабочих людей, и есть в нем целая палата, «малахитом тятиной добычи отделанная». Танюшка богаче царицы, ибо владеет не мертвым богатством, а самым источником всех богатств — чудесным человеческим трудом, доставшимся ей в наследство от многих поколений искусных мастеров. Девушка гордится мастерством своего отца, гордится рабочими людьми, среди которых выросла. И в этом ее внутренняя сила.

Карл Маркс указывал, что горделивое чувство достоинства — основное свойство человека мыслящего, свободного, ибо оно знаменует активное революционное отношение к миру. Человек утверждает себя как личность, утверждая собственное человеческое достоинство. «Люди же, которые не чувствуют себя людьми», превращаются в общественных животных, которые не знают другого назначения, как быть «услужливыми и любезными подданными своих господ».\*

Сказы Бажова показывают, что полноценная человеческая личность формируется только в процессе труда. Отказ от труда ведет к измельчанию и распаду личности, к превращению человека в «общественное животное». Оценка человека в сказах Бажова происходит по труду.

Поэтическому образу бажовского положительного героя противопоставит образ сатирический, отрицательных героев. Это или праздные вырождающиеся бары-заводовладельцы, или лакейские души — приказчики, надзиратели, «щегари». Объединяет их общая

\* Письмо К. Маркса к Руте, май, 1843. К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч., т. I, Госиздат. 1938 г. Стр. 353.

черта — боязнь труда и неспособность к нему.

О герое сказа «Сочевы камешки» говорится, что он «смолоду-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта — барские-то блюда лизать — у него осталась. Всё хотел, чем ни на есть, себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу не год, в горе и недели не выдюжит».

Оторвавшийся от производительного труда, разбеденный «холуйской заразой», Ванька Сочень деградирует дальше. Неспособный трудиться, он избрал себе «ремесло по рылу — стал у конторы нюхалкой-наушником проже старателей», то-есть шпионом.

О «Северьяне-убойце», приказчике из разорившихся дворян, тоже говорится, что в «заводском деле он, слышь-ко, вовсе не ма-раковал», и добавляется характерная деталь, сразу определяющая весь его внутренний облик, — «а только мог человека бить» («Приказчиковы подошвы»). Невежество, ненависть к труду и людям труда разлагают самого Северьяна, превращая его в истязателя и садиста.

Северьян, Ванька Сочень и другие отрицательные персонажи бажовских сказов — это люди ничтожные, никчемные, это, — пользуясь горняцким термином, — «пустая порода». Их внутреннюю сущность Бажов раскрывает, прибегнув к излюбленному своему приему — вешней сатирической метафоре. Так в сказе «Приказчиковы подошвы» Хозяйка горы карает «Северьяна-убойцу», за его лютое издевательство над рабочими. Она обращает приказчика в каменную глыбу. Но вот странность: когда пытаются добраться до Северьяна, убеждаются, что там, где должно быть его тело, — одна пустота, хотя вокруг первосортный малахит. Метафора — «пустая порода» — обрела вполне материальный образ.

Гуманизм сказов Бажова — это советский гуманизм, основанный на твердой вере в человека, хотя отнюдь не всякого и далеко не абстрактного, но человека труда — мастера и создателя.

Как в сказах, где в центре действия стоят положительные герои, так и в сказах-сатирах утверждается тот оптимистический взгляд, что человек сам является хозяином своей судьбы. Нет здесь карающей десницы, рока, некоей неотвратимой силы, творящей правый суд вне воли, желаний и стремлений героев. Всем, даже самым худшим из людей, дается возможность и время одуматься, исправиться. Но не всякий человек способен этой возможностью воспользоваться. Выйти с честью из тяжких испытаний может только человек труда.

Дениско — молодой старатель — открывает месторождение чудесных самородков — золотых лаптков. Из земли «два камня вынули, ровно ковриги исподками сложены: одна внизу, другая сверху. Ни дать, ни взять — губы». А внутри скат крутой вниз,

и по нему золотые лапки разбросаны. Раскрылись каменные губы, словно приглашают юношу: бери золота, сколько тебе нужно. Денис проник в нутро горы, «очистил место и давай из песка золотые лапки выковыривать. Много нарыл, больших и маленьких, только глядит — темней да темней стает, — губы закрываются». Это грозное предупреждение «тайной силы» не осталось втуне для Дениса. Понял он свою ошибку и сумел переломить себя. «Денис и смекает: «Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки... и хватит». Надумался так — губы в раскрылись: выходи, дескать».

Оптимизм сказов Бажова заключается в показе возможности для человека изменить свою судьбу.

Трижды предупреждает Хозяйка медной горы Северьяна, чтобы он перестал лютовать. Трижды дает она ему знать о своем гневе: ноги у приказчика в землю врастают. Но на Северьяна ничто не действует. Ведь передумать свою жизнь, изменить все ее течение, переломить себя и свои привычки — все это труда требует. А к труду, к усилиям Северьян и ему подобные не способны.

Увидав смерть лицом к лицу, в ужасе пытается Северьян униженно вымолить себе пощаду. Но разжалобить Хозяйку горы невозможно. Она ждет от человека не покорности и трусливых молений, а требует от него мужественной борьбы с худшими свойствами его собственного существа. Поиски человека в человеке — вот та новая функция, какую обретает Малахитница в сказах П. Бажова.

Дениско — настоящий человек, он не пресмыкается перед «тайной силой». Он обузывает внезапно пробудившуюся в нем жадность. Он полновластный хозяин самому себе. И его воля, его стойкость не случайны. Они воспитаны привычкой к труду — тяжелому и упорному. Только благодаря этому Денис сумел выдержать испытание.

Бажов в своих сказах показывает ту силу, которая выковывает полноценную человеческую личность. Эта сила — труд.

Сказами Бажова продолжены лучшие гуманистические традиции классической русской литературы. Вера в творческие силы своего народа, уважение к человеку — все это характерно для Бажова.

Сказы Бажова звучат остро современно в наши дни, когда идет борьба с варварством фашизма. Фашизм не только уничтожает культурные и материальные ценности, но и стремится расшатать человеческую личность.

В дни Великой Отечественной войны, в дни суровых испытаний нашего народа замечательный советский писатель Павел Петрович Бажов всем своим светлым творчеством, своими поэтическими сказами воспевае великую ценность человека, красоту и могущество его труда. Сказы Бажова — это гимн народу-мастеру, народу-творцу, который есть и будет хозяином своей земли.

# ПАМЯТИ А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ

В. КАНЕВСКОЙ

★

С кончался выдающийся русский писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой. Он является одним из любимых читателями ювременных мастеров слова. Бывший матрос броненосца «Орел», Новиков-Прибой создал замечательные художественные произведения.

Широкой известностью пользуются его морские рассказы и повести. Эпопея «Цусима» вошла в основной фонд советской литературы и удостоена Сталинской премии. В ней нарисованы выразительные образы русских матросов и морских офицеров, яркие эпизоды их высокого боевого героизма. Эпопея «Цусима» популярна не только в пределах нашей Родины, но и далеко за ее рубежами. Она переведена на тридцать семь языков. Английская и американская печать во множестве статей отметила ее, как значительнейшее явление в культурной жизни последнего времени.

Тамбовский крестьянин, двадцатилетний юноша Новиков-Прибой с 1899 года стал матросом Балтийского флота. Велика была его тяга к знанию. Склонность к литературе в нем вызвали примеры замечательных русских людей — выходцев из простого люда — Решетникова, Кольцова, Максима Горького.

Новикова-Прибоя отличало хорошее русское упорство в труде. Свое стремление к литературе он воплощал в дело, несмотря ни на какие препятствия. Нужно сказать, их было много. В первую очередь приходилось преодолевать недостаточность общей и литературной подготовки. Сельская школа, которой ограничилось образование Новикова-Прибоя до флота, не могла дать ему необходимых литературных навыков. На пути литератора-матроса стояло также начальство, не одобрявшее вольнодумного образа мыслей. Проявилось его противодействие с первых шагов Новикова-Прибоя в литературе. Когда баталер Новиков, еще во время пребывания на броненосце «Орел», рискнул написать пьеску для праздничной постановки, старший офицер хотел наказать его двумя сутками ареста за «литераторство».

Участие в походе второй Тихоокеанской эс-

кадры дало Новикову огромный жизненный материал. После Цусимского сражения он, один из немногих оставшихся в живых, оказался в японском лагере для военнопленных. Именно здесь у него и родилась мысль нарисовать правдивую картину исторического события, непосредственным участником и свидетелем которого пришлось быть ему. Энергично и настойчиво приступает он к собиранию свидетельства очевидцев. Десятки людей взволнованно доверяют баталеру Новикову все, что они видели и переживали в момент величайшего жизненного потрясения. Листок за листком складывает он в свой чемодан драгоценные документы. Это были не сухие показания перед официальной исторической комиссией, а самые сокровенные переживания, доверенные своему товарищу. Так при участии самого народа создавалось волнующее эпическое произведение — тон спокойно повествующее, то переходящее в тон взволнованного излияния.

Однако нелегко оказалось сохранить драгоценные записи. Обманутая провокационным слухом, группа пленных солдат сожгла их. Новиков-Прибой в своем вступлении к эпопее рассказывает, как он с ножом в руках вместе с небольшой группой других матросов пробился сквозь толпу, но чемодана с его бумагами уже не было.

Сознание ответственности перед русскими людьми за воспроизведение исторических событий заставило Новикова-Прибоя снова приняться за собирание воспоминаний. Он начал спешно по памяти восстанавливать материалы «Цусимы».

Трудно было провезти их в Россию. Сибирь в это время, в самый разгар революции 1905 года, «обрабатывалась» карательными отрядами Рененкампа и Меллер-Закомельского, подвергавшими обыску все поезда. Все-таки материалы к роману Новиков-Прибой благополучно доставил к родственникам в село Матвеевское, где им пришлось пролежать много лет. Сам же автор был захвачен волной революции 1905 года, принимал в ее событиях самое живое и непосредственное участие.

Революционными настроениями проникнуты



первые литературные рассказы Новикова-Прибоя. Они рождены неудержимым стремлением сказать правду о том, что автор превосходно знал и сильно чувствовал — о творческих стремлениях русских людей и о том, как самодержавие давило русский народ. И свое слово писатель сказал от имени русских матросов и солдат: «Друг наш Алеша, — говорили матросы Новикову-Прибою, — больше пиши. Опиши нашу жизнь, наши страдания». Слова эти взяты из рассказа «Первый гонорар». Первый гонорар Новиков-Прибой получил в 1906 году за очерк, напечатанный в газете «Новое время» (куда очерк попал без ведома автора). Впоследствии этот очерк был переработан в рассказ «Между жизнью и смертью». Сильные впечатления от пережитой исторической трагедии потрясли сознание Новикова-Прибоя и его товарищей. Создание романа о грандиозном событии на Тихом океане стало главной творческой задачей жизни писателя. Эту свою миссию Новиков-Прибой рассматривал как священный долг перед товарищами по походам и боям, перед своим народом. Очерк, послуживший основой для рассказа «Между жизнью и смертью», — одна из первых зарисовок эпизодов будущей эпопеи. Просто, непосредственно, но очень трогательно автор повествует о гибели броненосца «Бородино» и спасении из девяносто человек команды только одного — марсового Юшка.

В это время автор прибегает и к чисто публицистической форме изложения. В 1906—1907 годах Новиков-Прибой, под псевдонимом «Матрос А. Затертый», выпускает две книжки: «За чужие грехи» и «Безумцы и бесплодные жертвы». Эти первые книги о цусимском бое были сразу же по выходе конфискованы царским правительством и не увидели света.

Прозиведения начинающего писателя отражали опыт и чувства передовой матросской массы. Тесная связь с народом еще более усиливалась его активным участием в революционном движении. После 1905 года Новиков-Прибой должен был много лет скрываться в эмиграции от преследований царского правительства.

Работу над эпопеей «Цусима» пришлось отложить на двадцать лет. Но Алексей Сильч не оставляет своих литературных занятий. Дружескую помощь писателю оказал А. М. Горький. Он принял участие в опубликовании первого рассказа Новикова-Прибоя из матросской жизни «По-темному» (1910 год). Именно этот рассказ открывает первый том собрания сочинений нашего писателя — книгу «Морские рассказы», вышедшую в свет в 1917 году. Не прекращалась поддержка начинающего писателя Горьким и в последующие годы. Общение с Горьким было очень близким. Можно указать на то, что целый год — с мая 1912 года по май 1913 года — Новиков-Прибой по приглашению Горького жил у него на острове Капри.

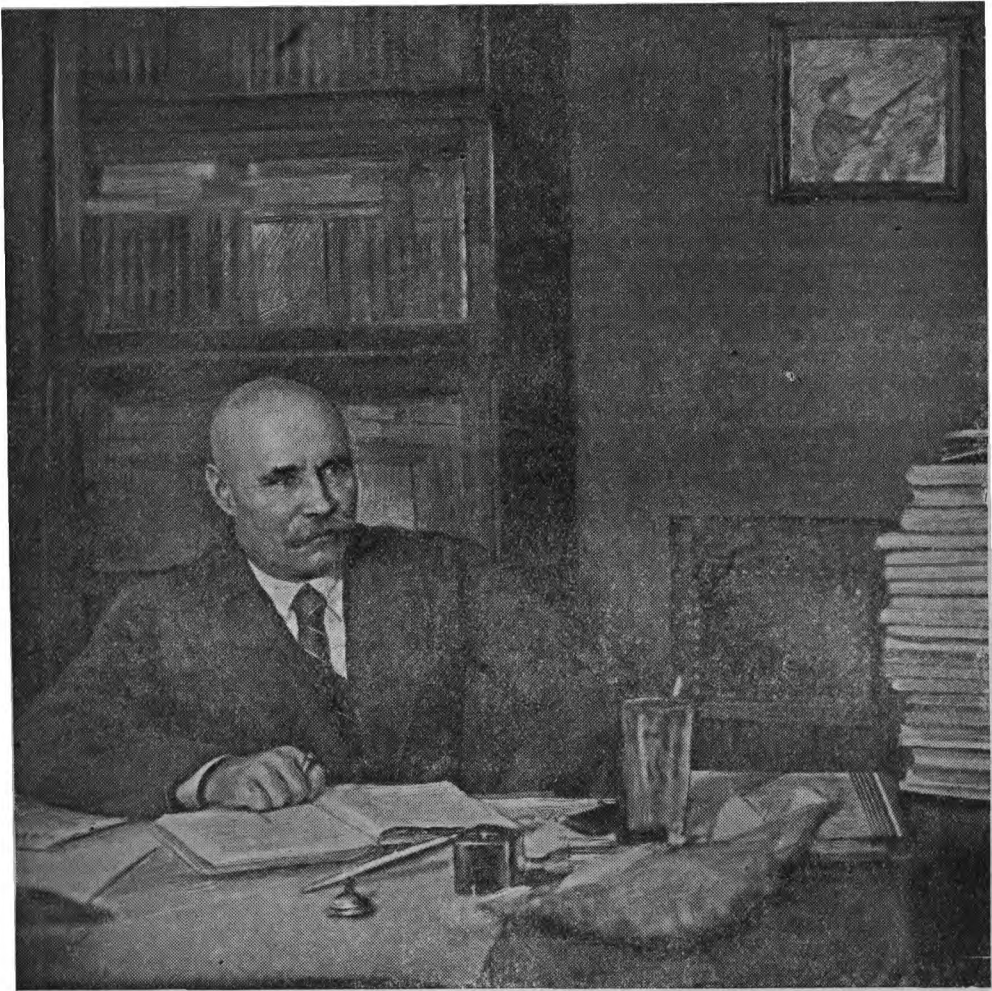
Годы скитаний и литературного труда не прошли даром. За это время из Новикова-При-

боя уже начал выработываться настоящий писатель со своим особенным, своеобразным обликом. Все чаще его имя появляется на страницах литературных журналов.

В лице Новикова-Прибоя в русскую литературу пришел новый писатель, занявший в ней свое прочное и беспорное место. Его творчество отмечено печатью самобытности, сочетающей в себе традиционную морскую романтику с острым, подлинно демократическим взглядом на мир. Правдивая простота характеризует реализм автора морских рассказов. Он не проходит мимо острых социальных конфликтов, не сглаживает жизненных противоречий, а бесстрашно и вдумчиво рассказывает о них. Кроме морских рассказов, до революции, в октябре 1917 года, Новиков-Прибой под непосредственным руководством Горького написал две повести из крестьянской жизни — «Порченный» и «Лишний». Жизнь дореволюционной деревни представлена в них со всеми ее противоречиями, типичными для того времени. Она изобилует общественными столкновениями, зачастую губящими человека, если не физически, то духовно. Повести из деревенской жизни, пропущенные симпатией к бедноте, не есть какающая побочная линия в развитии творчества Новикова-Прибоя. Общественные противоречия и рожденные ими духовные конфликты писатель переносит и в морские рассказы. В несомненной связи с этим находится его тяготение к форме сказа, объединяющей в себе особенности крестьянского и матросского фольклора. Приемы этого можно ясно видеть в «Рассказах боцманмата», напечатанных в «Северных записках». В морских рассказах всегда чувствуется самобытность личности автора — пытливого и расудительного русского крестьянина, перенесшего трудности службы в царском флоте. Суровость реализма рассказов Новикова-Прибоя придает им острый внутренний драматизм.

Уже с первого рассказа «По-темному» проявляется художественное своеобразие его произведений. Занимательность фабулы, романтическая яркость не оттесняют на второй план, как это случается у многих морских беллетристов, широкого общественного кругозора и правды жизни масс. Новиков-Прибой смотрит на события глазами простого трудящегося русского человека и пишет главным образом об этом человеке. Никогда, рисуя красоту моря и эпизоды флотской жизни, писатель не теряет из виду свою страну, забот миллионы людей, ее населяющих. Творчество Новикова-Прибоя не однопланово: в нем сложно переплетаются два художественных начала. Одно имеет в своей основе романтику морской литературы. Другое происходит из постоянной и прочной привязанности писателя к впечатлениям русской деревенской действительности, глубоко запавшими с детства и юности.

Большой интерес представляет для понимания жизненных корней романтики Новикова-Прибоя автобиографический рассказ «Судьба». Писатель в нем рассказывает о переломном моменте своей жизни, когда под впе-



А. С. Новиков-Прибой

чатлением рассказов некоего матроса в нем, в простом деревенском парнишке, зародилась мечта о скитаниях по бурным морям, о неведомых странах. В разгоряченном мозгу мальчика все время стоит фантастический образ корабля «Победитель бурь». Далеко, далеко из родной деревни уносятся его мысли. «Победитель бурь», этот таинственный и чудесный корабль, плавающий где-то в далеких водах, не выходит у меня из сознания. Матрос зажег в моей голове новые звезды, раздвинул передо мною мир, открыв широкие возможности. Я уже не закисну в темной и придушенной, как чугушной плитой, жизни села. Нет. Мое будущее там, где-то очень и очень далеко, в других замечательных странах, на синих морях, на беспредельных океанах, куда, как на орлиных крыльях, уносит меня юная фантазия». Юношеская, несколько наивная, но прочная мечта осуществилась.

Новиков-Прибой совершил множество морских и океанских рейсов, объездил почти все страны мира. Жизнь раздвинула перед ним свои горизонты. Все же не очарование фантастических вымыслов господствует в его художественных созданиях. В прекрасные описания морской стихии и приключений людей моря врывается суровая правда существования бедняцкого люда России. Правда эта жестока, но благородна. Социальная правда о царской России проникает собой и отношения на кораблях, занимает мысли русских людей, на них плавающих. Матрос, герой «Рассказа боцманмата», находясь под роскошным небом южных тропиков, говорит: «Эх, эти тропические ночи! Здорово на воображение действуют... Иногда про свою деревню вспомнишь, просяную поляну и станет обидно до слез. В лесу она стоит, сугробами завалена. Темные люди живут в ней, слушают внимную

вьюгу, бьются в нужде, с нуждой умирают. И никогда им не узнать, как велика земля, кто населяет ее, какие есть моря». Аналогия эта когда-то уже приводилась в одной из юбилейных статей, посвященных Новикову-Прибою. Но мы к ней обращаемся еще раз, так как она очень существенна. Слова эти имеют важное значение и для понимания художественного восприятия мира автором рассказа. На каких кораблях ни путешествовал Новиков-Прибой, под каким бы небом он ни находился, о чем бы ни писал, всегда он так или иначе вспоминал о «своей деревне». И мысль о всей родной стране, о своем народе всегда была у писателя главной, не отеснялась на второй план романтической моря, которое страстно, всей душой любил писатель.

Морские острые сюжеты, заставляющие с неслабым интересом следить за событиями, в произведениях Новикова-Прибоя обязательно сочетаются с широким общественным планом. Общественная, революционная точка зрения всегда служит той вышкой, с которой автор устанавливает связь судьбы своих героев с жизнью родины, серьезными социальными вопросами. Герой рассказов и романов Новикова-Прибоя обычно деятельный человек, не мирящийся с неправдой, полный общественного протеста против царизма. Патриотизм писателя проявляется так же в непоколебимой вере в русского человека. Героев Новикова-Прибоя укрепляет уверенность в лучшем будущем родины: она помогает им уверенно и прочно держаться в жизни. Уважение к простому русскому человеку — отличительнейшая и ценнейшая черта творчества нашего писателя. Чувствуется, что пишет подлинный сын народа, кровно связанный с ним; пишет о героях как о своих родных и близких.

Великая Октябрьская социалистическая революция создала условия для полноценного развития таланта писателя. В Россию Новиков-Прибой возвратился только за год до империалистической войны. На несколько лет наступает творческая пауза. В 1918 году в Сибири, среди снегов, он создает рассказы «Под южным небом», «Море зовет», снова возвращается к любимой морской теме. Появляются такие произведения, как «Соленая купель», «Женщина в море», «Подводники», «Коммунист в походе», «Ералашный рейс», «В бухте Отрадная». Творческий путь Новикова-Прибоя после «Морских рассказов» характеризуется непрерывным ростом литературного мастерства. Богатый жизненными впечатлениями, превосходный рассказчик, Новиков-Прибой создал увлекательные произведения. Они отличаются занимательностью повествования, свежестью языка, интересным сюжетом, яркостью описаний, которые притягивают к ним читательское внимание. Писатель нарисовал живые образы русских моряков, высокие нравственные качества, храбрость, силу патриотизма русского человека. Писатель не оставил и деревенской темы. Новой деревне, разбуженной социалистической революцией, посвящает он рассказы «Вековая тяж-

ба», «Зуб за зуб». В них — на новом материале — продолжены и развиты общие художественные тенденции, намечившиеся в повестях «Порченый» и «Лишний». Тем не менее, наиболее яркими остаются, как и прежде, произведения на морские сюжеты. Это вполне объяснимо: со службой на море у Новикова-Прибоя связаны самые сильные жизненные впечатления, толкнувшие его к литературе вообще. Вся сознательная жизнь писателя прошла главным образом на флоте, где укрепились в его характере хорошие психологические черты русского крестьянина — трезвость и ясность взгляда, рассудительность, настойчивость и трудолюбие.

Мало у нас писателей, так рельефно и выразительно описавших трудность и суровость морской службы в царском флоте. Новикова-Прибоя не страшили опасности боевых столкновений и борьбы со стихиями. Русский матрос не боится почетной смерти и не боится ее и герои рассказов и повестей Новикова-Прибоя. Но матросов царского флота угнетало унижение человеческого достоинства. Это — главная причина спаданий героев произведений Новикова-Прибоя. Выходец из матросской среды, он обнажил источник самых мучительных переживаний, сложных коллизий. Новая советская действительность помогла писателю верно оценить события общественной жизни прошлого и настроения, связанные с ними, найти более типичные противоречия, ситуации. Она обострила и углубила революционное настроение произведений автора «Морских рассказов».

Одна из наиболее выдающихся послеоктябрьских повестей Новикова-Прибоя — «Подводники». С тонким знанием дела нарисована выразительная картина боевых будней экипажа подводной лодки «Мурены», действующей против немцев в первую мировую войну. «Мурена» находится в длительном опасном плавании. Люди отрезаны не только от мира, но и очень редко видят солнце. Писателя занимают переживания крестьян и рабочих, одетых в матросские форменки. Прекрасно охвачены особенности их мироощущения в то время. Быстро формируется политическое сознание матросов. Весь опыт в годы империалистической войны приводит их к убеждению, что для самодержавия интересы передового народа совсем не существенны. Их сознание, как и сознание всего народа, не может примириться с системой, определившей такое отношение к человеку. Новиков-Прибой всегда остро чувствовал глубокую человечность своих героев. Он горячо и постоянно ее защищает. Описывая экипаж подводной лодки «Мурена» писатель воспроизводит мысли и чувства трудящегося народа, оскорбленного и угнетенного царизмом. Но мировоззрению народа чуждо отчаяние. Экипаж лодки политически просвещает революционер радиотелеграфист Зубов. И общий фон повествования, вопреки мрачным контрастам многих сторон жизни, оптимистический.

Не будет преувеличением, если мы скажем, что не одну сотню советских молодых мо-

дей толкнуло и толкает к военно-морской профессии знакомство с произведениями Новикова-Прибоя.

Участие в деятельности советского военно-морского флота являлось для Алексея Силыча родным делом. И в годы Великой Отечественной войны он выступает в советской литературе главным образом на морские темы. Творчество Новикова-Прибоя после 1917 года обогатилось образами советских моряков. Они представлены в волевых, сильных и целостных характерах, воспитанных новой действительностью, снявшей старые общественные противоречия. Из произведений такого рода наиболее типичны «Коммунист в походе» и «Ералашный рейс».

Новикову-Прибою присуще пристрастие к резкости и остроте фабулы, доведенному до предела драматизму положений. Можно сказать, что он не любил легких и благополучных ситуаций. Не всегда у него конфликты разрешаются благополучно для персонажей. В рассказах и повестях автора «Цусимы» много тяжелого. Писатель рисует внимательно и вдумчиво, наряду со светлым, темное в душе человека, рожденное невежеством или малодушием. Но иногда наклонность Новикова-Прибоя к предельному драматизму и острой постановке вопросов не переходит в запугивание читателя ужасами. С беспощадной объективностью изображает он отрицательные стороны жизни и недостатки внутреннего мира людей в повестях «Соленая купель», «Женщина в море», «Ералашный рейс». Например, в повести «Ералашный рейс» обрисована жуткая картина переживаний людей, охваченных страхом близкой гибели. Рассказывается о малодушии и героизме, благородстве и низости. Капитан и его близкие покидают корабль, когда опасность стала угрожающей. На гибнущем судне остается только один человек — машинист Самохин. В нем выведен новый, советский человек, человек большой души. Самохин — коммунист, бывший командир отряда революционных матросов, дравшегося с белыми в гражданскую войну. Он не может уйти и не хочет уйти с корабля, севшего в шторм на подводные камни, потому что не было «команды». Настоящий человек, он остался верен великолепной русской морской традиции, состоящей в том, что командир должен свыкнуться с мыслью погибнуть вместе со своим кораблем. Чувство ответственности перед народом проявляется в сознании Самохина с большой силой. Переждав бурю, он приводит корабль в порт, замещая и машиниста, и рулевого. Героизм и воля побеждают.

«Коммунист в походе» — повесть о торжестве смелости. Пароход «Коммунист» попал ночью на Северном море в сильный циклон. Судно, казалось, уже последние минуты выдерживало напор ветра и воды. Страшно, когда начинают лопаться перегородки и начинает заливать кубрики. Многие из команды корабля поселились. Все же к утру, весь израненный, «Коммунист» пришел к месту назначения. Героически проявила себя вся команда. Каждый твердо

стоял на своем посту. Новиков-Прибой замечательно изобразил разбушевавшуюся стихию и напряженность переживаний людей, с ней столкнувшихся.

В облике социалистического человека писатель выдвигает на первый план волю, смелость и настойчивость, подчиненные благородной цели служения отечеству. Положительный характер в произведениях Новикова-Прибоя отличается простотой, твердостью взгляда на мир и деловитостью. Однако эта деловитость далека от мешанской трезвости и расчетливости. Герои Новикова-Прибоя — люди широкого душевного размаха, каждый со своей резко очерченной индивидуальностью, смелым, самостоятельным мышлением. Душа их полна творческой романтики.

Образы послереволюционных повестей более углублены и многосторонни, нежели в морских рассказах, посвященных описанию тяжелой матросской жизни. Новая действительность развила положительные душевные качества излюбленных героев Новикова-Прибоя, внесла в их сознание положительное творческое искание, государственный характер мышления, ощущение себя деятелями — творцами.

Сильные стороны творчества Новикова-Прибоя наиболее ярко проявились в эпопее «Цусима». Для создания такого большого исторического полотна требовалась большая смелость. И писатель ее нашел в упорном и длительном труде, позволившем преодолеть все препятствия. Как писатель Новиков-Прибой рос, осваивая эту тему, настойчиво преодолевая все преграды, пополняя свои знания, совершенствуя литературную технику.

Работа над романом длилась много лет. Опять писатель начал собирание материалов: его старые записи дополнялись новыми свидетельствами современников — офицеров и матросов, архивными материалами, документами. «Я обрастаю материалами для «Цусимы», как днище корабля ракушками», писал он в одном из своих писем к С. Сергееву-Ценскому. Первое издание «Цусимы» вышло в 1932 году.

Вся эпопея написана от первого лица. Сам автор является перед нами одним из множества героев этого произведения. Личность его не выпячивается на первый план, а, напротив, весь тон повествования подчеркивает, что рассказ идет от рядового участника сражения. Нельзя художественные достоинства этого произведения измерять количеством собранного, хотя бы и неповторимого материала. Нужно его объединить единым чувством и единой точкой зрения. Живая душа эпопеи «Цусима» заключена в чувстве, в личной глубокой заинтересованности автора. Поэтому мемуарный характер повествования не отягощает его, а, напротив, представляется источником внутренней напряженности изложения. В центре произведения остаются личные переживания автора, создающие его основной тон. «Несмотря на обильный материал, — говорит сам писатель, — книга была бы написана по-другому, если бы я сам не пережил «Цусиму». Душа Новикова-

Прибой была выведена из равновесия виденным на Тихом океане. Огонь исторического события зажег в нем непреодолимую жажду творчества.

Личность писателя, ставшего героем произведения, объединяет многочисленные исторические эпизоды и лица, нарисованные в «Цусиме». Изображение истории у Новикова-Прибоя, как глубоко личного события и чувствования, заставляет особенно глубоко переживать вместе с автором происшедшее.

Эпопея охватывает большое количество последовательно воспроизведенных исторических событий и лиц. Здесь и портреты политических деятелей, офицеров и адмиралов второй Тихоокеанской эскадры, матросов, участников сражения, характеристика социально-экономических и дипломатических предпосылок войны, переговоры, свидание Вильгельма с Николаем II, гибель Портартурской эскадры, политика Германии, Англии, Франции, описание боя под командованием адмирала Рождественского с эскадрой адмирала Того и множество других исторических фактов. Объединенные горячим патриотическим отношением рассказчика, они, несмотря на все многообразие, связаны в эпопею Новикова-Прибоя, как части целостного художественного произведения. Наряду с единством чувства и мировоззрения, автор проявил большое мастерство сюжета. Многие эпизоды эпопеи достигают высокого художественного совершенства.

Неправильно объяснять успех эпопеи только новизной материала. Полезно вспомнить, что одновременно с баталером Новиковым стал собирать материалы для книги о Цусиме и капитан 2-го ранга Семенов, личный адъютант адмирала Рождественского. Его книга вышла под названием «Расплата». И все-таки время свершило свой правый суд. Книга Семенова давно забыта, а книга Новикова-Прибоя живет и долго будет жить. Большое значение здесь, несомненно, имела степень литературного дарования. В лице Новикова-Прибоя выдвинулся настоящий крупный талант. В лице Алексея Силыча русские моряки нашли своего художника. Он раскрыл в своих произведениях душу русского матроса, его смелость, душевный размах, его неугашиваемую любовь к отечеству.

Эпопея «Цусима» — патриотическое произведение. Произведение является пламенным обвинительным документом, выдвинутым против царизма. И наряду с этим оно живое свидетельство доблести и великих сил русских людей, способных к высокому героизму. Автор и в этом произведении остается представителем «нижней палубы», матросских масс, психологией которых с начала и до конца похода и во время сражения превосходно изображена. Новиков-Прибой отобразил и ненависть народа к реакционному офицерству и царизму. Вместе с тем, он ярко продемонстрировал, на какие высочайшие вершины героизма и доблести может всходить русский человек.

При Цусиме после дневного боя броненосец «Орел» был совершенно изучен. Центр тя-

жести на нем переместился. По заключению трюмных инженеров, броненосец мог выдерживать крен не более восьми градусов. А он при крутом повороте давал крен до двенадцати градусов. Была темная ночь. «Орел» шел до Владивостока, рискуя каждую минуту перевернуться. Нужен был герой, чтобы спасти положение. Таким оказался рулевой, боцманмат Копылов, плотный и смуглый сибиряк с жесткими усами. Это был лучший рулевой, знавший все тонкости своей специальности, хорошо освоивший все капризы корабля при тех или иных поворотах. Все его лицо было исцарапано мелкими осколками. Кисть правой руки была наспех обмотана ветошью, — ему оторвало в дневном бою два пальца. С утра, как только появились на горизонте японские разведочные крейсера, он занял свой пост и, хотя потерял много крови, бесшумно стоял перед компасом, словно притянутый к нему магнитом.

По ходу событий эскадренный миноносец «Быстрый» вынужден был выйти из боя и отправиться к берегу, чтобы спасти команду. Он сел на мель довольно далеко от суши. Решено было взорвать корабль, иначе он мог достаться врагу. Для этого в патронный погреб провели бикфордов шнур. Командир обратился к команде с вопросом: не найдет ли охотник выполнить его распоряжение. На это сейчас же отозвался миный квартирмейстер Галкин. Это был тихий и скромный, исполнительный человек, ничем ни выделявшийся среди других ни во время похода, ни в бою. Осенью кончался срок его службы. Казалось бы, главные его интересы должны сводиться к тому, как бы скорее попасть в родную семью. Все посмотрели на него с изумлением. Они хорошо понимали, что взорвать судно, находясь на его палубе, это значит иметь только один шанс из ста на спасение. Когда люди с «Быстрого» добрались до берега, Галкин поджег бикфордов шнур и, убедившись, что все идет ладно, бегом направился на носовую часть судна. Здесь один конец заранее приготовленного пенкового троса он прикрепил к леерной стойке, а другим опоясал себя и спустился за борт.

Скоре раздался страшный взрыв. Миноносец превратился в развалины. Матрос Галкин чудом остался в живых.

«Если здесь рассказываю, — говорит писатель, — об отдельных героических личностях из команды того или иного корабля, это не значит, что остальные матросы вели себя во время боя с «прохладцей». Например, крейсер «Светлана», бывшая яхта царского дяди, совершенно не приспособленная к бою, сражалась против превосходящего врага до последнего снаряда, хотя и была заранее обречена на гибель. Кто может сказать, сколько на ней было героев из матросов? Крейсер «Дмитрий Донской» бился с шестью нападшими на него неприятельскими крейсерами и два из них вывел из строя. И только потом уже, исчерпав все свои боевые средства, он открыл кингстоны и погрузился в морскую пучину. Тут были все герои, начиная с командира и кончая рядовым матросом».

Новиков-Прибой, вращавшийся в самой гу-

ще матросов, нашел верное объяснение тем беспримерным подвигам, которые совершили многие офицеры и матросы в известном сражении, несмотря на ненависть к пославшему их на гибель царизму. Главное, это сила товарищества, стремление помочь своему соседу, ненависть к врагу, от руки которого гибнет дорогой человек. Именно любовь к отечеству навсегда вложила в души поколения Новикова-Прибоя убеждение в необходимости призвать к ответу, произвести «расплату» с виновниками Цусимы, с угнетавшим народ царизмом, мешавшим росту могущества и творческих сил народов России.

Свободные народы социалистической страны укрепили государственное и военное могущество своей родины. Сейчас это могущество с небывалой силой проявилось в борьбе с самым сильным противником, с которым пришлось воевать нашей родине.

Отдав должное темам, связанным с прошлым, Новиков-Прибой стремился художественно освоить тему советского Военно-Морского Флота. Упорно работал писатель-патриот в годы Великой Отечественной войны. Он старательно изучал героические дела наших моряков. Все время его занимал план нового большого романа «Капитан 1-го ранга». Алексей Сильчич предполагал в образе Псалтырева нарисовать матроса старого русского флота, прошедшего суровую школу войны и революции и ставшего крупным советским морским офицером. К сожалению, писателю удалось выполнить только часть своего творческого замысла.

Роман «Капитан 1-го ранга» — посвящался прошлому русского флота. Писатель в дни Великой Отечественной войны не мог не сказать свое слово и о текущих событиях, людях, отстаивавших наше отечество от врагов. Он пишет серию очерков о воинах-героях, напечатанных в различных газетах и журналах («Снайперы», «Морские орлы», «Сила ненависти», «Города-герои», «Нравственная сила», «Русский матрос», «Боевые традиции русских моряков», «Волга», «Победитель морской стихии», «Родина», «Партизан Никита Шешко», «Моряки в

боях», «Партизан дед Талаш», «Мсти, товарищ»). Подавляющее большинство этих очерков посвящено советским военным морякам. Внимание Новикова-Прибоя привлекают лучшие люди флота, совершающие выдающиеся героические подвиги. Поступки их — живое воплощение советского патриотизма. На первый план творчества писателя, как и всей советской литературы периода Отечественной войны, выступает тема героизма. Герои очерков Новикова-Прибоя — люди различных военных профессий. Здесь изображаются боевые дела знаменитых снайперов — младшего сержанта Титова, старшины Ноя Адамия, летчика Сгибнева, бойца морской пехоты Сивкова, комендора Щербака, рулевого Дьяченко, партизана деда Талаша, заслуженного ученого, кораблестроителя академика Крылова. В их портретах, несмотря на различие военных специальностей, подчеркиваются типические духовные свойства советского народа, обеспечивающие нашу победу над врагами. Все они люди, беспредельно преданные своей родине, жертвующие всем за ее честь, свободу и независимость. Новиков-Прибой много и хорошо пишет о боевых традициях русских моряков. Главное, что выделяет писатель в своих героях, это величайшую их нравственную силу, перед которой ничто не в состоянии устоять. «Эта сила, — пишет Новиков-Прибой, — является неизблемой основой нашей Красной Армии и Красного Флота. Именно поэтому с каждым днем растут и крепнут мощные удары по врагу. Это доказывают своим поведением на войне наши герои. Многие из них погибли, но сила, питавшая их, жива. Она развита в миллионах сердец и кипит в них мщением к жестокому врагу, вызывая горячую веру в неизбежную победу над ним. Никогда не удавалось сломить нравственную силу русского народа, притупить ее или обезличить. Победит эта нравственная сила и теперь».

Произведения Новикова-Прибоя обогатили советскую литературу.

Память о писателе Алексее Сильчиче Новикове-Прибое долго будет жить в сердцах советских людей.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИГА О ЧЕХОВЕ\*

Книга К. Полонской является одной из многих работ о Чехове, вышедших в дни войны, и уже одно это усиливает интерес к ней и заставляет подходить с особыми, повышенными требованиями. Книга состоит из нескольких разделов, посвященных отдельным сторонам творчества писателя.

Первая глава называется «Чехов — великий русский писатель и патриот». Здесь автор отмечает связь Чехова с лучшими гуманистическими устремлениями мировой и русской классической литературы: борьба за свободу личности, любовь к народу, внимание к жизни «маленького человека». Указывается, что борьба Чехова с пошлостью и равнодушием — проявление подлинной любви писателя к жизни. Но, правильно отмечая гуманистический, жизнеутверждающий характер чеховского творчества, автор очень мало говорит о Чехове-патриоте, не показывает, как гуманизм писателя сочетается с его глубокой, органической любовью к России: несколько общих фраз в конце главы в счет не идут. И поэтому заглавие первого раздела, столь ответственное и многообещающее, оказывается неоправданным, ибо облик Чехова, «друга России» (М. Горький), умного, любящего и правдивого, остается нераскрытым.

Автор почему-то совершенно не использовал многочисленные высказывания Чехова о России, о русском народе, о прекрасном будущем, которое ожидает его родную страну. За рамками работы оказались и интереснейшие воспоминания и высказывания современников Чехова о нем (Горький, Л. Толстой, Куприн, Короленко, Бунин, П. Сергеевко и мн. др.). Все эти писатели и друзья Чехова единодушно отмечают его глубокую, нежную любовь Чехова к России, его чисто русский народный облик.

Со страниц чеховских повестей, рассказов,

писем и заметок встает бескрайная многоокрашенная страна «промадных лесов, необъятных полей, глубочайших горизонтов». Народ, который населяет эту страну, — сильный, честный и мужественный — подстать этой могучей природе и, в сущности, такая прекрасная жизнь должна быть в этой стране.

«Велика матушка Россия!» — восклицает Чехов. И, подхватывая эти слова, Горький в известной статье о Чехове пишет: «И огромные родятся в ней таланты, прекрасные глубокие сердца в ней есть! Будем верить, что хорошего не только больше, но и будет больше!» (Горький. «Литературные заметки», 1900).

Не сумев показать своеобразие и обаяние Чехова-патриота своей родины, автор не смог поэтому по-настоящему раскрыть и связь творчества Чехова с творчеством Максима Горького. Не сумел именно потому, что Горький наследует у Чехова тему России, наследует и развивает ее как одну из главных, определяющих тем. Чеховские слова «Велика матушка Россия!», «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми» могли бы стать эпиграфом к десяткам горьковских рассказов (цикл «По Руси»).

Далее автор переходит к характеристике «Эпохи, отраженной в творчестве Чехова». Вывод, к которому приходит К. Полонская, таков: «В творчестве Чехова отразились 80-е годы, с одной стороны — как сумеречная тяжелая пора, время измученных жизнью «хмурых людей», с другой — как время зарождения неясных еще и не вполне осознанных надежд и стремлений...»

Такое определение, конечно, верно, но совершенно недостаточно, если только им ограничиться.

Искусство Чехова связано не только с эпохой 80-х годов, но и с эпохой второй половины 90-х и начала 900-х годов, называемой Лениным эпохой подготовки революции.

\* К. Полонская. Чехов. Ташкент, 1943.



Ведь именно в последние годы жизни создает Чехов самые зрелые, самые изумительные свои произведения — «Три года», «Крыжовник», Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Три сестры», «Вишневый сад» и «Невеста».

В определении эпохи Чехова К. Полонская, к сожалению, пошла за теми критиками, которые объявляли Чехова «типичным восьмидесятиником», отразившим «мертвую полосу» в развитии России, забывая, что зрелый Чехов жил и творил в эпоху, овеянную дыханием приближающейся революционной бури.

Такое искажение исторической перспективы не могло не привести и действительно привело к одностороннему освещению чеховского творчества. Раз Чехов связан прежде всего с мрачной эпохой 80-х годов, то такой рассказ, как «Невеста», воспринимается как произведение, выпадающее из его творчества. «Активность бодрого и жизнерадостного настроения рассказа, — пишет Полонская о «Невесте», — резко отличает его от всех других произведений Чехова. При этом совершенно не улавливается органическое родство рассказа с такими произведениями 90-х и 900-х годов, как «Студент», «Учитель словесности», «Крыжовник» и другими. Тем более ошибочно противопоставление «Невесты» пьесе «Вишневый сад». В «Невесте», — пишет автор, — нет лирической грусти о прошлом», в этом рассказе все далеко от поэзии «Вишневого сада». Утверждение это ошибочно потому, что лиризм последней пьесы Чехова связан отнюдь не с грустью об уходящем прошлом, а с радостным, волнующим предчувствием близкого счастья, счастья, которое вот-вот должно наступить. И в этом смысле нет никакой принципиальной разницы между характером звучания «Невесты» и «Вишневого сада».

Правильно подчеркивает автор прогрессивный и демократический характер творчества Чехова. Но говоря об отдельных фактах биографии писателя, он совершенно не считается с хронологической последовательностью изложения. Конечно, не обязательно было подробно говорить о сложной эволюции художника, воссоздавать весь процесс его развития, но наметить перспективу и направление этого развития, хотя бы бегло очертить основные моменты стремительного и неуклонного роста писателя было совершенно необходимо. А о какой же «перспективе» может идти речь, если автор сначала говорит об академическом инциденте 1902 года, затем — о деле Дрейфуса (как известно, разрыв Чехова с Суворовым в связи с этим процессом произошел в 1898 году) и только после этого о поездке Чехова на Сахалин в 1890 году!

Характеристике Чехова — «великого художника новой европейской литературы» посвящена самостоятельная глава.

На первый взгляд в этой главе все обстоит благополучно: говорится о мастерстве и лаконизме чеховского письма, об умении писателя двумя-тремя штрихами показать сложные изменения во внутреннем мире героев, о лиризме в его описаниях природы и т. д. Отметив эти особенности Чехова-художника, К. Полонская задается вопросом: «Что же новое внес Чехов в искусство, как удалось ему стать одним из создателей русского литературного языка и нового этапа в развитии русской литературы?»

И вместо ответа на этот важнейший вопрос автор говорит о «новом, поднимающемся художественном течении импрессионизма» с его «красочностью, точностью в передаче мельчайших оттенков настроения» и т. д. Импрессионистическая манера письма используется Чеховым для более точного и тонкого изображения явлений реальной жизни.

Спору нет, чеховская художественная манера действительно связана в отдельных моментах с творчеством художников-импрессионистов, но неужели это и есть ответ на вопрос о том, что нового внес Чехов в сокровищницу мировой литературы?

Не заимствуя художественные приемы у импрессионистов, а идя по пути самостоятельного творческого развития, разрешая сложные и жизненно важные вопросы, вызванные эпохой, создавал Чехов свои замечательные шедевры реалистического искусства.

Ленин в своих статьях о Толстом показывает, как «эпоха подготовкой революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (Ленин, Собр. соч., Изд. III, XIV, стр. 400). А у Полонской получается, что «новое», «внесенное Чеховым в искусство», объясняется... его заимствованием художественной манеры импрессионистов.

Недостаточность характеристики Чехова-патриота, одностороннее определение эпохи, отраженной в его творчестве, сумбурность изложения, при котором нарушается элементарная последовательность основных моментов развития писателя, — все это значительно снижает ценность книги К. Полонской. К этому можно было еще добавить, что в работе даже не сделана попытка как-то сопоставить творчество Чехова с его великими предшественниками в русской литературе, не говоря уже о том, что вопрос о глубокой связи Чехова и Горького, в сущности, остался почти не раскрытым. Вот почему книга К. Полонской не удовлетворяет читателя.

Э. Паперный



## ЗАПИСКИ ПОДВОДНИКА\*

Эту небольшую книжку написал Герой Советского Союза капитан 2-го ранга И. Фисанович, командир Краснознаменной подводной лодки «М-172». Жизненный и боевой путь ее автора — типичный путь лучших представителей советской молодежи. Герой-подводник родился в 1914 году, и его боевая учеба совпала с днями Великой Отечественной войны. В то время, как в Баренцевом море уже шли надводные и подводные бои советских моряков с противником, молодой капитан-лейтенант еще только практиковался в заливе. В качестве вывозного с ним плавал Герой Советского Союза И. Кольшкнн, прославленный «дядька» североморцев. С Кольшкнным Фисанович ходил и в первый боевой поход, где обнаружился талант будущего мастера подводного боя. С каждым новым походом совершенствовалось воинское умение экипажа лодки. Под командованием Фисановича «М-172» за двадцать один месяц потопила тринадцать кораблей противника и была награждена орденом Красного Знамени. Имя ее командира приобрело популярность не только на флоте и в стране, но и за границей, среди наших союзников.

О напряженном, героическом труде подводников у нас написано мало. Небольшие книжки Б. Яглинга, А. Петрова, где собраны газетные очерки, сообщают читателям ряд интересных фактов, но не дают возможности во всем объеме представить особенности и трудности подводной войны. Написанные профессионалами журналистами, наблюдателями со стороны, они отражают лишь наиболее эффектные моменты боевых походов.

Вполне понятен поэтому особенный интерес, который вызывает очерк боевых действий подводной лодки, написанный самим подводником, к тому же одним из талантливейших наших командиров. Фисанович писал свою книгу в перерыве между боями, и каждый новый поход его «Малютки» — так на флоте называют подводные лодки этого типа — добавлял к книге новую главу. Книга написана автором самостоятельно, без посторонней помощи.

Очень скромно, почти умалчивая о себе, автор рассказывает о людях своей лодки и их боевых делах. Его безыскусственный рассказ, скупой и точный, лишенный всяких украшательств, дает большее представление о героизме подводников, чем десятки восторженных подвалов опытных журналистов на эту тему. Автор показывает подводную войну, прежде всего, как напряженный осмысленный труд. Пламя боевого успеха разгорается в результате упорной учебы и повседневного совершенствования. Только умение в сочетании с личной отвагой и неустранимостью боевого коллектива приносит победу.

История подводного корабля начинается на

стапелях судостроительного завода. С этого момента и начинается Фисанович свои записки. В то время, как идет стройка корабля, будущий экипаж уже изучает по чертежам его устройство, а командир отделения трюмных ползает по пятам за сварщиками и медниками, следя за каждым изгибом прокладки магистралей. Еще идет монтаж механизмов, а будущие механик, рулевой, моторист лодки уже знают каждый винтик и гайку в отсеках корабля. Период созидания подлодки — одновременно период освоения ее материальной части офицерами и краснофлотцами. В это время закладывается краеугольный камень того необходимого единства, которое составляют в бою механизмы и люди, управляющие ими. Принявший лодку экипаж проводит и ее испытание. Наконец, после учебной практики, августовским вечером лодка выходит в первый боевой поход. Молодой командир рвется к встрече с врагом, но море пусто. В глубине фиорда, в тихой гавани бухты, разгружаются вражеские корабли. Командир принимает дерзкое решение ворваться в фиорд, но старый опытный подводник Кольшкнн удерживает его от этого шага. Он не уверен, принято ли решение обдуманно, или оно просто результат вполне понятной горячности новичка. Только после суток крейсирования возле вражеских берегов, убедившись в непоколебимости решения молодого командира, Кольшкнн разрешает ему войти в бухту. Атмосфера серьезности, охватившая экипаж при выполнении смелого решения, очень хорошо передается автором книги.

Подводникам удается проскользнуть незамеченными. В самой гавани, у причала, они торпедируют огромный транспорт и своевременно ускользают от врага.

Одна за другой перед читателем проносятся картины всех походов, и хотя результаты бывают всегда одинаковы, почти одинаков и момент атаки, но каждый поход в описании автора, как и в действительности, имеет свои особенности, в каждом из них знакомишься с новыми сторонами подводной войны, новыми качествами экипажа «Малютки», видишь, чем же обогатился опыт моряков во время данного похода.

Не только боевой успех, но и просто безопасность корабля и экипажа во время плавания зависят от знания людьми их обязанностей, от их неустанной, напряженной внимательности. Ошибка или просчет одного из специалистов может прозвять гибелью всему кораблю. В немногочисленной команде неизбежно совмещение профессий. Это требует еще большей подтянутости и четкости в работе каждого члена экипажа. Сложность обыденной опасной работы подводника раскрыта автором в рассказе о промахе торпедиста Васи Немова.

Исправление нечаянной аварии, в описании которой автору удалось показать одновременные решительные и молниеносные

\*И. Фисанович, Записки подводника, Военмориздат, 1944 г.

действия каждого специалиста в отдельности и всего экипажа в целом, — одно из лучших мест книги.

Автор ее обладает умением видеть. Портреты людей, их внешние и внутренние характеристики, короткие описания заполярной природы конкретны и запоминаются. Даже директора судостроительного завода Барабанова, всего один раз мелькнувшего на страницах, запомнишь по его не без юмора подмеченной привычке записывать малейшие погрешности в работе на папиросной коробке, на которую потом, поживаясь, опасливо поглядывают начальники цехов. Командир подразделения Морозов, сбрывающий после потопления транспорта свои лишние усы, невозмутимый штурман лейтенант Буттов, электрик Владимир Тертычный, рулевой Быстрый и другие члены команды обрисованы живым пером, лаконично и метко.

Отрывки из книги Фисановича печатались до ее появления в газете Северного флота. Сравнивая газетный текст с текстом книги, с

удивлением отмечаешь, что кое-какие детали оказались незаслуженно выброшенными чьей-то чопорно-стыдливой рукой. Так, например, в книге не нашел места проступок старшины, растерявшегося вовремя одного из боев. В описании этого исключительного на лодке события у автора, однако, не было ничего порочащего наших моряков. Оно только подчеркивало высокое мужество остальных бойцов и ту нестигаемую волю, которой должны обладать и обладают наши военные моряки.

«Записки подводника» радуют точной выразительностью языка. Эта маленькая книжка, являясь документом, свидетельствующим о блестящей морской культуре молодых советских моряков, одновременно говорит об их высокой общей культуре. Знакомство с книгой позволит широким кругам читателей со слов непосредственного участника составить себе ясное представление о героических подвигах славных североморских подводников.

*А. Макаров.*

★

### „СТАЛИНСКИЕ МАСТЕРА“\*

В одном из очерков своей книги Анна Караваяева делает интересное замечание о том, что самая маленькая художественная картина дает зрителю больше, чем на ней изображено. Таково свойство подлинного искусства. Книга очерков А. Караваяевой не претендует на художественность. Но она представляет интерес не только по теме, а и по взволнованному отклику советского человека на величественные события. Обращаясь к читателю, автор говорит: «Товарищ, не удивляйся, когда рядом с повествованием об уральских мастерах ты увидишь авторский дневник, лирические отступления, воспоминания, призывы через дали и рубежи, — словом, все, что называется движением души человеческой». Но все же главный интерес книги — в ее теме.

В нашей литературе создано еще очень мало произведений о героической работе советского тыла в годы Отечественной войны. А описание того, как борется Урал — для писателя в высшей степени благодарная задача. Очерки Анны Караваяевой в известной мере отвечают потребности советских людей — увидеть в литературе изображение тех усилий и достижений, которые изумили не только друзей, но и врагов.

Роль Урала в Отечественной войне с немецкими захватчиками исключительно велика. Урал по праву называется арсеналом фронта, грандиозность которого не имеет исторических аналогий.

Урал стал основной кузницей оружия, которым славная Красная Армия с таким велико-

лепным искусством уничтожает и гонит с советской земли фашистские орды.

Как исполняющий богатырь, Урал не сгибался под тяжестью все новых и новых задач, а, решая их, становился еще более сильным. Вот почему в книге очерков, написанных на материале одного уральского завода, типичного для наших сталинских новостроек на Востоке, который еще до войны назывался «заводом заводов», Анна Караваяева сумела показать некоторые моменты того, как рабочий класс СССР, «не выходя из родного цеха...», выиграл множество сражений».

Автор скромно оценивает свои очерки, только как эскизы будущего большого произведения.

А. Караваяева пишет о передовых людях завода, о гигантском росте советских людей в дни войны.

В молодежной бригаде девушек-сварщиц, в стерженнице Зубринской, в семье Олейниковых (жена — крановщица, муж — кузнец), сталеварах Валееве и Сидоровском, в лекальщице Чутунове — в этих передовых людях завода писательница и нашла наиболее характерные для людей нашей страны черты.

В очерках Анны Караваяевой показываются производственные успехи лучших советских людей, рост производительности их труда. Изображение того, как сталевары от 3—4 тонн выплавки стали поднимаются к 18 тоннам и выше, интересно само по себе. Но не в этом показе количественных сдвигов основное достоинство книги.

Один из основных героев книги, сталевар Сидоровский говорит, что «техника стала народным достоянием».

\* Анна Караваяева, «Сталинские мастера». Повествование о людях и днях. Москва, Гослитиздат, 1943.

Под этим разумеется не только то, что советская техника принадлежит народу, как материальная ценность, но главным образом то, что советские люди в совершенстве овладели ею, что она стала в их руках послушным орудием сознательно направленной воли. В этом смысле примечательно выражение Сидоровского: «вышла плавка по моей воле». Это относится еще к 1937 году, когда Сидоровский только становился мастером стали. Война заставила строже отнестись к самим себе, и то, что казалось пределом возможности в довоенных условиях, во время войны было оставлено далеко позади.

Книга Анны Караваевой показывает, как страдания, принесенные народу войной, переплавились в ненависть к врагу, в мастерство.

Роль женщины в тылу, ее умная, самоотверженная работа, роль советской семьи в величайших испытаниях родины, органическое единство общественного и личного в сознании советского патриота — все это в книге очерков А. Караваевой намечено, может быть, беглым пунктиром, но, озаренные пламенем всенародной войны с фашистскими захватчиками, трудовые усилия народа все же предстают в определенных живых фактах.

Биографии сталинских мастеров обычны для советских людей. Старшие, как кузнец Олейников, испытанный и эксплуатационный немец-помещика Родермунда, и батрачество на кулака, пришли на завод уже сложившимися людьми. Другие, прежде чем попасть на крупный советский завод, в поисках настоящего призвания испытали множество профессий. Бывший псковский крестьянин, сталевар Сидоровский работал одно время плотовщиком. Эта опасная работа выработала в нем смелый, спокойный характер. Сталевар Валеев был портным, тянулся к театру, где даже пользовался успехом. Работоспособность и хороший азарт сделали из него первоклассного мастера стали. А зрелая жизнь бригадира девушек-сварщиц Феликсы Гржибовской «еще только начиналась, как зарево Отечественной войны жарко и грозно осветило ее дорогу».

Рабочие описываемого Караваевой предприятия пришли на завод разными путями. Многие из них строили и создавали его славу еще в мирное время, некоторые пришли туда по пыльным дорогам войны. Но всех их объединил единый дух нового советского рабочего класса, воспринимающего работу, как государственное дело промадной важности.

★

### „СТУДЕНОЕ МОРЕ“\*

Люди, много плававшие и имеющие что сказать о флоте, редко претворяют свои знания и наблюдения в форму беллетристических произведений. Они уступают задачу художественного отображения жизни военно-морского

В одном из очерков хорошо переданы беспокойство и душевная боль советского человека, которые он переживает при виде производственных неудач своих товарищей. Сталевар Сидоровский однажды «видел, как соседняя бригада пережгла свои печи. Даже на сплаве, среди бешеной дури порожистой реки, он не чувствовал такого ужаса, какой мгновенно передался ему в те памятные минуты. Когда подняли заслонку, кто-то глухо вскрикнул — свод печи зиял страшной безликой! Его будто сводило судорогой, и вдруг длинная белая капля повисла над сводом и нехорошо вытянулась вниз, за ней другая, третья, еще и еще — свод тянулся, как тесто, таял, печь гибла, выбывала из строя. Сталевары двигались с мрачно сосредоточенными лицами, будто вокруг покойника... Ужасно было видеть, когда человек из-за прочета или недогляда становится в положение разрушителя своего труда», ибо «труд, обратившийся в разрушение... недостойн человека, унижает его, как стыд».

Тесная связь советского тыла с фронтом, стремление людей работать по-фронтному проходит красной нитью через всю книгу.

Очерки Анны Караваевой печатались в современных изданиях. Кое-что в них сделано наспех, не доработано. Осталась в неприкосновенном виде ненужная краснота: «нежный, как лебяжий пух, снег», «парчевые башни запыленных снегом сосен, елочек» и т. д. и т. п.

Диалог в очерках иногда настолько невыразителен, что кажется, как будто автор вставляла куски стенограммы производственного совещания.

Остался незамеченным целый ряд курьезных авторских опечаток.

На стр. 38 говорится о «боях в прифронтной полосе», а на стр. 74 об Олейникове сообщается, что он «работал кайлой», хотя всем известно, что кайло среднего рода.

В заключение укажем на частые повторы. В книге даны биографии мужа и жены Олейниковых. Понятно, что у мужа с женой, работавших вместе, были общие моменты в биографиях, о которых достаточно было сказать в одном месте. Но автор и редактор, должно быть, не доверяя памяти читателя, на стр. 74 и 101 дают два незначительно отличающихся друг от друга варианта одного и того же материала.

Все эти легко исправимые погрешности снижают литературное качество книги.

А. Костицын

\* Юрий Герман, «Студеное море». Повесть, М. Военмориздат, 1944.

флота писателям-профессионалам, для которых военно-морская техника порой бывает и не по силам. Из-за своеобразия среды, сложности многих условий, формирующих облик военного моряка, воспитываемого длительными годами плавания и специальной подготовкой, живущего в малоизвестной береговому человеку стихии, работающему с неприменяемой на берегу тех-

никой, многие попытки даже весьма талантливых писателей овладеть военно-морской тематикой не увенчивались успехом, не раскрывали художественной правды о человеке с палубы или с мостика военного корабля.

В результате поверхностного знания военно-морского быта сплошь и рядом в беллетристических произведениях проявлялись надуманность и схематичность характеров, неестественность положений, а в худшем случае — военно-морская безграмотность, прикрытая архи-флотской терминологией, долженствовавшей оглушить читателя и внушить ему уважение к военно-морской эрудитии автора. Чаще всего объектами таких литературных опытов становились исторические флотоводцы, благо в старых книжках «Морского сборника» о них можно было найти богатейший фактический материал.

Но наиболее культурные и требовательные к своему искусству писатели, плененные военно-морской тематикой, шли иным путем. Подобно И. А. Гончарову меняли они свои городские квартиры на каюту корабля, на долгие месяцы и годы соединяли свою жизнь с судьбой военных моряков, рисовали вместе с ними, а в итоге давали книги о флоте, раскрывавшие настоящую сущность человека с корабля.

Лучшей такой книгой являются знаменитые путевые очерки Гончарова «Фрегат Паллада», ставшие ценнейшим произведением о русском военном флоте пятидесятых годов.

Этот путь избрал и советский писатель Юрий Германа.

С первых дней Отечественной войны он уходит работать в действующий флот. Его хорошо знают на Северном флоте, в рядах которого он теперь состоит. Его встречают на кораблях, на береговых батареях, в частях военно-воздушных сил и морской пехоты, в штабах соединений и в политотделах. В течение Отечественной войны ряд военно-морских рассказов, напечатанных в журналах и газетах Северного флота, отмечает этот новый путь писателя.

Не вторгаясь в область литературной критики, мы намерены сделать относительно повести Ю. Германа «Студеное море» лишь некоторые замечания, отражающие точку зрения читателя с флота.

Хорошо, что повесть написана именно о Студеном море, которое уж много столетий бороздили люди, шиняки и елы наших поморов, на котором в Отечественную войну круглый год сражается наш отважный Северный флот. В повести спаяны два этих элемента — древняя морская традиция русского Севера и молодая слава советского Северного флота. Они сплетены и неразрывно связаны в лице представителей трех поколений семьи Ладыхинных.

В хрупких моделях старинных кораблей, хранящихся в прадедовском доме Ладыхинных, в словах старого капитана Ладыхина, в поступках гвардии старшего лейтенанта Александра Ладыхина, в образе пионера Бориски, который садится читать дневник погибшего Александра

хорошо ставлена проблема наследственной военно-морской профессии.

Наличие многочисленных русских семей наследственных моряков было одним из факторов, обеспечивавших живучесть и преемственность славных традиций русского флота, живучесть самого флота, возникавшего порой из пепла и вновь обретавшего силу и блеск на протяжении долгой своей истории.

Люди «Студеного моря» действуют в достаточно сложной жизненной обстановке. Автор ставит их в сложные положения, из которых они выходят так, как им подсказывает их среда, их воспитание, их жизненная целеустремленность, предопределенная всеми особенностями социального и политического строя нашей страны.

Повесть Ю. Германа почти свободна от примитива и штампа, нашедших приют во многих морских рассказах, от нескончаемой вереницы лейтенантов с «волевыми подбородками», с тугими желваками, перекатывающимися на скулах, лейтенантов, любящих девушек исключительно «стыдливой и целомудренной любовью...»

Особенно осязаемыми становятся люди Германа, когда они возвращаются с берега на корабль. Корабль дан так, как его ощущает военный моряк-профессионал. Автор сумел уловить и передать обаяние ритма корабельного распорядка и той отрешенности от внешнего мира, той сосредоточенности воли и усилий, которые создаются на корабле после того, как он отдает швартовы и выходит в море.

До Ю. Германа нечто подобное замечательно показал Джозеф Конрад в «Зеркале моря», к сожалению, не переведенной на русский язык. Но капитан дальнего плавания Конрад плавал на британских парусниках в условиях самых мирных плаваний самого мирного промежутка конца XIX века. Люди «Студеного моря» плавают в обстановке самой ожесточенной войны, какую знало человечество, в эпоху иной техники — не парусной, а турбинной, ультразвуковой, магнитно-акустической, радиолокационной.

Боевые подвиги героев повести воспринимаются как совершенно естественные. Убедительность боевых эпизодов повести обусловлена не только писательской культурой автора, но и большим кропотливым трудом, длительным пребыванием на военных кораблях, в среде своих героев. Это дало автору возможность многое наблюдать своими глазами на палубах кораблей, многое слышать и впитать в себя. Подставить борт своего корабля торпед, чтобы прикрыть охраняемый корабль, — это не легенда, не литературный вымысел, это подлинный «кусочек жизни» нашего флота.

Автор мог наблюдать этот «кусочек жизни» своими глазами, мог слышать разные варианты этого подвига, — впервые так поступил один из эскадренных миноносцев Краснознаменного Балтийского флота, который взорвался, но прикрыл собственным кораблем борт крейсера.

Но ни пересказ, ни собственный опыт не могли поднять перед глазами автора завесу, которая скрывает от мира последние минуты жизни корабля, с которого никто не вернулся. Здесь знание среды помогло писателю зримо и осязаемо показать момент высшего героизма в гибели последних оставшихся живыми людей на юте гвардейского корабля. Смерть Артюхова и Ладынина и эта «толстая, крепкая мажорочная самокрутка», затянута которой Артюхов угаривает своего командира, — это одна из лучших страниц в нашей литературе о героизме русских военных моряков. Здесь автор раскрыл искомое методом психологической экстраполяции: построив согласную кривую по наблюдательным точкам (поведение героев в обычных случаях боевой практики), писатель получил координаты поведения героев за пределами его наблюдений. Иначе поступать, иначе переживать они не могли — в этом читатель убежден.

Нельзя не любить многих людей повести Германа. Кто из нас, моряков, не встречал Чижова, пожилого человека из запаса — человека глубоко мирной профессии, скажем, капитана рыболовного траулера, но способного, ни секунды не раздумывая, таранить подводную лодку противника, а потом в опьянении боевого азарта кричать: «Не ходить в мое море! Тут я хозяин!» Обряд одеванья Чижова перед походом глубоко впичен и нагляден: «штаны, принесенные сюда еще с тралового флота, с мирного времени, они еще рыбкой пахивают—той полузабытой жизнью, свитер тоже тех времен — тресочкой отдает, потом полушубок, потом шапка теплая, спичек в кармане четыре коробка, папирос в карманах четыре пачки, мундштук, трубка, курительная бумага и кисет резиновый, в нем особо ценный табак — номерная мажорка»...

Два слова о военно-морском языке повести. Ю. Герман, повидимому, согласен с мнением Пристаи относительно технических подробностей в художественном произведении. «Я полагаю, — пишет английский писатель, — что если не загромождать фон романа такого рода деталями, то на этом фоне будет лучше виден человек». («Дневной свет в субботу», «Новый мир», № 1—2).

«Студеное море» ничего не потеряло от отсутствия разных «бом-брам-стенг» и «марс-филов». Военно-морские термины даны в повести в пределах строго необходимого и применяются вполне грамотно, кроме одного случая: вместо «со швартовых сниматься» нужно было писать «со швартовов сниматься».

Описания боевых столкновений, моментов кораблевождения и морской практики также правдивы.

Природа Севера описана немногими словами, но они выразительны и помогают читателю почувствовать пафос боевой службы в Студеном море.

Таково впечатление читателя с флота.

Иначе воспринята повесть рецензентом Г. Леноблем из газеты «Литература и искусство» (№ 10 (128), 10 июня 1944 г.).

Вот что он говорит в последнем абзаце своей статьи:

«Под повестью Юрия Германа обозначены место и время ее написания: «Северный флот. 1943 год». Не верится. Не действительных героев Красного флота напоминает Ладынин, а скорее «идеальных» персонажей из старинных морских романов».

В основе неверия Г. Ленобля лежат, кажется нам, прежде всего незнание наших моряков, военно-морской обстановки и тот наивный реализм, который позволял многим людям отрицать шарообразность Земли на основании доводов «здравого рассудка».

При этом хочется напомнить товарищу рецензенту, что не нужно удивляться сходству облика современного русского моряка — воспитанника Советского государства — с лучшими персонажами старинных русских морских повестей. Ибо у гвардии старшего лейтенанта Ладынина более древняя родословная, чем об этом мы узнаем от автора: не только кормщик Алексашка XVII века у него за плечами, а и те русские моряки, которые в IX веке ходили на Византию, а в X веке на Крит, в Сицилию, в Сирию и с тех пор непрерывно, из поколения в поколение, защищают свою родину на морях и океанах.

*Капитан 1-го ранга Н. Озаровский*

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.  
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А 7897

12¼ печ. листов.

Подписано к печати 25/VII-44 г.

Тираж 30.000

Зак. 1497.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

#### ПОПРАВКИ

На 63-й стр. во 2-й колонке 15-ю строку снизу следует читать:  
... и поднял глаза,— у Петра Алексеевича лицо было спокойное...  
и т. д.

На 108-й стр. во 2-й колонке 5-й абзац сверху следует читать:  
— Приляжьте-ка, — обратился потом к Швачке Худолей, и тот,  
со всей серьезностью... и т. д.



Цена 10 руб.

БЛИЖАЙШИЙ ТИРАЖ  
**ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ**  
СОСТОИТСЯ  
**В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ОКТЯБРЯ**

В ТИРАЖЕ УЧАСТВУЮТ ВСЕ ВКЛАДЧИКИ, ИМЕЮЩИЕ СЧЕТА  
ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ

НА КАЖДУЮ **ТЫСЯЧУ НОМЕРОВ** СЧЕТОВ  
ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ БУДЕТ РАЗЫГРАНО

**25** ВЫИГРЫШЕЙ

ИЗ НИХ:

		**Один** выигрыш в размере **200%**		
		**Два** выигрыша каждый в размере **100%**		
		**22** выигрыша в размере **50%** —		
средней суммы вклада, хранившейся на выигравшем  
счете за полугодие

Выигрышные вклады принимают все  
== **СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ** ==  
Вносите выигрышные вклады в сберегательные кассы!